

НОВЫЙ
МИР

3

МОСКВА 1939

НОВЫЙ МИР

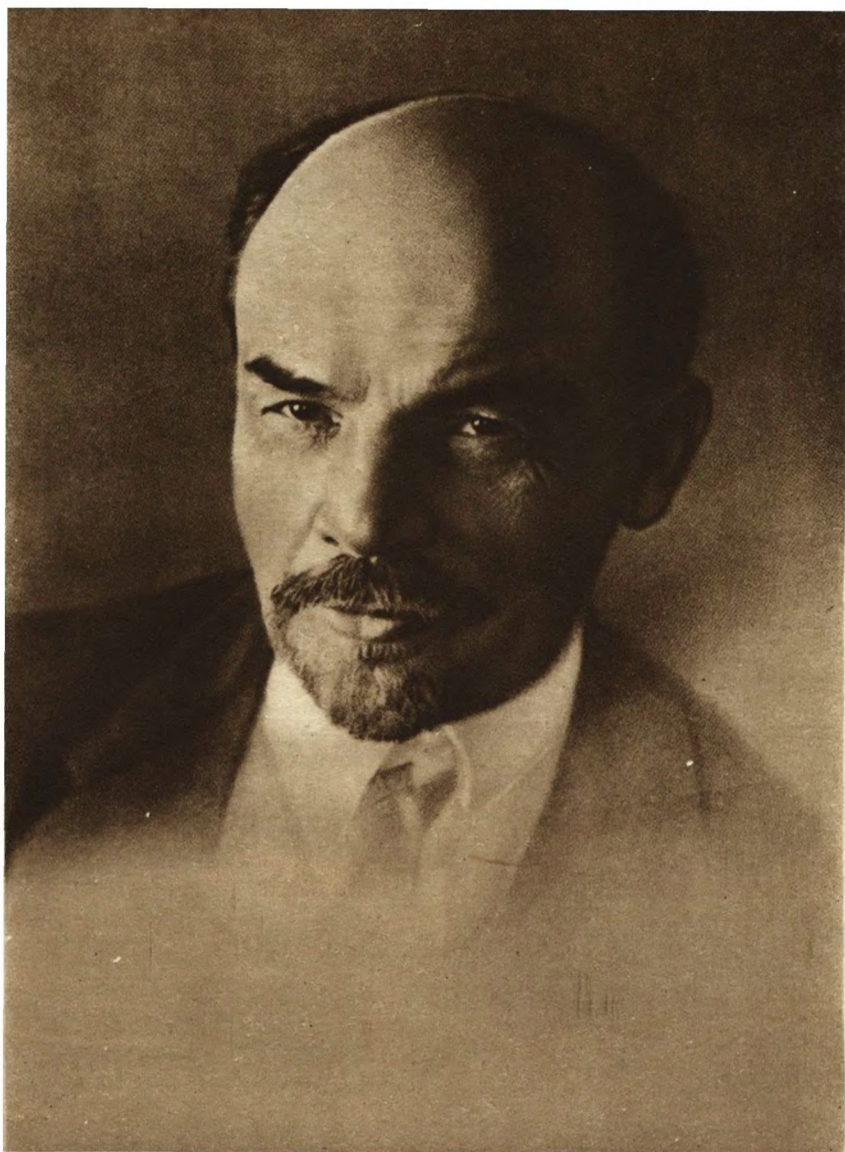
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

МАРТ

МОСКВА
1939

Уполн. Главлита А—4037.
Одано в набор 15/II—39 г. Подписано к печати 7/III—39 г.
18 печ. листов. Тираж 80.000. Зак. 408.
Технический редактор А. И. Гессен.
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская площадь, 5.

*ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ
XVIII СЪЕЗДУ
ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ
(БОЛЬШЕВИКОВ)*



В. И. ЛЕНИН

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ С'ЕЗД ВКП(б)

Вся наша великая родина с подъемом, с огромным чувством гордости и радости готовится к XVIII с'езду Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, партии Ленина — Сталина.

Уже прошли собрания коммунистов первичных организаций, партийные конференции в районах, краях и областях, и в национальных республиках.

С большевистским жаром и страстной активностью обсудили коммунисты тезисы докладов товарищей Молотова и Жданова.

Эти тезисы докладов коммунисты единодушно одобрили.

И собрания и конференции ярко показали нерушимое единство и сплоченность партийных масс всей партии вокруг Центрального Комитета и товарища Сталина. Выступления товарищей, их речи дышали страстью бойцов за коммунизм, пламенной глубочайшей любовью и безграничной преданностью руководящему штабу Коммунистической партии—Сталинскому Центральному Комитету.

В Сталинской Конституции записано: «Наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются в Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных».

В обосуждении тезисов доклада това-

рища Молотова о третьем пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР приняли участие коммунисты — стахановцы промышленности, сельского хозяйства, деятели науки, искусства и других областей социалистического строительства.

В их выступлениях нашел свое выражение необъятный, крупнейший опыт всего нашего советского народа, разносторонний и богатый опыт партийной массы.

Коммунисты выступали со всей ответственностью работников, отдающих себе ясный и трезвый отчет во всем размахе и величии стоящих перед ними задач. Они выступали, как передовые деятели нашего социалистического государства, создавшего социалистический строй и вступившего в новую полосу развития, в полосу завершения строительства бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Партия Ленина—Сталина за годы своего славного, исполненного борьбы, существования выковала организационные основы боевой революционной партии пролетариата, партии нового типа.

Партия всегда исходила из того, что форма организации и методы работы всецело определяются особенностями данной конкретной исторической обстановки и теми задачами, которые из этой обстановки непосредственно вытекают.

Данная же конкретная обстановка это: победа социализма и поэтому коренное изменение классов и классовых отношений в стране. Полностью и окончательно ликвидированы капиталистические

классы. Коренным образом изменились рабочий класс и крестьянство. Интеллигенция, связанная всеми своими корнями с рабочим классом и крестьянством, стала тоже иной — новой, советской интеллигенцией.

«Классовые грани между трудящимися СССР стираются, падают и стираются экономические и политические противоречия между рабочими, крестьянами и интеллигенцией. Создалась основа морально-политического единства советского общества». (Тезисы доклада тов. Жданова).

В соответствии с этим в тезисах доклада тов. Жданова намечен единый порядок приема в партию для рабочих, крестьян и интеллигенции: каждый вступающий в партию представляет рекомендацию 3 членов партии с трехлетним партийным стажем, знающих его по совместной работе не менее одного года.

Намечено дополнение к разделу устава партии о членах партии и их обязанностях — пунктом о правах члена партии. Эти права считались сами собой разумеющимися, но они не отмечались в уставе. Это дополнение отвечает росту активности членов партии и имеет исключительное значение для повышения их ответственности за дело партии, для ограждения членов партии от проявлений бюрократизма.

Намечено дополнение к уставу рядом положений, которые должны оградить право членов партии от всякого произвола и обеспечить максимум осторожности и товарищеской заботы при решении вопроса об исключении из партии или восстановлении в партии, внимательный подход и тщательный разбор обоснованности обвинений, предъявленных члену партии.

Намечено — отменить массовые чистки партии, как исключаяющие возможность единственно правильного индивидуального подхода к членам партии; чистки также оказались мало действительным средством по отношению к враждебным элементам, прорвавшимся в партию, двурушничски маскирующим свое вражеское лицо, иногда пользующимся чисткой для огульного исключения из

рядов ВКП(б) честных членов партии и сеющих излишнюю подозрительность в партийных рядах.

Намечено — отменить требование к кандидатам, вступающим в партию, о том, что они должны не только признавать программу и устав, но и усвоить программу. Товарищ Сталин на февральско-мартовском пленуме (1937 год) указал, что это требование неправильное, что оно противоречит проверенной и выдержавшей все испытания ленинской формуле о членстве в партии, в которой говорится не об усвоении, а о признании программы.

«Новые задачи партии, возникшие в связи с поворотом в политической жизни страны, с принятием новой Конституции Союза ССР, потребовали от партии соответствующей перестройки практики партийной работы на основе безусловного и полного проведения в жизнь начал внутривнутрипартийного демократизма, предписываемого уставом партии» (Тезисы доклада тов. Жданова).

Партия установила при выборах партийных организаций закрытое (тайное) голосование, отменила практику кооптаций, установила обязательность периодического созыва партийных активов. Эти и другие мероприятия вызвали дальнейший подъем уровня партийной жизни, активности членов партии.

Тезисы доклада тов. Жданова говорят: «Устав должен отразить эти новые мероприятия партии, проверенные практикой, обеспечившие дальнейшее развитие критики и самокритики, подъем ответственности партийных органов перед партийной массой, рост активности партийной массы, и тем самым способствовавшие вооружению партии для успешного разрешения новых задач политического руководства».

В соответствии с новыми задачами партии должен быть перестроен партийный аппарат.

Центральной задачей партии в области организационной работы была и есть задача правильного подбора людей и проверка исполнения. Практическое решение этой задачи намечено обеспечить концентрацией всего дела подбора и подготовки кадров в едином аппарате.



И. В. СТАЛИН

Намечено также устранить несостоятельное распыление проверки исполнения между различными отделами в партийном аппарате. В соответствии с этим намечено изменение характера деятельности Комиссии Партийного Контроля, в задачу которой должно войти усиление контроля за выполнением решений ЦК ВКП(б) и организация систематической проверки работы местных организаций.

Предложение об установлении более низкого обязательного партийного стажа для руководителей партийных организаций и политотделов создает условия для выдвижения на руководящую партийную работу новых кадров партийных работников.

Дополнение схемы центральных организаций партии—Всесоюзная конференция партии. Созыв конференции не реже одного раза в год из представителей местных организаций для обсуждения назревших вопросов политики партии в условиях повысившегося темпа партийной и государственной жизни создает возможность быстро реагировать на запросы, выдвигаемые жизнью.

В отношении деятельности первичных организаций—в тезисах доклада тов. Жданова намечено:

— Для повышения роли первичных партийных организаций производственных предприятий и их ответственности за состояние работы предприятия им должно быть предоставлено право контроля работы администрации предприятия. Наркоматские партийные организации в силу особых условий работы не могут пользоваться функциями контроля, они обязаны сигнализировать о недостатках в работе учреждения, отмечать недостатки в работе наркомата и его отдельных работников и направлять свои материалы и соображения в ЦК ВКП(б) и руководителям наркоматов.

Таковы основные вопросы партийного строительства, поставленные в тезисах доклада тов. Жданова.

Изменения и дополнения полностью отвечают изменениям в классовой структуре СССР и очередным задачам партии.

Исторические задачи, стоящие перед партией и всем народом, грандиозны.

Величественные, захватывающие перспективы открывает перед страной третий пятилетний план. Конкретно стоит задача—догнать и перегнать в экономическом отношении наиболее развитые страны Европы и Соединенные Штаты Америки. В третьей пятилетке мы должны обеспечить достойную социалистического общества производительность труда рабочих, крестьян, интеллигенции.

Ленин учил нас, что в последнем счете самым важным, самым главным для победы нового общественного строя является производительность труда. «Необходимо иметь в стране такую производительность труда, которая перекрывает производительность труда передовых капиталистических стран»,—так говорил на первом совещании стахановцев товарищ Сталин.

Третья пятилетка на новую высокую ступень поднимает материальное благосостояние и культурный уровень народов СССР. Третья пятилетка обеспечит создание крупных государственных резервов. Сила и мощь социалистической державы неизмеримо вырастут.

Все это вызывает чувство глубокого удовлетворения и горделивой радости в народе, чувство горячей любви к организатору социалистических побед—Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.

Пять лет после XVII с'езда были наполнены величайшими событиями в жизни партии, в жизни народа.

Партия провела громадную работу—разоблачив и выкорчевав троцкистско-бухаринские и буржуазно-националистические банды вредителей, диверсантов, шпионов иностранных разведок. Эта борьба, разоблачение и разгром гнезд изменников, предателей народа повысили бдительность коммунистов и непартийных большевиков. Партия неизмеримо укрепила свои связи с массами.

Страна победоносного социализма—наша родина борется за полное торжество коммунизма в условиях капиталистического окружения, которое ведет против нас «малую войну», засылая шпионов и диверсантов, и готовит воен-

ное нападение на СССР, стремясь в этом найти выход из тисков кризиса, спасение от неизбежной гибели.

«В условиях капиталистического окружения дело идет не об отмирании социалистического государства, а его способности победоносно отражать удары классового врага, и особенно со стороны не разбитого еще классового врага вне пределов СССР. В современных условиях вопрос стоит не об отмирании советского государства, а в том, чтобы усилить мощь нашего государства, чтобы иметь крепкое и могущественное, по-большевистски организованное государство». (Из доклада тов. Молотова «21-я годовщина Октябрьской революции»).

А это также значит, что наша героическая Красная Армия должна быть так сильна, ее мощь должна быть такова, чтобы СССР не страшны были никакие коалиции в капиталистическом мире. В боях на озере Хасан Красная Армия показала свою мощь, беззаветную доблесть бойцов, — с именем Сталина, с именем родины штурмовавших японо-фашистские позиции и нанесших наглому врагу сокрушительный отпор.

Только что, в славную XXI годовщину существования РККА, все бойцы, командиры, политработники во главе с высшим командованием приняли священную клятву на верность Родине. Принял присягу первый гражданин СССР — великий и родной товарищ Сталин.

И в акте принятия присяги — яркое выражение коммунистического сознательного отношения к родине, к борьбе, к великим задачам.

В деле осуществления величайших грандиозных задач, стоящих перед страной, перед всем советским народом, решающее значение приобретает коммунистическая сознательность в работе на пользу нашего государства, народа и всей родины.

Это — та коммунистическая сознательность, которая уже воплощена в труде стахановцев, в подвигах летчиков, героев-бойцов, командиров и политработников нашей героической Красной Армии, в героических трудах деятелей науки, искусства, литературы и других областей социалистического труда.

Гигантски возрастает роль советской интеллигенции уже сейчас, когда «решают дело советские культурные силы, возглавляющие массы трудящихся в их великой борьбе за полную победу коммунизма». (Из тезисов доклада тов. Молотова).

Советская интеллигенция, уже доказавшая свою преданность делу социализма, желание и умение трудиться вместе с партией, с народом, призвана совершить еще много исторических подвигов и побед на пути к полному коммунизму, на пути борьбы за победу коммунизма во всем мире, на пути борьбы за полную ликвидацию противоположности между трудом умственным и трудом физическим.

Работники советского социалистического искусства и литературы, чья плодотворная деятельность признана и высоко оценена всем советским народом, — призваны создать яркие могучие произведения, достойные великой Сталинской эпохи и ее героических деятелей.

Единой, монолитной, сплоченной идейно и организационно идет великая партия большевиков к своему XVIII съезду. Одержаны величайшие победы, одержаны благодаря верности Ленину и ленинизму, одержаны благодаря мудрому руководству Центрального Комитета и лично товарища Сталина.

Со знаменем Ленина — Сталина партия и народ, слитые в несокрушимом политико-моральном единстве, одержат окончательные решающие победы в боях за коммунизм.



М. И. КАЛИНИН

ДОРОГОЙ

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ!

Двадцать лет тому назад, в суровый девятнадцатый год, председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета были избраны Вы, крестьянин по происхождению, рабочий-металлист по профессии, верный сын и пламенный борец партии Ленина-Сталина, выдающийся деятель первого в мире социалистического государства.

Мы празднуем эту дату, шлем Вам сердечный привет и пожелания—жить долго, долго и работать так же плодотворно, на страх врагам народа, на благо всем трудящимся.

*Редакция журнала
„НОВЫЙ МИР“*

Односельчанину-большевику

НИКОЛАЙ НЕЗЛОБИН



Как откроется Ленинской партии с'езд,
Первым долгом скажи там в
 торжественный час,
Что, мол, с верхней Оки, с левобережных
 мест,
Столбовые крестьяне приветствуют вас,

Что у нас, мол, весна на Оке хороша,—
На прогретых пригорках воркует вода,
И высокое солнце идет неспеша
По следам человеческого труда.

Мы поедем пахать—борозда к борозде,
Станем сеять, — так самым отборным
 зерном,
А случится война — не сробеем нигде
И любого врага во-свосяи турнем...

Выйдет Сталин. Запомни и в сердце к
 себе,
Как в живую тетрадь, запиши поверней
Все, — от слова до слова, чтоб стало
 тебе
Чем порадовать граждан деревни своей!



Десятое марта

АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР

★

Снова тает снежок, и чернеют деревья, и заново
Пробивается стебель, и иглы топорщит сосна.
Слышишь запах полей? — Он ни разу еще
не обманывал.
Видишь легкое облако? — Скоро нагрянет весна.

Мы смирили природу, воздвигли просторное здание.
Пятилетки встают, поднялись этажом к этажу.
Приближается с'езд. Это лучших из лучших
свидание.
Я десятого марта к родному Кремлю подхожу.

И яснее глаза, что высокое солнце увидели!
И крепчает рука, добывавшая уголь и медь!
Начинается с'езд. Входят в солнечный зал
победители,
Чтоб немеркнувшей славой у сердца страны
пламенеть.

Появляется вождь.
Это длится одно лишь мгновение.
Но мгновение это века затмевает, мой друг!
Подымает он руку, чтоб наше умерить кипение.
Начинает он речь, — и становится тихо вокруг.

★

18 марта 1871 года

ЭЖЕН ПОТЬЕ

★

Тесней, товарищи, сомкнем
Свои ряды в союз единый —
И, в день великой годовщины,
Коммуне славу воспоем!

В тот день, в день схваток боевых,
Мы прорывали все засады—
И помнят камни мостовых,
Как здесь гремели баррикады.
Такой бушующий поток
Еще в истории неведом:
То был невиданный пролог
К грядущим битвам и победам.

«На штаб предателей, на бой!»
Взывали в гнѣве коммунары.
И вот восставшей голытьбой
Отбиты пушки в битве ярой.
Вся банда трусов, палачей
Вдруг скрылась под ночным
покрывом,
Париж срывает гнет цепей
И миру— мир готовит новый.

Тот день был днем безвестных
лиц,
Людей без имени и рода,
Рабочих с волей без границ,
Вождей-бойцов из недр народа.

То был день радостных побед,
Когда, восстав, бойцы из стали
Через свой центральный комитет
Владыкам волю диктовали.

Толпами к ратуше летя,
В рабочих блузах, весь сияя,
Париж ликует, как дитя,
Коммуны день провозглашая...
И возвещается пальбой
Последний день буржуазии,
И радость рвется, как прибой
Разбушевавшейся стихии...

То было в утро вешних дней,
Когда ликует все живое.
В сиянии солнечных лучей
Блестало знамя боевое.
Простой лоскут, что нес народ,
Горел, как золото, сверкая,
Бросая пламя в небосвод,
К шахтерам в бездны проникая...

Тесней, товарищи, сомкнем
Свои ряды в союз единый —
И, в день великой годовщины,
Коммуне славу воспоем!

Перевел с французского
АРКАДИЙ КОЦ.

★

Разрыв-трава

РОМАН

Н. ЧЕРТОВА

★

I. ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ

1

В субботу под вечер на луга приехал староста. Осадив жеребца у стана косцов, где на поднятых оглоблях качались люльки и над легкой золой костра остывал пустой таганчик, староста встал на дрожки и помахал белым картузом. Ближние косцы побежали к стану, оставляя на траве влажные следы: луга здесь были заливные, и в первый весенний покос трава стояла росная.

Староста был при бляхе, густые кудри его потемнели от пота.

— Жалует к нам губернатор, — громко сказал он, когда народ сбился у дрожек. — Приказ вышел: всем хозяевам завтра баб и лошадей за белой глиной отрядить. Избы пусть побелю!

— На-тебе! А косьба? — пронзительно крикнул мужичонка Кузя, которого за малый рост звали «Аршин в шапке».

— Трава высока ныне, перестоит, повалится, — степенно и с укором сказал бородатый свояк старосты.

Староста натянул картуз и опустил недобрые глаза. Его сыновья косили делянки на этих же лугах. Но — служба оставалась службой.

— Трава каждый год растет, — раздраженно сказал он. — А губернатор в сто лет один раз жалует!.. Их превосходительство, господин губернатор, — важно поправился он. — Приказ вышел: у кого плетень пал — поднять!

Крыши подправить! Улицы разместить! После праздника встречать будем. Смотрите у меня!

Староста обвел косцов строгим взглядом.

Впереди всех переминался на длинных ногах вдовец Иван Бахарев. Был он очень высок и могуч в плечах, но говорил тонким, бабьим голосом, за что с молодости прозвали его Дилиганом.

Рядом с Дилиганом, расставив ноги, плотно обернутые портянками, стоял маленький Кузя, Аршин в шапке. Староста видел сначала только русский, спутанный затылок мужичка. Потом, опустившись на дрожки, староста неожиданно встретился со светлым, пристальным и недобрим взглядом Кузи.

— Слушай-ка, ты, — медленно, с нажимом сказал староста. — Твой саманный сруб стоит на самой дороге. Приказано убрать. Намесишь нового кирпичу, такой же дворец складешь.

— На-тебе! — вскрикнул Кузя. — Я жаловаться буду!

Староста усмехнулся, подобрал вожжи и тронул дородного жеребца. Он сделал вид, что ничего не услышал, и все-таки досадливо поежился, увозя с собой ощущение прямого и твердого взгляда Аршина в шапке.

Позднее всех к стану подоспела худущая баба Авдотья Нужда. Она косила на самом отдаленном загоне.

Косцы, хмурые и молчаливые, разошлись по лугам. На примятой траве осталась одинокая фигурка Дуньки,

малой дочки Дилигана. Дунька, по привычке своей, стояла журавликом, поджав одну босую ногу.

— Что тут подеялось-то? — спросила ее Авдотья.

— Губернатор бумагу прислал, избы велел белить.

Дунька тряхнула льняными косичками, глазенки ее жадно заблестели.

— Тетенька, а кто это — губернатор?

Авдотья повернула к девочке сухое, неожиданно нежное, синеглазое лицо:

— Высокий человек, — тихо и певуче сказала она. — В каменных палатах живет!

Дунька переменила ногу и удивленно разинула рот.

— Больше моего тяти?

— Больше, — усмехнулась Авдотья. — Он все может. Солнце только не остановит. Землицы бы у него, у батюшки, испросить.

...Белая глина лежала в овраге, в десяти верстах от деревни. В воскресенье затемно к оврагу потянулся крикливый бабий обоз. Глину ковыряли лопатами, ломами, она отваливалась жирными лепешками. Потом бабы, подоткнув юбки, обмазывали стены. Стены пошли сырыми пятнами, пожелтели и к вечеру стали белеть.

На другой день мальчишки в праздничных сатиновых рубахах с утра залезли на колокольню. Стражник, багровый от жары и нетерпенья, то-и-дело выбегал на дорогу. Кузя в новых лаптях злобно топтался на ровной прогалине, где только что стоял его саманный сруб. Внезапно обернувшись, он увидел Дорофея Дегтева, утевского богача. Дегтев шел, твердо скрипя ногами сапогами, суконная поддевка его была распахнута, и под ней пронзительно синела шелковая расшитая рубаха.

Кузя независимо заложил руки за веревочный поясик. Но Дорофей словно и не заметил Кузю, он глянул куда-то выше кузиной головы и быстро прошел мимо. Кузя успел только заметить, что худые скулы Дегтева пылают хмельным румянцем, а черные его волосы умаслены по-праздничному, до блеска.

Глухая бабка Федора в черном монашеском платье сидела у двора и бережно держала на коленях икону, обернутую чистым полотенцем. Ребятишки прокричали ей в самое ухо, что губернатор приедет на самокатке, без лошадей, и она решила встретить с иконой дьявольскую машину.

...С лугов, наполнину скошенных, густо пахло повялой травой и цветами, — на сенокосе никого не было, все толпились в деревне. Так, в напрасном томлении, прошел день. Губернатор не приехал.

2

Широкоплечую и костистую бабу Авдотью прозвали Нуждой за ее одинокую и трудную жизнь.

Робкой сиротой Авдотья была когда-то просватана за рыжего великана Силантия и прожила за ним тихо и смиренно добрый десяток лет. Мужик попался суровый, работяга, и Авдотья только было привыкла к незаметной, послушной жизни за широким плечом мужа, как вдруг Силантия взяли на японскую войну и через год убили в бою под Мукденом.

Авдотья осталась одна, с десятилетним Николкой, в немудрой избенке. К ней же прибилась, по немощности своей, старый отец Силантия, дед Полинаша. «Мужики мои — стар да мал!» — горько шутила Авдотья. Она гергеливо впряглась в пахоту, в косьбу, в жнивье...

Бумагу о смерти мужа Авдотья приняла в руки молча. На бумаге чернел царский орел. Авдотья уважительно поклонилась писарю и вышла.

Вечером горе прорвалось наружу. Оно захватило Авдотью внезапно, у колодца. Авдотья поставила наполненные ведра и повалилась на землю.

Соседка, богатая баба Семихватиха, видела все сквозь редкий плетень. Она вошла во двор Авдотьи, оправила подоткнутые юбки и присела на колоду.

Авдотья зашевелилась, подняла острое синеглазое лицо.

— Вот и муженек мой, Силантьюшко, — певуче и беспамятно сказала она. — А и тверды его плечушки — в сажень раздались. А и густы его кудер-

ки — светлым пламенем горят. Он ногой ступил — порог трещит, а и другой ступил — половица поет. Голосок свой подаст — по всей улице слышать...

Семихватиха растроганно всплакнула. Круглые и крепкие слезки стремительно прокатились по ее багровым щекам. Потом она деловито отбтерла лицо и насторожилась. Ее удивил авдотьин причит, — необычайный, не такой, какой принят был утесскими молодцами для всякого горя...

— Да уж нечего говорить: эдакий дуб свалился, — смущенно сказала Семихватиха. — А ты поплачь. Чего так-то говорить? Грех!

Авдотья повела на Семихватиху строгими глазами, сцепила пальцы и, раскачиваясь, сдержанно запела:

— Дай покличу Силантьюшку, неужли не отзовется? Дай родну головушку приставлю, неужли не срастется? Дай поклеваны глазинышки открою, неужли не глянут?

Так и ушла растерянная Семихватиха со двора вдовы.

В скором времени у Семихватихи помер хилый младенец. Был он у бабы поскребышем; смерть его она приняла как должное, для виду поплакала быстрыми слезами. Потом вдруг вспомнила горестный причит Авдотьи. «Искусница», — впервые удивленно подумала о вдовушке и отправилась к ней во двор.

— Поди, поплачь у дитятки моего, — повелительно сказал она Авдотье, — Ужо на поминках угостишься да деньгами дам...

Авдотья накинула шаль и отправилась. Сильный, грудной голос ее непривычно зазвенел в переполненной избе. Бабы слушали жадно и недоверчиво.

Авдотья пела о голубеночке, о легких крылышках, о мякonych ручках, о чистом ребячьем сердце. Так и выходило: младенец счастлив в непреложной своей смерти.

Семихватиха первая уткнулась в широкий подол: досадуя, даже сердясь, она вдруг заплакала настоящими, горькими слезами. И, пожалуй, не о ребеночке, а о себе.

За Семихватихой застонала, заплакала вся изба.

Так за вдовой Авдотьей установилась слава первой вопленицы на селе.

Молодой парень Николка, авдотьин сын, вырос, как трава в поле. Мать с утра до ночи бегала по мелким заработкам и сына будто не замечала. В голодные дни дед Полинаша, натужно кряхтя, слезал с печи, долго крестился перед черным, большеоким образом, дватри раза погружал ложку в мутный суп и лукаво говорил:

— Ну, вот я и наелся! Много ль старику надо?

Николка рано научился разгадывать и дедову хитрость, и суровое молчание матери.

На улице Николке кричали:

— Нужда идет! Рыжий!

Он жаловался матери, а она смотрела на него холодными синими глазами. Он стал ожесточенно драться. И снова мать молча отворачивалась, когда он приходил с разбитым, вспухшим лицом.

Однажды он притворился спящим, а сам тихонько поглядывал на мать. Авдотья склонилась у лампешки — она чинила дедову рубаху. От плохого света ее худое, измятое тенью лицо было все в темных провалах, сухая и тусклая прядь волос лежала на лбу. Она отложила рубаху, выпрямилась и вдруг остановила на Николке горестные глаза. На цыпочках она подошла к постели и провела ладонью по коротким вихрам сына. Николка крепко зажмурился и перестал дышать, облился горячим потом, всхлипнул и нырнул под одеяло. Было ему в это время лет двенадцать.

С тех пор между матерью и сыном установились молчаливые и согласные отношения взрослых. Оба они робели перед благодетельницей Семихватихой, но становились гордецами и недотрогами, когда дело касалось ремесла Авдотьи. Николка научился разговаривать с заказчиками особенно лениво и небрежно, чем сильно набивал цену.

Вырос Николка незаметно. Когда впервые весной он пошел за плугом, Авдотья вдруг увидела, что плечи у сына широкие, крепкие. Скоро у Николки сломался голос, он заговорил хриплым баском, стал угрюмое, сдержаннее. Было у него заветное жела-

ние — купить трехрядный баян. Дважды Авдотья приметила, как Николка по-мужски настойчиво и грубо стиснул на улице девушку.

Авдотья вспыхнула, опустила голову и, придя домой, тихонько и радостно поплакала.

3

Губернатор не приехал, и лето потекло дальше — знойное, в грозах. Над лугами неистово звенели комары, птица камнем падала в пыль и лежала с раскрытым клювом. Грозы поднимались неожиданные и бурные: с запада, из мокрого угла выползала черная туча, она плыла, низко и лохмато разрастаясь, и, наконец, низвергался прямой крупный дождь, прерываемый фиолетовыми молниями.

С половины лета начались лесные пожары. Первый дымок увидели за горой Лысухой и подумали сначала, что курится летнее киргизское кочевье. Но к закату дымок вырос в тучку, она порозовела с краев, и ночью на гору сел плотный огненный венец. Горел густой сосновый бор в пятидесяти верстах от Утевки.

Скоро через степь и реку до Утевки докатился душный, прелый запах гари.

В половине июля, перед самым жнитвом, Утевка во второй раз была оглушена вестью о губернаторе.

В воскресный день размели улицы, и снова началось томленье. Теперь всем было доподлинно известно, что губернатор едет на автомобиле, никогда еще не виданном в деревне.

Мальчишки опять полезли на колокольню.

Девки завели несмелую песню, но тут же смолкли и сбились в кучку у плетня. Улицы, наполненные прогорклым запахом гари, были по-праздничному торжественны. Староста в новой поддевке важно сидел у окна, — высокое солнце играло в его начищенной бляхе. Крутое, толстоносое лицо старосты было налит медным загаром, в маленьких глазках бродила колючая улыбка. Староста был доволен. Под его началом в двух пятистенных избах ходила мно-

гочисленная, послушная и работающая семья. Поля обильно зрели. Недавно он крестил шестого внука, и это снова был мальчик. Сам он имел трюх сыновей и только одну девку. Он считал, что если рождаются мужчины, — это признак сильной и счастливой крови...

Мальчишки, сидя на колокольне, всматривались в степную дорогу. Пыль на солнце выгорела, и дорога отчетливо и далеко белела.

Мальчишки притомились и о чем-то заспорили. Неожиданно самый маленький из них увидел далекий клубок пыли.

— Едут! Самокатка!

Народ стекался на околицу. Впереди несметно толпились босоногие ребятишки. Цветные полушалки девок жарко отсвечивали на солнце. Беспечные младенцы приваливались к коричневым грудям матерей. Мужики сдержанно басили и одергивали рубахи. Авдотья Нужда, в длинной черной шали, стояла строгая и смиренная, как на молитве.

Староста вышел вперед. Он бережно нес на вышитом полотенце румяный каравай хлеба, на котором стояла деревянная чашечка с солью. Седые, почтенные старики окружали старосту, только по правую его руку встал чернобородый, похожий на цыгана, молодой Дорофей Дегтев: его всегда пропускали в почетный ряд, — первому богачу первое и место.

Толпа стояла в торжественном молчаньи. Только мальчишки сновали вокруг и звонко кричали:

— Самокатка! Самокатка!

Но не самокатку увидела толпа, когда пыльный вихрь закрутился на ближнем пригорке, — по дороге скакал всадник на высокой лошади.

На полном скаку конный спустился в свражек и на мгновение скрылся из глаз. Когда же он вновь показался на дороге, все признали в нем волостного стражника. Он погнал коня прямо на толпу, издали крича:

— Старосту! Старосту!

Староста сунул каравай Дегтеву и шагнул вперед. Конный подскакал к нему, свалился с лошади и выхватил из кармана белый пакет. Староста принял

бумагу. Стражник сказал короткое, сердитое слово. Староста вдруг весь обмяк и обернулся к толпе.

— Православные, война! — сказал он и, судорожно всхлипнув, перекрестился.

4

Приказ о мобилизации был об'явлен на большом сходе. На войну шли мужики, молодые и сильные, главные работники в семье. Толпа стояла плотно и неподвижно, словно оглушенная. Только впереди размахивал короткими ручками Кузя, Аршин в шапке.

Солдатам положили прощальной гильбы трое суток.

По-одному солдаты отделялись от схода и сбивались кучками, — кривушинские, карабановские, с Большой улицы...

Вавилке, старшему сыну Семихватихи, поднесли гармонь. Вавилка топнул ногой и растянул гармонь во весь разлив.

— Эх, счастье — мать, счастье — мачеха, счастье — серый волк!

Вавилка был весь прежний, привычный: веснушчатый, светловолосый, в розовой распушенной рубахе. Но этот молодой женатый мужик через три дня уезжал на чужую сторону. Семья, хлебное поле, недокрытый сарай неожиданно отошли от него надолго, может быть, безвозвратно. И в молодом мужике вдруг возникла властная отчужденность от всего, от всех.

Трое суток надо было заливать вином и песнями разлуку, страх, любовь. И вот солдаты заорали песню, вразброд, хмельными голосами, хотя вина еще не было выпито ни капли. Толпа шла позади, наблюдая за солдатами с почтительной покорностью.

В группу мобилизованных почему-то затесался глухой кузнец Иван. Едва ли он понимал, что происходило. Он поглядывал на солдат голубыми, удивленными глазками и поживался словно от холода. Неожиданно он запел протяжную песню, ту самую, которую в Утевке пели только во время самых больших гулянок.

— Угадал, дядя Иван! — закричал в самое ухо кузнеца озорной Вавилка.

Со степи напахнул ветер, — сытый, житный. Велик был урожай в этом году! На полях шумели дородные хлеба, и еще вчера хозяин радостно давил в ладони крупное, молочное зерно...

Маленький Кузя сорвал картуз и шумно вздохнул.

— Как это крестьянина от поля отрывать в горячую пору?

— Царева воля, — пробормотал желтолицый больной старик, отец солдата.

— Убрать дали бы, — не унимался Кузя. — Серпы уже вызубрены. Может, прошенье губернатору подать? Ведь губернатор до нас каку-нибудь малость не доехал!..

— Да он никогда до нас не доедет! Деды наши его не видывали, — тонко и насмешливо сказал Дилиган.

Желтолицый старик испуганно оглянулся.

— Мы — ничего, мы — пойдем, — пробормотал он и махнул рукой.

Сына его тоже призывали на войну, он шел теперь с солдатами, и старик издали видел то широкие его плечи и взлохмаченную русую голову, то рыжие сапоги.

— Твой-то в обоз пойдет, — с завистью сказал робкий и болезненный степь Вавилки. — Ростом, вишь, не вышел.

Старик промолчал. Сын его Павел Гончаров действительно был невелик ростом, как и все Гончаровы, прозванные в деревне Скворцами.

Вавилка наклонил ухо к гармонии и залился высоким тенором:

Как по чистому по полю,
Я рассею свою горю,
Уродися, моя горя, —
Ни рожь, ни пшаница!

Ребятишки густо облепили солдат и завистливо смотрели в рот Вавилке: он умеет петь на всю деревню, он в городе получит настоящее ружье и будет стрелять!

Голубоглазый солдат, с лицом, выцветшим от солнца, обнял молодую беременную жену и, на виду у всех, бесстыдно помял ее груди. Баба судорож-

но всхлипнула и сунула в рот конец полушалка.

— Молчи, дура! — рявкнул на нес муж. — Солдату все можно!

Он внезапно оттолкнул бабу и, заломив фуражку на затылок, вплеп свой голос в песню, от которой задрожал и раскололся знойный воздух.

Распрошай, наша деревня,
Родимая сторона...

Сзади в толпе плакали, ругались, галдели:

— Кто знает, какой он, немец-то? Далече от нашей волости.

— Говорят, крещеные они.

— Крещеные, да не по-нашему.

— Сколь у нас в России земли-то... Неужто тесно ему стало, царю-то?

— Его воля!

— Значит, за одного его сколь христианских душ лягут...

— Прикуси язык-то!

— Аршин в шапке, а туда же: тебя не спросили.

В передних рядах примолкли. Кузя сердито мял картуз. Солдаты закричали оглушительно и недружно:

Прощай лавочки, трахтеры,
Распитейные дома...

— Нет, мужики: однако, писарь у нас плохой, — встрепенувшись жидкий и хлопотливый мужик Хвош, — писарь смутно очень вычитывал! Разойдись, говорит, и все! Может, в других деревнях рекрута с весельем идут!

— Темные мы, — загадочно улыбнулся Кузя. — Плавал по Току селезень с утицей, вот и стала наша Утевка.

Гармонь крякнула и смолкла. Говор в толпе опал. Вавилка круто обернулся и поискал глазами в народе.

— Мамка! — заорал он. — Ступай плясать!

— Да что ты! Может, в последний разок тебя вижу...

— Не перечь! Теперь я власть над тобой поймаю!

Семихватиха встретила с хмельными, потемневшими глазами сына и покорно всхлипнула. Гармошка повела плясовую.

— Повесели нас, мать, — серьезно

сказал голубоглазый солдат. — Моя баба, видишь, тяжелая.

Семихватиха грузной птицей поплыла по дороге в медлительном и дробном танце. В зажатом кулаке ее над головой трепыхался платочек. По распаренному лицу неудержимо лились мелкие слезки, прямо в пыль...

Бабы незаметно отбились от толпы и нырнули в проулок. Здесь были заплаканные солдатские жены и матери. С ними пошли круглолицая кузнечиха и строгая, чернобровая Мариша. Мужа кузнечихи по глухоте не могли взять на войну, но она любила всякий шум и теперь кричала и плакала громче всех, из любопытства и по дружбе. У Мариши дома лежал чахоточный, нелюбимый муж, его тоже не могли взять на войну, но Мариша пришла поплакать о своем горе. Пустынной улочкой бабы вышли на конец Кривуши, к избе Авдотьи Нужды.

Старая вдова Софья первая вошла к Авдотье и смиренно поклонилась.

— Привипо нам, Овдотьюшка, вещьее твое сердце!

Авдотья повернула к ней бледное лицо.

— У тебя, Софья, аль взяли?

— Сына да зятя...

Бабы тихонько расселись по скамьям и на скрипучую кровать.

Авдотья степенно вытерла кончиком шали сухой рот, оправила волосы, — но вдруг взмахнула руками и повалилась головой на стол:

— Родимый ты мой Силантьюшко! Желанный да горький голубь мой: ох, и ноют же твои косточки во чужой земле! Не сплывать синю камушку поверх воды! Не вырывать на камушке муравой травы...

— Мертвую кость не шевели, матушка, — строго, стиснув зубы, сказала Софья. — Про наше горюшко припой, оно на свежих дрожжах замешано.

Авдотья выпрямилась, ладонью утерла лицо.

— Вот как скажу вам, бабоньки: бог пули носит. Не всякая пуля в кость да в мясо, а иная и в кусты. Теперь что будешь делать? Кто и почище нас, да слезой умываются.

Она покашляла, очистила голос, уставилась в пустой угол блестящими глазами и завела:

— Не было ветру, да вдруг повянуло. Не было грому, да вдруг погрянуло. Дома ль хозяин? Беда пришла. Дома ль хозяйка? Отворяй ворота...

— Да уж и верно! — шепнула темноглазая молодуха.

— Счастье наше — вода в бредне, — ровно сказала Софья. — Припой, катка.

— Уж и закатилось солнышко за леса дремучие! — Авдотья подняла голос еще выше. — За леса дремучие, за горы толкучие! Как не сине облачко пала на мать сыру-землю, а бела бумага да с черным орлом... Мы, бабы, своим рассуждением ничего не понимаем, — неожиданно прервала причит Авдотья. — Куда гонют? За каким делом гонют? То на японца, теперь — на германца. Господи помилуй, смутно как. Иль на свете великое какое есть прегрешенье? Простите меня, бабоньки... Глупа да грешна.

Молодухи шумно сморкались, стонали, закрывали вспухшие лица широкими юбками.

Софья оплела грудь длинными, жилистыми руками. Рот у нее был крепко сжат, глаза сухо горели: старая женщина привыкла носить свое горе сурово, молча, между делом.

За избой нарастал густой гул: толпа дошла до края деревни. Проклюнулись визгливые голоса гармошки. Отчетливый басок пропел за окном:

Ты разлука шельма — скука,
Расчужая сторона...

— Андреюшка мой! — крикнула темноглазая молодуха. Она вскочила, оправив юбки и, кусая губы, толкнула дверь.

5

Прощальные дни пролетели угарно и бестолково. Солдаты пили, озоровали, оглушали деревню непотребными песнями. В последний день, перед самым отъездом Дорофей Дегтев поставил мобилизованным прощальное ведро водки. Для почину он выпил сам полный ста-

кан и, совершенно не опьянев, прошелся вприсядку на своих длинных и сильных ногах.

Солдаты знали, что Дорофею на войну не итти: у него была счастливая грыжа. Угощенье его и все старания они приняли хмуро, — казалось, что этим ведром водки Дегтев откупается от беды. Выпив угощенье, солдаты в последний раз прошли с песнями по всей Утевке и на прощанье разбили два окна в винной лавке. Толстый целовальник Степан Тимофеич выбежал было на крыльцо, но маленький Павел Гончаров крикнул ему дурным, пьяным голосом: — За твое брюхо помирать идем! — и целовальник трусливо убрался во-своися.

На другой день деревня провожала мобилизованных.

Длинная цепь подвод вытянулась по улице Кривуше. У изб мобилизованных толпился народ, ворота были тревожно распахнуты. Пестрые куры, кудахтая, вылетали из-под ног, ветер закручивал легкую пыль, из окон несло кислой сдобью прощальных лепешек.

Рыжеусый стражник дважды проехался по улице на толстом мерине. Стражник и мерин, оба бесстрашные и ленивые, должны были доставить солдат в город.

В избах солдаты торопливо клали земные поклоны родителям, целовали иконы, гремели сундучками.

— Выходи, выходи! — басил стражник.

Морда мерина пыхтела прямо в окно.

Солдаты один за другим кланялись в воротах родному двору и влезали в телеги.

— Рожоны вы мои! — гудела оглушительным басом старуха Федора, одинокая, глухая вековуша.

Солдаты были разбиты усталостью и хмелем. Один из них вскочил в телегу, держа в руках грудного младенца.

Передняя подвода тронулась, и на ней тотчас же рывкнула гармошка. Разноголосо запричитали женщины. Отец держал ребенка отчаянно крепко и неумело, — из пеленок высунулись маленькие, розовые пятки.

— Куда ты его, задушишь! — кричала простоволосая мать:

Она пошла рядом с подводой, насто-роженно вытянув руки.

Широко и сумрачно шагала беременная солдатка. Муж склонил к ней опухшее, расквашенное лицо:

— Телку береги. В случае — продашь. Пшеницу до колоса собери. Брательника на помощь крикни.

— Всякому до себя, — сурово сказала женщина.

Гармошка на передней подводе неладно пиликнула «Последний нынешний...» и смолкла.

— В степи играть буду, — буркнул Вавилка и посмотрел на мать пьяными, замученными глазами. — Не нагулялся я, мамка, не наигрался. В город приеду, — стекла бить буду.

— Что ты! Грех!

Девушки шли в стороне цветистой стайкой. У одной из них уезжал жених. Девушки манерно распушили концы полушалков и поглядывали на молодых солдат с испугом и жалостью.

— Ой, морок темный...

— Зубы чакают, девоньки!

Невеста — пышная девица на возрастe — вдруг запела тонким, дрожащим голосом:

Не разливайся мой тихий Дунай,
Не потопляй зеленые луга...

Девушки переглянулись:

— На-ко, Елена свадебную запела.

— Страсть!

Про Елену говорили, что у нее из рта «пропастью пахнет». Зубы у Елены были редкие, острые, кошачьи. Она старалась держать рот закрытым — дыханье у нее было гнилостное. По этой причине Елена засиделась в девках, над ней смеялись парни, и теперь уезжал последний ее жених, молодой вдовец.

Во тех лугах ходит белый олень,
Белый олень, золотые рога...

Бабы шли по другую сторону обоза. Среди них белело острое лицо Авдотьи. Когда приутихли первые крики и плач, Авдотья запахла тяжелой шалью,

низко поклонилась обозу и завела голос на причит:

Уж и куда, куда поезжали наши соколики
родные

От витого своего теплого гнездушка,
от обидной своей семейюшки?

Али плохо матушка кормила да нежила?

Али плохо батюшка уму-разуму учил?

Али степя стали да не широкие?

Али темные леса стали да не густые?

Али пшеничка выспела да не колосистая?

Уж и припаду я, расступися, мать

сыра-земля!

Степь наша широкая да не стонет ли?

Поля наши высокие да не клонятся ли?

Соколики ясные, братушки!

И на кого же вы нас, горьких, спокладаете?

И на кого же вы полюшко свое спелое

оставляете?

А чужая-то сторона не медом налита, —

Не медом шалита да не сахаром присыпана...

Мужчины шли за подводами, понурив головы.

— Правду кричит, вот баба!

— Голос у ней вольный да нежный!

Бабы ловили каждое слово, жадно вытягивая шею, и жестоко утискивали крикливых младенцев.

— Уньвно как!

— Скотину со двора погони, и та замычит.

— Ох, истомушка!

Стражник заломил набекрень тугую фуражку и освободил пылающее ухо. Он дважды беспокойно оглядывался назад: там, на легком тарантасике, ехал старший чин. Наконец, стражник не выдержал. Его мерин, тупо грохоча и вздымая пыль, проскакал вдоль всего обоза.

Стражник отдал честь:

— Баба неладно воет там. Прикажете убрать?

Старший чин был в сильном хмелю.

— Причит есть дикое выражение печали, — вяло промямлил он.

Стражник самолюбиво побагровел.

Обоз выполз из деревни. Солнце палило головы. Воздух слонлся, горячий и густой. Степь, седая от ковылей, и выцветшее небо сливались на горизонте в одну серую полосу. Расставаться положено было за деревней, у кладбища. Передняя подвода резко остановилась. Остальные лошади попятнулись друг на друга, хомуты наехали им на самые уши.

— Рожоны вы мои! — отчаянно басыла старая Федора.

Толпа заметалась, завопила, сбилась у телег. Длинный Дилиган рванул за ручонку оробевшую Дуньку.

— Чего плачешь? — пронзительно крикнул он Федоре. — Сама, небось, не рожала!

— Вот сердце-то у меня на всех и расположено, — на всю степь ответила Федора.

Беловолосый солдат ревниво шептал беременной жене:

— Сына принесешь — пропиши. Гляди, себя сберегай, не загуливай! Знаешь мой характер? Сомну!

Вавилка поцеловал мать быстро, словно укусил:

— Ну вот: выпили — и рога в землю. Не плачь, мамка, вернусь я — либо полковник, либо покойник.

— Будет скалиться, дурень, горе мое!

Вдова Софья подняла к телеге четверых ребят, одного за другим. Лицо у нее было строгое и словно подернутое пылью. Ребятишки испуганно ревели. Потом Софья крепко вытерла рот и поцеловала сына.

— На баб да на ребят хозяйство оставляется, — отчетливо сказала она, подставляя губы зятю.

Двое мужиков переглянулись и опустили головы.

Длинноногий и кудлатый вдовец, жених Елены, встал на телеге во весь рост. Он нерешительно поискал глазами в толпе и махнул рукой:

— Эх, да не у всякого жена—Марья!

Пьяный солдат, державший в руках младенца, тоже поднялся на телеге, поклонился толпе в пояс и сказал хриплым, запойным голосом:

— Прощайте, добрые люди, простите!

По толпе словно дунуло ветром, — все дружно склонили головы.

— Бог простит! — тонко, по-бабьи, взвизгнул Дилиган и заплакал.

Дунька крепко уцепилась за штанину отца, большие глаза ее влажно и испуганно блестели.

Обоз тронулся. У пьяного солдата с трудом вырвали младенца, — солдат

тупо улыбался, и в цепких руках его так и остался белый комок пеленки.

Обоз утянулся в степь. Он становился все меньше, все чернее, все короче. Звуки гармошки доходили глухие, как из-под перины.

Толпа притихла и оцепенело стояла у кладбища.

— У царя колокол такой есть: как брякнет, вся Расея закипит, — ни к чему прокричала старуха Федора.

Заплаканная молодуха заглянула в лицо Авдотье и жалостно прошептала:

— Об нас кричала, а глядь, и самой придется. Николку твоего возьмут...

Авдотья обернулась к ней сразу всем корпусом:

— Моего сына никогда не возьмут! Один сын, один работник в семье. Законы есть, матушка!

Она отвернулась, вся вдруг потемневшая, сверкая расширенными глазами.

6

Авдотья редко шла вопить на сторону. Она охотно служила своей родной многолюдной улице Кривуше. Здесь она знала каждого старого и малого, от начала и до конца их жизни. В своем вопле над покойником Авдотья просто и певуче рассказывала о последних днях человека, о малых его привычках, о малых событиях его жизни. Она пела о живом, привычном человеке, и расставанье с ним поэточно казалось особенно горьким и страшным.

На похоронах Авдотья шла на почетном месте — позади попа. Она вопила над покойником и в избе, но самый главный и отчаянный вопль выпевался по дороге на кладбище. Попа упрасивали не прерывать Авдотью, пока она не кончит. Иных же нанятых воплениц, кричавших оглушительно и бестолково, поп осаживал бесцеремонно:

— Ну, вы, помолчите!.. — и запевал панихиду.

Платили Авдотье яйцами, мукой, маслом, но все больше старались отыграть-ся угощением на поминках.

Садясь к поминальному столу, Авдотья теряла всю свою гордость мастерицы: она не была уверена, что ей

приплатят. Между тем, дома ждали Николка и Полинаша. Когда покойник приходился хотя бы отдаленной родней, Авдотья приводила на поминки свекра и сына. В иных же случаях она вынуждена была украдкой напихивать карманы лепешками, оладьями, кусками мяса.

У Николки в детстве было развито холодное, расчетливое и даже озорное любопытство к покойникам. Он охотно увязывался за матерью на кладбище, потом на поминках наедался так, что распускал слюни и засыпал. Мать уносила его домой на руках.

Взрослый Николка становился все более угрюм и застенчив с матерью.

Однажды пришла к Авдотье молодая солдатка.

Авдотья услышала разговор в сенях, где Николка отстругивал новое топорище.

— Где мать-то?

— Дома.

— Привопила бы она мне, а? Поди, скажи.

— Иди сама. Я при чем? — быстро сказал Николка и застучал топором.

Авдотья облилась жаром: «Стыдится меня, — думала она, с тоской глядя на худое лицо солдатки.— Ремесла моего стыдится» — окончательно решила она.

Между тем, со времени первой мобилизации на войну Авдотья стала пользоваться особым почетом и уважением. Солдатки, матери, невесты шли к ней поплакать от горького сердца.

— Приди, пожалкуй мне, печальница, — говорила ей солдатка. — Может, вольный голосок до моего родимого долетит!

Авдотья приходила в избу солдатки посумерничать, — с прялкой, с вязево-м или с шитьем. В избу набивались бабы, каждая со своей работой. Между делом шли степенные разговоры.

Авдотья молчала или скупно поддакивала. Бабы ее не тревожили. Они знали — ее час придет.

И вот, наконец, и Авдотья вплетала свой ясный голос в ритмическое шуршанье прялок.

Это была песня утешения и надежды.

...Разве не течет день за днем, как река? Прошумели ветры осенние, просвистят и уйдут ветры зимние. Вешний ветер раскачает и распутает бабью печаль. Разве каждая пуля падает в сердце? Разве нет ей места в чистом поле?

День за днем протечет, как река. Вот и вернется солдат на родную землю, к малым деткам, к любимой женушке...

Авдотья подробно и трогательно выпевала встречу солдата с женой. Тут бывала описана и радость ребят, и жаркая постель, и первое веселое утро хозяина на своем дворе. Вот и пошел хозяин за плугом, и земля родит тучный хлеб, и кони добреют в теле.

Благодарная солдатка отвешивала Авдотье низкий поклон.

— Спасибо тебе, матушка. Сердце маленько отмякло, добрая ты! Пусть на твоей десятине больше всех рóдится!

Солдатка утирала радостные слезы и обильно одаривала вопленицу. Теперь в плате никто не выгадывал: Авдотья вопила о живых и скупиться было как-то стыдно.

У Авдотьи, впервые в ее жизни, появился достаток. Она совсем освободилась от мелкой изнуряющей работы по чужим домам, заново переложил печь в своей избе, покрыла сарай, подняла плетень и начала тайно и упорно откладывать деньги на лошадь. Скоплено было не более пятой части цены, но Авдотья уже ходила на все базары, приглядывала лошадь и с наслаждением торговалась.

В один из весенних праздников Николка вышел из двора в шелковой малиновой рубахе. На воротах и на рукавах у него цвели желтые розы.

Девушки окружили его и с удивлением разглядывали богатую рубаху. Ближе всех подошла тоненькая Наташа — любимая Николки.

Наташа гордо насупилась и сообщила девушкам пронзительным шопотом:

— Он гармонь скоро купит! И лошадь!

Николка вспыхнул, оправил рубаху и ловко обнял Наташу. Девушка покорно к нему прильнула. Они пошли по улице, словно жених и невеста, сопровождаемые веселой оравой девушек.

Авдотья все видела из своего низкого окошка. У нее вдруг ослабели ноги, она опустилась на скамью и улыбнулась дрожащими губами. Так вот она — сыновняя милка! Какой скрытый парень!

Авдотья отдышалась и бросилась к сундуку. Она достала кумачевую скатерть и торопливо набросила ее на стол. Чистым полотенцем она украсила чернооую икону и расшитые концы полотенца распустила по стене. Закинула на печку ватное тряпье деда Полинаши и начисто вымела щербатый пол.

— Вырастила сына, — шептала она, мечась по избе. — Мужик целый, женить пора. Девка ничего себе. Тоненька, маленька, да тело налитое. Маленькие — они ловкие...

Она изнеможенно присела на сундук и заплакала.

— Отец посмотрел бы теперь!

7

Деревня Утевка лежала в просторной ковыльной степи. Выйдя к околице, утевский житель видел ровную и голую низину, — она подкатывалась к самой деревне и простиралась до края земли, до тонкой синей черты, где сплескивались вместе ковыльные волны и облака.

Утевка жила глухо и замкнуто.

До города, до железной дороги надо было прошагать или проехать по степи добрую сотню верст. Иные утевские старицы до самой смерти не видывали «чугунки». Ребятишки думали, что город — это большой базар, где продают игрушки, гармони и ситец. Сказки, песни, бывальщины пели все о той же степи, об оврагах да о пушистых снегах.

Народ в Утевке жил неграмотный, смиренный и диковатый.

Зиму и весну после первой мобилизации солдатские семьи жили по-старинке. Робкая солдатка с поклоном обихаживала свекра и свекровь, кормила и обшивала детей, надрывалась в мужицкой работе на своей десятине и во дворе. В середине лета трудно подымали пар: лошадь не слушалась бабьей руки и шагала валко, словно на двух ногах. Колея шла кривая, разорванная,

и сама пашня в буром и седом просторе ложилась черною заплатой. В хозяйстве нехватало мужика.

Так истек первый год войны.

Давно были оплаканы и забыты первые убитые солдаты. Мобилизации проходили все менее шумно, к ним по привыкли. Мужики большими партиями покидали деревню. Никто не верил, что они вернуться.

Из самого пекла войны в Утевку возвратились пока только двое, оба калеками.

Один из них, молодой мужик с Карабановки, прыгал на костылях. Ему отпилили ногу до бедра. Кроме того он перенес стыдную операцию и был теперь не работник и не мужчина. О войне он говорил с такой горячей злобностью, что женщины начинали выть от страха.

Второй солдат, раненный в грудь, убежал из германского плена, чтобы умереть на родной земле. Он глухо кашлял — у него были отбиты легкие. По вечерам он тихо рассказывал о Германии, краешек которой ему удалось увидеть.

Так в Утевке впервые узнали о больших городах, об аэропланах, о грохочущих полях войны и даже о загранице. Солдаты присылали письма из окопов, из госпиталей. В письмах, после поклонов, тоже говорилось о чужих, растоптанных пашнях, о германцах, о беженцах.

Скоро в Утевку пригнали первую партию пленных австрийков — молодых, чужезычных мужиков в выцветших мундирах. Они внесли в жизнь окончательную сумятицу и тревогу.

Мужики, какие были побогаче, разобрали австрийков в работники. Дегтев взял двух работников. Он stacked с городским купцом, закупал скот для армии, ему часто приходилось ездить в город, и работники были необходимы в его разросшемся хозяйстве. Дела Дегтева, как видно, шли неплохо: весной пятнадцатого года он купил огромный сруб и поставил нарядный пятистенник под железной крышей. Новый его дом в деревне стали звать «купецким».

Весь уклад жизни постепенно сламылся в Утевке. Ни у кого не осталось привычного ощущения степной одинокости и оторванности от всего остального мира. Подрастала новая молодежь, еще в отрочестве своем познавшая мир более широко, чем два поколения стариков. Старики поговаривали, что юнцы бывают столь своенравными только перед концом света.

Солдатки легко и сладко загуливали с парнями и даже с австрияками. Теперь это были полновластные хозяйки своего дома, отчаянные и потерявшие всякие надежды на возвращение мужей. Многие из них, в поисках легкого заработка, ездили в город наниматься в прислугу, другие шинкарили, сводничали. Одна попробовала научиться у Авдотьи Нужды ее тонкому ремеслу, желая, как и Авдотья, жить песнями.

Наибольшее удивление в Кривуше вызывал мужик Кузя, Аршин в шапке. Во второй год войны он вместе с двумя парнями из соседней деревни отправился в город и поступил на патронный завод. Отъезд парней был понятен, — завод спасал их от мобилизации, — Кузя же и на призыве и на поверочных комиссиях был признан негодным к военной службе, и односельчане решили поэтому, что Кузя ушел в город «по дурости».

Пробыв на заводе несколько месяцев, Кузя был уволен по нездоровью и возвратился в Утевку. Односельчане заметили, что город прибавил ему «блажи»: он стал держаться на народе вольготно и даже дерзко. В каждую свободную минуту Кузя, к общему удивлению, развертывал газету и начинал вслух, бойко читать о войне. Около Кузи поневоле сбивался народ. Газета была огромная, из-за листа торчал только пегий хохолок Кузи, а снизу — его размочаленные лапты.

Сначала все думали, что Кузя выпрашивает или ворует газеты у старой учительницы. Однако седой и угрюмый почтальон из волости объяснил, что Кузя выписал газету на свои деньги. Тогда над мужиком стали посмеиваться:

— Избаловался в городе! Деньги-то там легко достаются!

Кузя холодно улыбался и молчал.

— В высокий ряд лезешь, грамотей! — сердились на него односельчане. — Туда в лаптях не пускают.

— Пустят! — загадочно ронял Кузя. — Вот и на заводе умные люди сказывают: все дело в сознании.

— Чудные слова говоришь! — сраженно бормотал собеседник. — Ишь чему тебя в городе обучили...

В Утевке ждали, что на заводские заработки Кузя построит новую избу. Но, должно быть, он не очень разжился деньгами, и ему пришлось поселиться в землянке.

Живя бобылем, он попрежнему ходил работать на чужие покосы и пашни. В старые времена малосильного Кузю насмешливо считали в полмужика. Теперь все переменялось. Бабы дубели в мужицкой работе, солдатское хозяйство рушилось, в нем находилась работа для всякого помощника. «Все-таки мужик» — стали серьезно говорить о Кузе в Утевке, и бабы наперебой льстиво заманивали его на свой двор.

Даже деда Полинашу солдатки ухитрились приспособить вместо няньки к малым ребятам. Дед целые дни сыто дремал на завалинке и грозил на своих питомцев коричневым изогнутым пальцем.

Однако особенно желанным и дорогим работником в солдатских дворах считался полинашин внук — Николка. Этот широкоплечий молчаливый парень делал всякую работу легко, ловко и жадно. В Кривуше между одинокими солдатками из-за Николки велся легкий раздор. Семихватиха властно забирала Николку на свой двор при малейшей надобности. Муж Семихватихи, тихий, безответный Акимушка, страдал грыжей и был не работник. Второй сын бегал еще в мальчишках.

— Плюнь ты на нее, — завистливо шептали бабы Николке. — Этому соколу полцены платить! Да она матери твоей три ржаных куска за всю жизнь не кинула... За что убиваешься?

Парень отмалчивался и только сердито блестел синими глазами.

Солдатки уважали в Николке молодого, сильного хозяина. Все знали, что он старательно прикапливает деньги на лошадь и на всякое ладное обзаведение. Поздней осенью было назначено его венчание с Натальей.

8

Весной Семихватиха забрала Николку на пахоту.

Загоны у Семихватихи лежали у самого бора, и Николка всю долгую неделю ночевал в лесной сторожке. Наконец, он прислал матери весточку, что пахота кончается в субботу.

Авдотья испросила у соседки баньку и к вечеру жарко ее натопила.

— Хозяина жду, — гордо объяснила она.

Николка приехал на закате.

Он вошел в избу, нагнувшись у порога, слегка похудевший и черный от весеннего загара.

— Баньку нагрела тебе, ступай, — радостно засуетилась мать. — У Олены баньку-то заняла. Свою хоть бы саманную огоревать...

Николка повернул к ней суровое пыльное лицо:

— На что ее, саманную? Бревенчатую срубим, — сказал он густым, уверенным баском.

Авдотья подала сыну новую мочалку, кусок мыла и полосатые порты, скатанные тугим свертком.

— Мать! А рубаха где? — недовольно спросил Николка.

Авдотья кинулась к сундуку, постояла над ним и всплеснула худыми руками: забыла постирать рубаху! Даже у праздничной, малиновой — грязный ворот.

Сын молча стоял среди избы и ждал. Авдотья металась и искося на него поглядывала. Это был настоящий мужик, сильный, сердитый хозяин.

Он входил и сразу заполнял собою всю избу. Авдотье совсем не оставалось места. Его лапти и онучи, брошенные у порога, пахли полевым дымом и влажным черноземом. Он зарабатывал деньги и знал себе цену.

Авдотья открыла сундук, безжалост-

но перевернула его до дна и вытащила оранжевую рубаху, слежавшуюся от времени. Это была праздничная рубаха покойного Силантия.

Авдотья подала ее сыну.

Из бани Николка пришел распаренный и ослабевший. Он прошагал по избе, осторожно переставляя натруженные ноги. В отцовской рубахе он сразу стал широким и грузным. Скамья под ним тяжело скрипнула. Он бросил на стол большие промытые руки, и на них тотчас же налились жилы.

— Ужинать будем?

— Ты, Николая, чистый отец, — онемело прошептала Авдотья.

Она поставила на стол горшок с кашей, крынку молока и неловко уронила на пол обе деревянные ложки.

— Устанет, бывало, эдак же руки-ноги носит, словно потерять боится, — бормотала она, в замешательстве ползая под столом.

Николка положил каши в чашку, залил ее молоком и неторопливо погрузил ложку. Ел он медленно, но жадно. Каждый раз, когда он смыкал челюсти, на загорелых его скулах наливались крупные желваки.

Он насытился и довольно опрокинул ложку.

— Ешь, мать!..

В сенях скрипнула половица. Оба оглянулись на дверь. Вошла Семихватиха.

— Хлеб-соль! — она лениво поклонилась и скрестила на животе коричневые пальцы.

— Утра ноне росные, землю питают, — издали начала она. — Теперь земля, как сахар, под плугом раскалывается. Зерна ждет, матушка. Посеем да сенокос отвалим, а там уж и пары подымать. Ты у меня, Николай, всякому мужицкому делу обучишься.

Авдотья рассеянно поводила ложкой в молоке, отодвинула чашку и перекрестилась.

Николка насмешливо глядел в угол.

Семихватиха села на скамью и раздражительно потеряла жирный подбородок. Она ждала.

— Свою лошадь покупаем, тетка Марья, — отчетливо и грубо сказал

Николай. — Свой пар подымать собралась. Не пойду.

В избе стало тихо. Авдотья исподлобья поглядывала на Семихватиху, багровую от удивленья.

Николай встал и оправил пояс.

— Пойду к Наталье.

Семихватиха злобно поклонилась ему вслед:

— Молодому хозяину...

Она тоже поднялась и, тяжело сопя, пошла к порогу.

Авдотья долго не могла уснуть. Она думала о сыне.

Николка работал ненасытно, с веселой яростью, и все тело его, до кончиков пальцев, было налито нерастраченной силой, глаза ярко и синё горели...

Должно быть, у молодой Авдотьи были такие же глаза. Муж говорил ей бывало: «Ясочка ты моя. Засмеешься — синей водой плеснешь, огневашься — синим огнем опалишь».

Авдотья стыдливо всхлипнула в темноте. Давным-давно выцвели у нее глаза, повяло тело, даже голос иногда стал отдавать хрипотцой. Перевалило ей за сорок годов. На пятом десятке женщине положено омыться последними кровями и вступить в тихую старость. Так и будет: дотянет она последние, предназначенные ей годы за широкой спиной сына. Будет нянчить внучат, по малости помогать в хозяйстве...

... Авдотью разбудил резкий стук в дверь. Она накинула на плечи шубейку и сонно улынулась: не жалеет силы непутевый парень, еще дверь разнесет в щепы.

— Никола, это ты?

— Отворяй! — сказал за дверью чужой, грубый голос. Авдотья откинула щеколду и бросилась к печке.

— Кто это, батюшки?

Она нашарила спички и зажгла лампу. У порога стоял толстый стражник. Он неторопливо обтер усы и, придерживая рукой шашку, прошел к столу.

— Во вторник сына тебе провожать, мобилизация, — сказал он, роясь в походной сумке.

— Чего тебе? — не поняла Авдотья. — Ты чего это? — повторила она неожиданно звонко, на всю избу.

— Ну-ну, без крику, — угрожающе проворчал стражник. — Ходи тут по вам!..

Он разложил на столе бумагу и прихлопнул ее ладонью. Между двумя его толстыми и розовыми пальцами отчетливо чернел герб.

Авдотья затряслась с головы до ног, глаза ее огромно налились ненавистью.

— Ты, мерин, пошто против закона идешь? Одного-единого сына!..

Стражник лениво оглядел ее с головы до ног.

— Царь велит, не я!

Авдотья, судорожно цепляясь за стол, опустилась на скамью. Голова у нее мелко тряслась.

Стражник следил за ней с любопытством.

— Какой он солдат, мальчишка еще, — тихо и льстиво сказала Авдотья. — Не солдат и не мужик. Я ему кормилица.

Стражник молчал.

— Или, думаешь, дед Полинаша — мужик? Законов таких нету. Послушай-ка...

Она преданно заглянула в глаза стражнику.

— Может, прошение губернатору подать? Откупиться бы капиталом, а? У нас есть, на коня принакоплено...

Стражник рассеянно усмехнулся и снова ничего не ответил. Авдотья выпрямилась, как от удара.

— Пальцы ему отрублю, стрелять нельзя будет! — злобно крикнула она. — Как тать в ночи ходишь!

— Дура! Повесят! Собирай завтра! — однотонно сказал стражник.

Он вышел, гремя шашкой и сапогами.

Утром все узнали о новой мобилизации. Но об авдотьиной избе никто не подумал, — так в ней было все тихо и обычно.

Авдотья наглухо замкнулась в своем горе. Николка увидел бумагу еще ночью и тоже окаменел и примок.

Семихватиха, прикинувшая, что без Николки на поле ей не обойтись, решила подействовать на Авдотью хитростью.

Она отобрала десяток прозрачных яиц, прямо из гнезда, и налила бутылку меду, чистого, как слеза. Потом она сладостно облизала пальцы и отправилась к Нужеде.

— Здравствуйте-ка! — крикнула она еще с порога, широко улыбаясь.

Авдотья стояла у печки, подперев щеку сухим кулачком. Нарядный Николка сидел в переднем углу, перед ним зеленовато тускнела бутылка самогона.

«Лошадь купили! Магарыч допивает!» — со страхом подумала Семихватиха и едва не выронила яйца.

Николка мутно смотрел на Семихватиху и молчал.

«Поди, дрался, печонки ему отбили», — совсем испугалась Семихватиха.

Авдотья тоже осталась неподвижной и не ответила на приветствие. Семихватиха, сбитая с толку, решила продолжать игру. Она скромно поставила на пол бутылку с медом и выложила яйца на пестрое одеяло.

— Вавилушка мой письмеца не шлет, — она перекосила жирное лицо и осторожно всхлипнула. — Не шлет и не шлет. С докухой к тебе, матушка: привопи мне, горюше...

Авдотья вздрогнула и легко, как тень, отстранилась от печки.

— Черна птица, печальна орлица и в мой двор ноне клюкнула, — глухо и певуче сказала она.

— Ну, да, да... Наподарочек вот, не обессудь, — льстиво прошептала Семихватиха.

Она думала, что Авдотья завела свой причит.

Николка схватил бутылку и, разбрызгивая светлые капли, наполнил чашку. Он поднес ее к носу, понюхал и равнодушно поставил обратно.

Авдотья подняла голову:

— Не стану вопить, не проси.

Семихватиха, словно перед дракой, воткнула кулаки в крутые бедра и боком пошла на Авдотью. В ее заплывших глазках зажглись желтые огоньки, она побагровела — вся, до кончика носа.

— Ты что же это? Отказываешься? Мало я тебе в жизни помогала? Да ты ведь купленная мастерица! А?

Авдотья широко раскрыла глаза — в них пылала ослепляющая ненависть.

— Уйди, ты, жила! — пронзительно зашипела она. — На веки веков мы тебе вперед отработали. Прощайся с дешевыми николушкиными ручками: уходит он на войну. У меня для своего горя, может, и голоса нет. Купленная, да не проданная!

Семихватиха медленно побледнела, разинула рот, но не сказала ни слова и вышла из избы.

...Провожали парней через два дня.

Кривушинский обоз двигался почти без плача и песен. Авдотья не вопила, другие вопленицы молчали из уважения к ней. Нарядная Наталья шла около телеги и коротко, по-ребячьи, всхлипывала. Николка сунули в руки гармонь, он крепко ее стиснул и тупо улыбнулся.

Обоз, как всегда, остановился у кладбища. Авдотья приподнялась на носки и трижды поцеловала сына. Потом она отвесила ему земной поклон и прикрыла глаза шалью. Наталья вскрикнула и уткнулась в сухую грудь Авдотьи. Николка пристально смотрел на носки своих новых сапог.

Обоз тронулся.

Авдотья пошла домой — черная и легкая. Изба и двор встретили ее полным молчанием. Полинаши нигде не было слышно: он ушел нянчиться или притих у себя на печке.

Авдотья прошла, оглушенная собственными шагами, к новому сараичику.

Она открыла аккуратные воротца, и в лицо ей ударил влажный и сладкий запах свежееобтесанного дерева.

Среди двора белела новая глубокая колода, около нее валялся топор. На его блестящем, натруженном лезвии уместилось солнечное гнездышко.

— Юнош мой! — пронзительно крикнула Авдотья и бессильно повисла на воротцах. — Кабы знала я да предуедала — я бы малого тебя в люльке закачала бы!

Авдотья обвела пустынный двор светлыми, блестящими глазами.

— Верно, дом мой на угрюмо место ставленный... Разнесчастная я кукуша во сыром бору!

Соседний плетень легко скрипнул. Авдотья ничего не слышала. Она опустила на стружки и хватала воздух широко раскрытым, сухим ртом.

Над плетнем поднялась светлая голова Дуньки — малой дилигановой дочки. Девчонка смотрела на Авдотью синими любопытными глазами. Авдотья всплеснула руками и забормотала, потом закричала частые, непонятные слова.

Дунька кубарем скатилась с плетня на свой двор. Но, преодолев испуг, она снова взгромоздилась на плетень.

— Вот и взойдут огнекрупные звезды, — отчетливо сказала Авдотья и вскинула худые ладони, — а тебя уж и нету, юнош... родиминка моя...

Дунька перевела расширенные глаза на улицу и махнула тонкой ручонкой.

К плетню подошел маленький Кузя.

— Тетенька воеет, — зашептала Дунька, ткнув пальцем в соседний двор. — Гляди-ка!

Кузя озабоченно побежал во двор Нужды. Там он остановился над Авдотьей, судорожно почесал бок и присел на корточки.

Подбежала и Дунька. Она встала, выпятив живот, босые ноги ее зарылись в пыль.

— Ой, горькая истома моя! — про себя сказала Авдотья.

Она открыла глаза и вздрогнула, увидев Кузю и Дуньку. Отведя лицо от Кузи, она со строгой пристальностью взгляделась в Дуньку. Большие, чистые и яркие глаза девочки ее поразили.

— Словно бы дочка моя... Словно бы я тебя на свет родила. Ишь — глазки синей воды!..

Девчонка засопела и искоса взглянула на Кузю. Тот молча почесывал бороду.

Авдотья длинной и жилистой рукой подтащила к себе Дуньку.

— Зачем растешь, дурочка? На горе да на беду? Гляди на меня, мучайся! Такая же будешь горькая!

Голос у Авдотьи был так глух и страшен, что глаза у девчонки мгновенно налились слезами. Заплакать она побоялась. Только маленькое сердце бешено колотилось.

— Глухая, жалею тебя, — отмягшим, надтреснутым голосом сказала Авдотья и выпустила Дуньку. — Отец бедного состояния, одиноконькая растешь, и телом мелкая — глаза одни, словно бы дочка моя!

Кузя вдруг вскочил на ноги, плюнул и побежал к воротам. Однако вернулся и сердито дернул себя за бороду.

— Подожди, баба. За чужую жизнь не говори. И над нашими воротами, может, солнце взойдет...

Девчонка сорвалась с места, больно ударилась о плечо Кузи и умчалась. Через минуту из-за плетня донеслись ее тонкие всхлипывания.

— Терпел камень, да и тот треснул, — взмахнул кулачком Кузя. — Подожди, баба...

Авдотья опустила голову.

Кузя стоял над ней, маленький и злобный. В кудрой бороде его и на висках белела первая седина.

II. ДРУЖИНА

1

Николай Логунов, рядовой 170-го пехотного полка, разгромленного в Галиции, возвращался в родную Утевку. Он был ранен в одном из последних наступлений, после чего около года провалялся в украинских госпиталях.

В городе, на базаре, Николай быстро нашел земляка. Волоча раненую ногу, он забрался в телегу и бережно уложил рядом с собой костыль и винтовку.

Телега была доверху навьючена свежим сеном, от сена шел запах вялой мяты, богородской травки, медуницы. Пахло еще теплым лошадиным потом, дегтем, нагретыми ремнями шлеи, — все это были запахи деревни, его родины. Они обступали его, кружили ему голову. Когда город остался позади, Николай откинулся на задок телеги; тишина оглушала его, он почувствовал глубокое и сладкое успокоение.

Сквозь прищуренные ресницы Николай видел широкую, безмолвную степь. Она была такая же, как и в его детстве, вся в сизых волнах полыни и ковыля. На далеком горизонте темнела полоска

леса. Где-то слышалось тонкое ржанье лошади, одиноко свистела птица, медленно звякало ботало, — впереди шли быки. Николай вздохнул, — войны как будто и не было...

Мужик прикрикнул на лошадь, положил вожжи под себя и обернулся к Николаю.

— Чего это, Николай Силантьич, припоздал ты как? Мы уж и не ждали... Живые все давно вернулись.

Николай взглянул на лукавое, светлоглазое, заросшее каштановой бородой лицо земляка и тотчас же вспомнил, что в деревне дразнят его «Хвоцом» за длинное и гибкое тело, как будто постоянно колеблемое ветром.

— Письма оттуда не шли, — нехотя отозвался Николай, — заваруха там: немцы Киев взяли, потом гетман сел. В Самаре вот тоже, слышно, чехи какие-то тодымаются. А Утевка как живет? Матушка моя как?

— Матушка ваша Дуня, известно, сохнет. А Утевку не узнаешь теперь: на дыбочках вся ходит. — Хвоц подобрал вожжи и хлестнул лошадь. — Н-но, буржуазия! Либо война никогда не кончится? Батюшка с амвона сказывал: брат на брата пойдет...

По запекшимся губам Николая прошла недобрая усмешка. Тут только Хвоц увидел, что скулы у Николая обтянуты бескровной кожей, а вокруг рта легла глубокая морщинка.

— Батюшка скажет, — проворчал Николай. — Войне — конец! Будет!

— А что же ты винтовочку вон рядом уложил? Не бросил?

Николай строго взглянул на Хвоца. — Может, побаловаться придется еще...

Хвоц сердито зачмокал на лошадь, и та вскок вынесла на крутой пригорок. Перед Николаем открылось зеленое поле заливных лугов, и далеко впереди мелькнула белая, высокая тень утесской церкви. Избы же утесские, как и всегда, не были видны, — столь низко припали они к земле и как бы слились с ней. Хвоц попридержал лошадь и достал кисет.

— Вся смута с вашего фронта пришла, — сказал он, мусля цыгарку и

пытливо поглядывая на Николая. — Первый Уньшиков, чуваш, появился и весь народ до дна переверотил. Знаешь Уньшикова?

— Нет, — рассеянно ответил Николай.

Теперь они ехали по краю обрыва. В этом месте степь как бы разверзалась, и в глубокой трещине росла темная чащоба леса. В старину здесь боялись ездить — в чащобе водились разбойники.

— Кто его знал, Уньшикова-то? — хмуро продолжал Хвоц. — Игнашинский он, не наш, да и самый крайний был бедняк. А теперь — главный комиссар в волости и в дружине нашей.

— В дружине?

Хвоц нетерпеливо сплюнул.

— Ну да, в большевиках-то. Больше всех им надо. Кузю-мужичка знал? Ну, «Аршином в шапке» звали?

— А как же...

— Теперь ку-уда: самый набольший в Утевке начальник. А винтовка больше его. Мы ему говорим: куда тебе в большевики, ты самый что ни на есть меньшачок! Граждане, говорит, без смеху...

Хвоц сосредоточенно замолчал и, обжигая пальцы, докуривал цыгарку. Лошадь трусила по круглой и гладкой лощинке. Николай вспомнил, что вот сейчас должен показаться пологий холмик и, когда его минувешь, откроется вся Утевка. Маленький Николай всегда удивлялся, как за таким холмиком может скрываться вся громадная Утевка и даже церковь.

— И скажи ты, пожалуйста, какая колгота в крестьянстве пошла, — с досадой сказал Хвоц и выжидательно смолк.

Николай не то дремал, не то тихо улыбался. На всякий случай Хвоц повысил голос:

— Хлеба, конечно, в город Москву требуют. Степенные люди говорят: собирай с каждой трубы, по-старинному. А бедность вся поднялась: по имению, говорят, облагайте. До чего дело дошло: у попа тридцать пять караваев требного хлеба Кузьма отобрал! Из-за земли та же свара. Мужички зарятся

на жирные аржановские десятины, земля там распашистая, искони чернозем лежит... Ну, теперь еще дружина по дворам пошла: пишись, говорит, кто в пролетарии, а кто в буржуазию. Бабы в плач. К чему это? Учет, слышь. Сто годов Утевка без учета простояла, не провалилась. Ладно. У кого ни коровенки, ни овцы, один кизяк на дворе, — ясное дело, в пролетарии. Лавошника, трактирщика, стражника, целовальника насильно в буржуазию записали. Ну, а мне куда?

Хвощ остро, с обидой взглянул на Николая.

— Сам знаешь, лошадка, две коровы, овцы... достаток есть. Ну, не такой же, как у лавошника. Я говорю: мне бы куда в середину. Середины, говорят, нету... Ну?

Николай ничего не слышал. Он поднялся в телеге, опираясь на наклеску худыми пальцами.

Они проезжали мимо утевского кладбища. Здесь три года назад было прощанье с новобранцами. Мать отдала Николаю земной поклон, а Наталья, невеста, закричала в голос.

Хвощ нахлестал лошадь, — таков был обычай у мужиков: хоть всю дорогу плетись шагом, а по деревне непременно вскок, — и они влетели в крайнюю широкую улицу. Николай, задыхаясь, глотал горячую пыль, синие глаза его расширились, но в них блесело скорее болезненное удивление, чем радость. Глинобитные избенки едва подымались над землей, ветер шевелил вз'ерошенную солому на крышах, лохматые плетни беспомощно валялись набок.

Хвощ осадил лошадь у избы Авдотьи Нужды. Плетневые воротца были распахнуты настежь, избенка находилась, боковая стена ее злоеде набухла, одно окно было начисто замазано, — верно для тепла.

Николай несколько мгновений сидел неподвижно и глядел в пустынный, чисто разметенный двор. Но у ворот никто не показывался, изба одиноко молчала.

— Ишь, двор чистый, — вздохнул Хвощ. — Ни скотины, ни курицы не сыщешь.

Николай вдруг заторопился, схватил винтовку, костыль, потом уложил их обратно и, поддерживая обеими руками больную ногу, спустил ее за борт телеги.

Хвощ посмотрел ему вслед. Одно плечо Николая высоко вздергивалось от костыля. Хвощ вздохнул и тихо тронул лошадь.

Николай низко пригнулся, вошел в избу и остановился у порога. В избе было темновато, и в первый момент перед глазами у Николая плавали желтые пятна. Он зажмурился и, когда открыл глаза, увидел мать. Авдотья обернулась от печи, строго посмотрела на него, ухват покатила из ее рук.

— Николая!

Она была в черном, простоволосая, худая, и Николай весь вздрогнул от знакомого глуховатого и нежного голоса.

Она пошла к нему, легкая, как тень. Он ощутил на своей груди ее голову, погладил сухие и светлые, как ковыль, волосы, расчесанные на прямой пробор. Ее рука скользнула по костылю, невидному под накинутой на плечи шинелью, и тут только поднялось ее побелевшее лицо и большие синие глаза налились страхом и болью.

— Ногу мне, родимая, порушили, — тихо сказал Николай.

Авдотья выпрямилась, неторопливо оправдала волосы, отдала поясной поклон сыну, трижды поцеловала его в худые пыльные щеки и только тогда степенно сказала:

— Божья воля. Сам целый остался, и то славно. Дай-ка шинельку сниму... Вот и молодой хозяин пришел.

Авдотья признанья у соседки ложку масла, накормила сына кашей и постелила на кровати чистую дерюжку.

— Ложись с устатку. Пойду баньки поищу.

Николай прикорнул было, но заснуть не мог. Он встал и вышел во двор.

Шли последние дни знойного июля. вся Утевка работала на полях, в улице пищали только малые ребята.

Николай проковылял по двору, осмотрел новый сарайчик, потрогал его плетневую стену. Плетень, тугой, плотный,

был завит его молодыми, сильными руками. Посреди двора попрежнему стояла недоструганная колода. И сарай и колода были деланы для лошади, которую Николай так и не купил, — они с матерью успели собрать только полцены.

Вечером в избу набились люди. Среди беседы Николай то-и-дело беспокожно оглядывался на дверь, потом на мать. Дважды ему показалось, что бабы при этом отводили глаза и усиленно шептались.

Ночью, когда они остались одни и Авдотья, вздыхая, улеглась на печке, Николай спросил:

— Мать, а где же Наталья?

На печке вдруг все затихло. По избе ходили синие ночные тени.

— Замужняя она теперь, Николая, — прозвучал, наконец, слабый голос Авдотьи.

Она кашлянула, тревожно заворочалась, что-то уронила. Сын молчал.

— Тосковала она, — робко сказала Авдотья, — писем от тебя нету и нету. Слышу, идет, поэт: «Все пули пролетели, мой миленький убит». Встретила ее, спрашиваю, к чему эта песня? Гляжу, а она хмельная — девушка-то! Она в ноги пала мне, плачет: люблю, говорит, Франца, сердечко мое спеклося. Франец-то австрияк, батрачил тут у Доротея Дегтева. Ну и обкрутились в одночасье, вся Кривуша ахнула. Теперь Франец-то вместе с Кузьмой начальствует. Дружина у них.

Сын молчал. Его в избе как будто и не было. И когда Авдотья уж и не ждала, Николай сказал громко и злобно:

— Дружина!..

Авдотья истово перекрестилась и всхлипнула.

2

Теперь, как и в молодости своей, Авдотья неумоимо бегала по людям, в поисках мелкого заработка: она стирала, шила, пряла, качала малышей — все для того, чтобы послаще кормить большого сына. Шли дни горячей страды. Люди от мала до велика жили в

поле. Часто бывало так, что Авдотья оставалась в чужой избе одна с маленьким, и тогда, качая люльку ногой, она опускала голову и пела вполголоса:

А и как у молодого сокола сизо крыльшко
перешиблено.
Уж и где ж ему, болезному, во поднебесьи
летать...

Николай и в самом деле тосковал и сторонился людей. Однажды из окна Авдотья видела, как он взял топор, проковылял к колоде, ощупал ее худой ладонью, — должно быть, хотел обтесать, да повернулся как-то неловко, застонал и сел на землю.

— Неужто корю тебя, все за топор хватаешься, — сурово выговорила ему мать. — Отдохни, живого духу наберись.

Николай ничего не ответил. Стал он после этого еще молчаливее, никуда не выходил, ни о ком не спрашивал и целые дни одиноко сидел на завалинке, вытянув больную ногу.

Авдотья совсем расстрожилась. Как-то вечером она приделалась почище и отправилась за советом на край Кривуши, к Кузьме Бахареву.

Новая саманная изба Кузьмы была приметна издали: она стояла отдельно от слитного порядка, без ворот и без крыши. Ее куцый земляной накат густо пророс травой, и в траве вытянулся и одиноко цвел хилый подсолнух. Авдотья прошла маленький травный двор и взялась за скобу двери. У порога она хотела перекреститься, но вдруг увидела, что передний угол с иконами тщательно занавешен кисейной шторкой. Авдотья не была у Кузьмы с тех пор, как он стал председателем, и теперь со скрытым любопытством оглядывала избу. На стене висела неуклюжая, потемневшая от времени винтовка, на столе лежала стопка тонких книжек, в избе было чисто и пустозато. Кузьма торопливо хлебал квасную тюрю, на скамье смиренно сидели три девчонки, в люльке спал маленький.

— Хлеб да соль, — поклонилась Авдотья.

Кузьма озабоченно глянул на нее из-под густых седоватых бровей.

— Садись с нами, — откликнулась из-за люльки Мариша, жена Кузьмы. — Ишь, живьем глотает, — с неожиданным раздражением сказала она, кивнув на Кузьму. — Некогда ему и некогда, на старости-то лет...

— Младенец здоров ли? — сдержанно спросила Авдотья.

— Чего ему... А ты садись-ка.

Авдотья присела на скамью рядом с девочками и оправала темную, старушечью юбку.

— С докукой я к тебе, Кузьма.

— Сказывай, Дуня. — Кузьма опрокинул ложку на стол и смахнул крошки с бороды. — Рада, поди, сыну?

— Вот то-то смутный он стал, Николая мой. Думка в нем есть какая-то. Узнал бы ты, об чем ему мечтается. Ни разу не зайдешь.

Кузьма встал, оправил рубашу, снял со стены мятый картуз и пиджак.

— Спросила бы сама, — ведь мать?

Авдотья тоже поднялась и застенчиво усмехнулась.

— Совесть у меня не постигает спросить. Мы все такие молчаливые. В сердце замкнешь да на одиночку и перемучаешься.

Они молча постояли друг перед другом. Кузьма заложил ладонь за пояс и расставил короткие, слегка кривые ноги. Авдотья была на целую голову выше Кузьмы.

Он видел ее узловатые, быстрые пальцы — она мяла в руках белый платочек. Подняв голову, он встретился с ее потемневшими влажными глазами.

Кузьма и Авдотья были одногодками; ее когда-то прозвали «Нуждой», его — «Аршином в шапке». Однако и в нем уважали тихое упорство, аккуратность в работе, и за ней с молодости признали высокое мастерство вопленицы по мертвым. Они выросли в одной улице, вместе влачили бедность, одиночество, мелкие обиды. Теперь их связывала старая, невысказанная, суровая дружба.

— Не об Наташе ли? Спросил бы его, — хрипло шепнула, наконец, Авдотья.

Кузьма быстро взглянул на нее и надивинул картуз на самые глаза.

— Скажи Николаю — приду к нему. За стеной медлительно и густо зазвонил колокол: отбивали ночные часы.

Кузьма торопливо снял со стены винтовку и обернулся к жене:

— Обученье у нас, Марья. Ухожу.

Мариша шевельнулась на постели, в сумраке едва угадывалась линия ее плеч и головы.

— Словно бы мальчишка по ночам с ружьем забавляешься, — тихо, с обидой сказала она. — Хозяйство все пало.

Кузьма виновато посмотрел в сумрак.

— Спице тут, — мягко сказал он и вместе с Авдотьей вышел в сонную улицу.

3

Кузьма Бахарев, до сегого волоса проживший одиноким бобылем, женился внезапно, в последний год войны, на смирной, нестарой вдове Марише, которая привела в его избу трех девчонок.

Вся Кривуша помнила Маришу красивой девкой, певуньей и озорницей. Мариша «сохла» по одному парню с дальней улицы Карабановки. Она ходила с ним в хороводах, пела отчаянные песни, закидывала ему на плечо толстую русую косу. Однако маришин отец, мужик строптивый и злобный, в один вечер пропил ее за немолодого, чахлого парня Якова. За Яковым была обещана половина избы и в придачу — конь. Накануне смотрин Мариша травилась спичками, но выжила. Через неделю сыграли свадьбу. Скоро выяснилось, что ни избы, ни коня у Якова нет, к тому же он харкал кровью. Отцы поругались, даже побились, но против закона итти было нельзя, и Мариша покорно взяла на себя хозяйство, огрубела на мужицкой работе, стала молчаливой и суровой. Яков прожил пять лет и умер, оставив Марише трех малых девчонок.

Кузьма однажды шел мимо маришиной избы. Вдова его не видела. Окруженная тремя ребятами, она, тяжело кряхтя, подводила подпорку к боковой стене избы. Старшенькая Дашка, нахмурив смоляные, как у матери, бровки, изо всех сил поддерживала тесину. Младшие глазели, засунув палец в рот. Кузь-

ма остановился. Его пронзила жалость и удивление перед одинокой стойкостью вдовы.

— Бог помочь! — окликнул он ее. — Аль изба падает?

Мариша выпрямилась и ответила неохотно:

— Падает.

Кузьма беспомощно взглянул на ее сильные плечи, на маленькие босые ноги и сказал, почти не слыша себя:

— Пойдем в мою избу. Один я.

Мариша удивленно вскинула на него серые глаза и опустила голову.

— Девок куда дену?

— Ребят я призрю, — строго перебил ее Кузьма. — На дитё у меня сердце мягкое.

Через неделю отгуляли свадьбу.

В церкви отец Александр читал молитвы торопливым, захлебывающимся тенорком, как бы предчувствуя скудость возмездия. Хор призван был малый и тянул почти одногласно. Тяжелый свадебный венец с'езжал Кузьме на нос.

Мариша стояла румяная, опустив мокрые от слез ресницы. За свадебным столом никак не ладились песни. Хмельные солдатки запевали разбитные частушки, старухи ворчали: «Не к добру песня не тянется». В Кривуше говорили про свадьбу Кузьмы: «Так уж, пожалели друг друга, обоим на свете деться некуда».

На удивленье всей Утевке Кузьма с Маришей зажили ладно. Изба Кузьмы задела бумажными занавесками, искусными вязаными столешниками. Ребята бегали веселые и чистые, Мариша звала мужа «Кузьма Иваныч», и в Кривуше теперь уже стеснялись называть его «Кузя» и «Аршин в шапке».

Кузьма работал изо всех сил. Он не мог спокойно видеть горькую настороженность Мариши, старался тихо угождать ей, не выказывать нужды. Один раз он даже купил ей на ярмарке крупные красные бусы.

— Куда мне, стара уж стала, — сказала она, однако заулыбалась и вся просияла.

Через год Мариша родила мальчика. Кузьма нерешительно и нежно потрогал оранжевую, морщинистую щечку

младенца, убежал под сарай и принялся неистово рубить дрова на баню роженице. Скоро у него взмокла спина, куча дров лежала у его ног. Он замахнулся еще раз, но не ударил, а тихо опустил топор к ногам, засмеялся и стал вытирать рукавом лицо.

— Эка, пот прошиб, — бормотал он, а губы у него кривились, и он знал, что вытирает слезы.

Младенца окрестили по отцу — Кузьмой. Он рос быстро, как молодая ветла, был зевластым, большеглазым, ласковым.

— Теперь сын есть, надо избу ему справить, — серьезно говорил Кузьма. — Вот после масляной за крышу возьмусь.

Мариша смеялась и потихоньку хвасталась бабам.

— Мал грош, да дорог, — льстиво соглашались бабы. — Дубок в поле — и тот голый не стоит. И листом, и цветом оденется, глядишь, и молодые побеги пошли...

У баб мужья все еще томились в окопах, слали злобные и бестолковые письма. Война затянулась, солдатская смерть стала теперь столь обычной, что никто ей не удивлялся, и Авдотья Нужда потеряла все свои заработки на воплях по далеким покойникам. Народ устал, отчаялся ждать «замирения», конца.

Утевка лежала в голой степи, сюда едва докатывались слухи о восстаниях в больших городах, о смертных боях на фронте, о пожарах в господских усадьбах. В Утевке доподлинно знали только, что царя смахнули. Утевцы сместили старосту, выбрав вместо него председателя — богатого и льстивого мужика Ключа. Становой пристав куда-то скрылся, а стражник ходил пьяный и нестрашный.

Жизнь в Утевке все же шла по-старому: ранней весной, как только набряк снег и с дороги приторно потянуло навозом, кривушинские жители пошли по крепким мужикам наниматься на пахоту, на огородные работы и, кстати, прихватить пудик зерна до нового урожая. А вокруг Утевки, сдавливая ее под горло, попрежнему необ'ятно чернели туч-

ные земли хуторов и купца Аржанова, в лощинах оделись снежным цветом яблоневые сады самостоятельных хозяев, и зарозовели суглинистые, жирные десятины бахчей утевского богатея Дегтева.

Земельные наделы мелких хозяев издавна лежали далеко за Утевкой, где чернозем то-и-дело перебивался седыми солонцовыми плешинами и урожай подымался только в мочливые годы.

Весной утевцы запахали свои старые наделы, но в Кривуше пошли разговоры о дележе аржановских земель. Осенью, после сбора урожая и, особенно, после ноябрьской ярмарки, в деревню потянулись солдаты, уходившие с фронтоз. Бабы не узнавали своих мужей, — такие они были взерошенные и беспокойные. В Утевке теперь собирались частые крикливые сходки. После одной из сходок по Кривуше пронесся слух, что мужики сместили Ключа и выбрали председателем Кузьму Бахарева.

Когда слух дошел до Мариши, она побелела и ударилась вопить. Она дрожала при одном слове «власть», ей ясно представилось, как теперь рушится их маленькая, спокойная жизнь с Кузьмой. Память о чухлом Якове и о тяжкой, нищенской молодости была еще слишком свежа.

Она выплакалась, уложила детей спать и, осунувшаяся, построжавшая, встретила Кузьму.

— Чего же, аль плохо мы с тобой жили? Аль не угодила чем? — сурово сказала она, подавая ему ужин.

— Опомнись, Маша, — удивленно откликнулся Кузьма. — Мне почет от мира оказан, как теперь я детный и степенный мужик.

Мариша в отчаянии всплеснула руками.

— Ведь кормимся, сыты? Куда лезешь-то?

Кузьма пристально на нее взглянул и сдвинул густые брови.

— Везде земли поделили, а у нас Аржанов с Дегтевым, как цари, сидят.

— Вот страсти! — со слезами вскрикнула Мариша. — Теперь уж и не до крыши тебе, и не до поля. Головушка моя бедная!..

4

Кузьма пришел к Николаю, как и обещал, на следующий день.

Николай слабо вспыхнул, когда перед ним предстал маленький и серьезный Кузя. За плечом у Кузи высоко торчало дуло винтовки.

Когда Николка бегал еще без штанишек, Кузьма принес ему с ярмарки три приторных черных рожка и мятный пряник с розовой каймой. Николка быстро сжевал рожки, хотел расколоть косточки, но они оказались твердыми, словно камень. Николка посадил их в уголке двора и каждый день усердно поливал: он думал, что у него вырастут новые сладкие рожки.

Зерна так и не взошли, но Николка на всю жизнь запомнил эту неожиданную ласку бородатого мужика с колючими глазками.

Кузьма был все такой же, каким его помнил Николка с детства, но теперь во всей его тощей фигурке была разлита спокойная и властная уверенность. Он сел подле Николая, бережно прислонил винтовку к завалинке и полез за махоркой.

— Воюешь? — коротко спросил Николка.

Кузьма обернулся сразу всем корпусом, — раньше в нем не было такой живости движений.

— Да, воюем, — просто ответил он, всматриваясь в хмурое лицо Николая. — А ты как? Скоро к нам в дружину? Солдаты — все у нас.

Николай опустил глаза и неловко усмехнулся. Теперь он казался старым и как бы потухшим: крутой его лоб был рассечен глубокими морщинами, и реденькая рыжеватая щетина на худых щеках жалостно отсвечивала на солнце. Кузьма озабоченно зачмокал, махорка просыпалась у него из рук.

— Как дела правишь, дядя Кузьма? — ровно спросил Николай.

Кузьма вдруг всплеснул короткими ручками и весь заулыбался:

— Николька, и что тут было, расскажу я тебе! Дегтева Дорорея знаешь? Степан Тимофеича, целовальника? И еще Ключа? Помнишь их?

Клюй, рыжий гундосый старичина, был так прозван за длинный, тонкий нос, похожий на клюв хищной птицы. Всю свою жизнь он продавал свечи, ходил по церкви с блюдом, смиренно кланялся на каждой копейке и, как говорил народ, на копейки эти покрыл дом железом и справил пышное приданое своей единственной дочке.

— Клюй? — задумчиво переспросил Николай. — Знаю, как же. А Степан Тимофеич неужто жив? Его вода на смерть душила.

— И не говори, — насмешливо фыркнул Кузьма, и Николай приметил в его глазах острый, холодный блеск. — Раздуся, гад, как бочка с гнилой капустой: того и гляди, обручи слетят. Пырни его вилами — и не мене пяти ведер воды из него выхлестнет.

— Злой ты стал, дядя Кузьма, — улыбнулся Николай.

— Ты сам малосильный хозяин. Должен меня понять, — строго перебил его Кузьма. — Слушай-ка, чего скажу. Иду один раз на сборню, сходку сзывали. Гляжу — впереди толчется длинный такой мужик, зипунишка на нем старый. Гляжу, гляжу, никак не признаю. Подошел поближе, а это — Дорофей Яковлич, самый мощный хозяин, — Дегтев. Гляжу — Клюй тоже в плохой поддевке. Степан Тимофеич пузо армяком обтянул. Так в сердце и стукнуло мне: эдакая, думаю, забава не к добру. Тут Клюй поклонился сходке: «Смешайте, — говорит, — меня, мужики, я не против бедняцкой власти». Мужики зашумели. Я гляжу — у Клюя в лице скрытность есть, в глазах волчий блеск. Не успел я ничего подумать, гляжу — Дорофей на стол заскочил. Смирненно так закричал: «Выберем, мужики, Хвоща, как он есть бедняцкого состояния и согласен служить народу за тридцать рублей!». Мужики не разобрались, орут: «Дорого! Ишь, барин, какая ему цена!». Дорофей опять обратился: «От себя, слышь, будем платить, — то есть от самостоятельных хозяев». Мужики и замолкли. Тут, Николая, меня будто кто в спину толкнул. Подбегаю к столу, заскочил, сам весь трясусь, морозом меня одевает... Дня за два до того я у Доро-

фея занял два пуда муки, до нови. Вот тут робость меня и взяла. То о муке об этой подумал, а то вдруг вспомню, как за аршин ситцу я Дорофею зимой дрова возил да чуть не замерз, как на его бахчах пальцы до крови срывал... Ну, все-таки набрался духу и зычно так сказал: «Прошу меня лично выбрать в председатели. Бедняк я известный, грамоте хорошо знаю. А тридцать рублей не надо мне: дадите по полпуда муки на ребят — и довольно». Что тут сделалось! Хвощ испугался, у стола кружится, Дегтев на меня цыганские глаза уставил, и такая в них злобность сияет, что я обробел. Мужики, кто разобрался, кто нет, — махнули рукой: «Бери хоть по пуду!».

Кузьма полез в бороду тремя растопыренными пальцами и провел ими как гребнем. Эту привычку его Николай хорошо помнил. Только задумчивая жестковатая улыбка была у Кузьмы новой.

— А в ночь приехал ко мне волостной комиссар. В избу не пошел, сели мы с ним у сарая. Лошадь комиссарова так у него за плечом и простояла, как верная собака, — вот удивился я! Проговорили мы с ним всю ночь. Под конец я думал — заплачу или с ума сдвинусь, столь ясно все предстало передо мной, как светлое солнце, — и моя жизнь, и твоя, Николая, жизнь, и Дегтева жизнь. Комиссар и говорит мне: «Об'единяй всех бедняков против богатеев...». Ну, ладно. Светать стало, ветром облака разогнало, гляжу, а мой-то комиссар — чуваш, скуластенький! Как обухом по лбу меня хватило. Знаешь ведь, как презирали русские чувашей? И грязные-то они, и слепые, и немаканые... Думаю: как скажу своим мужикам, что учить нас чуваш будет! Он ускакал, а я целый день на полатах пролежал. В ночь собрал бедняков, и тут мы поставили свою власть. Дружину организовали... Тебе, Николая, теперь прямой путь к нам. Нога-то скоро подживет?

Николай курил, жадно затягиваясь, и холодно щурился.

— Куда мне! — отрывисто сказал он. — Я уж навоевался, крови нахлебался.

— Ми-илый, — покачал головой Кузьма. — Теперь ведь война какая? За собственную нашу жизнь! Еще когда я на заводе жил, мне один человек сказывал: «Подожди, парень, придет такое время, и народ за народную свою правду воевать подымется». Оно так и пришло, и это только бабы не понимают. Вот и моя баба, — проснусь середь ночи, а она плачет: «Сомнут, слышь, тебя. Богатенькие злобятся, угрозу кричат. Куда тебе, малому человеку, становится в коренники!». Говорю ей: «Я маленький, да удаленький. Не один же я. Беднота поднялась теперь, как высокая рожь: сколь ни качай ее ветром, а колоски друг за друга держатся и ни за что к земле не падут...».

Николай как будто и не слышал Кузьмы; он весь выпрямился, глаза его напряженно заблестели.

— Я теперь ни старый, ни молодой, — отчегливо и горько сказал он. — Хромой пес! Наталья — и та ушла.

Кузьма даже встал и снова осторожно уселся вплотную к Николаю.

— Ну, и ушла, — горячо зашептал он. — Не очень какая краля! Я вот до сорока лет бобылем на свете пробегал, а потом сразу себе нашел.

— Эх, дядя Кузьма! — вдруг крикнул Николай, и голос его так зазвенел, что Кузьма дрогнул и насторожился. — Сколькo на войне богатства порушили! Дворцы, именья какие на ветер пустили! По спелой пшенице ходили, сады с корня рвали, с церковей головы сшибали!

Николай махнул рукой, острое лицо его залилось слабым румянцем.

— Да теперь кто я? — с отчаянием сказал он. — Раньше не видал ништо, копался в земле, как червяк, думал все богатство крестьянское произойти. Дурак!.. Теперь смотрю вот на деревню. Что такое? Избы, что ли, в землю выросли? Таковы они низенькие, нищие. А гляжу на свой хлев да на колоду, — я ведь ее перед мобилизацией строгал, — таково мне жалко себя и злобно как-то... Да теперь я разве усiju на своей полоске? Теперь подавай мне такое поле, чтобы солнце на моей крестьянской земле всходило и закатывалось,

чтобы от межи до межи полдня на коне скакать!

Кузьма тихо засмеялся и взмахнул короткими ручками.

— Куда тебе, болезному, такую-то землю? Тогда уж артельно надо сеять... Госкуешь ты, — прибавил он серьезно, — душа в тебе расколослась, не скоро теперь на место встанет.

Он помолчал, залез тремя пальцами в бороду, вдруг оживился, притворно покашлял.

— Весь в мать! У той душа в песню уходит, а тебе, ишь, мечтается... Подымайся, Николая. Вот аржановские полтора десятины во владенье беднякам получим, — тут нам твои мечтанья и пригодятся.

5

Кузьма жал пшеницу на своей полосе. Рядом работал дружинник Дилиган. Земельный комиссар, австрик Франц, поехал на бывшие барские земли нарезать луга утевским беднякам. Вся остальная дружина убирала пшеницу помощью на дальней полосе одного безлошадного и многодетного хозяина.

Солнце поднималось к полудню, и Кузьма видел, как беловолосая Дунька, дилиганова дочка, оправива подоткнутые юбки и пошла в Утевку, за обедом.

Кузьма вытер рукавом лицо и склонился над снопом. Вдруг небо над ним коротко прогрохотало. Кузьма удивленно выпрямился и приложил ладонь ко лбу. Дилиган тоже стоял на своей полосе, неподвижный и длинноногий, как аист. Грохот повторился. Теперь это был двойной, раскатистый удар. Кузьма повесил серп на руку и подошел к Дилигану. Они вопросительно задрали головы к небу. Их окружила жаркая, томительная тишина.

— Не пойму, — тонко и жалобно сказал Дилиган. — Откуда грозе быть?

Кузьма сел на землю и принялся растерянно перевязывать лапоть. Дилиган опустился рядом. Внезапно послышался дробный конский топот. Мужики вскочили, — по дороге в полный мах, вздымая пыль, неслась на чьей-то лошади дилиганова Дунька. Она свернула на

полосу и, обдав мужиков мягкими комьями земли, свалилась к ногам отца.

— Батя! Винтовки выкрали у вас! Ключи да Степан Тимофеич! От городу беляки идут, слышь, из пушек палят. Дядя Кузьма, Мариша велела тебе в ветлы спрятаться. Эх, и кричит она!

— Дунюшка, дочка, — мягко сказал Кузьма. — Скачи на самое дальнее поле, на Ивана Корявого полосу, там дружина вся. Скажи, Кузьма приказал отступить к Сорочинской. Ваня, ступай и ты к ним. Спасайтесь! Без оружия какая война!

— Нет, ты погоди, — испуганно пробормотал Дилиган. — А откуда они взялись, беляки-то?

— Да что ты, не знаешь? — негромко и как-то тускло сказал Кузьма. — Почтальон вчера до города не доехал, с дороги его воротили. От Самары, скажут, белая армия отступает, потеснили их значит, наши-то.

— А они, может, мимо пройдут, к нам, может, и не заглянут? — Дилиган с высоты огромного своего роста беспомощно и робко смотрел в хмурое лицо Кузьмы и жалко улыбался.

Кузьма потрогал жиденькую свою бородку и раздумчиво сказал:

— Я и сам так думал. Войско, оно должно по железной дороге отступать, — однако, беляков-то от железной дороги, стало-быть, отшибли, и они в степь ударились.

Дилиган и Кузьма замолчали. Дунька стояла около них и тихонько плакала. Еще было слышно стрекотанье кузнечиков и металлический шелест пшеницы, раскачиваемой ветром.

— Нет, Ваня, — сказал Кузьма совсем другим голосом, решительным и властным. — Против силы не попрешь! Беспременно вам надо в Сорочинскую скакать, а я бы здесь остался, может и отсижусь, дождемся, как наши-то придут.

— Ну, что ж, — не сразу отозвался Дилиган. — Так и доведется сделать.

Он снял пыльный картуз, наклонился к маленькому Кузьме, обнял и трижды поцеловал его.

— Не поминайте лихом! — сказал Кузьма.

Дилиган вскрикнул, быстро отвернулся и, спотыкаясь, зашагал по неширокой меже.

Кузьма поднял серп и оглянулся. Небо тихо высилось над ним, дорога курилась пылью, недожатая пшеница стояла золотистой стеной. Кузьма наклонился и бережно связал рассыпанный сноп. «Неужто за сто верст пушки слышать? — с неодобрением подумал он. — Поди, бабы наболтали. Вот сейчас дружина сюда припрет».

Кузьма даже усмехнулся. Кругом все было так обычно, что ему нестерпимо захотелось жать свою пшеницу. Он уже перешагнул через межу, когда над степью пронеслось тонкое, залиvistое ржанье, и из овражка, со стороны города, вынырнул статный, недеревенский всадник.

Кузьма сразу упал на землю и, волоча за собой серп, ужом заполз в высокую пшеницу. Оттуда он увидел, как под солнцем на плечах всадника блеснул золотой погон. За молоденьким разморенным офицером, по трое в ряд, проскакали пятнадцать чубатых казаков. Когда они скрылись за холмом, Кузьма, пригнувшись, побежал к ветлам. Густая кучка ветел стояла на пригорке, оттуда была хорошо видна главная утевская улица, вплоть до церкви. Кузьма жадно припал к ручью, журчавшему в корнях самой толстой ветлы, потом выпрямился и встал. Он вырос в Утевке. Здесь он озоровал с ребятами, делал сопелки из камыша, ездил в ночное, работал на чужих полях, дрался, плакал. Он ощупал своими руками каждое деревцо, знал каждую пядь земли. Он мог бы с завязанными глазами добраться до своей избы, где сейчас томятся Мариша, девчонки и сын...

Мог ли он подумать, что сейчас, в этих кустах, в поле, в улицах его подстерегает смертельная опасность? Он не верил в эту опасность, все в нем протестовало против нее... «Их только пятнадцать проехало, — думал он о казаках. — Офицеришку можно сонного связать. Неужто вся беднота не подымется? Ведь нас теперь — сила...». Неожиданно он вспомнил, на чьей лошади прискакала Дунька на поле: это был

чальный мерин Семихватихи, кривушинской богачки. «Крику сколько теперь будет! Нет, надо итти», — подумал он уже с облегчением.

Мягкий звук чых-то шагов заставил его опуститься на корточки. Сквозь ветви он увидел мальчишку, медленно шагавшего по тропинке. За плечами у него болталась котомка. «Суслик — и тот по чистому полю бежит, не боится, а я, как вор, прятаться должен», — с горечью подумал Кузьма.

Мальчишка поровнялся с ветлами, вынул сопелку и, жадно всматриваясь в кусты, заиграл. Круглое лицо его взволнованно побагровело.

— Митюшка! — прощипел Кузьма.

Мальчишка радостно кинулся на голос.

— Дяденька, вот тебе, дяденька, — звонко шептал он, вытаскивая из котомки краюху хлеба. — Тетенька Мариша сказывала, если хочешь, иди домой. Ключй божится, ничего не будет, только на поруки тебя взять, а все кривушинские на это согласные. А то обавля всем миром по лесу сделают, казакки эдак грозят. Тетенька Мариша кричит... Ключй сказал, у кого мужики убежали, бабы в ответе будут.

— А-а! — вскрикнул Кузьма и решительно встал.

...Вечером, когда гнали стада, Кузьма Бахарев показался на главной улице. Он тихо шел по дороге, закинув серп через плечо. Овцы кучками шарахались от него. Он молча сплевывал пыль. В улице никто к нему не подошел, его как будто не замечали, да и он не смотрел по сторонам.

В сенях он бережно повесил серп на перекладину и отворил дверь. Мариша коротко вскрикнула, из рук у нее посыпались ложки. Ребята сидели вокруг стола и тарашили на Кузьму глазенки.

— Тятяка, — нерешительно прошептала младшая.

Кузьма подошел к люльке. Сын, сосредоточенно пыхтя, тащил в рот пухлую ножку. Кузьма легонько пощекотал его розовую пятку и спросил, не оборачиваясь:

— Ужинать будем, Марья?

Он сел на обычное свое место, в переднем углу, и, отламывая хлеб, задумчиво сказал:

— Ключй-то ведь чуток сват мне...

— Он по-хорошему беседовал со мною, — робко отозвалась Мариша.

В избу, низко пригнувшись, шагнул Дилиган.

— Хлеб-соль! — вежливо сказал он и присел на кончик лавки.

— Пошто вернулись? — ошарашенно спросил Кузьма.

— Так что — некуда податься! — протяжно, сдерживая свой пронзительный голос, сказал Дилиган и высоко поднял густые брови. — В Сорочинском начальника дружины убили, оружие тоже богатеи похватали. Прямо-таки, вилами наперед нас встретили. Так что все возвратились. Кум Леска рыбачить на Ток пошел, кум Федот в котухе спит. Словом, все по хатам. Один Франец, слышь, казачишку сшиб и в лес ускакал.

Кузьма зачерпнул полную ложку пшенной каши и в забывчивости держал ее над чашкой.

— Неужто мир не встанет против пятнадцати душ, а? За нас?

Дилиган ничего не успел ответить. В избу ворвался Митюшка, маришин племянник.

— Дядя Кузьма, тетенька Мариша! — закричал он в полный голос. — На том конце солдаты. Идут, идут, и на лошадах едут... О-ей, сила-а! Сзади пушки у них, вот истинный, провалиться мне!

Кузьма круто слизнул ложку, смахнул крошки с бороды и встал.

— Пусти-ко, баба.

Он пошел к двери, но вернулся и полез на полати.

— Белая армия, — глухо сказал он оттуда. — Должно быть, к Оренбургу отступают.

Мариша бестолково заметалась по избе.

— Господи! Господи! Господи!

Дилиган судорожно мял картуз и как-то странно покашливал. Только малыши невозмутимо чавкали за столом.

— Не нажрались вы? — злобно крикнула на них Мариша.

Маленький в люльке обиженно заплакал.

Дилиган положил картуз на лавку, пригладил волосы и молча полез к Кузьме на полати. Полати были низкие, сумрачные. Дилиган с трудом вытянул длинные ноги. Кузьма лежал к нему спиной, и в первый момент Дилиган подумал, что он спит.

— Злые они теперь, — сказал вдруг Кузьма. — Побили их наши-то.

Дилиган понял, что Кузьма говорит об отступающих беляках.

Внизу, под полатями, всхлипнула Мариша:

— Беги ты, за ради бога. Куда я с ребятами-то денусь, в случае чего...

Кузьма вздохнул и повернулся к Дилигану, медленно пронеся перед ним пожелтевшее лицо в темном обводе бороды.

— Молчи, баба, — сказал он, устало закрывая глаза. — Мужики мои все в хатах, а я побегу! Да и степь кругом.

На шестке сонно верещал сверчок, в избе стоял густой, теплый запах парного молока и новой овчины.

— Ваня, братец, — шипло прошептал Кузьма. — Чую: смертушка моя!

6

Солдаты, казаки и чехи разместились на Большой улице, в просторных домах утевских хозяев. Далеко за полночь немую тишину улиц разрывал четкий солдатский шаг, звон шпор, чужой, картавый говор. У колодцев ржали рослые казацкие лошади, пронзительно пахнущие потом и прогретой кожей седел. На дальнем краю Утевки, у кладбища, чешский солдат пел высоким тенором протяжную песню, и утевцы крестились, думая, что это — иноземная молитва.

Позднее всех по Большой улице глухо прогрохотали орудийные упряжки. Они остановились в тени церковного сада, рядом со школой. В высоких окнах школы зажглись огни, на резное крыльцо вышел дюжий казак. Он прибил к двери листок, где было выведено крупными буквами: «Штаб...». Потом казак обернулся, поглядел в темь из-

под нависших, недобрых бровей и ушел в школу.

Кривуша, как и всегда, рано погрузилась в сон и тишину: сюда, в низенькие избы не поставили ни одного солдата.

Был канун престольного праздника Успенья, издавна славившегося в Утевке торжественной обедней, яблочными и рыбными пирогами и хмельными свадьбами. И ныне бабы затеяли сдобное тесто, а мужики с вечера ушли рыбачить на Ток: по заре славно ловились жирные сомы и сазаны.

Утром поднялся сухой и горячий ветер, по дорогам закрутилась пыль. В крайней избе, что была окружена зелеными огородами и стояла в степи, на отшибе от Утевки, толстая Федосья Хвощиha месила хлеба. Муж ее в ночь ушел на Ток. Хлебы уже подходили, Федосья опоздала к обедне, а Хвоща все не было. Федосья то-и-дело подымала от квашни багровое, потное лицо.

У раскрытого окошка остановилась незнакомая чувашка. Ее сухое пыльное лицо было залито слезами. Она облокотилась коричневым локтем о подоконник и с усилием выговорила:

— Муж мою... упушки... Уньшиков. Не витал ты?

— Уньшиков, комиссар-то? Нету, милая, — ответила Хвощиha, продолжая мерно сгибаться над квашней.

Чувашка обхватила обеими ладонями голову и вся закачалась. Ее ожерелья из монет глухо зазвенели.

— У-у, хой-ха! Солдата увезла мою муж... детей многа... плоха!

Хвощиha бросила квашню и высунулась из окна. Чувашка, всхлипывая и пересыпая речь родными словами, рассказала ей, что на заре к ним в Игнашкино прискакали казаки, подняли мужа с постели и, как он был, в исподнем белье, увезли куда-то.

— О-о-о! — всплеснула руками Федосья.

Чувашка пошла прочь от окна, в Утевку. Плечи ее вздрагивали, на красном фартучке сзади качались и звенели монеты. По ее полному телу и легкой походке Федосья увидела, что чувашка была совсем молодая.

Тогда Федосью пронзила мгновенная, острая тревога. Она отскочила от окна, обвязала квашню чистым столешником и накинула платок.

Еще издали Федосья увидела, что в Кривуше творится что-то неладное: кучки народа по обоим порядкам метались от двора к двору, как на пожаре. Федосья загородила ладошкой глаза и тотчас же разглядела двоих казаков: солнце блеснуло у одного из них на лаковом голенище, у другого — на оправе шашки.

Казак поспешно прошагали на другой порядок, и за ними, словно вспугнутые птицы, метнулись люди. Федосья перекрестилась и прибавила шагу. На встречу ей плыла дебелия, глухая старуха Федора; ее рыхлое лицо было серым от испуга. Хвощица в смятеньи вцепилась в толстый локоть старухи:

— Леоновна! Чего такое?

— Всех, всех повытаскали ночью! — могучим басом прокричала старуха. — Как ястреба над гнездом, вились. Ох, рожоны вы мои детушки!

Федосья разинула было рот, но так и не произнесла ни звука: ее ударил по ушам острый и долгий ребячий визг. Она бросилась бежать, заплетаясь в широких юбках. Остановилась она у кучки баб. Крайняя баба повернула к ней бледное, словно слепое, лицо.

— Ты чего, аль из-за горы пришла? — устало сказала она. — Тут с самой ночи мужиков ловют. Кузьму Бахарева увели... Так, милые, на полатях и лежал. Повели, он молчит, а сам кипенный, белый сделался. Марья на смертной постели лежит, ребята воют... Тут крик, тут хлысты!..

Баба осеклась и опасливо поджала губы. Мимо них прошел нерусский, субролицый, белесый солдат. Он оглядывался по сторонам с холодным любопытством и монотонно посвистывал. Увидев Николая, в его порыжевшей гимнастерке, военный остановился и строго спросил:

— Зольдат?

Николай молча отложил костыль и отвернул штанину. Чех увидел свежий, малиновый, рваный рубец и поморщился. Молодой солдат смотрел на него

светлыми глазами, наполненными такой злобной силой, что чех невольно тронул кобуру револьвера и зябко повел плечом.

На углу Кривуши показались нарядные бабы, — праздничная служба, очевидно, кончилась. Однако бабы шли неровным рядом и без всякой степенности.

— Глядите, Наталья идет! — сдержанно крикнул кто-то.

— Францева баба, австриячка!

— Ох, как резко бежит!..

Низенькая, беременная Наталья с размаху врзалась в кучку баб. На ее худом лице выступили багровые пятна. Она прижалась к Федосье, дрожа всем своим тучным, разгоряченным телом, и изнеможенно крикнула:

— Бабыньки, сокруйте! Франец мой казака убил! Ищут его. На дворе у нас уж были!..

— Обедня отошла ли? — испуганно спросила Федосья.

На улицу вышла Авдотья Нужда, с головы до ног одетая в черное. Ее сухое лицо было строго и замкнуто.

— Недоброе чуёт, — зашептались бабы.

Авдотья остановилась около сына, сидевшего на завалинке, и тихо сказала:

— К Дилигану с задов пошли.

Оправив платок, она взялась за кольцо соседней калитки.

Дуня, дилиганова дочка, стояла перед чубатым казаком и повторяла отчаянно звонко, словно без памяти:

— А я знаю, что ли, где тятя? А я знаю?

Чубатый что-то рывкнул на Дуню и поднял нагайку.

Авдотья легко и молча встала между казаком и девочкой. Нагайка пришлось ей по плечу и до тела рассекала кофту.

— Не тронь девоньку! — не дрогнув, сказала она. — Чего дитё знает?

Казак удивленно перевел глаза с Авдотьи на девочку. Обе были светловолосяные, синеглазые, узколицые.

— Мать, что ли? — недовольно пробасил казак, опуская нагайку.

— Нету. Я мать солдату.

Казак смачно плюнул и зашагал по двору.

За воротами оба казака остановились. Старший вынул из кармана бумажку и дал прочесть казачонку. «Наталья Гончарова», — услышала Авдотья и вся вздрогнула. Казак недоверчиво прищурился на нее и пошел по порядку.

У соседней исправной избы ему поклонилась курносая баба, вся заплывшая багровыми складками жира.

— Нет ли тут где, тетка, Натальи Гончаровой, австрийской жены? — спросил казак.

Семихвятиха подобострастно усмехнулась и подняла толстую руку:

— А вон она, батушка, в бабах-то!

Казак пересек улицу, придерживая шашку. Бледные бабы молча расступились перед ним, и он взял за руку окаменевшую Наталью.

Из переулка, истошно крича, выбежала дурная девка Татьянка. Она переваливалась на ходу, словно утка, — одна половина ее тела — рука и нога — были детски-маленькие и хрупкие.

— Дядя Леска на потолке у монашек сидит. Дядя Леска зачем сидит? — картаво голосила она и размахивала малиновой детской ручкой.

— Молчи, Христа ради, — испуганно дернула ее за рукав женщина в желтом полушалке.

Кривушинские еще ранним утром узнали, что дружинник Александр Попов прячется на чьем-то чердаке.

Дурочка утвердилась на второй своей, толстой и могучей ноге и показала пальцем на избу монашек.

— Там, ей-богу! Дядя Леска!

Казак оставил Наталью с молодым и повернул обратно, к бабам.

— Про кого это ты, голова? — закричал он издалека Татьянке.

Но тут откуда-то вывернулся Иван Корявый, плечистый, рябой мужик. Будто невзначай, он наступил своим тяжелым сапогом на убогую ногу Татьянки. Та завyla и плюхнулась на землю.

— Блажененькая она у нас, — льстиво поклонился Корявый казаку. — Прошенья просим, всяко болтает.

Дверь избы Кузьмы Бахарева медленно отворилась. Во двор, поддерживае-

мая Авдотьей, вышла Мариша. Она оделась в чистое праздничное платье, ее потемневшее лицо было сурово и печально.

На руках она держала грудного, за ней вереницей плелись принаряженные девчонки.

— Счастливых хлопот тебе, — сказала ей след Авдотья.

Мариша взмахнула вялой ладошкой, словно сняла паутину с лица, и мерно зашагала по улице.

— Пошла у целовальника, у Степана Тимофеича, живота просить, — певуче сказала Авдотья. — Он Кузьму смерти предал. Своей рукой на бумажку всех дружинников списал и начальнику отдал. Бабы карабановские сказывали.

— О-о-о, родимец! — взвизгнула Хвоциха.

Авдотья повела синими глазами куда-то поверх бабьих голов в далекую степь и вытерла кончиком платка сухие губы.

— Она ведь и была уж у целовальника в дому, наземь пала... Не только ноги его, весь пол слезами улила. А он стоит, сопит, милые, боле ничего. Значит, правда, жизнь и смерть кузина теперь в его руках. Ну, потом взялась она себя корить, зачем детей не повела. Может, от детей сердце у него дрогнет.

7

В жаркий полдень над селом разорвался и зачастил набат. Улица сразу вся смялась, спуталась, захлопали калитки, где-то пронзительно завyla баба, по дороге, чертя пыль белыми крыльями, пронеслись гуси. Люди, словно слепые, крича и натываясь друг на друга, повалили на площадь, к церкви.

Бежали с Кривуши, с Карабановки, с Большой улицы, сталкивались и густыми толпами забивали выходы с площади в улицы. На площади медленно прохаживались три дородных казака, у школьного крыльца носатый офицер в пенсне горячил гнедого жеребца.

Люди вытягивали шеи, насадея друг на друга. Сзади кто-то крикнул:

— Вон они!

Из переулка выехали всадники. Среди них медленно шагали арестованные. Всадники тронули лошадей прямо на толпу. Народ шархнул в стороны.

- Дедушка Маркел!
- Глядите-ка, Наталья!
- О, батюшки, брюхатую взяли!
- Хвощ!
- Глядите, Хвощ-то!

Федосья отчаянно задвигала локтями и вытолкнулась вперед. Она увидела своего мужа сзади Натальи, ноги у него путались, словно он шел по льду.

От крика жены он вздрогнул, покоился зелеными глазами и сказал прерывисто:

- Пеньжак стеганый... принеси.

Федосья всплеснула руками и ввязалась в толпу. Перед ней пугливо расступились.

В тихой, опустевшей Кривуше она догнала Маришу с ребятами.

— Малый искричался весь, — тускло сказала Мариша, пошлепывая ладонью сонного малыша. — Покормить надо, вот иду.

— Милая, а мой-то, видала? Гос-поди! — закричала Хвощикса на всю улицу.

Мариша обернула к ней пыльное, обострившееся лицо и махнула рукой.

— Проститься не допустили с Кузьмой Иванычем, — ровно сказала она. — Степан Тимофеич закричал: «Кузьма нас в буржуи писал, а мы его в святые запишем!». Знамо, в обиде он на Кузьму Иваныча: ведь целый амбар хлеба порушили у него. Говорила я тогда... Теперь, слышь, убивать хотят Кузьму Иваныча.

— А то? — остановилась Хвощикса. У нее выкатились глаза и неудержимо затряслась нога.

Но Мариша уже широко и бесшумно зашагала по улице.

Федосья свернула на зады и побежала к своей избе. Она распахнула настежь калитку и обе двери. В избе пахло кисло, пьяно. Федосья кинулась искать пиджак и вдруг увидела, что квашню с пирогами расперло, реденький столешник прорвался и тесто ползет на скамью и на пол.

Федосья растерянно влезла руками в тесто, стала его собирать и втискивать в квашню, но тут ноги у нее подкосились, она грузно села на пол и закрычала:

- Моего-то кабы не убили!

Когда Федосья с новым пиджаком на плече, задыхаясь от пыли, подошла к площади и стала протискиваться вперед, ее как будто и не заметили. Толпа стояла, заглядывая в окна школы, и глухо гудела. Три казака теснили первые ряды и тревожно цыкали.

У школьного крыльца, в пустом кругу на площади, на горячившемся жеребце сидел носатый начальник. Перед ним, натужно расставив ноги и опустив седую голову, стоял дед Маркел, отец молодого дружинника.

— Благодарю начальство. Поклонись в землю. Ну? — тыкал его в спину усатый казак.

Дед упрямо покачал головой. Казак сдвинул тугую фуражку и ткнул деда сапогом в поротую спину. Маркел глухо взвизгнул и плашмя повалился жеребцу под ноги.

— Убрать! — коротко приказал начальник.

Деда приволокли к первым рядам и бросили в народ, как в яму.

— Тихонько! — жалобным, сломанным голосом попросил Маркел, когда его подхватили под руки. — За сына!.. За Санюшку!.. Ключ нас указал.

На крыльцо выталкивали из школы поротых, одного за другим. Вышел и Хвощ. Раскорячив ноги, он сам добрался до гнедого жеребца и повалился ничком. Жеребец захрапел и осел на задние, ноги. Усатый казак поднял Хвоща за ворот и ткнул кулаком в бок.

— Ступай, неча землю лизать! — сказал он, усмехаясь.

Федосья поймала мужа за рукав и накинула на него пиджак, — она так и не решилась спросить, зачем Хвощ велел принести одежду.

— За что это тебя? — со слезами спросила она.

Хвощ прикусил бороду и громко застонал.

— Говорят, служил советской вла- сти... О-о, треххвосткой, — шутка?

— Да ты бы сказал...

— Говорил... Нету, мол... недоумение тут. А они — свое... вlepили!

Федосья прокашлялась и вдруг ска- зала:

— А у нас пироги-то ушли!

— Дура! — махнул рукой Хвощ и осторожно пощупал спину.

Один из караульных, молодой голу- боглазый казак, мерно расхаживал у школьных ворот. Из непоротых в школе оставалась одна Наталья.

Казаку что-то крикнули в окно, у не- го дрогнули брови, он обернулся к тол- пе и хмуро сказал:

— Ступайте кто-нибудь... вывести на- до! Ку-уда? Трех хватит!

Бабы кинулись в коридор и вышли оттуда медленно, спотыкаясь. С ними была Наталья. Она сникла всем своим тучным телом, голова ее упала на грудь, лица не было видно под острым углом платка.

Казак отвернулся, нервно крутя шаш- ку. Одна из баб несмело отогнула край наталиной кофты, вскрикнула и за- жмурилась.

— Спина-то... черная-котляная!

Толпа разламывалась перед Наталь- ей и снова смыкалась. Кто-то негромко и обиженно заплакал. Толпа возбужден- но зашумела. В эту минуту вывели и поставили на площади Кузьму Баха- рева.

Он взмахнул отяжелевшими глазами, медленно переступил босыми ногами и устоялся в землю. На нем была белая рубаха без пояса, один рукав торопли- во засучен, другой — помятый и изже- ванный — висел свободно, до кончиков темных пальцев.

Начальник принял от казака бумагу и, поднеся ее близко к лицу, начал чи- тать вслух. Но народ шумел, ревели ребятишки. Начальник высунул лицо из-за бумаги и строго осмотрел пло- щадь; у ограды в полной готовности молчаливо ждали пулеметы. Начальник опять погрузился в бумагу, не повышая голоса, дочитал ее до конца, и только передние ряды услышали, что Кузьму расстреляют.

Длинный, тощий мужик обернулся к толпе и крикнул в волнующуюся гущу голов высоким бабьим голосом:

— Убивать хотят! Писано!

— О-о-о! — ответила ему сзади ба- ба и тоскливо схлестнула руки в розо- вых, широких рукавах.

— Понаехали... баб брюхатых по- роть, — медленным, тугим басом сказал рыжий мужик, и начальник встретился с его глазами, налитыми тяжелой зло- бой.

Начальник снял и снова надел пенсне и махнул ладошкой.

Из церкви вышел священник в пол- ном облачении. Он высоко поднял тя- желый крест, солнце сияло в каждом цветке ризы и в чаше с причастием.

На площади встало плотное молча- ние, и тут все услышали крик Мариши. Она металась где-то в середине толпы, как большая подбитая птица.

— Пу... пустите! Живого человека убивают! Кузьма Иваныч, поклонись ты им... О, головушка моя разгорькая!

Кузьма исподлобья посмотрел в ма- ришину сторону и облизнул сухие губы.

— Уймись, баба, — сердито сказал мужик, державший Маришу. — Криком ничего не сделаешь.

8

Кузьме скрутили руки за спиной и посадили на телегу с конвойными каза- ками. Толпа робко расступилась перед лошадью. Кузьма сидел, не поднимая глаз, иссиня-бледный.

Усатый казак, прислуживавший на- чальнику, взмахнул нагайкой и звонко запел:

Марш вперед! Гей,
Марш вперед!

Сзади телеги крупно и четко зашага- ла пехота. По бокам заметались ребя- тишки и густо пошел народ.

Кавалерия завернула на Кривушу. Тогда навстречу всей колонне поднялся с завалинки Николай Логунов. Он тя- жело навалился на костыль, его костля- вое лицо выражало такое откровенное удивление, что крайний казак не выдер- жал и загоготал:

— Гляди, служивый, с конем в пасть к тебе в'еду.

— Дядя Кузьма-а! — вдруг по-мальчишески звонко закричал Николай. — Дядя Кузьма!

Никто не откликнулся ему, да и едва ли за песней услышали его голос. Он прикусил губу, изо всех сил вытянул шею и увидел мать. Черная, прямая, торжественная, она шагала рядом с телегой. Николай понял, что Кузьму, действительно, убьют, — до сих пор он этому как-то не совсем верил. Высоко подняв плечи и весь дрожа, он заковылял вслед за толпой...

... Колонна шла мимо последних крибушинских изб. Кузьма поднял голову и тотчас же увидел плоскую, заросшую травой крышу своей избы. С крыши, навстречу телеге, кланялся подсолнух.

Кузьма тяжело завозился. Конвоиры настороженно звякнули винтовками. Кузьма поднялся во весь рост, ветер раздувал его белую рубаху. Теперь он всем показался высоким и широкоплечим. Он низко поклонился толпе, веревка от связанных рук болтулась на спине и поползла к ногам. Кузьма повернулся в другую сторону и опять поклонился. Так отдал он медлительные и спокойные поклоны на все четыре стороны. С боков ему истоиво ответил народ, впереди же он увидел только валкие лошадиные зады и широкие спины всадников.

За селом у кизяшных ям телегу оставили, и пехота тотчас же стала огибать ее, разинув рты в оглушительной песне. Отряд спешил, никто даже не сглянулся на телегу, только начальник придержал лошадь и что-то крикнул проходящим солдатам. К телеге подошла Мариша. Она по очереди подняла ребят. Кузьма поцеловал их, смутно уловив насупленное, черноброевое лицо Дашки и ясные, широко раскрытые глазки грудного.

На-ли-ва-йте ча-ры! —

рявкнули последние ряды солдат.

Кузьма вздрогнул и отвернулся от жены. Ему показалось, что наступила мгновенная, глубочайшая тишина. По

степи бежали седые волны ковыля, за горой синела далекая полоска дождя...

— Ребятишек расти, — раздельно сказал Кузьма.

— Отойди-и! — закричал казак над самым ухом у Мариши, и она едва успела отступить перед мускулистой грудью лошади.

— Отойди, стрелять буду! — надрывно кричал казак и крупом лошади грубо обминал первые ряды толпы.

Конвоиры прыгнули с телеги, торопливо сволокли Кузьму и поставили его на краю кизяшной ямы, спиной к крутому спуску. Яма была темная, круглая, как котел, на дне росла чахлая трава, и среди нее цвел единственный кустик белой ромашки.

От уходящей колонны отделились трое солдат. Они встали против Кузьмы. Крайний худенький мальчик, вытянув винтовку, тщательно и долго нащупывал белеющую рубашку Кузьмы. Из-под фуражки у мальчика торчали огромные уши. Они сейчас прозрачно розовели, курносое лицо было напряженным: мальчик целился и весь ушел в мушку.

Выстрелили сразу все трое. Кузьма качнулся, ветер вздул рубаху, и всем показалось, что он должен шагнуть вперед. Но он опрокинулся назад и вниз, и за ним обвалился и прошуршал тяжелый ком глины.

9

Когда последняя артиллерийская упряжка как бы растворилась в пыли, из толпы выступила Авдотья.

— Из ямы выньте Кузьму Иваныча, — сурово сказала она ближним мужикам. — А то застынет он.

Потная, кричащая толпа обступила яму, с краев ее сухо покатились земля. Мужики, трудно кряхтя, вытащили окровавленный труп и положили его на полянь.

Мариша замертво повалилась у неподвижных ног мужа. Авдотья сложила Кузьме руки на груди, оправила рубаху и выпрямилась.

— Вы послушайте, народ да люди добрые, — певуче и властно произнесла

она, поднимая на толпу синие затуманенные глаза.

Первые ряды послушно притихли, бабы схлестнули руки под грудью, седой старик Трофим, горестно топтавшийся на краю ямы, обнял бороду дрожащей ладонью и налег на клюку.

Уж не в пору да и не во время
 Нам пришла тоска, горе страшное,
 Што ведь горькими слезами умываемся,
 Што великою кручиною утираемся,
 По Кузьме нашему да свет Иванычу...

Авдотья напряженно шагнула к народу и вскинула руки, как бы подзывая к себе.

Бабы окружили ее вплотную.

— Овдотьюшка-а! — протяжно, в тон причитанию, заговорили они. — Чего это на свете подеялось!..

— Ноженьки подсекаются!

— Горе наше, горешенько...

Мужики мяли картузы в руках. Трофим молча смотрел на Авдотью из-под седых бровей.

Тут постигла его скоро смертушка,— медлительно и глуховато произнесла Авдотья.

Уж и видели мы, да и слышали,
 Как рассталась душа с телом крепким,
 Очи ясные да со светом белым...

Голос ее вдруг очистился и требовательно зазвенел:

Он не вор, кажись, был, не мошенничек,
 Он не плут, кажись, был, да не разбойничек,
 Не глупешенек был, не малешенек,
 А и в полном молодецком возрасте...

Толпа глухо и опасливо заворчала, в задних рядах начали суетливо переглядываться.

— Авдотья! ты брось это, — настаивательно сказал бывший староста Левон. — Живот смерти завсегда боится.

Авдотья опустила светлые ресницы, худое лицо ее пылало. Она вытерла губы кончиком платка и завела голос на высокий причит:

Уж вы слушайте все, род племя крестьянское,
 Во большом нашем углу бессчастье садилось,
 Впереди бессчастье шло да ясным соколом,
 Позади оно летело черным вороном,
 Всем беремечком бессчастье ухватилось
 За могучие оно за наши плечушки...

Авдотья смолкла и в раздумьи опустила голову. Все услышали тонкий скрип телеги, люди медленно расступились, и над толпой поплыла темная лошадиная голова.

Легкое тело Кузьмы бережно положили на сено. Разбитую его голову прикрыл кто-то вышитым платочком. Мариша безжизненно повисла на руках двух дюжих заплаканных баб. Возчик растерянно накручивал вожжи на руку, лошадь стригла ушами.

Авдотья отдала земной поклон мертвому, перекрестилась и отчетливо сказала:

— От всего страдного крестьянства. Телега тронулась, бабы завопили устало, разноголос.

— Птице малой бесповинну головушку снесут, — сказала Авдотья высоким и строгим голосом, — дак и то вся стая кричит, подымается. Червяк какой земляной, мураш ли—и тот защиту имеет.

Она оправила волосы, повела ладонью по сумрачному лицу и резко вскрикнула:

Что по той-то по смутной осени
 Пройдет холодная зима, да студеная,
 Пройдет теплая весна, да унывная.
 А как по лету уж, по красному,
 Неужто не слетятся млады соколы?
 Или крылья у них перешиблены,
 Буйна силушка поизветрилась?

— Уж простите меня, люди добрые, что я думаю глупым своим разумом. — Авдотья поклонилась толпе и смолкла.

— Глупа была лягушка в болоте, да и та умная стала, — загадочно сказал рыжий мужик, кричавший на площади.

Авдотья взглянула на его лицо, раскаленное жарой и гневом, и слабо усмехнулась. Молчаливая толпа, задыхаясь от пыли и солнца, вошла в Кривушу.

10

Когда Авдотья тихо отворила дверь своей избы, Николай сидел на полу, осторожно вытянув больную ногу. Вокруг него были разложены части винтовки, в руках он держал затвор и тщательно обтирал его портянкой.

Авдотья коротко вскрикнула, бросилась в передний угол, сорвала со стола

скатертку и дрожащими руками занавесила единственное окно в улицу. Потом она повалилась на скамью и сказала, устало и счастливо улыбаясь:

— Отмолчался сынок мой, отсиделся... Как ты ружье-то достал? Аль слазил?

— Нет, — спокойно ответил Николай. — Мне Дилиган подал: он у нас на потолке сидит.

Авдотья выпрямилась, вся залилась румянцем и через силу прошептала:

— Отчаянный ты...

Они помолчали. Николай собрал винтовку, поднялся и хмуро щелкнул затвором раз и другой.

— Казачишки и чехи все до одного убралась, — робко сказала Авдотья. — Ключ с ними сбежал. А Степан Тимофеич, слышь, наизусть обедню отмолил и лег помирать. Вода его вовсе подмывает, боится...

Николай поставил винтовку в угол и в раздумьи потрогал грязными пальцами подушечку костыля.

— Они — так? И я — так! — сказал он звонким, злобным голосом, какой у него бывал у маленького перед дракой с мальчишками. — Мать, — добавил он все тем же звонким и властным голосом, — ступай, Дилигана кликни. Дружину сбивать будем.

Авдотья приостановилась среди избы и пристально взглянула на сына. Его тонкие стиснутые губы, четкая линия скулы, горячая и глубокая синева глаз, — как и тогда, в памятную ночь перед мобилизацией, остро напомнили ей покойного мужа Силантия. Только теперь Николка был еще строже, взрослее. Авдотья вздохнула, подумав, что трудная юность Николки окончилась...

III. БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ

1

В обозе молчали. Лошади, выгибая спины, тащили тяжелые телеги. Мужики шагали рядом, опустив темные, строгие и смутные лица. Один Климентий, седой валяльщик, шел, высоко подняв голову: из-под насупленных бровей он всматривался в пронзительно синееющую весеннюю степь.

Бабы и ребята сидели на возах с бурным скарбом. Толстая кузнечиха бесперестанно оглядывалась на Утевку, — глаза у нее были запухшие от слез и блестящие. Кузнец семенил рядом. Мелкая ребячья походка не вязалась с его широкими, литыми плечами.

Николай Логунов, хромой солдат, председатель Утевской коммуны, старался идти наравне с первой подводой. То-и-дело он украдкой оглядывал весь обоз. Шесть подвод, скрипучих и забрызганных грязью, казались жалкими под высоким солнцем.

Николай поправил кнутовищем солому на возу и встретился с синими затуманенными глазами матери.

— С честью нас проводили, — тихо сказала Авдотья. — Песню сыграли.

Николай промолчал. Худое лицо его было замкнуто, скулы порозовели, — хромому трудно было шагать по вязкой дороге.

— Знать, в светлый час от'ехали, — настойчиво добавила Авдотья. — Ласточка над гривой у лошади пролетела.

Николай юднля голову. Большие его глаза, — светлые, жадные, как бы голодные, — надолго задержались на фигуре матери. Какой маленькой, сухонькой вдруг показалась она ему здесь, под ясным солнцем, в необозримом степном просторе! На нежном удлиннном лице Авдотьи темнели глубокие морщины. «Постарела», — жалостно подумал Николай. Однако ровный, высокий лоб матери и спокойная, темная синева глаз так близко напомнили ему молодую Авдотью, что он порывисто вздохнул и, не умея иначе выразить свою любовь, еще раз поправил солому на телеге и бережно коснулся острых колен Авдотьи.

Мысли его снова перекинулись к мужикам, коммуне, к Утевке...

Он проснулся сегодня в темной своей избенке, в маленькие окна которой едва проникал мутный свет, и сразу подумал о том, что сегодня они с матерью уедут навсегда, изба, наверное, рухнет набок и будет тихо, сквозь саманный кирпич, прорастать травой. Незаметно из-под ресниц он наблюдал бесшумную суетню матери. Она укладывала ветхий

сундук и что-то шептала. Вот она прошла в передний угол, легкими движениями сняла с икон расшитый рушник, сложила его, выпрямилась, постояла перед темными ликами святых, потом прекрестилась и осторожно перевернула иконы к стене.

Часом позднее они взобрались на телегу и уехали, оставив раскрытыми низенькие плетеные воротца.

Подводы коммунаров неторопливо съезжались к кизяшной яме за селом, где был поставлен деревянный памятник со звездой расстрелянному красному дружиннику Кузьме Бахареву.

У ямы уже сбивались крикливые стайки ребятишек, подходил народ. Ребята заглядывали в яму круглыми от страха и любопытства глазами. На дне ямы еще лежал темный подтаявший снег, а за ямой, в степи, бурела и качалась та самая полынь, на которую глядел Кузьма в предсмертные свои минуты.

Николай смущенно бродил около своего воза, без нужды одергивал шляпу на гнедой, сонной кобыле, исподлобья взглядывал то на тонкий шпиль памятника, посветлевший от дождя, то на взволнованную толпу утесцев. Особенно ему запомнился бывший староста. Он стоял молча, седой, все еще могучий старик, и на его широком лице, словно высеченном из темного дуба, было столько презрения и тоски, что Николай нахмурился и отвернулся. Какая-то баба, корми́вшая грудного, беспрестанно вскрикивала:

— Соли нету! Ситца нету! Кормильцы! Карасину нету!

Это было похоже на тревожный крик большой птицы, и толпа отвечала ей громким, разногласным говором.

Иван Дуб, утесский секретарь большевиков, вскочил на телегу и начал говорить длинную прощальную речь. Баба все кричала. Наконец, озлобившись, она с силой оторвала младенца от груди. Ребенок обиженно заревел. Николай перевел глаза на Ивана, смотрел в его большой, белозубый рот, в его курносое, потное лицо, но от волнения не мог вникнуть ни в одно слово. В памяти у него остались какие-то отрывки:

— Вся Россия должна пахать супрягой...

— Земля наша полосками, полосками, латша получается, а коней нет!

— ...долой польских панов!

Окончив речь, Иван тяжело спрыгнул наземь, вытер лицо фуражкой и поцеловал Николая, обдав его жарким дыханием.

— Трогай! — громко крикнул Николай и тотчас же оглох от гармошки, взревшей у него за спиной, от бабьих воплей и прощальных криков толпы. Коммунаров жалели, ругали, плакали над ними и горько насмешничали.

— Сиротки одни. Голь да перетыка!

— На барские калачи поехали!

— Прощайте, братцы, не поминайте лихом.

— От разверстки бегут! Умники!

— На голо место садятся, кормильцы!

— Уж и вопленицу с собой взяли!.. — неожиданно добавил тонкий и ядовитый бабий голос.

Николай быстро взглянул на мать. Она сидела, опустив глаза и крепко сомкнув рот. Только светлые ее брови слегка дрогнули. Николай хлестнул лошадь, и та испуганно взметнула гривой. С детства жила в Николае острая обида за мать — плакушу, вопленицу, кормившуюся «от покойников».

Последней в памяти Николая осталась глухая Федора. Она смотрела вслед обозу круглыми, пристальными глазами и горестно всплескивала руками. Обоз вполз на узкую плотину, до краев затопленную мутной водой. Бабка так и не поняла, куда угоняют ее земляков, вместе с женами, ребятишками и со скарбом. Уже издали Николай услышал ее глухой, басовитый вопль...

...До хутора купца Аржанова, где отвели землю коммуне, было всего пятнадцать верст по большой проселочной дороге. Дорога эта вела к дальнему ярмарочному селу Таллинке, куда утесцы ездили за товарами из года в год.

Теперь знакомая дорога, степь, пологие холмы представились коммунарам новыми, неожиданными. Мужики, бабы

и даже дети беспрестанно озирались по сторонам и с боязливым любопытством вглядывались в туманную черту горизонта. Они навсегда покидали родину.

Николай тоже не выдержал и обернулся. Утевка темнела плотным, собранным пятном и была опоясана свинцовой лентой реки. Николай мысленно отметил крохотную точку своей избы, вздохнул.

Их окружала прозрачная, величаявая степная тишина. Кое-где еще белел снег, но на бугорках уже пробилась первая, желтые перышки травы. Талая земля широко и алчно чернела.

Дорога потянулась в гору. Мужики защелкали кнутами. Лошади ставили копыта осторожно, словно желая зацепиться за скользкую землю.

Климентю показалось, что он слышит песню — тонкую, едва различимую в натужном скрипении колес. Старик приостановился, быстро оглядел обоз. Мариша тоже подняла голову. Ее худое, смуглое лицо осветилось тревожной улыбкой.

С дороги, из-под морды передней лошади, взмыл сизый грач. Он полетел очень низко над землей, неохотно рассекая воздух тяжелыми крыльями. «Птица червей ищет. Незамедлительно надо пахать!» — озабоченно подумал Николай и удивленно оглянулся: он тоже услышал пение.

Вихри враждебные веют над нами, —

робко и протяжно вывел девичий голос, и все увидели певунью, — это была беловолосая девушка Дуня, дочь Дилигана. Она неуверенно повторяла песню, которую гармонист играл на прощаньи. Ей неожиданно откликнулся чистый голосок Дашки, старшей маришиной девочки. Дашка пела, сдвинув тонкие брови; лицо у нее оставалось суровым, как у матери. «Откуда у дитя хмурость такая?» — растроганно подумал Дилиган. Он кашлянул, перебрал в руках вожжи и вдруг подхватил песню высоким, глуховатым тенором. Следом за ним Скворчиха присоединила свой истовый, с подвывом, бабьин голос.

Николай взглянул на мать. Авдотья сидела прямая, чуть растерянная. Губы ее беззвучно шевелились.

Песня разногласо зазвенела, с натугой переваливаясь со слова на слово. Авдотья медленно откинула платок за ухо, вздохнула и запела. Глубокий, грудной ее голос смело выравнивал песню, и она широко и стройно разнеслась по степи:

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

«Матушка», — удивленно прошептал Николай. Он одернул тужурку, взглянул на людей. Они пели, лица у них были пристальные, суровые. Николай тоже запел, но голос у него сорвался, и он смолк: «Как внове жить будем? Непривычно все! Вот едем и поем...».

С гребня горы коммунары увидели дымные верхушки тополей. Тополя росли над озером у хуторской усадьбы. Николай жадно взглянул на бурую степь, которая ровно и далеко расстилась за озером. Это была земля коммуны. Николаю казалось, что вся она курилась легкой, голубоватой дымкой. «Пахать надо» — окончательно встревожился он и прибавил шагу.

Обоз ходко пошел под гору. Скоро стали видны три бревенчатых дома, сад, большой амбар, крытый железом и поднятый на сваях. За домами неясно темнела речушка Старица, а на другом, высоком берегу Старицы стояли двумя стройными рядами избы с богатым подворьем: это был хутор Орловка.

— На какую землю сели, — тихо и злобно пробормотал Климентий. — Недаром орлами прозваны!

Никто ему не ответил. Обоз грузно поднялся на последний пригорок. Пустынный, ничем не огороженный, словно случайно приткнувшийся здесь, — хутор возник перед глазами приезжих. Три дома с закрытыми ставнями стояли, залитые солнцем, напротив мертвенно-спокойного озера.

Коммунары молча в'ехали в новые свои владения и остановили запаленных лошадей у первого резного крыльца.

— Ставни открыть бы, — негромко, с усилием сказал Николай.

Дилиган с готовностью кинулся к дому. По тому, как напряженно раскоря-

чил он длинные ноги, Николай понял, что ставни забиты.

Ребятишки первыми слезли на землю и принялись скакать на затекших ногах. Бабы несмело сбились у подвод. Кузнец, согнав с воза растерянную жену и сонного пасынка, начал разбирать свой тяжелей «инструмент».

Дилиган, наконец, открыл ставни. Из окон, из сеней на людей пахнуло нежилой сыростью. Николай открыл дверь в «горницу» и тихо сказал:

— Поселяйтесь пока. Нары положим по стенам. В трех-то домах просторно будет!

Он повернулся и стукнулся больной ногой о кованный сундук. На сундуке сидела толстая темнокожая девушка Ксюшка, дочь Климентия. Она поторопилась втащить в дом свое добро и теперь сидела, молчаливая и злобная, на самой дороге.

— Разбирайся, Ксюша, — сказал Николай, морщась от боли.

Ксюшка в ответ только строптиво фыркнула. «Словно кошка, — еще поцарапает» — опасливо подумал Николай.

— Я пойду, на землю взгляну, — сказал он вслух и осторожно прикрыл дверь.

Ребятишки гнались за ним до озера, потом отстали и взапуски помчались обратно, к обозу.

У моста Николай свернул с дороги и вошел в густой кустарник. Здесь еще лежал талый снег, но голые и гибкие ветви кустарника уже отливали на солнце живым, коричневым глянцем и были густо усеяны почками. Крупные, клейкие почки источали сладкий и тревожный аромат. Николай с трудом выломил толстую палку, вытер ладони о штаны и оглянулся на хутор. Лошади все еще стояли, понурясь, у крайнего дома, ребятишки с криком носились вокруг обоза, бабы суетливо сваливали узлы на высокое крыльцо своего нового жилья.

2

Земля коммуны начиналась тут же, за мостом.

Поля, поросшие прошлогодней, седой и блеклой травой, были рассечены глубокими, редкими межами и простирались до самого горизонта, теряясь в голубоватом, туманном просторе. Николай остановился и вздохнул полной грудью. Вот она, земля, о которой мечтал Кузьма Бахарев, малый мужичок, Аршин в шапке!

Николай налег на палку, отколупнул слеглый, иссиня-черный комок земли и бережно взял его в ладони. От земли исходил парной, гниловатой, тучный запах плодородия.

Опираясь на палку, Николай легко зашагал по меже. Он шел все быстрее, что-то тихо бормоча и улыбаясь. Его пьянил чистый степной ветер и немая бесконечность полей, лежащих перед ним.

Внезапно он заметил человека, который сидел на корточках, на меже. Кто мог притти сюда раньше председателя? Улыбка сошла с лица Николая. Он остановился и стал ждать.

Человек медленно встал и двинулся к Николаю мелкими шажками. Николай тотчас же узнал Климентия валяльщика. Они встретились и немного постояли молча.

— Чернозем, — небрежно сказал Климентий и суетливо хихикнул. — Чернозем, братец ты мой! Неужто в самом деле полтораста десятины, а?

Николай взглянул на Климентия внимательно и хмуро. Торопливая улыбка старика никак не согласовалась с тяжелым блеском его зеленых, пронизательных глаз. Николай вспомнил, что старик не сдал свою избу сельсовету, а оставил ее старшей, вдовой дочери, которая, по его словам, никак не соглашалась пойти в коммуны. «Ход себе приготовил, старый волк» — сообразил Николай и сказал, негромко, с осторожностью:

— Сколько десятин тут — все наши. А ты чего завидуешь на свое-то добро?

— Милый! — пробормотал старик, и его широкие, слегка вывороченные ноздри затрепетали. — Я к этому чернозему всю жизнь тянулся, не дотянулся. Ведь от нашей, от утевской земли не то валенки — горшки пойдешь лепить!

— Тебе что до нее, до земли? — Ты — мастер, валенки нам валять будешь. Мастерам в коммуне почет.

Климентий опустил глаза, седые брови его зашевелились.

— Ну, что же, — неясно сказал он, боком обошел председателя и зашагал к хутору.

Николай долго смотрел ему вслед. Походка у Климентия была молодая, упругая, он размахивал длинными, сильными руками, посконная рубаха обтягивала его крутые плечи. «Такому волю дать — коршуном на всей земле сядет», — огорченно решил Николай. Он опустил на высокую обочину межи, положил палку и достал кисет. «Кто знает... в кремне огонь не увидишь, в человеке — душу, — думал он минутой позднее, стыдясь своей злобности к старику. — Кузнеца тоже не разгадаешь: пошел в коммуны срыву, не сказал ни слова. Мариша с горя сюда кинулась. Дилиган велик ростом, да робок, словно дитя. А Скворец мал, от земли его не видать...».

Николай закурил и медленно поднялся. Только теперь он ощутил острый голод и усталость. Свернув с межи, он пошел прямо по старой пашне.

Почему коммунарцы назвали своим председателем его, убогого солдата? Или памятна им его молодая жадность к земле?

Николай бросил цыгарку и усмехнулся. Из кого и выбирать было, когда молодые и здоровые мужики ушли на польский фронт, а кое-кто из парней и солдат загулял по степи в бандах и в деревне остались одни старики да убогие?

Николай прошел сквозь редкий кустарник, ноги его стали увязать в песке. Он остановился на пологом, песчаном берегу Старицы.

Солнце уже закатилось, и синие весенние сумерки быстро заливали степь. За рекой, на пригорке, смутно темнели избы Орловки и острые журавли колодцев. На том берегу Старицы, как-раз напротив Николая, раскачивался от ветра голый, единственный куст. Неожиданно Николаю почудилась за кустом чья-то легкая тень. Он дрогнул и весь

облился жаром: «Наталья?» — Он медленно шагнул, выставив палку вперед, как слепой. Камыши, ледяная вода и непроходимая топь отделяли его от того берега. «Она тут, Наталья», — шепло сказал он себе и остановился у неподвижной чащи камыша. Берег мертво молчал, куст все еще метался, разбрасывая вокруг дрожащие тени. Николай повернулся и быстро пошел прочь.

Теперь он попал на хутор с другой стороны, от Старицы. Он вошел на крыльцо крайнего дома, тронул дверь и тотчас же понял, что она забита. Торопливо, спотыкаясь, он добежал до второго дома. Та же плотная темнота, закрытые ставни, забитая дверь... «Все уехали!» — едва же крикнул Николай. Однако дверь третьего дома легко распахнулась. Две большие комнаты были завалены спящими людьми. Николай с облегчением вдохнул жилой, распаренный воздух, — они здесь!

— Николая! — услышал он тихий голос матери.

Осторожно пробравшись в передний угол, он присел на нары, снял сапоги и смущенно сказал:

— Тесно спать-то. Пошто дома те не раскрыли?

— По первости боязно. Ишь, сбился, как птицы в стае.

Они помолчали. За окном стоял ровный, хрустальный звон: то раскачивались под ветром высокие тополя.

— Матушка, — негромко сказал Николай. — А Наталья-то здесь, в Орловке. Знаешь ты?

Авдотья пошевелилась, глубоко вдохнула и почти беззвучно ответила:

— Знаю.

3

Наталья Гончарова, жестоко высеченная казаками, родила мертвенького сына и прохворала всю долгую зиму. Летом, в самую страду, ее пришлось положить в волостную больницу. Только поздней осенью она вернулась в опустевшую хату. Муж ее, австрияк Франц, пропал без вести, отец умер от тифа. Одна старушка-мать встретила Наталью на пыльном дворе и неодобритель-

но поглядела на ее пожелтевшее, страдальческое лицо.

Едва Наталья оправилась, как старуха связала ей узел и сухо сказала:

— Ступай в Орловку, к дяде Степану. Все-таки родня он нам, какой-никакой. Одна-то я по окнам пройду, — вот мне и пропитание.

Наталья покорно опустила голову: что ж, надо идти в Орловку. Так издавна делали все утевцы, когда нужда хватала их за горло. Орловцы сами были старинными утевскими жителями, но они давно вышли на отруб.

Во время войны на орловских хуторах работали подростки, солдаты, бабы, потом — австрийцы. Хуторяне сумели откупиться от мобилизации скота, и на их полях тяжело ступали гладкие, норовистые кони.

После революции Орловка заметно попритихла, однако, хлеба засекала исправно. Земли ее прилежали к утевским наделам, и утевцы видели несколько раз на своих шумных сходках почтенного и молчаливого хуторянина Степана Пронькина. Вот к этому-то Степану Пронькину и отправилась теперь Наталья.

Она вышла из Утевки ранним осенним утром, в своей девичьей плисовой кофте, с нескладным узлом, в растоптанных лаптях. Дорога была грязная, тонкий ледок со звоном лопался под ногами. Влажная, потемневшая степь холодно и неприветливо раскрывалась перед Натальей. Казалось, никогда ее не перейдешь, — вот так, увязая в глине и таща на ногах пудовые лапти. Запаленная, осунувшаяся, очутилась Наталья, наконец, в Орловке и робко вступила в квадратный, темноватый, крытый тесом двор Степана. У крыльца она очистила глину с лаптей и отворила скрипучую дверь.

— Здравствуешь, — равнодушно ответил Степан на ее низкий поклон.

Его узкие светлые глазки быстро скользнули по тощей фигурке женщины. «Силы во мне теперь нету. Да и куда я ему, в зиму-то?» — думала Наталья, с тоской глядяваясь в скуластое лицо хозяина, окаймленное квадратной бородой и жестким бобриком волос.

— Ну, живи, что ли, — вдруг сни-

сходительно сказал Степан. — Хозяйка у меня стара стала.

Наталья суетливо сунула узел под лавку, сняла шаль и села. Она хотела сказать Степану: «Я ведь, в девках-то, огневая на работу была», — но так ничего и не сказала. Испуганная улыбка застыла на ее худом, обветренном лице...

Дочь Степана недавно была выдана в соседнее село Ягодное. Теперь со Степаном и его покорной, иссохшей Параскевой жили трое сыновей-погодков. Старшему из них, Прокопию, едва сравнялось восемнадцать лет. У парней были тяжелые челюсти, светлый, бездумный взгляд исподлобья и длинные, мускулистые руки. Они работали безустали, — во дворе, на гумне, в поле, — много ели и спали крепко, как дети. Сначала Наталья их путала, до того они были схожи. Потом она отличила старшего, — остроскулого, с упрямой копной волос. Он улыбался, как отец, — криво, неуверенно и будто нарочно.

Начались темные, ветреные осенние ночи. Керосину не было, поэтому вся семья, повечеряв в сумерках, заваливалась спать.

Наталье иногда не спалось. Она думала о Франце. До нее долетел неясный слух об австрияке Франце, который будто бы ушел с Красной армией к Оренбургу. Однако, по приметам, это был какой-то другой Франц. «Верно, у них Франц, как у нас Иван — много их» — решила опечаленная Наталья.

Сначала Франц вставал перед ней до боли явственно, — в своей дымчато-голубой куртке, с серыми, холодноватыми глазами и крошечными усиками над пухлой губой. Наталья вздрагивала, стискивала зубы. Но скоро усталость стала валить ее с ног: ей приходилось работать наравне со стариком и парнями. За ужином, преодолевая дремоту, она со страхом смотрела на тяжелые кулаки парней, на их железные челюсти. Они жевали размеренно, могуче и, казалось, с легкостью могли бы раздробить булыжник. Ночью Наталья проваливалась в беспмятный сон, а на рассвете снова подымалась, со стоном разгибая онемевшую спину.

Лицо Франца стало стираться в ее памяти. Иногда Наталья останавливалась среди работы и спрашивала себя: «какой же он был, мой Франц?». Перед ней уже не вставали его глаза, его улыбка, воспоминание больше не пронзало ее горячей дрожью. Ведь она так недолго знала Франца!..

Степан Пронькин был в Орловке самым старым и многосемейным мужиком, неписанным старостой. Хуторяне часто забегали к нему за советом и помощью. В длинные зимние вечера, при неверном свете коптилки, у Степана сживали робкий одноглазый вдовец с соседнего двора и рыжий мужик с другого порядка.

Разговор начинался с обычных жалоб на продрозверстку, на разгон базаров, на непонятную суету в волости. Шептались о голодных, жестоких бандах дезертиров, рыскавших по степи. Потом неизбежно заговаривали об аржановской земле. Рыжий рысцой подбегал к столу. Трешетливый свет коптилки падал то на его светлую бородку, то на брови, то на густой вихор.

— Допустим, лежит она от большака к солнозакату, до самого Зеленого яру... — говорил он, стараясь солидно растягивать слова, что ему, торопыге, плохо удавалось.

— Так ее ж всю не обнимешь, — медлительно и ласково возражал ему Степан.

Рыжий неловко опускал голову:

— Я и не болтаю про всю-то.

Вдовец молчал. Но и его единственный глаз наливался темным огнем зависти и желания.

«Земля, земля!» — разносилось по всей Орловке, как только сбивались в кучку четверо-пятеро хуторян.

Зимой на закате степь становилась особенно широкой, по снегу ложились и медленно темнели розовые, сиреневые, желтые пятна. Тогда мужики из-под ладошек глядели на закат, в разноцветную степь и говорили с потаенной улыбкой:

— По весне межи проложить. Миром — собором.

Среди зимы Степан, наконец, уехал в голость за бумагами.

— Скажу, земля не может впусте лежать, трава ее оплетет зазря, — уверенно сказал он на прощанье.

Вернулся он только на следующий день к вечеру. Его встретили у крайней избы едва ли не всем хутором. Степан поклонился народу, но лошади не остановил и на полной рыси въехал в распахнутые ворота.

— Что-то невесел, — пугливо сказал рыжий.

Все двинулись ко двору Степана. Сыновья угодливо распрягли лошадь. Вслед за Степаном в избу протиснулось несколько мужиков. Они степенно уселись на лавках.

— Заметь нонче, — сонно сказал один.

— Да, дорога плоха, — хрипло откликнулся Степан. Он снял тулуп, шапку, размотал шарф.

— Солдцы-то все нету? — несмело спросил одноглазый.

— Нету. Скоро солонцы будем лизать, как верблюды.

Мужики переглянулись. Наталья одним духом пронеслась через избу с кипящим самоваром, старуха поставила чашки. Мужики расселись за столом. Степан собственноручно наколот мельчайшие кусочки сахара и, только шумливо схлебнув первое блюдо, сказал:

— Ушла от нас земляца-то. Утевской коммуне отдали.

От неожиданности рыжий глотнул крутого кипятку и крикнул тонким голосом:

— Все полтора ста десятин?!

— Все полтора ста.

Степан криво усмехнулся и отодвинул чашку:

— Они думают, тут им аржановские крендели на тополях навешаны. Коммуна!

Он вытер потное лицо полотенцем и положил на стол волосатые кулаки.

— Банды, слышь, нашу волость в кольцо взяли, — сказал он жалостливым, чужим голосом. — Жилинским коммунарам, вон, животы выпустили. А ведь недалеко она, Жилинка-то! Вот беда какая!

— Да-а! Значит, жилинские недолго

повладали землицей, — глухо заметил вдовец.

Мужики дружно поднялись и вышли.

«Земля!» — Степан произносил это слово с такой глубокой, злобной тоской, что Наталья враждебно думала: «Своей-то мало! Подавиться хочет, старый черт!». Тотчас же она с обидой вспоминала, что хозяин пока-что не дал ей и новых лаптей. Она работала за хлеб и донашивала последнюю холстинную юбку. В ее мешке лежали только давнишние девичьи гусарики с пуговицами и желтый сатиновый наряд.

Как-то в сумерках Наталья вошла в избу с полным подойником в руках. Хозяйка стояла над кованым раскрытым сундуком. Острый глаз Натальи различил плотную кладь ярких ситцев, пышный сверток нового ватного одеяла и тупой белоснежный кончик сахарной головы.

— Поди, Натальюшка, кабы телок не сбежал, — смущенно и ревниво сказала старуха, прикрывая сундук.

«Сахару-то сколько!» — завистливо пролепетала Наталья в сенях.

Ночью она разжалобилась над собой, всплакнула и вдруг подумала, — хорошо бы ей выйти замуж за старшего парня, за Прокопия! Земли Степан прирежет еще долю, и не обидно будет пнуть спину над своим собственным полем. Старик крут, но отходчив, свекровь сговорчива, да и дочек у нее больше нет, — значит, кладь в сундуке могла бы пойти ей, Наталье. Прокопий — молодой, сильный, пристальный мужик...

Наталья села на постели и стыдливо засмеялась.

— Что это я? Без ума сделалась. Я для него неровня. Перестарок. Богатую девку найдет. Да он на меня и не глядит...

Зима потекла дальше, глухая, сонная. Наталья не ходила ни по вечерам, ни на бабьи супрядки, потому что была она здесь всем чужая, да и не баба, не девка и не настоящая вдова.

Весною на Красной горке ее, однако, позвали на свадьбу: одноглазый, многодетный вдовец женился на девке, усватанной в соседней деревне. За полдень, после венца, началась гуляба. В жар-

кой избе гости быстро захмелели от самогона и от зеленоватой, мутной «политуры».

Наталья сидела на лавке у порога. Горько подняв брови, она смотрела на поющих, распаренных людей и на сироток одноглазого. Их было пятеро, все девчонки. Наряженные в розовые ситцевые платья, они, все пятеро, взапуски лутили семечки, выколупывая их из нечистых платочков.

Невеста не отрывала от жениха распаленных, недобрых глаз. Взглянула на него и Наталья. Она увидела большое волосатое ухо и пустой глаз с вывороченным розовым веком. Наталье вдруг показалось, что мужик этот — немой и умеет только мычать.

Она встала и двинулась было к двери, порывисто расталкивая баб и ребятшек. Вдруг в избу вбежал, едва не сбив Наталью, высокий мальчишка.

— Коммуна едет! — истошно закричал он.

Толпа вынесла Наталью на улицу. Оглушенная криками и пьяными песнями, она бежала вместе с другими на край улицы. Мальчишка, мчавшийся рядом с ней, радостно кричал:

— Кому—на, кому — нет ничего! Кому—на, кому — нет ничего!

На окраине толпа остановилась. Наталья, задыхаясь, таращила глаза, вытягивала шею, но видела только тонкую цепочку обоза, сползающую с горы. Никого из утесцев она не различала, — обоз был еще слишком далеко.

Толпа быстро накричалась, набегалась и опять повалила в избу, к свадебному столу. Впереди толпы размахисто плясали сватья.

Наталья украдкой нырнула в свой двор, сняла праздничный наряд, бережно сложила его, расстегнула гусарики и долго сидела, опустив руки. Она была одна во всем доме. Стало уже темно, когда она торопливо обула лапти и выскользнула за ворота. Сначала она задумчиво пошла по дороге прочь от Орловки, но потом остановилась, вздохнула и повернула к Старице. Она встала на высоком берегу у куста и долго смотрела на хутор коммунаров. Там происходило смутное движение. Один раз

тупо щелкнул кнут, и вслед за этим слышался отрывистый топот стреноженной лошади. «Как они жить тут будут? — подумала Наталья, с удивлением и жалостью разглядывая три высоких дома, как бы случайно брошенных в степи. — Хуже птиц пролетных!».

По лугам к тому берегу двигалась странная, качающаяся фигура. Сначала Наталья решила, что сюда забрел пьяный мужик со свадьбы. Но этого не могло случиться, — обход был слишком далек. «Утевский» — сообразила Наталья и от внезапного страха присела, потом повалилась ничком. Человек остановился на берегу. Наталья подняла голову и увидела бледное пятно лица и перекошенную линию плеч. «Безрукий, что ли?» — удивилась она. Пьяноватый аромат земли кружил ей голову, она боялась дышать. Человек повернулся и сразу исчез в сумерках.

Наталья побежала домой. Она едва не опоздала к ужину.

Когда выхлебали щи, Степан поступал ложкой по краю блюда, что означало: «теперь бери с мясом». Но стук вышел слишком громкий. Старуха испуганно выпрямилась и положила ложку. Братья переглянулись и все враз звучно зажевали мясо, выжидающе поглядывая на отца.

— Остереглись бы чужие-то дома обживать, — с сердцем сказал Степан.

Наталья поняла, что речь идет о коммунарах, и насторожилась.

— И где им осилить такую землю? — Степан насмешливо поднял брови. — В председателях-то у них — хромой Николка Логунов.

Наталья вся как-то дернулась и выронила ложку.

— Ну? — грозно крикнул Степан.

Он не любил никакого шума и беспорядка за столом.

Наталья подняла ложку и встала, пунцовая и растерянная:

— На том спасибо. Сыта я.

4

Первая ночь в коммуне прошла тревожно. Ребятишки хныкали от холода,

бабы беспокойно ворочались. Николай дважды выходил во двор и подолгу простаивал у дверей конюшни: он боялся, не увели бы лошадей. В конюшне был деревянный настил, и Николай слышал, как лошади сонно переступали с ноги на ногу. «Страху своего мне перед всеми не должно показывать» — укорил он себя, возвращаясь со второго обхода.

На заре он поднял всех людей. Бледное лицо его было так спокойно и твердо, что женщины молча подчинились его приказанию — взяли лопаты и ушли на берег Старицы копать гряды под картофель.

Мужчины отправились замерять ярвое поле. Степь вокруг хутора закипала молодой зеленью. Орловские, ягодинские давно начали сеять. Их ровные боронованные поля успели уже порыжеть под солнцем. Сочные полосы зеленели то там, то здесь, у самых владений коммуны.

Коммунарские земли не пахались два года. Последнюю рожь, засеянную еще аржановскими приказчиками, сняла волюсть, и озимый клин давно стоял впусте, оплетенный густой травой и подгнившим жнивьем. Коммунары целый день колесили по степи, спорили, размахивали батогами и, наконец, забили редкие колья, обозначившие участки.

Домой они вернулись в сумерках. У моста их встретили ребятишки. Трое белоголовых сыновей малорослого Гончарова, прозванного «Скворцом», бросились к отцу. Двое успели схватить за руки усталого Павла Васильевича, третий же, самый младший «скворченок», уцепился только за рубаху и семенил сзади, обиженно спотыкаясь. Тогда Николай, неожиданно для себя, поднял мальчишку на плечо. Тот благодарно засопел и обнял его ручонкой. «Осенью валенки всем сваляю» — решил Николай и растроганно покосился на босые, задубелье ноги мальчика.

Утром выехали на пахоту. Николаю достался участок на пригорке, у большака. Он остановил лошадей у межи, направил плуг и оглянулся. Он был один в степи; утренняя непрочная тишина окружала его. Он вздохнул, ко-

ротко крикнул на лошадей, налег на плуг и пошел по борозде, волоча большую ногу. Под плугом хрустели и рвались корни, земля отваливалась черными, жирными комьями. Николай выпрямился только у поворота и тотчас же увидел тонкую фигурку босой женщины. Подобрал юбки, она бежала прямо на него. «Из Орловки! Наталья!» — громко сказал Николай и задохнулся. Он хлестнул лошадей и, не смея оглянуться, зашагал за плугом. Женщина догнала его и, часто дыша, пошла рядом. Николай старался не хромать. Наконец он поднял глаза. Это была Дунька.

Он резко осадил лошадей.

— Дядя Николай, — звонко сказала девушка. — Дай я попахуюсь.

Она с недоумением вглядывалась в острое, потное, смятенное лицо Николая. Глаза его внезапно потемнели, как ей показалось, от нестерпимой боли.

— Трудно тебе, дядя Николай, — робко добавила она. — А я ведь за мужика могу.

— Ну-ну... — с трудом пробормотал Николай. — Пробуй.

Он опустилса наземь и стал поправлять портянку. Только сейчас он понял, что ждал давнишнюю, молоденькую Наталью, которая вот так же легко и ладно бегала по утесским лугам. «Эка! Залетел сокол выше солнца... — горько подумал он. — Да и не до того теперь».

Коммунары решили засеять пятьдесят десятин пшеницы. Пахали от темна до темна. К вечеру измученные лошади начинали спотыкаться, и плуг шел почти на одной мужской силе. Пробовали пахать и ночью, для чего бабы и сонные ребятишки непрерывно жгли костры из сухой травы. Но эту затею пришлось отложить: ночи были слишком темны, пашня выходила с огрехами, усталые люди засыпали на ходу.

Все левое побережье Старицы коммунары отвели под сенокосные угодья. Маленькое стадо коммуны терялось на обширном пастбище. Давно был замечен большой озимый клин. И все-таки свободная земля выпирала отовсюду, буйно зарастала травой и дикими цветами.

— Удивленье: душит нас земля, — с ревнивым восторгом говорил седой Климентий.

В коммуне говорили о земле с радостью, с тайной тревогой, со страхом. Люди исхудали и почернели от степного солнца. Бабы ходили злые, с облупленными носами. Им приходилось копать гряды по целине, опутанной травой и старыми, цепкими корнями.

По вечерам в главном доме коммуны шли шумные собрания. На одном из таких собраний мужики угрюмо порешили сбавить пахоты на пять десятин. Скоро, однако, стало ясно, что коммунарам не поднять и сорок пять десятин: время шло, лошади были измучены до крайности...

...Дилиган пахал на участке, соседнем с Николаем. Он прокладывал борозду, тонко покрикивая на лошадей и навалившись на плуг всем своим длинным телом. Вдруг рукоять плуга прыгнула у него из руки, и плуг резко качнуло в сторону.

— Стой! — испуганно закричал Дилиган на лошадей.

Он высвободил лемех. На влажном, выпуклом лезвии зияла мятая впадина. Круглый бульжник скатился к ногам Дилигана.

— Родимец! — прошептал Дилиган, стискивая камень в огромном кулаке. — Откуда он тут взялся, волчий об'едок? Теперь, считай, полдня пропало!

Он с отчаянием огляделся вокруг. Плуг его одиноко и остро блестел на солнце. Лошади водили боками. Других пахарей не было видно. Неширокая полоса пашни стремительно сбегала вниз. Три дома коммуны, светлое зеркало сзера, редкие тополя, пашня, — все это терялось в сумрачном просторе степи.

— Не сладить нам! — со стыдом и страхом подумал Дилиган. — Иглою горю ковыряем!

Он внимательно взглянул на своих лошадей: они жадно выщипывали молодую травку, выставив понурые, худые зады. «Пускай попасутся», — решил Дилиган и отстегнул постромки.

Он нагнулся над плугом, пытаясь отвинтить лемех. Он торопился, руки его дрожали. Гайки не поддавались. Дили-

ган покрылся испариной. Он готов был броситься на землю и зубами оторвать гайки. Наконец Дилиган поднялся, крепко держа лемех в руках. Порывистый пахучий ветер перебирал его потные волосы. Он раздумывал о самом кратком пути на хутор, в кузницу. Пожалуй, следует бежать берегом Старичи.

Он взглянул в сторону реки. Густой кустарник мерно раскачивался под ветром. Сухая, легкая трава колыхалась по всей степи. На Дилигана словно надвигалась со всех сторон тучная, невозделанная земля. Она требовала согласного, мощного человеческого труда.

«Машину бы сюда!» — жалостливо и страстно подумал Дилиган.

Он добежал до реки и зашагал у самой воды, загребая ногами песок, ослепленный мыслью о машине, которую он видел когда-то в барском имении. Он не помнил ее названия, сейчас перед его глазами вставало только ее спорое движение: вот она, машина, урча и шевеля колесами, точно живая, жадно подбирает под себя землю, давит, дробит ее...

...В Утевке Дилигана считали мужиком смирным и робким. Он рано овдовел, но так и не женился. Жил всегда скудно, в бедах, которые сносил покорно, не подавая голоса. Его длинные ноги и руки, длинное лицо и высоко поднятые брови придавали ему вид вечно испуганного и настороженного человека. «Иной от беды твердеет, волчьи зубы растит, а этот только пугается да тишает: страсти в нем много» — говорили о Дилигане в деревне, разумея под страстью непреодолимый страх к жизни. «Он, как баран: куда стадо, туда и он, хоть в полям» — сказали о нем утевцы, когда он пошел в коммуноу...

Дилиган вылез из кустов у самого моста. Кузница помещалась в конце хутора за амбаром, в низкой, слепой мазанке. Глухой кузнец в первый же день завладел этой мазанкой. Он поставил здесь горн, нажег угля и стал работать с утра до ночи, молча и с яростью.

Дилиган переступил высокий порог мазанки и торопливо протянул кузнецу измятый лемех. Тот ощупал его быст-

рыми пальцами, строго прищурился на лезвие и положил лемех на пол.

— Скорее, дядя Иван! — жалобно крикнул Дилиган.

Кузнец огляделся, невнятно выругался и зарорал:

— Панька!

Под ногами у Дилигана кто-то зашевелился. В тот же момент кузнец нагнулся и за шиворот поставил на ноги сонного подручного. Парень качался и тер глаза. Кузнец размахивал у него перед лицом черными кулаками и приговаривал, по своему обыкновению, проглатывая половину фразы:

— Спи у меня!... Падет, где ни попадя... на угли, на дрова... спит! Прорва!

Панька смотрел на него мутными от сна глазами и все еще покачивался. Тогда кузнец схватил ведро воды и сразмаху окатил парня с головы до ног. Дилиган едва успел отскочить. «Умаялись все» — подумал он, выходя из кузни, чтобы подождать на воле.

Здесь сиял яркий день, и Дилиган, задрвав голову, взглянул прямо в огненный лик солнца. Оно стояло на самой середине белесого неба. Полдня пропадает!

Дилиган присел на большой осколок жернова, вросший в землю неподалеку от мазанки, и закрыл глаза.

Разве не пала пять лет назад единственная лошадь Дилигана? Разве не дергал он по колоску неуродившуюся рожь на своей полосе? Разве не горела дважды его хата? Но почему никогда еще он не испытывал такой тоскливой и неотступной тревоги, какая владеет им сейчас?

«Кучно живем, — за всех боюсь» — неожиданно догадался Дилиган.

Перед закрытыми глазами его переливались радужные пятна, в горле пересохло, он хотел пить и решил сходить на кухню.

Пытливо, словно впервые, он смотрел на дома, на деревья, на озеро. Мелкие, острохвостые куры хлопотливо возились в навозе на дороге. То-и-дело какая-нибудь из них погружала клюв в прозрачную лужу и пила, запрокинув голову и прикрыв глаза тонкими голубыми веками. Над главным домом вился хруп-

кий дымок. У крыльца по-хозяйски дремал желтый лохматый пес. «Обживаемся» — подумал Дилиган, с удивлением ощущая, как в него входит глубокая и тихая успокоенность.

Он поднялся на крыльцо и пошел по пустой терраске. Дверь из кухни была открыта, и Дилиган вдруг услышал песню. Ее выводил — без единого слова — сильный и чистый голос, который то приближался, то отдалялся. Он как бы заполнял все пространство, раздвигал стены, — звучал, казалось, самый воздух. Дилиган замедлил шаги, высоко поднял брови; он узнал голос Авдотьи, старой плакуши.

Наконец он остановился, вытянув шею: он явственно услышал четкий запев — «Вихри враждебные веют над нами», — но потом голос опять разлился широкой волной, стал плавно ниспадать, и вдруг зарокотал гневно, густо, почти по-мужски, оборвался и снова возник на далеком, чеканном звуке. Никогда Авдотья не пела такой песни!

Дилиган неслышно повернулся. «Пойду лучше, испью водицы в озере» — решил он, робея перед Авдотьей. Ее голос провожал Дилигана, плыл рядом. Дилиган выскочил на крыльцо, красный, вспотевший. Порывисто вздохнув, он зашагал к озеру.

У озера Дилиган встретил ребятишек. Он, наверное, еще улыбался, потому что ребятишки мгновенно его окружили, засмеялись, залепетали. В сторонке стояла одна смуглая Дашка. Она бережно держала какую-то кладь, высоко задрав юбку. Дилиган видел выше полосы загара ее худенькие, исцарапанные колени.

— Мы яиц галочьих набрали! На кухню несем, Дуне, — кричали мальчишки.

«Дуней называют, — удивился Дилиган на ребят. И тотчас же вторая мысль поразила его: — Не матерям несут, а в общий котел. Коммунарские дети».

Жадно, из пригоршни, он выпил воды и бегом примчался в кузницу. Кузнец подал ему исправный лемех.

— Из живота вылезу, а свое выпашу!

шу! — заорал Дилиган, глядя в маленькие, мерцающие глазки кузнеца. — Может, детям нашим жизнь-то откроется! Вот оно как, дядя Иван...

Вечером, во время ужина, в коммуно пришел Степан Пронькин, орловский хозяин.

— Хлеб-соль! — сказал он, сдерживая свой густой голос, и быстрым взглядом окинул усталые лица коммунаров и скудный ужин.

— Садись с нами, — однотонно ответила Авдотья. Она резала краюху хлеба ровными, сильными взмахами ножа, лицо у нее было суровое, настороженное.

— Благодарствуем, — мельком ответил ей Степан и повернулся к Николаю. — У меня слово к тебе есть, Николай Силантьич.

— Это все одно, — что ко мне, что ко всем. Говори!

Степан сел. Скамья под ним грузно скрипнула. На нем была праздничная поддевка тонкого сукна, и до Николая донесся слабый запах не то нафталина, не то ладана. Крутые плечи Степана едва умещались в поддевке, и казалось, вздохни Степан поглубже, — крупные крючки повывлетят с мясом. «Нам бы таких мужиков, — завистливо думал Николай, размеренно прожевывая хлеб. — Воз сена падать будет — он на грудь примет, не согнется».

— Весна ноне погожая прошла, — неторопливо начал Степан. — Половодье дружное, а тут и солнышком пригрело. Всякое зерно в рост кинулось. Рожь вот уж и светлеет. А вы никак безо ржи ноне?

Николай не ответил.

— Безо ржи, — застенчиво сказал щедедушный Павел Васильевич.

Степан взглянул на него вполглаза. Старость Павла Васильевича казалась ему смешной и ненастоящей. Узенькое тело Скворца подсохло, плечи заострились, лицо изборозило мелкими морщинками. Рядом с ним сидел длинный Дилиган, еще далее — глухой, безучастный кузнец и его пасынок, сонливый Панька. «Ну и коммунары! — самодовольно усмехнулся Степан. — И ребят словно гороху накатано».

— Что же, соседушки, — облегченно сказал он, — в миру надо жить. Наши земли стыкаются. Мы же видим, — лошаденки у вас плохие, сеяли горстью... Время подходит поле под озимь ломать. Мыслимо ли крестьянину без хлеба жить?

— Уж проживем, — глухо обронил Николай.

Степан посмеялся добродушно и мелко.

— Не сладить вам. Здешняя земля — могучая, плодная. Или ты ее повалишь, или она тебя. Мы, орловские хозяева, допустим, согласны исполу вам пар пахать, а? — неожиданно добавил он.

Николай положил ложку и вытер ладонью ключиче рыжие усы.

— Устава нашего не знаешь, дядя Степан, — нехотя сказал он. — Ну-ка, Ваня, зачти ему.

Дилиган с готовностью выхватил из кармана желтую брошюрку и намуслил палец. Много раз он читал устав на шумных собраниях коммунаров, давно заучил наизусть главные параграфы и умел произносить звучные, торжественные слова особенным, проникновенным голосом.

И сейчас, держа перед собой книжку только для вида, он произносил размеренно, единым духом:

— «Коммуна является средством уничтожения всякой эксплуатации человека человеком и не может применять в своем хозяйстве наемного труда в целях извлечения из него прибыли». Наймать никого не можем, — добавил он своим обыкновенным, взволнованным голосом.

— Она! — Степан в затруднении погладил бороду, обернулся к Николаю и ласково сказал: — Обидно ведь, милый человек. Земля диким цветом прорастает.

Николай медленно усмехнулся.

— Ничего. Сена довольно соберем. А на сене, смежаю, машину заработаем.

Степан вопросительно повел глазами по опущенным, замкнутым лицам коммунаров. Одна старая Авдотья, плакуша, прозванная Нуждой, смотрела на него твердо и неотступно, вскинув ху-

дое, строгое лицо. «Либо коноводит она тут? Гордая стала. От бабы унижение терплю!» — злобно подумал Степан.

Он встал, переступил с ноги на ногу, сказал гулким басом:

— Ну, глядите, — и крупно зашагал прочь.

Все молчали. Николай угрюмо смотрел вслед Степану. Ксюшка, кося зелеными глазами, загадочными и жадными, как у отца, подмусливая двумя пальцами брови, чтобы они казались тоньше и темнее: она прогуливала все ночи с орловскими парнями. Мариша укачивала маленького, склонив над ним сухое темное лицо.

— О, господи! — горестно прошептала она.

За столом произошло смутное движение. Молчание стало тягостным, недоброе. Дилиган поежился, как от холода; мучительная, заискивающая улыбка задрожала на его лице. Никто ему не ответил. Мариша еще ниже опустила голову. Скворец смотрел куда-то вбок; его дородная жена круто свела брови, ноздри ее раздувались, словно от удущья. Даже сонные ребятишки подняли головы. Скворчата, боязливо сопя, прижались к матери.

Ссору подняла кузнечиха. Она схлебнула последнюю ложку кашицы, вытерла губы и с треском бросила ложку на стол.

— Уйдем, мужик, отсюда! Добра не будет! — решительно и зычно крикнула она.

Глухой кузнец сидел, равнодушный к беззвучной жизни, которая текла вокруг него.

Тогда кузнечиха вскочила, через стол пнула кулаком в жесткое плечо мужа и прибавила еще громче, со слезами в голосе:

— Книжки вычитывают! От добрых людей отрекаются! Живем тут, как на острове Буяне. Пропади все пропадом!

Кузнец услышал. Он поднял на жену темное, удивленное лицо.

— Чего ты... иди домой!

Этот человек показывал свою буйную силу только на работе да во хмелю. В

трезвом же виде, на людях, был робок, стеснялся своей глухоты, говорил отрывисто, глотая слова. И сейчас он что-то бубнил своей жене и беспокойно оглядывался.

Но за столом уже задвигались, зашумели.

— Одной землей богаты!

— Землю есть не будешь!

— Лошади обиты, одни хвосты остались!

— Помочью пары-то ломать!

— Какая помочь! Дружбы в округе ни с кем нету.

— Одни живем, как волки травленные!

— А ты, кума, про книгу молчи, — возвысил голос Дилиган. — Там про совесть нашу писано: высшая книга. Я человек темный, — внезапно прибавил он звенящим голосом. — Я, может, от жизни своей мечтал спастись...

Кузнечиху словно подкинуло на пружинах. Толстые щеки ее пошли красными пятнами, в глазах заиграли озорные, пьяноватые искры:

— Она как! Живи, живи, да и не топни! Винтом верчусь день-денской, мужик из кожи вылез, парня сгубили, с ног валится, сном его одевает... А на кого спину гнем? На кого? На чужих на детей!

— Был бы хлеб, а поделить сумеем, — тихим и густым басом вставил Климентий. Встретив светлый, пристальный взгляд Николая, он торопливо добавил: — По братству!

— Детные на всех своих косопузых пайку получают, — лениво проговорила Ксюшка. — У меня, вон, уж и пятки раскололись, а все пайка — одна.

— Жениху не с пятки тебя глядеть, — медлительно и насмешливо сказала Дарья Скворчиха. — А на дитё как обижаться? Дитё как колос... Поднимется и тебя же накормит. Эх ты, злая твоя душа!

— Гляди, кабы я из тебя сок не выжала, — все так же нехотя процедила Ксюшка.

Дарья тяжело задышала, поднялась.

— Ну, девка, маком бы тебе сидеть до седого волоса!

Кузнечиха тоже вскочила. В ярост-

ном любопытстве она повертывала голову то к девке, то к Дарье. Когда те смолкли, кузнечиха сорвала с себя платок и всплеснула руками:

— Пропадаем, бабоньки! К смерти предаемся! Вши в голову клюнулись!

— Цыц, баба! — вдруг рявкнул кузнец.

Он стал подыматься из-за стола, наспившись и грозно выставив одно плечо. Кузнечиха так и села с раскрытым ртом. В тот же момент ее настиг ясный и твердый авдотьин взгляд. Кузнечиха поперхнулась, часто заглотала слюну и стыдливо прикрыла платком лохматую голову.

Авдотья шевельнулась и сказала своим сильным и ровным голосом:

— Погневились — сердце повытрясли. Без этого нельзя. В народе, как в туче: в грозу все наружу.

Кузнец Иван тем временем поднялся за столом во весь рост. Его огромные кулаки сжались, сумрачное лицо напряженно застыло, как у негомо, который не может выговорить желанное слово.

— Ребята! Работать надо, ребята! — наконец слабо крикнул он и одним боком опустился на скамью.

— И я говорю, — радостно поддакнул ему Дилиган, но смутился и бросил косой, вопросительный взгляд на председателя.

Николай сидел, поглаживая светлые, спутанные волосы; его скуластое, истомленное лицо выражало острое волнение и досаду.

— Я под крылом никого не держу, — тихо сказал он. — Все работают равно. Паек на душу даем — по уставу. А с орловскими обождем дружбу вести.

Авдотья поднялась, бережно, обеими руками взяла оставшуюся краюху хлеба, завернула ее чистым полотенцем и принялась складывать ложки. Эти обычные, мирные движения как бы облегчили настроение всех коммунаров. Николай выпрямился и заговорил свободнее:

— Чего шумим каждый день? В страдное-то время! На своей полосе, бывало, чихнуть лишний раз боишься, за каждым часом гонишься...

Мужики смущенно переглянулись.

— Это уж верно.

— Траву снимем, урожай соберем, тогда кулаками помашем,—совсем резко закончил Николай. — Отдыхать надо, завтра по заре подыму вас.

Многие уже поднялись и молча побрели по домам. Николай и Авдотья ушли из сарая последними.

— Розные мы все, матушка, — с глухой горечью высказал Николай тайную и настойчивую свою мысль.

— Розные, — согласилась Авдотья.

Но голос ее прозвучал так уверенно и спокойно, что Николай удивленно замолчал и подумал: «Может, она больше всех нас знает».

5

В коммуне Авдотье положено было печь хлебы, стряпать и присматривать за детьми.

— Мастерница ты, на хлебы-то, — сказали ей бабы. — Да и года уж не те, на поле не пойдешь.

— Ну, что же. Домовницей стану, сидимицей, — серьезно ответила Авдотья. — Дети у меня ухоженные будут.

Она протерла мочалкой бревенчатые стены кухни, побелила печь, выскоблила столы, поставила лари с мукой, и скоро в кухне установился тот чистый и домовитый запах, что так любят старики и дети.

Жизнь в коммуне постепенно входила в привычную колею. На рассвете, вслед за Авдотьей, подымался Николай. Он шел, прихрамывая, по хутору, стучал в окна и коротко покрикивал:

— Эй! Эй!

Коммунары, сонно переключаясь, собирались у крайнего высокого дома, выводили понурых лошадей. Бабы, позевывая и переругиваясь, уходили к Старнице, на огород. Дунька, распахнув резные ворота, выгоняла коров и телят, заставляя их, по молодой своей нетерпеливости, бежать рысью. Она отводила стадо на выгон, потом возвращалась и терпеливо ждала мужиков, стоя, как журавлик, то на одной, то на другой ноге: это была давняя, детская ее привычка.

Приходили мужики. Дилиган взгро-

мождался на низкорослую лошадь, Николай осторожно заносил больную ногу, Скворец подпрыгивал и ложился животом на спину лошади. Они трогались, дремотно и молча покачиваясь. Дунька и угрюмый Климентий широко шагали сзади.

Вслед за тем пробежал легкой рысцой чернолицый кузнец. Сзади, на порядочном от него расстоянии, валко и неспоро плелся в кузню его подручный Панька.

Хутор становился пустынным. Ребята еще сладко спали. В этот безмолвный час Авдотья ходила в кустарник за хворостом для печи. Она любила постоять над озером. Вода была так тиха, что в ней недвижно стояли опрокинутые тополя и где-то в бездонной глубине смутно дрожали оранжевые расцветные облака.

Авдотья слышала только негромкое, короткое пенье птицы, похожее на возглас изумления, повторяющийся беспрерывно.

— Гляди, удивляйся, — говорила Авдотья птице об озере, о степи, о расвете. — Никогда сыта не будешь!..

Среди дня она часто выбегала на крыльцо и из-под узкой ладошки глядела в степь. Теперь уж отпахались, засеяли и кончали бороновать, а пашня все еще казалась малой заплатой в просторном разлете степи. «Как муравьи, гору точат. Не поддается она, матушка» — думала она о земле. Мысль о больном Николае обжигала ее. На мгновение она опускала голову, но быстро овладевала собой и, сурово поджав губы, говорила себе: «Пусть уж на миру иссохнет. Одному в жизни колотиться еще плоше».

... Однажды ночью в дом неожиданно ввалился Иван Дуб. Он был без фуражки, взлсхмачен, в распахнутой шинели. Николай сразу сел на нарах,—будто и не спал. Иван оглянулся, шепнул ему что-то и потянул за рукав. Они тихо вышли и сели на крыльце. Авдотья приподнялась и открыла окно.

— Как пахота? — спросил Иван, скручивая цыгарку.

— Коней мало, — не сразу откликнулся Николай. — Тянем помаленьку.

Иван зажег спичку и, забывшись, держал ее в растопыренных пальцах, не прикуривая. Николай вдруг увидел, что лицо Ивана странно вытянулось, глаза были беспамятные и шалые. «Пьян, что ли?» — растерянно подумал Николай и насторожился.

Наконец Иван прикурил, обжигаясь, и жадно затянулся.

— С народом ладишь?

— Бывает — шумят. Баб в кулаке держу. Приходится.

— В округе бандиты шалят. Знаешь? — внезапно, в упор спросил Дуб и пристально взглянул на Николая.

«Не пьян, тревожен», — сообразил Николай. Он кашлянул и, сдерживая знобкую дрожь, глухо ответил:

— Нет.

Иван грузно пошевелился, вздохнул:

— На отшибе живете, неправильно. С орловскими, слышал, не поладили. Ну, а с ягодинскими? Не гордись, сам к ним сходи, потолкуй, помощи: село бедное, деды крепостными были. Ленин сказал: беда коммунаам, если в одиночестве живут. Злобность одна получается. Не читал? Газету надо, друг, выписать.

Иван наскоро рассказал, что с юга поднялся генерал Врангель, что в Польше гремит красная наша конница. В Утевке сильно шумят богатенькие, но беднота держится твердо. В Утевке и в Игнашкине созданы отряды коммунистов по борьбе с бандитами.

— Ты своим бабам скажи — скоро кумачу пришлю. В первую голову коммунарам отрежем, пусть кофты себе пошьют, — торопливо добавил он. — А винтовки у тебя есть?

— Две берданки, моя — русская. Патронов немного.

Иван досадливо крикнул. Он запустил руку в глубокий карман шинели и подал Николаю тяжелый, теплый наган.

— Мужикам своим тихонько про бандитов скажи, а женщинам — ни-ни! Без паники.

Иван помолчал и сказал тихо и очень внятно:

— Игнашинских, соседей наших, пять человек порубали бандиты. Попала там

учителька, помнишь, молоденькая, рыженькая? Раисой звали.

Он порывисто встал и протянул руку Николаю. Они молча прошли садом. У амбара стояла лошадь Ивана. Он поднял подпругу, всем телом повернулся к Николаю и вдруг сказал странным, чужим высоким голосом:

— Поставили ее, Раису-то, на голову... Пополам разрубили.

Николай шагнул к Ивану и нерешительно прошептал:

— Кто ж она, Раиса, тебе?..

Иван уронил лохматую голову, стоял перед Николаем, огромный, помертвевший, потом прыгнул в седло, больно толкнув Николая в плечо, и умчался в степь.

Николай вернулся домой. Авдотья все еще сидела у окна.

— Убьют нас, матушка, — ровно сказал Николай и лег на нары.

Авдотья помолчала.

— Одна смерть на веку-то, — произнесла она наконец. Но Николай уже не ответил: он заснул.

Почти всегда во сне он метался по нарам и глухо стонал. Авдотья просиживала над ним до утра, растирая ему больную ногу.

— Убогенький мой! — шептала она, оправляя теплое одеяло.

Это была спокойная, легкая жалость, материнская забота, без горечи. Авдотья сама удивлялась глубокому спокойствию, в которое она погрузилась. «Старость моя», — подумывала она.

И все-таки она радовалась всему: и детским голосам, и колыханью трав, и высокому солнцу. Но более всего Авдотья любила весеннюю степь. Она подолгу сидела на крыльце с ребятами и рассказывала им всякие небыллицы, не отрывая глаз от степи, где под ветром перекатывались вечные, зеленые волны трав.

— Тут у нас просторно, — задумчиво говорила она, мягко пошлепывая маленького, сонного Кузьку. — А в дальнем-то краю леса густые растут. Такие дерева есть — ели называются. Ветки у них лохматые, колючие, словно руки раскинуты. Потихнет все в лесу — и ели стоят, как чугунные. А ветер мака-

тит — то в одном краю ели зашумят, закачаются, то в другом краю. Какая ель тонкая, молодая — до того стройна, вся от макушки до корня закачается. А которая стара — та стоит и только ветками перебирает..

...Трава все выше подымалась в степи, все ниже клонилась под ветром. Зацвела медуница, кашка, колокольчики, налились первые ягоды клубники. Сочная щетка пшеницы дружно зазеленела на полях коммуны. Подспела пора сенокоса. В кузне теперь с утра до ночи тонко звенели косы. Пришло утро, когда все коммунары — мужчины и женщины — вскинули на плечи косы и отправились на луга.

Однажды вечером, после шумной бабьей ссоры, на кухню пришла Мариша и тихонько позвала Авдотью за озеро.

— Привопи мне, матушка! Умру я с горя.

Авдотья отпрянула от нее всем телом, долго сидела прямо и молча, потом оправила платок и повернула к Марише сухое большеглазое лицо.

— Отвопилася я, Марья. Будет.

Мариша в отчаянии обхватила ее тонкими, сильными руками и, плача, прерывисто забормотала:

— Сама знаешь, куда я с такой оравой... Ведь стараюсь, работаю... а бабы точут, хоть расшибись на маково зернушко! Куда я теперь? Ни мужика, ни угла, ни притулья..

— По чем вопить буду? — упрямо и резко сказала Авдотья. — Глупа ты, Марья. — То-то тебе доля была, когда изба твоя падала? Дурные языки осечь можно. Николай тебя за Кузьму вон как уважает. Мало ли у нас свары? Ну и что же? Росток — он чуть поднялся, а корень уж глубоко землю пронзил. Судьба нам с тобой на этом месте быть.

На утро Мариша поднялась до свету, схватила косу и ушла на самый дальний загон. Она косила, не поднимая глаз, мерно, по-мужски развертывая сильные плечи. Солнце мягко грело ей лицо, потом стало жечь голые руки и затылок.

В обед к ней на загон неожиданно явился Павел Васильевич. Он бережно нес заплаканного Кузьку.

— Отбилась ты от нас, Марья, — сказал он, сконфуженно протягивая ей мальчугана. — А Кузьма Кузьмич вот сильно ругается. Покорми его.

— Поорет да перестанет, — хмуро ответила Мариша и положила косу.

— К чему это? Коммунары меня послали, чтобы дитя не расстраивалось.

Мариша присела на скошенную траву и вынула худую, коричневую грудь.

— Экой вырос долгоногий, а все сосет. Бесстыдник, — ворчливо сказала она и косо взглянула на Павла Васильевича.

Они замолчали. Кузька, сладко причмокивая, жмурился на солнце. Скоро он разомлел, стал заводить глаза и уснул, выпустив грудь.

Павел Васильевич молча протянул руки, принял Кузьку и пошел, немного волоча ноги.

Мариша оглянулась, быстро сунула косу под траву и, крадучись, шагнула вслед за Павлом Васильевичем. Она осторожно размахивала руками, припала за кустарником, испуганно втягивала голову в плечи. Сложное чувство жалости, любопытства, удивления толкало ее вперед. Так она дошла до озера и остановилась за крайним тополем.

Здесь были слышны детские голоса. Мариша раздвинула редкий кустарник. Перед ней предстала круглая полянка, поросшая высокой травой и желтой ромашкой. Она видела, как Авдотья взяла Кузьку, положила его в тень и накрыла своим головным платком. Павел Васильевич сказал что-то и торопливо зашагал по дороге.

Дети ждали, сцепившись за руки в хороводе. Они впустили Авдотью в круг. «Когда она успевает? — с недоумением подумала Мариша. — Верно, отстрипалась и цыплят откормила...».

Вдруг она услышала тонкий, слегка дрожащий голос:

Во синем море
Корабель плывет..

Робкий голосок, похожий на свист суслика, поддержал:

Корабель плывет,
А волна ревет.

Один за другим присоединились детские голоса, и песня закачалась в от-

четливом ритме танца. Тогда Авдотья подтолкнула Дашку. «А ведь это Авдотья сама запекает», — сообразила Мариша.

Дашка постояла в нерешительности, потом, взмахнув худенькой ручкой, легко пошла по кругу.

Детские голоса, слабо звучащие в высоком и светлом пространстве, гибкая пляска Дашки, ее тонкая рука, пронзающая воздух, светловолосая, словно девичья, голова Авдотьи — были так удивительны, что Мариша отвернулась, прислонилась к тополю и закрыла глаза.

— Что ты? — крикнула ей кузничиха. Она неспешно шла по дороге, закинув косу за плечо.

— Ничего, — медленно ответила Мариша. — К сердцу подошло.

6

В сумерках, перед стадами, Наталья часто отпрашивалась у хозяйки на берег Старицы, — то за полынным венником от блох, то на гумна за щавелем.

Старица тихо текла под зеленым непроницаемым камышом, берег порос высоким пыреем, кусты чилиги были осыпаны мелким желтым цветом.

Торопливо наломав венник, Наталья притаивалась под кустом, срывала с себя платок и, простоволосая, жадно вытянув шею, прислушивалась ко всем звукам, идущим с того берега. Каждый раз она со страхом ждала, что коммуна ответит ей мертвым молчанием. Ей казалось, что утвцы, отчаявшись в своей неустроенной жизни, сложат скарб и уедут обратно. Но еще издали она легко различала ребячий гам, мирные людские голоса, ржанье лошадей.

Жизнь коммуны волновала и мучила Наталью. Здесь все было необычно и непонятно для нее: негаснущий горн в кузнице, остервенелое, отчаянное старание пахарей, ссоры, песни.

В коммуне часто пели. Однажды Наталья явственно различила протяжный, свободный запев и вздрогнула: это был голос Авдотьи. «С горя не поют», — удивленно подумала Наталья. В другой раз она неожиданно наткнулась на Маришу. Женщина сидела

на берегу, обхватив колени руками. Ее прожелтевшее, красивое лицо было так печально, что у Натальи жалостно екнуло сердце.

Однажды Наталья увидела и Николая. Он вышел из крайнего дома и стремительно зашагал к озеру. Он заметно припадал на левую ногу, отчего выцветшая гимнастерка на его спине коробилась. Наталья почувствовала внезапную сухость в горле, вскопчила, схватила свой венник и бегом бросилась в Орловку. «На голой земле поселились, — думала она о коммунарах. — Все у них по-чуждому: не свое и не чужое. А у меня все чужое, окаянное. Живу, словно скотина бессловесная: вежи, что ни положат...».

Стадо уже пригнало. Наталья поспешно схватила подойник и прошла в сарай. Долго, ни о чем не думая, она глядела на снежную пену в подойнике, пронзаемую острыми струйками молока.

— Не след мне на хутор итти, — твердо сказала она себе. — Николай возьмет да и выместит на мне свою мужскую злобу.

Надвинулась жаркая неделя сенокоса, и Наталья совсем забыла о хуторе.

Вся семья Степана уезжала в луга на рассвете и возвращалась затемно. На загоне впереди шел старик. Коса у него взлетала широко, со смачным свистом. Вровень с отцом споро валил траву Прокопий. Третьей шла Наталья. В первый день она отставала, боязливо торопилась, — трава, скрипнув под косой, снова клочками подымалась на ряду, и Наталье приходилось подкашивать.

— Косу на себя берешь, — опустит! — зычно кричал ей Степан.

На другой день Наталья выправилась, пошла ровно, — трава покорно ложилась перед ней широким, слитным рядом.

Теперь впереди нее беспрестанно маячил Прокопий. Подняв голову, она видела мерное движение его плеч и могучую оголенную шею. С удивлением она заметила, что парень был так же высок, как и отец. «Мужик, хозяин» — печально позавидовала она.

Весь день незаметно она следила за Прокопием, когда он отбивал косу, за-втракал, сидя на корточках, отрывисто переговаривался с братьями. Он был суровый, медлительный, тяжеловатый, как отец.

На молодом, загорелом лице его нежно темнел пушок над верхней губой, и такой же пушок сплетался косичкой у мочки уха.

Вечером Наталье и Прокопию пришлось ехать в одной телеге. Лошадь ходко бежала за передней подводой. Прокопий бросил вожжи и рассеянно оглянулся на Наталью. Та сидела, опустив глаза, прямо, как скованная. Прокопий подумал, что она дремлет. Но ресницы у нее дрожали, она слегка прикусила губы. «Плачет» — решил Прокопий. В этот момент Наталья подняла на него сухие, пристальные, сердитые глаза. Прокопий обвел медленным взглядом ее небольшую, гибкую фигурку, усмехнулся лениво, словно во сне, и подобрал вожжи. Наталья покраснела тужко, до испарины.

Дома, у себя за печкой, она развязала узелок с пожитками, рукою нашарила круглое зеркальце и сунула его под подушку. «Жизни мне нет, что ли? Сама себе голова» — облегченно сказала она себе, засыпая. Утром она проснулась раньше всех, поспешно села на лежанке и вытащила из-под подушки зеркальце.

На нее глянул темный, заспанный глаз под золотистой бровью. Она побела зеркалом. В междубровьи вырисовалась резкая складка. Наталья расправила складку двумя растопыренными пальцами.

— Не девка, да и не старуха, — хитро пробормотала она.

Весь день ее не покидало чувство легкости и праздничного, затаенного ожидания. К вечеру Прокопий наложил колымагу свежего сена и строго крикнул Наталью. Они отправились на гумно.

Прокопий молча работал вилами. Наталья невзначай задела его, он вздрогнул и посмотрел на нее косым, тяжелым взглядом. Наталья подгребала остатки сена. Прокопий с силой воткнул

вилы в землю, вытер пот со лба и широко шагнул к ней. Наталья выронила вилы, отступила от него на шаг и слабо крикнула:

— Не балуй!

— Ну! — недоверчиво прошептал он и властно схватил ее за плечи.

Она попыталась вывернуться, но улыбулась — быстро и, как ему показалось, печально; тело ее обмякло, и он легко повалил ее на сено.

Наутро старая мать Прокопия с удивлением заметила, что Наталья двигается по избе как-то особенно ловко и раскачливо. Она часто улыбалась и вспыхивала, словно в забытье.

— Чего это ты, павой ходишь? — недовольно выговорила старуха Наталья. — Заневестилась, что ли?

Наталья взглянула на нее круглыми блестящими глазами и промолчала. Старуха отвернулась и опасливо пожевала губами.

Наталья низко повязала платок, она старалась не попадаться на глаза хозяину, немела, когда слышала позади себя шаги Прокопия. Парень как будто совсем не замечал ее. Он то-и-дело выходил во двор, гремел там уздечкой, собираясь уезжать куда-то, разговаривал с отцом своим спокойным, глуховатым голосом. «Таится», — уверенно думала Наталья.

Ночью она легла спать во дворе, в телеге. Старики стелились теперь на сеновале, парни спали в амбаре.

Наталья лежала, широко открыв глаза. Она прислушивалась долго, до боли в ушах. Ей беспрестанно чудились осторожные шаги. Она боялась пошевелиться и только вся с'еживалась под своей дерюжкой. Прямо над ее головой горели высокие и бледные звезды.

Наконец она поняла, что слышит сонный шум листьев ветлы, которая росла у ворот. Прокопий не пришел ни на вторую, ни на третью ночь.

Наталья выследила его одного, в конюшне, схватила вилы и смело вошла в душный полумрак. Она остановилась у двери, стараясь разглядеть Прокопия, как вдруг услышала его медлительный, приглушенный голос:

— Чего ты?

— Проша! — вскрикнула Наталья и захлебнулась.

— Чего вздумала? — раздельно спросил Прокопий и часто задышал. — Отец узнает — убьет.

Наталья опустила голову и негромко всхлинула.

— Поманилась ты мне — и все, — силою и пощещно сказал Прокопий. — Баба ведь... От тебя не убавилось. Вдовый девку берет, а уж парню на бабе не жениться. Не вздумывай.

На Наталью словно пахнуло ветром. Она поняла, что это вышел Прокопий. В пахучей, тошнотной тишине мерно жевали лошади.

Наталья поставила вилы к стене и вышла. Она шагала осторожно, как слепая, земля плыла и покачивалась у нее под ногами.

Несколько дней она работала много, истово, ни о чем не думая, и только прислушивалась к молчанию, которое разливалось в ней самой. Это было тупое, беспросветное молчание, когда кажется, что человеку больше ничего не надо.

Хозяин, парни и старуха совершенно ее не замечали, словно она была неживая. Может, так было и раньше, но их равнодушные она заметила только теперь и вдруг обиделась, тяжело, до ненависти.

Как-то вечером она тихо дремала у себя на лежанке. В избу, гремя винтовками, вошли солдаты. Наталья открыла глаза. В избе зашептались, пронзительно, в несколько голосов. «Сенокос... большие стога... Старица... хутор... хромой Николка...». Наталья сдержала дыханье, острая тревога кольнула ей сердце.

Она осторожно приподнялась и вытянула шею. Среди избы, не садясь на лавки, стояли чужие люди, увешанные винтовками, револьверами, бомбами. «Место голое, да ночь темная, — сказал самый дюжий солдат и добавил сдержанным басом: — У моста, значит».

Наталья поняла, что речь шла о коммуне, и задрожала. Люди пошли во двор; там ржали чужие кони. Наталья лежала с закрытыми глазами, сердце у нее шумно колотилось.

Кони дружно процокали под окном,

хозяева еще глухо разговаривали в сенцах. Потом все стихло. Наталья мягко соскользнула с постели, туго завязала платок, пробежала по горнице и, раскрыв створки окна, выпрыгнула на улицу.

— Что я, не человек, что ли? — прошептала она в темноту, сжимая кулаки.

Она обогнула усадьбу Степана и во всю прыть, не глядя под ноги, побежала по знакомой тропинке к мосту, на хутор.

7

Николаю не спалось. Он натянул сапоги, взял кiset и вышел на крыльцо. Полная луна стояла в облачном небе. Николай рассеянно наблюдал бесшумную игру теней: вот посеребрились верхушки тополей, зеркально блеснула вода в озере, высветлилась широкая лента степной дороги. И тотчас же от набежавшего облака все кругом потускнело и провалилось во мглу.

Николай двумя пальцами потушил папиросу и прислушался. Со двора до него донеслась сонная, ласковая толкотня овец. От озера шел слабый звук колокольцев, — там, на круглом островке, поросшем пыреем, паслись коммунарские лошади.

Николай медлительно спустился с крыльца и побрел по дороге, раздумывая о трудной пахоте под пар, о пшенице, которая зрела в степи. Лохматый пес неслышно подкатился под ноги, ткнулся мордой в руку хозяина и побежал рядом.

Луна вышла из облаков, и степь озарилась бледным, дрожащим светом. Николай вдруг увидел темное пятно, которое быстро двигалось, словно летело по дороге. «Человек из Орловки» — сообразил он и тревожно схватился за карман.

Собака зарычала и ринулась вперед. Легкие и частые шаги застучали по мосту. Николай уже видел, что это — женщина.

— Кто тут? — крикнул он и невольно раскинул руки.

Женщина сразбегу остановилась перед ним. Она тяжело дышала, ее босые ноги зарылись в пыли, она обеими руками опасливо поджимала юбки.

— Цыц, Полкан! — властно сказал Николай.

Женщина отступила на шаг, юбки ее распустились, она испуганно откинула голову. На лунном свете ее лицо было мертвенно-бледно, огромные провалы глаз и раскрытый рот скорбно темнели.

— Наталья,—медленно и хрипло произнес Николай.

Она вся сникла и закрылась ладонями. Николай качнулся, сразу стал выше и прямее,—это он встал на здоровую ногу.

— Наталья,—уверенно повторил он чистым и глубоким голосом. — Я... мы тебя ждали!

Наталья вся затряслась. Давно со страхом она думала о встрече с Николаем. Ей казалось, что от стыда и горечи у нее разорвется сердце.

И вот это случилось так просто и так страшно, в темноте, с глазу на глаз. «Заплакать бы» — подумала она, но слезы не шли, она словно впала в оцепенение. Николай молча тронул ее руки. Он был все такой же ласковый, неуклюжий, затаенный, как и в молодости. «Помнит меня! Помнит!» — едва не закричала Наталья, но тут же подумала о солдатах и мгновенно облилась холодной испариной.

— Николая! — пробормотала она, и слезы хлынули из ее глаз — теперь она их не замечала. — Беду ждите... Нынче ночью... Степановы сыны с дезертирами снюхались. Ох, Николая, стога ваши жечь хотят. Скот уведут. Скорее!..

Николай отшатнулся от нее.

— Ступай к матушке,—глухо крикнул он из темноты.—В крайний дом.

Наталья стояла в нерешительности. Она оглянулась на Орловку, на хутор, на плывущие облака. Летняя короткая ночь стремительно катилась к тому глухому часу, когда человеческий сон особенно крепок, когда лошади опускают тяжелые дремотные морды и даже куры на насесте не шевелятся. Наталье явственно представилось, как в этот темный час три брата Пронькины пробираются к хутору берегом Старицы, по-змеинному волоча в траве свои длинные, сильные тела... «Убьют, им все равно» — подумала она,

вспомнив холодный, светлый взгляд Прокопия и тупую покорность его младших братьев.

Она боязливо втянула голову в плечи и неслышными, кошачьими шажками побежала на хутор.

Николай вошел в пеструю тень тополя и провел рукой по лицу. Он был словно во хмелю. Никогда, даже не войне, в атаках, в разведке, он не испытывал такой страшной растерянности. Он ощущал опасность всем своим смятенным телом, злоба и жалость душили его при мысли, что бандиты потопчут пшеницу, уведут коней... Он на мгновение прислонился к тополлю. Собака тявкнула у его ног. Николай вздрогнул и обеими руками вцепился в ее жесткий загривок.

— Цыц! — прошипел он с такой силой, что пес замер и униженно лизнул ему руку.

В тот же момент сонный звон колокольцев на островке дошел до Николая и ударил его по ушам, словно гром. Большими прыжками он пересек дорогу. Скорее, скорее! Теперь он знал, что делать.

Он вбежал в горницу. Авдотья сидела на нарах, одна, одетая и в платке. Он быстро огляделся: Натальи не было.

Словно ужаленный, он подскочил к своей постели, сбросил на пол подушку, в руках у него тускло блеснул наган. Авдотья поднялась и молча шагнула к нему.

— Бандиты, матушка, — быстро прошептал он, ощупью крутя барабан револьвера. — Баб и ребят спрятать надо.

— В кладовку уйдем,—не сразу отозвалась Авдотья. — Там дверь кованая.

— Без крику, — строго наказал Николай. — А то убьют!

Высокая тень Авдотьи скользнула мимо него и склонилась над широкими нарами. Николай забежал в соседнюю комнату.

Здесь первой проснулась Дунька. Словно во сне, она увидела светлые от луны окна и тощую тень человека, метнувшегося прямо на нее.

— Батя! — испуганно крикнула де-

вушка, села на нарах и смолкла, узнав Николая.

— Ступай на остров, колокольцы у лошадей подвяжи, — колючим шопотом сказал он ей. — Брод знаешь? Чего трясешься?

— Я сейчас, — глухо ответила де-вушка.

Она нашарила платок, попыталась повязаться, но руки не слушались ее.

Николай встряхнул за плечи сонного Дилигана.

— Ваня! Бандиты! — сказал он ему в самое ухо. — Скот спасать надо.

Дилиган крякнул, скатился с нар, поискал сапоги, но потом махнул рукой и, босой, одним прыжком выскочил в коридор.

— На остров гони! — крикнул ему вслед Николай, уже не таясь. — Скорее!

Дилиган тяжело пробежал по терраске, за ним, отчетливо стуча пятками, промчалась Дунька.

Тишина в доме рушилась. Беспорядочно захлопали двери, разноголосо залакали ребятишки, пронзительно застонала Мариша.

Ничего не видя и не слыша, Николай выбежал из дому. Тревога об'яла весь хутор. Улица была наполнена лунным светом и смутным, безостановочным движением. Во дворе жалобно блеяли овцы и протяжно, как во время пожара, мычали коровы.

Из-за крыльца метнулась чья-то высокая тень.

— Стой! — испуганно крикнул Николай.

Человек прыгнул мимо и пропал в темноте. Николай побежал за ним и тут же за углом дома столкнулся со Скворчихой. Женщина шла молча, за спиной у нее темнел огромный узел, сонный малыш припал к ее плечу, а сзади семенили двое мальчишек, в одних коротеньких рубашках.

Николай удивился их тонким, голым ножонкам.

— В кладовую ступай! — на ходу крикнул он и мельком уловил безопасный неподвижный взгляд женщины.

Он хотел было вернуться к ней, но в это время пронзительно проскрежетала дверь, и он понял, что мать открыла

кладовую. Этот звук его успокоил, и он с внезапным облегчением подумал:

— Отсилятся!

Теперь его тревожил только Дилиган: успеет ли он загнать скотину на остров?

Еще нужно было набросать бороны на мост. Он удивился, почему эта мысль не пришла ему в голову раньше. Отчетливо представились бороны, лежащие на мосту зубьями вверх. Он слабо усмехнулся и, почти не хромая, побежал к кузнецу.

У кузнецова дома он налетел на кузнечиху. Большая и толстая, она кралась вдоль забора, и сын ее шел за ней, загребая пыль ногами.

Увидев Николая, она судорожно открыла рот. Николай оттолкнул ее и схватил кузнечонка за плечи.

— Ку-уда? — крикнул он.

Кузнечонок ничего не видел и не слышал. Лицо у него было меловое, и огромные глаза мерцали, будто в беспмятстве.

— Отец где? — спросил Николай и потряс кузнечонка с такой силой, что под его руками треснула рубаха.

Кузнечонок всхлипнул, но не успел ответить, потому что на крыльцо вышел отец.

Николай оттолкнул парня и, подбежав к кузнецу, крикнул в его бородатое, странно равнодушное лицо:

— Бороны давай! Мост загородим.

Кузнец поправил картуз и, подойдя к боронам, прислоненным к забору, неторопливо стал снизывать их зубьями вверх.

Уложив пять борон, он поднял их над головой и легко зашагал к мосту.

Николай сунул парню борону и сам взял три.

Кузнец первым свалил свою ношу на расшатанный мосток, потом одернул рубаху и принял от Николая и пасынка их бороны. Девять борон, снизанных по три, легли во всю ширину моста. Острый блеск их зубьев усилил спокойствие Николая. Он стал распоряжаться так уверенно, будто был на пахоте.

Увидев тополь, стоявший прямо у моста, он хозяйственно отметил, что тополь очень стар, и решил свалить его на мост.

Он прокричал об этом кузнецу. Кузнец согласно кивнул тяжелой головой и послал пасынка за топором.

Луна скрылась за тучами. В пепельной мгле, которая навалилась на хутор, Николай расслышал тяжелый плеск воды. Он понял, что Дилиган начал переправлять скот на остров. Спокойствие его росло. Он стал рассчитывать, как свалить тополь, чтобы он покрыл мост.

Луна снова выбилась из облаков, и степь широко посветлела. Николай взгляделся в ее немой простор. Оттуда с минуты на минуту могли появиться бандиты. Он думал о том, что через Старицу им не пройти, потому что дно у речушки топкое, скакать же в обход через выгон слишком далеко. Значит, бандиты могли пробиться только через мост. Он с надеждой посмотрел на бороны, еще раз крикнул кузнецу о тополе и побежал к озеру.

Переправа уже заканчивалась. У брода в камышах понуро стояла корова. Около нее хлопотал Дилиган. На берегу Павел Васильевич, упав на колени, держал двух вырывающихся овец. Дилиган обвязал ремнем шею коровы и гулко ударил ее кулаком в бок. Она поплелась, раздвигая камыши.

— Всех перетащили? — спросил Николай, перехватывая у Павла Васильевича одну овцу.

— Всех, — тихо ответил Павел Васильевич.

Он взвалил оставшуюся овцу на загорбок и, отплеывая шерсть, которая набилась ему в рот, вошел в воду. Николай поднял свою овцу и последовал за ним.

Ноги у него вязли, он задыхался. Вста расходилась медленными кругами, и лунные блики сламывались в них, пробегая по всему озеру.

У темного островка в мелкой воде Николая встретила Дунька. Она приняла от него овцу и, сгибаясь под ее тяжесть, длинноногая, тонкая, зашлепала к берегу.

— Гляди, не надорвись, — свистящим шопотом сказал Николай и повернул обратно.

К мосту он подбежал в тот момент,

когда подсеченный тополь с широким и стонущим свистом повалился наземь.

Кузнец закинул топор за плечо и несколько мгновений смотрел, как покачивались над хрупкими перилами тонкие темные ветви. Потом он шагнул к соседнему тополю и с размаху ткнул топором по нежному стволу. Николай подбежал к кузнецу и схватил его за руки.

— Довольно, бешеный! — крикнул он. — Все деревья порубишь.

Кузнец глянул куда-то вбок и вдруг весь дернулся. Волосатое его лицо, обращенное в степь, изобразило ужас.

— Верхотà! — крикнул он тонким, не своим голосом и ткнул топором в воздух.

Николай быстро обернулся. На взгорье темнел силуэт всадника.

Кузнец оттолкнул Николая, перехватил топор под самое лезвие, потом пригнулся и побежал по дороге бесшумной, скользящей рысцой. Николай кинулся за ним, но вдруг повернул и побежал к большому дому, держа в вытянутой руке наган. Он пересек дорогу, мгновенно оглянулся и стал красться в тени домов.

У крыльца на него налетели испуганные, задыхающиеся Дилиган, Павел Васильевич и Дунька. Дилиган и Павел Васильевич судорожно прижимали к груди винтовки.

— Не стреляйте! — хрипло сказал Николай. — Ближе подпустим.

Он встал в тени крыльца так, что перила пришлось на уровне глаз. Дунька скользнула за ним. Он увидел ее бледное лицо, пересеченное мокрой прядью волос, и твердо сказал:

— Ступай в кладовую.

Дилиган и Павел Васильевич стали рядом. Он оглянулся в сторону амбара, туда, где темнели высокие стога сена, и тихо подтолкнул Павла Васильевича.

— Не подожгли бы нас! Давеча человек пробежал.

— Я это! — послышался сдавленный шопот. От окна, из-за куста сирени, согнувшись, вышел Климентий.

Николая поразило, что валяльщик был одет так, будто он собрался к обедне: в картузе, в поддевке, в высоких сапогах. Руки его были опущены в карманы. Он беспокойно и ласково шептал:

— Ядреная земляца наша, без крови не отдадут ее! А я мастеровой, а мастеравые при всяком деле приставлены!

Николай крепче стиснул наган и отвернулся от валяльщика.

На взгорьи видны были теперь силуэты шести или семи всадников. Они, казалось, кружились на месте. Один из них был на белой лошади.

— Сговариваются,—сказал Дилиган, и Николай услышал, как сотрясалося в крупной дрожи его костлявое, длинное тело.

— Гляди-ка! — подтолкнул Николая Павел Васильевич.

Николай неохотно оглянулся.

На лунной поляне перед кузницей, упав всем телом на тяжелый, вросший в землю гладкий обломок жернова, не по-людски, как раздавленный, корячился кузнец. На четвереньках, с огромным усилием он волочил свою страшную ношу, и Николай вдруг догадался, что кузнец хочет завалить дверь кузницы.

«За инструмент свой горло перегрызет!» — с горечью подумал Николай и вытянул затекшую шею.

Всадники вехали в кустарник и бѣд-то растаяли в ночи. На хуторе и по всей степи на мгновение разлилась мертвенная тишина, от которой звенело в ушах и подступала к горлу тошнота.

Всадники вынырнули у самого моста. Николай положил палец на курок нагана и бешено крикнул:

— Пли!

Два выстрела грохнули у него над ухом. Он дослал свой выстрел. Белая лошадь вскинулась и бросилась в кустарник. Всадники последовали за ней. Несколько пуль, посланных оттуда, подняли на дороге пыль.

«Разобьют нас, разграбят» — злобно подумал Николай и выбросил пустые гильзы. Локтем он задел чье-то плечо, оглянулся и коротко крикнул:

— Матушка!

Авдотья стояла, скрестив руки на худой груди. Легким движением головы она оправила платок и тихо сказала:

— Сына моего убьют, пускай и меня. Дунька тоже тут, — с неожиданной гордостью добавила она, указывая на

Дуньку, которая выглядывала из-за ее плеча. — Атаманная девка!

— Уходят, уходят! — тонко закричал Дилиган.

Бандиты выехали из кустов. Впереди, тесно примкнув к белой лошади, ехали двое. Быть может, они поддерживали раненого.

— Похоже, начальника сбили, — задумчиво заметил Павел Васильевич.

Николай взял у Дилигана винтовку и, опираясь на нее, как на костыль, с трудом поднялся на крыльцо. Авдотья шла за его плечом. Он повернул к ней потное, осунувшееся лицо и тихо сказал:

— Пить!

В кухне Авдотья усадила Николая на скамью и подала ковш воды. Николай выпил весь ковш. Вошел Павел Васильевич. Он хотел что-то сказать, но только махнул рукой и тяжело прислонился к печи. В сероватом предутреннем свете Павел Васильевич показался Николаю постаревшим.

— Отбились, — хрипло сказал Павел Васильевич и повел глазами по кухне.

Николай не успел ничего ответить: Павел Васильевич весь дрогнул и мелкими шажками побежал к ларю. Навстречу ему из-за ларя поднялась Наталья. Она вышла на середину кухни и остановилась, потупив голову. Пальцы ее судорожно теребили кофту. Из-под опущенных ресниц она видела, как выпрямился и вспыхнул Николай. Авдотья быстро на него глянула, потом обернулась к Наталье. Губы ее были сурово сжаты, но большие глаза ласково светились. Наталья повалилась, как подкошенная:

— Прости, Николай Силантьич! Прости, матушка Авдотья! Боюсь доемой воротиться! Не губите.

Авдотья подняла Наталью, неясная и грустная улыбка прошла по ее лицу.

— Не в чем прощать, Наталья Петровна! У нас земно никому не кланяются! Почет всем равен, живи с нами!

Кухня стала наполняться людьми. Наталья видела сонные, заплаканные, усталые лица. Вот Мариша опустилась на лавку и тотчас же принялась лихо-радочно укутывать шалью своего Кузьку. Три девчонки, дрожащие и молча-

ливые, жались к ее юбке. Скворчиха в забытьи, сильно нажимая ладонью, гладила светлую головку старшего мальчишки, а тот смотрел на Маришу большими, немигающими глазами. Дилиган дремал, высоко подняв густые брови.

Наталье никто не удивился, — так все были обессилены тревожной ночью. Только Ксюшка бросила на нее быстрый, пронзительный взгляд и усмехнулась.

Наталья не смела взглянуть на Николая. Но она чувствовала, что он здесь — ее Николай, молодой, давниш-

ний, единственный. Она принялась смотреть вверх голов в окно, где адели зоревые облака. Ее переполняли неясные мысли, легкая печаль, удивление перед тем, что вот она стоит среди людей, в непонятную и смятенную жизнь которых будет вплетена и ее одинокая судьба.

Счастье ли, горести ли ждали ее здесь? Она порывисто шагнула к Авдотье, хотела что-то сказать, но захлебнулась слезами и спрятала горящее лицо у нее на груди.

(Продолжение следует)

Заповіт

★

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого
На Україні милій:
Щоб лани широкополі
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий!

Як понесе з України
У синєе море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори —
Все покину і полину
До самого бога
Молитися. А до того—
Я не знаю бога!

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.

М. Шевченку

25/XII 1845 р.
в Переяславі.

На могиле Шевченко

ВЛАДИМИР СОСЮРА

★

Над широким Днепром —
вся в лучах синева
и большая, простая могила.
А в могиле певец,
чьи не меркнут слова, —
тот, чья песня народу служила.

Кто народу навек
отдал щедрой рукой
свои думы про ясные зори...
А луга за рекой
далеко, далеко
уплывают, как птицы в просторе.

На могилу приходят,
в охапках несут
все богатство садов Украины:
кареглазые девушки,
парни идут,
и светлеют холмы и долины.

И раздолье Днепра
шлет веселый привет
стройным женам, бойцам седовласым,
и гремит «Заповіт»,
как бессмертный завет,
на высокой могиле Тараса.

Спи спокойно, поэт!
Украина твоя
развернула орлиные крылья.
Все, о чем ты мечтал
в ссылке, в дальних краях,
стало нынче незывлемой былью.

Спи спокойно, поэт!
Мы, потомки твои,
пронесем твою славу сквозь годы,
сквозь крутые ветра,
сквозь огонь, сквозь бои,
мы — сыны трудового народа.

Ведь вперед нас ведет
тот, кто нас окрылил,
отомкнул золотыми руками
двери в сказочный сад,
полный счастья и сил,
кто сияет, как солнце, меж нами.

Где пройдет он, — цветет
и ликует земля,
оживают пустыни без края,
жизненосной росой
набухают поля,
переливами радуг играя.

Слово скажет — и горы
до самых глубин
нам раскрыты, с дарами своими, —
ведь живет его слово
в дыханьи машин,
в каждом сердце живет его имя.

Спи спокойно, поэт!
Вечной славе твоей
не нужны никакие прикрасы.
В большевистской семье,
дружной, вольной, живой,
не забыли мы батьку Тараса.

*Перевел с украинского
Борис ТУРГАНОВ*

★

Ярославна

ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА

★

В темной оправе серьга голубая,
Косам завидует верба любая,
Ветви купая в озерной воде.

Спится, не спится... и князь
 не приснится.
Давеча билась в окошко синица:
Словно бы к новой какой-то беде.

Солнце в оконце глядит слюдяное...
Скучное солнце сегодня какое.
Нету доселе от князя гонца.

Очи отерла холщевой тканью
Да потихонечку раннею ранью,
Тяжко вздыхая, спустилась с крыльца,

Легкой стопою на тропку ступила...
Чу... где-то кличет зегзица уныло.
— Ой, горемычная, словно как я.

Тих опустевший Путивль. Недалеко
Спит городская стена одиноко.
Скорбь посетила родные края.

Бьется за русскую землю дружина,
Чтобы над ней воронье не кружило,
Бьется далече родимая рать.

По небу тучи плывут и уходят, —
Доблесть высокая в юном народе
Будет с веками расти и мужать.

Век ли кручиниться нам по светлицам,
Косам неприбранным по ветру виться,
Бисеру слезному очи мутить?

Утро росистое. Пахнет как славно.
Ветер платочек сорвал с Ярославны.
— Всё бы тебе, господине, шутить.

Встала над тихой путивльской стеною,
Запричитала зегзицей лесною.
Слышат — не слышат в степи ковыли.

Руки простерла в печали-кручине:
«Ветер, ветрило, к чему, господине,
Мечешь хиновские стрелы вдали?».

Утренний ветер в ответ ей крепчает,
Ветер полыни седые качает,
Треплет кустарник, ветлою шумит.

Воды днепровские там за холмами
Плещут, встают буревыми волнами.
— Чей это голос нас горько корит?

Солнце малиной зарделось далече,
Слушает женские смелые речи,
Скрылося в облачном легком дыму.

Слышит князь Игорь: не копыя запели,
Ветер поет—как над вешней капелью —
Голосом лады в далеком дому.

★

К и е в

М. АЛИГЕР

★

Этот город тополиный,
город, веющий былиной,
этот город Украины
над задумчивым Днпром.
Почему он стал мне дорог?
Поминаю этот город
только дружбой и добром.

А у нас уже и лету
помахали мы рукой.
В небе тихо, солнца нету,
мокнет роща за рекой.

А у вас, небось, каштаны
красным вспыхнули огнем.
А у вас, небось, баштаны
сладко пахнут сентябрем.

Только скоро вам придется
обмахнуть слезинки с глаз.
Битым шляхом доберется
наша осень и до вас.

Будет жесткими ветрами
тихий ветер побежден,
и листья сухое пламя
яростно зальет дождем.

Скоро станут толще тучи,
дым взвьется на домах,
берега, Днипро и кручи
забелит в единый мах.
Может, станет даже лучше
добрый город на холмах?

Только мне уж нет возврата
в ту весну и в город тот.
Только жаль его, как брата,
постаревшего на год.

Улыбнется старый город,
поведет слегка плечом.
Что бессмертному мгновенье?
Годом старше? Нипочем!

Навсегда, бессмертный город,
ты мне памятен и дорог.
Только мне уж нет возврата
к той весне и к той любви,
не вернуть того заката,
та трава уже помята...
Это к лучшему!
Живи!

★

Два рассказа

СЕМЕН СКЛЯРЕНКО

★

I. ЯРИНА

Солнце садилось. Порозовели стены приземистой хаты, стоявшей на краю оврага. Над огородами низко кружили аисты. С клетком, все сужая кольцо полета, птицы одна за другой опускались в гнездо на вербе. Верхушка дерева высохла, но внизу ствол его обнимала буйная зеленая поросль.

К огороду бежала загорелая девочка.

— Мама! Ма-а-ма!.. Зовут!

Женщина, склонившаяся над грядами повядшей капусты, поднялась, ладонью заслонила глаза от солнца.

— Ты что? — спросила она.

— Стою я возле ворот, — торопилась рассказать девочка, — и вдруг идет чужой дядька. Идет и приглядывается к хатам. Дошел до нашей — остановился, посмотрел на меня... А где же твоя мать, детка? — спрашивает. На огороде, говорю, капусту окучивает... Ну, так беги, говорит, скорей, зови мать... Скажи, что Тарас пришел.

— Какой Тарас? — прервала девочку мать. — Кричишь, как оглашенная, без толку... Может, и не к нам это... Может...

Внезапно бросила кирку и быстро пошла к хате. Издали увидела гостя. Он стоял, опершись на палку, и смотрел навстречу ей. Голова непокрыта, в руках узелок. Женщина остановилась, замерла на месте.

— Ярина! Яриночка! — тихо окликнул гость и пошел к ней.

— Боже мой, боже мой! — заплакала женщина. Припала к груди гостя и заголосила.

— Не ждала ж я тебя, никак не ждала... Думала, что погибнешь за тем Каспием... Не верила уже, что свидимся... — Ярина взяла за руку дочку. — Поцелуй дядьку своего Тараса. Это ж не чужой, а родной твой дядька.

Из соседних хат подходили люди. Остановились и моринские селяне, возвращавшиеся с волами домой с панской работы. Один из них — старый, с бельмом на глазу, в продранных холщевых штанах — привязал воз к тыну, подошел к перелазу, у которого стояли Ярина и Тарас, всмотрелся.

— Гляди-ка, чи не сын это Григория Шевченко?

— Он и есть, — отвечал, поздоровавшись, гость. — Тарас Шевченко. Домой вот наведался.

— Ай-ай, что ж они с тобой натворили! — вздохнул старик. — Я ж тебя недавно еще мальчиком видел, а теперь... седина, и спина согнулась. Сынок мой, сынок!

И вдруг умолк.

— Молчу! Эконом из корчмы несется. А ты, — он повернулся к Тарасу, — загляни к нам, в Моринцы, на часок. Не забывай земляков. Сколько ж нам надо рассказать тебе! Описал бы ты все, узнали бы люди...

Старик пошел к возу.

Всю ночь не спала Ярина. Не спал и Тарас. Издалека шел он в Кирилловку, устал, думал, что, когда войдет во двор Ярины, упадет на душистую траву, минутку только посмотрит на звезды в темногубом небе, разок вдохнет све-

жий воздух — и сразу провалится в сон.

Но вот уж и полночь. Зеленоватая звезда, висевшая с вечера над горизонтом, уже поднялась над дубами; смолкла песня в селе, погасли в хатах огни, — глубокая ночь, поздний час, — но ни Тарас, ни Ярина не спят... Прижавшись к родной сестре, Тарас отдался воспоминаниям:

— Помнишь, сестра, как мы детьми были? Тесно мне было в селе... Все, бывало, норовлю убежать к сестре Катре, в Зеленую... Прoberусь напрямик — дубравою, через Гарбузов лог, через сенокос... Войду в сени, открою тихонечко дверь, стану на пороге, а Катря на лавке сидит, все что-то шьет... Я к ней подберусь, упаду на колени, — она вся вздрогнет... Ах ты, говорит, моя приبلуда!.. Как же ты меня напугал!

— А помнишь, — вспоминал дальше Тарас, — как я бегал в степь, чтобы найти там конец света... — Тарас тихонько засмеялся. — Говорил, что видел там железные столбы, что нашел конец света... Только Катре ничего не говорил, не мог ее обманывать... она ж меня любила, приبلудою называла...

Тарас умолкал. Тогда начинала говорить Ярина. О том, как трудно живется в Кирилловке, как издевается над людьми эконом Энгельгардта Бонакевич; что появились в Кирилловке новые паньы — Браницкие, и появился еще и третий пан — Флерковский...

— Бегут люди из села, куда глаза глядят, — говорила Ярина. — Бродяжат в лесах, только бы не знать панщины... А как поймают кого из них, — на панскую конюшню, под розги... Во всех концах села поставлены шинки, спанвают селян и чумаков.

Вспомнила Ярина своего мужа Федора Кондратовича, маляра, — недавно перед тем умер. Жаловалась на судьбу, на бедность.

— Не печалься, сестра, — утешал ее Тарас. — Я вот уже вольный...

Долго-долго молчал. Слышно было, как кричали перепела в чужих хлебах, за Кирилловкой.

— И ты скоро будешь вольной, сестра, — сказал Тарас. — Не плачь... Скоро настанет рассвет...

Ярина не ответила.

— Спи, — только сказала она и еще раз поцеловала брата. — Спи, скоро уж и утро. А завтра работы на панщине сколько!

Подошла к спящим детям, поправила на них холстину, сама примостилась рядом с ними... Все затихло кругом.

Но не спалось Тарасу. Закрыв усталые глаза и долго прислушивался, как скрипят чумацкие возы на дороге, а когда возы смолкли вдали, стал слушать песню ночных птиц. Вот-вот родятся к песне слова...

Дивлюсь, у темному садочку.

Під вишнею у холодочку,

Моя єдина сестра!

Многострадалиця святая! —

Неначе в раі спочиває

Та за широкого Дніпра

Мене, небога, виглядає.

І їй здається — виринає

За хвилі човен, доплива...

І в хвилі човен порина...

— Мій братіку! Моя ти доле!.. —

І ми прокинулися. Ти

На панщині, а я — в неволі!..

Отак нам довелось йти

Ще змалечку колючу ниву!

Прошло два года. Приближалось лето. Снова повисла жара над землею. Долго ждала Ярина брата Тараса, долго ждала обещанной им воли. Уже навевывался Варфоломей Шевченко, говорил, что скоро придет воля... Уже и до самих панов дело дошло — звали, предлагали волю... только без земли... А на что ж им та воля, коли не будет в хате куса хлеба?

— Пишет Тарас из Петербурга, — сказал Варфоломей, — чтобы каторжной воли не брали, пишет, чтоб искали другой воли.

Читали в селе манифест. Кажется, что попали из одной неволи в другую. А брата Тараса все нет...

Вскоре услышала Ярина, что умер он в далеком Петербурге. Как услышала это Ярина, упала на землю. Небо казалось зеленым, как лист лопуха, все плыло в тумане, будто лил вокруг дождь.

Шли дни за днями. Приехал Варфоломей, наказал собираться в Канев, где будут хоронить Тараса.

— Матинко! — крикнула Ярина. — Как же будут хоронить, когда два месяца уже, как помер?!

— Не твоего ума дело, — укоризненно сказал Варфоломей. — Одевайся, иди в Канев.

И пошла Ярина в Канев. Широким шляхом, что тянулся через Стеблев, на Таганчу, на Межиречье. Вышла к Днепру близ Пекарей и поднялась по тропинке в гору.

На шляху Ярину нагнали селяне. Один незнакомый селянин (потом уже сказал, что он из-под Мошен) предложил подвезти. Сидя на возу, Ярина смотрела на множество людей, идущих в Канев. Мужчины, женщины, дети...

Поровнявшись с Чернечей горой, Ярина спрыгнула с воза. И испугалась. Никогда еще в жизни не видела она такой огромной толпы. У берега стоял пароход — и пароход она видела впервые. Толпа молчала. Тишина вокруг. Молчали даже крикливые утки и чайки над днепровскими косами, а может быть, — просто никто не слышал их крика.

Люди заполнили всю дорогу со стороны Канева. Высоко над головами людей плыл черный гроб, покрытый красной китайкой. Люди несли в руках рушники, цветы... Вдруг тишину прорвали слова песни:

Як умру, то поховайте
мене на могилі... —

Будто издалека донеслось до Ярины. Вздрогнула, закрыла глаза, — она сра-

зу поняла эти слова, поняла, кто их сказал.

Серед степу широкого,
на Україні милій —

слышала она.

Поховайте та вставайте,
кайдани порвіте, —

гремело над многоводным Днепром.

Ярина стояла, слушала слова песни, и в ней рождалось новое чувство, какого она еще никогда в жизни не испытывала. Исчезла вдруг усталость, — теперь Ярина высоко держала голову. Она смотрела на красную китайку на гробу, — она казалась ей все ярче, точно наливалась малиновым соком. Она сделала шаг вперед и пошла рядом с гробом. Влилась в ряды — и ей было тяжело, потому что несли гроб ее брата. Влилась в толпу, и стало ей легче, потому что не одна она провожала своего брата Тараса Шевченко, а шла рядом с нею большая сила — так много людей, что ей казалось — рядом идет весь свет... Она припомнила день, когда Тарас прощался с нею в Кирилловке. Обещал скоро вернуться и принести с собою волю.

— Я уже вольный, — сказал он, — скоро и ты будешь вольной.

Люди медленно поднимались на гору. Уже виден был широкий Днепр, видны были луга на другом берегу, пароход на Днестре. Пароход, не переставая, гудел.

Кайдани порвіте —

пели люди.

І вражою злою кров'ю
волю окропіте... —

гремела Чернечая гора.

И слова те предвещали волю.

★

II. СТОРОЖ ВЕЛИКОЙ МОГИЛЫ

Весной 1881 года миновало двадцать лет со дня смерти Тараса Григорьевича Шевченко. В холодные мартовские дни никто не пришел на могилу. Снегом занесло все дорожки — на гору и не подняться. Годовщину смерти поэта готовились отметить позже — первого мая.

В этот день жители соседних сел, жители Канева пришли на Чернечую гору. Люди шли к могиле с опаской: слух прошел, что плохо придется тому, кто осмелится приехать на могилу Тараса, — у Днестра, под горою, дежурили жандармы, они пристально оглядывали

всякого, кто поднимался по тропинке.

Вместе со всеми пришел в тот день на могилу и каневский селянин Иван Ядловский. Здесь встретился он с селянами Пекарей, Прохоровки, с каневскими рабочими. Говорили об урожае, о том, что повымерзали зимой хлеба, а весна началась засухой... Долго сидели на могиле, хотели запеть, но побоялись — жандармы показались на горе, подстерегали.

Стемнело. Опустела Чернечая гора. Пошли гости вниз, к Днепру, сели в челны, поплыли по-над кручами по домам. Остался на могиле только Иван Ядловский. Он еще раз медленно обошел могилу, наклонялся к траве и цветам — увядшие, высохшие, они поникли к земле. Долго сидел на могиле Иван Ядловский. Он смотрел на луга по ту сторону Днепра, на узкие днепровские косы. Думал о том, что никто не заботится о могиле. И ему казалось, что нынешний вечер приблизил его к великому поэту, что еще глубже почувствовал он его великую правду.

Ночью он спустился вниз, взял у селян два ведра, направился к Днепру, с передышками, часто останавливаясь, внес воду на гору и вылил на увядшие цветы, на высохшую траву.

Иван Ядловский никогда больше не покидал могилы. Он остался здесь навсегда. В маленькую хатенку на горе перешла жить его семья. В одной комнатухе жил сам Иван Ядловский с женой, с детьми, — в другой он начал собирать все, что напоминало о Шевченко.

Жить на горе было трудно. Требовалось немало труда и времени, чтобы дойти до Днепра, чтобы втащить на гору ведро воды. Но Иван Ядловский не сдавался: ежедневно поливал траву и цветы. Он посадил у могилы орешник, разбил цветничок, прокопал дорожки... Уютно, весело стало вокруг великой могилы.

Едва начинало рассветать, выплывал Иван Ядловский на Днепр. Он знал места, где водилась рыба, умел класть приваду на язя и подуста, умел сома поднять со дна, знал все косы и перекаты, ездил в Пекари и Келеберду,

до Сушек и Бубнова, — никогда не возвращался без рыбы. А зимой, когда сковывало Днепр льдами, а могилу заносило снегом, Ядловский плел вентера, вязал сети, вырезывал из грушевого дерева ложки, работал всякие мелкие поделки и сбывал на базаре в Каневе. Кое-как, с хлеба на квас, перебивался, кормил семью.

С уважением и любовью к великому поэту шли люди на могилу. Но наведывались и другие «гости». Спустя несколько месяцев после того, как поселился на могиле Ядловский, его посетил начальство из Канева — пристав и два урядника. Пожелали увидеть, как выглядит могила, прошлись по новым дорожкам. А прощаясь, посоветовали:

— Бросил бы ты это дело. Кому нужны на могиле цветы? Отойди от греха — плохо будет.

Но не ушел Ядловский. Только стал крепче запира́ть на ночь дверь. Всю ночь не спит — все слушает, как протяжно воеет за горою ветер, как раздаются поблизости чужие шаги... Не спит Ядловский, слушает, пока не уйдет с горы злой человек.

Утром же обойдет могилу — осмотрит помятые цветы, поломанный орешник... понимает, кто здесь прошел. Вздохнет только и снова берется за работу.

Годы шли. Все труднее стало спускаться с горы, тяжелей — взбираться на гору. Приближалась старость. Посыпало серебром виски, согнулась спина. Пойдет, бывало, Ядловский в Канев, назад идет медленно и много-много раз остановится, прежде чем одолеет гору. Люди привыкли к старому Ядловскому. Каждый знал, что встретит старика на посту — сидит он на пороге избенки, режет ложку или чинит дырявый черевик. Старик приветливо встречал каждого гостя, для каждого находил дружеское слово. Могилу посещали тысячи людей. И все укладывалось в памяти старика: он помнил каждого посетителя. Никогда в жизни не бывал он нигде, кроме Канева, но из рассказов людей знал и про Киев и про Москву. А в соседних селах помнил старого и малого и все события этих мест.

Хорошо умел он рассказывать о Тарасе Григорьевиче: каков собой он был, какой у него был голос; знал много стихов Шевченко.

— Ходил Тарас Григорьевич, — рассказывал Иван Ядловский, — по соседним селам... Подошли однажды к нему на базаре в Межиречьи люди, спрашивают, как жить, как с панями бороться. Достал Тарас Григорьевич из кармана одно зерно. «О це, — каже, — нехай буде царь... — Достал еще одно зерно. — А це, — каже, — буде его губернатор... А эти их так, — закончил Тарас Григорьевич и присыпал сверху оба зерна, — царя и губернатора... Так мы их общими силами и будем бить».

— Ходил Тарас Шевченко по селам над Днепром, — рассказывал Иван Ядловский. — Вышел он сюда, на гору Чернечую, сел, отдохнул, поглядел на Днепр и кручи, на широкие нивы и сказал: «Як умру, то похोвайте мене на могилаі...».

Умел Иван Ядловский рассказывать про великого поэта. Казалось, что он сам знал его при жизни и часто говорил с ним. На самом же деле он никогда не видел Шевченко. Он был маленьким мальчиком, когда умер великий поэт. Но он любил Шевченко, много слышал о нем от разных людей, посещавших могилу, собирав слова правды про Тараса, какие сохранял народ, и сам он, как сын своего народа, творил величавый образ поэта, говорил о нем, как о родном, живом.

Этот образ освежала и обогащала действительность. Ядловский видел, как любит поэта народ и как ненавидят его враги. Он знал, как следили за могилой шпики, как в каждую годовщину ее окружали жандармы. С порога своей хаты он смотрел, как в день столетия рождения поэта жандармы гнали людей с могилы. Он сидел в тот день на пороге своей хаты, резал тогда грушевую ложку, но видел другое — перед ним стоял Тарас Григорьевич Шевченко и говорил слова, записанные в «Кобзаре»: — Настане суд.

История Ядловского — это история могилы поэта. В хатке Ивана Ядловского появилось несколько картин на

темы Шевченко, висело много венков, принесенных издалека, и между ними — прекрасный венок от артистов Московского Художественного театра; здесь была и посмертная маска Шевченко. Все это собиралось и сохранялось для истории руками незаметного сторожа могилы Ивана Ядловского.

Как праздник, встретил Иван Ядловский революцию. Казалось бы, он не мог понимать смысла всех событий, происходивших в стране. Но он радостно говорил, что пришли дни, когда настал суд, когда заговорил Днепр, — дни, о которых писал Шевченко.

Свалили крест на могиле. Его поставили украинские буржуазные националисты, чтобы осквернить память поэта, непримиримого безбожника, врага панской и поповской неволи. Волы стащили вниз с горы кусок металла. Иван Ядловский покрякивал на волов, часто останавливался, говорил:

— Ладно. Так будет лучше... Надо только памятник поставить.

И народ поставил памятник.

Уже подобралась старость к Ивану Ядловскому. Он потерял зрение, стал плохо слышать, задрожали руки — трудно было теперь резать из груши ложку.

Но все видел, все слышал старик. И не дрожали у него руки, когда надо было бороться с врагами, когда надо было охранять могилу.

Летом, когда вокруг в селах орудовали петлюровцы, привезли на могилу труп одного из «батьків». Ночью старый Ядловский вместе с сыном сбросил труп этого «батька» — не позволил осквернить могилу.

Когда появились в Каневе поляки, в лошадке нашли трупы польских шляхтичей, незадолго перед тем побывавших на могиле и осквернивших светлую память поэта. Иван Ядловский молчал, но он знал, кто убил врагов.

Годы шли. Совсем уж плохо стал видеть старый. Совсем уже не стало сил. Он не мог уже, как прежде, носить воду, не мог больше охранять могилу.

Но уже не было в этом нужды. С каждым годом все больше украшалась могила Шевченко. Там, где когда-то ра-

ботал он один, появились сотни работников, все вокруг зацвело, зашумело, запело. Радостной была старость Ивана Ядловского. Ядловский видел, как любит народ Шевченко, видел, как много делают партия и правительство для увековечения памяти Шевченко. Великое уважение и любовь познал и он сам. Ему дали пенсию. Спокойно доживал он свой век.

— А когда умру, — говорил он, —

то похороните меня возле моего отца, возле Тараса Шевченко.

Эта его просьба исполнена. В 1934 году умер Иван Ядловский. Похоронили его на Чернечей горе. Когда вы будете на могиле Шевченко, пройдите в лесок, что раскинулся позади музея. Здесь, в чаще, под густыми ветвями сосняка, почивает старый сторож великой могилы, полстолетия охранявший ее, — Иван Ядловский.

*Перевела с украинского
В. РАКОВСКАЯ*

Рядовой линейного батальона

ПАМЯТИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

1. ДОРОГА.

Ми заспівали, розійшлись
Без сльоз і без розмови.
Чи зійдемося ж знову?
Чи заспіваємо коли?

Т. Шевченко.

Да будет по монаршей воле!
Шлагбаум поднят, путь открыт.
И колокольчик в чистом поле
Звенит заливчато, навзрыд.

На этой чортовой телеге
Доскачешь в ад наверняка.
Эфесом палаша фельд'егерь
Молотит спину ямщика.

Гер Видлер¹ водку пьет с надсадом.
Что ни ночевка, то дебош.
Он на помазанника взглядом
И бакенбардами похож.*

— Пошоль, каналья! Доннер-веттер...
Поля, шлагбаумы, леса.
Который день сквозь пыль и ветер
Гремят четыре колеса.

Мужик, слышав колокольчик,
Свернет с дороги наугад

¹ Фельд'егерь, сопровождавший Шевченко в Оренбург.

И вслед телеге бросит молча
Угрюмый, пугачевский взгляд.

Простор, — а тесно, как в остроге.
Куда ни глянешь, вдаль и вширь,
Гремя цепями, по дороге
Плетется «каторга» в Сибирь.

— Земляк, здорово! Далеко ли?
— Туда, за гору Благодать.
Никак попутчики?..

Доколе
Терпеть, покорствовать, страдать?

Не век в пыли трястись в телеге
И гнить в казарменном гробу.
Ты не обгонишь, гер фельд'егерь,
Мою крылатую судьбу.

Попомни, спутник мой случайный,
Дождется песня той поры,
Когда над Русью и Украиной
Поднимет ярость топоры.

★

2. СОН В ОРСКОЙ ФОРТЕЦИИ

Как грустно я стою между людьми. Руки и голова закованы.

Т. Шевченко. Дневник.

Разбитый зноем, спит солдат
В тени казенного сарая.
Кругом, куда ни кинешь взгляд,
Пустыня, без конца и края.
Кресты над крепостной стеной,
Домишки, мертвая равнина
И беркуты...

В полдневный зной
Солдату снится Украина.
Солдату снится: глохнет гром,
Трава в степи дождем примята,
Белеют хаты над Днепром,
Горит заря, поют дивчата,
Скрипят чумацкие возы,
Над старым шляхом дым привала.
Улегся ветер. И грозы,
И ливни будто не бывало,
И все кругом, как в дальний год, —
Незабываемо и просто.
Слепого лирика ведет
Худой, в посконине, подросток.
И все кругом, как наяву,
Знакомо взгляду, сердцу мило.
Садится лирик на траву
Передохнуть под сень могилы.
Как Днепр широк! Как даль ясна!
Как шелестят колосья в поле!
Чуть слышно дрогнула струна,
И песня стелется по воле.
У песни крылья широки.
Над морем чайка промелькнула.
Вразрез волне сичевики
Ведут байдаки до Стамбула.
Но болью ранена душа.

Укрыл байдаки сумрак серый,
Расшитый золотом паша
На Трапезунд ведет галеры.
Куда вас, хлопцы, занесло?
Что разлучило с Украиной?
Скрипит тяжелое весло
Протяжной песней журавлиной.
А ветер поет,
А сердце зовет
От белого камня,
От синего моря
На тихие воды,
На ясные зори.
По борту бьет свирепый вал.
Тащись, судьба, худая кляча!
Ну, что ж ты, старый, оборвал
Тоску невольничьего плача?
А в песню входит шляхтич-лях,
Твой враг заклятый и старинный.
Пылят постолы битый шлях
До Умани, до Чигирина.
Молись, шляхетчина! Дрожи!
Повстали наймиты, байстрята.
Блестят «свяченые» ножи.
И черный дым и кровь заката.
Сегодня ты, а завтра он,
А с ним, под нож, его жандармы.
.
Рожок горниста гонит сон.
Вставай, солдат! Пора в казармы!
Опять на пытку и на горе.
Держись, Тарас! Лиха беда.
«Грай море, добре море,
Добре буде, Галайда!».

★

3. ОТЧАЯНЬЕ

У меня при одном воспоминании об этой пустыне сердце холодеет.

Т. Шевченко. Дневник.

Так день за днем, из года в год.
Как жжет в груди! Как в глотке сухо!
Опять тоска. Опять сивуха.
И снова черная старуха
Кривит усмешкой впалый рот.
Какая мертвая усталость!..
Ужели силы не осталось?

Что позади? Что впереди?
Темно, как в яме. Душно. Глухо.
Густеет кровь. И слышит ухо,
Как в паутине воеет муха.
Постой, проклятый, погоди,
Еще душа не вовсе смята
Свинцовой участью солдата.

Утро

РОМАН

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

(Окончание первой книги)¹



XXVIII

Слух о происшествии в губернаторском доме облетел город в ту же ночь, и уже к утру следующего дня жители услышали на улице цокот: ехали казачьи раз'езды. До сих пор казаки стояли в каменных казармах на краю города, за Бездонными Ямами. По утрам там пела труба, звенело лошадиное ржанье. Казаки рубили лозу. С Благовещенской площади можно было видеть, как на далеком плацу, поднимая желтую пыль, скачут крошечные фигурки всадников.

Но редкий казак заглядывал на базар, играя вороным чубом, выпущенным из-под бескозырки. Губернатор держал казаков в казармах, как за пазухой камень.

Происшествие потрясло губернатора. Быть может, он верил, что удар, хва-тивший важное лицо, бегство его дочери и брожение среди рабочих — явления одного порядка. Анархия царила в умах людей!

Так или иначе, но ранним утром в городе появились казачьи раз'езды.

Улицы еще пустынные. Только-только открываются магазины, визжат железные ставни, сторожа идут спать. Пробежит на рынок прислуга из чинного семейства; взглядом, как нагайкой, огреет статного красавца в седле. Тянутся на переэкзаменовку гимназистки в фуражках с облезлыми гербами, остановятся,

шалея от восторга: лампасы, пики, чубы! Чиновник идет в присутствии, скосит глаз, а в сердце — мятный холодок.

Но скоро улицы наполнились народом; люди шли, скапливались возле тумб, сбивались в кучки на перекрестках. Раз'езды об'езжали город из улицы в улицу. Сперва казалось, что они суются куда попало, без толку. Но конные группы, одни и те же, через правильные доли времени появлялись все на одних и тех же улицах, и тогда стало понятно, что город разделен на секторы.

Улицы, на которых народу появлялось все больше, наполнились шумом взбудораженной жизни. Торговцы вышли на пороги своих лавок и через плечи любопытных глядели на статных казаков. Сытые кони вороной масти, всадники — красавец к красавцу. Лица у казаков нахально-стыдливые. Щеки брнты до синевы. Плечи борцов и талии девушек.

При появлении раз'езда разговоры на улице смолкали. Люди молча провожали глазами казаков, и молчание бежало за ними, как тень; только цокали копыта, только поскрипывали тугие седла, только фыркали розовые лошадиные ноздри.

Губернаторская улица была оцеплена полицией, и поэтому высокий желтый дом с белыми колоннами казался как бы чужим в этом городе, заново возникшим этой ночью, полным страха и тайны. Трехцветный флаг на крыше приспущен.

¹ См. «Новый мир», кн. 1 и 2 с. г.

Перед под'ездом, сомкнув каблуки, в служебной неподвижности застыл полицмейстер; он постарел за эту ночь, не успел побриться.

На углу Соборной, в толпе, говорили, что важный чиновник из Петербурга скончался, а на углу Дворянской — что еще жив. На углу Мясницкой говорили, что дочку важного лица похитили революционеры, а для какой цели — скоро выяснится.

Человек в чесучевом пиджаке, с бородкой как у царя, стоял спиной к забору, на котором трепалась углами зеленая афиша:

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТ

ВОДЕВИЛЬ

Дон-Ранудо де-Калибрадос

или

Что за честь, когда нечего есть

Он оглядывал суетливыми, симпатичными глазками тех, кто его слушал: молодящуюся старуху-дантистку Итальянскую, закрывшую глаза на свои годы и поэтому одетую голо и пестро; чахоточного учителя географии Вонифатьева, фотографа Тупичка, толстого хозяина извозного двора и других, которые в городе не были популярны.

Губы его двигались с быстротой, и то, что он говорил, зажигало и его самого и слушателей:

— Вчера вечером в полицию явились оба брата, Сергей и Никифор, и заявили, что одна ихняя христова ярочка слышала под окном, как анархисты собираются украсть дочь его высокопревосходительства. Кинулись под окно, а там одинокая старуха, Ксения Григорьевна с Вокзальной, дом номер девятнадцать. Ксения Григорьевна говорит: приехал из Москвы один запойный, прописку в участке взял, а потом с'счал. Ее немножко поугадали. Она тогда говорит: еще приходила и добивалась их какая-то женщина, полная из себя и очень славная. А женщина эта и есть христова ярочка.

— Не так, — сказал хозяин извозного двора, уставив глаза на непонятное, похожее на охулку имя на афише:

Ранудо де-Калибрадос. — Совсем не так. Эта женщина, которая ярочка, и есть анархистка.

Подумал и добавил:

— Макси-ма-листка.

— Много вы знаете! — надменно воскликнул человек, похожий на царя.

Дантистка Итальянская испугалась, что они станут спорить, не dokonчат рассказа и ей нечем будет жить целый вечер. Широкой оголенной спиной, полной дряблого жира, она оттеснила хозяина извозного двора и сказала:

— Теперь что же дальше? Поскорей, поскорей говорите!

Другие тоже стали понукать:

— Ну? ну?

— Дальше идет самое главное, — проговорил человек в чесучевом пиджаке, обрадованный общим сочувствием. — Отрок Никифор, как и все наши приснопамятные святители церкви, угодники и чудотворцы, не поклоняется ни власти, ни богатству, и к этому сановнику по первому зову не побежит, а пусть сановники сами к нему приезжают в каретах. А сановник не хочет, чтобы знали о том, что его дочь больна такой явной и публичной болезнью, как несвежая кожа. У ней в Петербурге сватовство, одним словом, великосветская интрига. Вот тогда он приказывает, чтобы отрок Никифор прислал к нему для переговоров свою помощницу. Эта помощница и есть та женщина, которая слушала у окошка. Но ее, видите ли, задерживают для показаний, тогда отрок Никифор берет другую христову ярочку, она идет и по дороге исчезает.

— Как это исчезает? — глаза дантистки Итальянской округлились (она думала, что это выходит молодо).

— Не так, — сказал хозяин извозного двора, — совсем не так.

— Нет, так! Она исчезает, а вместо нее к сановнику допускают революционера, этот революционер и крадет дочку его высокопревосходительства.

— Не так, — сказал хозяин извозного двора, — дочка сама сбежала к революционерам.

— Можно додумать, — сказал человек в чесучевом пиджаке, — что вы там были и все это видели.

— Я там не был, а смущать народ брехней не следует.

— А вам следует проходить и не ввязаться в чужой разговор.

Хозяин извозного двора тяжелыми глазами посмотрел на афишу, сказал человеку в чесучевом пиджаке:

— А вы Дон-Ранудо де-Калибрадос.

В это время проехал казачий раз'езд, и разговор стих.

На другом перекрестке улицы редактор местной газеты, осторожно либеральной, худой, бритый, как актер, в грязных крахмальных манжетах, выбивающихся из натертых до глянца рукавов, говорил взволнованно:

— Нет, нет, все же это не метод борьбы! На улицах городов льется кровь, идут баррикадные бои. Я понимаю экономические стачки — но вооруженная борьба! Кровь пачкает знамя русского либерального движения. Интеллигенция наша всегда была жертвой, она шла на любое страдание, на любую муку за те заветы, которые даны ей Александром Ивановичем Герценом. Она всегда была жертвой и никогда не была палачом. Ее сила не в револьверах, а в активном гуманизме, в духовном протесте, в силе ее неподкупного духа. Револьверы оставьте полиции. У нас есть оружие посильней!

— А ваше оружие, может, не стреляет, — сказал из толпы чей-то смешливый голос.

Редактор обернулся и увидел молодого паренька в грубом пиджаке, в сапогах, мятые голенища которых сползли на икры. Лицо его, как у всех рыжих, имело молочно-белый оттенок и покрыто веснушками, губы дерзкие.

— Вот как? — спросил редактор, бледнее от гнева. — Реформы шестидесятих годов добыты этим оружием, молодой человек. Этим же оружием добыта отмена крепостного права, отмена двадцатипятилетней солдатчины. Этим оружием добыт институт присяжных заседателей в суде. Нужно много учиться, прежде чем судить историю русской интеллигенции. Кто вы такой?

— Допросы оставьте полиции, — иронически проговорил парень.

Из группы людей, окружавших редактора, возмущенный женский голос крикнул:

— Уж что-то очень свободно стали рассуждать за последнее время! Людей выкрадывают из их собственных домов, а преступники свободно ходят по улицам.

— Да, да, это уж сверх всякой меры!

Парень усмехнулся, вскинул плечом и пошел прочь.

Осторожная, брезгующая, но настойчивая рука легла ему на плечо. Он обернулся. Увидел напряженное лицо под судейской фуражкой, расчесанные щеточкой брови, под бровью красный ободок: след от монокла.

— Пошел к чорту! — грубо сказал парень, движением руки сбрасывая руку.

Но его сейчас же цепко схватили сзади под ребра. Парень рванулся на мостовую; и он, и его преследователь едва не свалились под копыта казачьей лошади. С тротуара закричали. Лошадь шарахнулась в сторону, стремя брякнуло о стремя соседа, провизжала плетка. На плечо парня лошадь обронила пену.

Казачий офицер поднял руку к козырьку, картинными глазами оглядел столпившихся на тротуаре.

— Здесь чисто принципиальный спор! — истерически закричал редактор.

Он обронил на тротуар манжетную запонку; об асфальт щелкнул эмалевый голубой глазок в никелевой оправе. На редактора негодуяще зашумели, прорвалась фраза судейского: «довольно, довольно манной каши либерализма!». Редактор, нагнувшись, возил ладонью по асфальту, искал запонку. Сзади брюки его так были потерты, что просвечивало белое полотно исподников.

Человек, державший парня, отпустил его и отошел к асфальту, пятясь задом, широко и дивно глядя на казачьего офицера. Казачьи лошади окружили парня. Офицер плеткой ткнул его в затылок, сбил фуражку.

Раз'езд двинулся вдоль улицы. Под брюхами лошадей видны были шагающие ноги парня в смятых сапогах, голенища спустились ниже икр.

Толпа пошла вслед за раз'ездом, держась в отдалении, чтобы в случае осложнений разойтись.

На мостр'овой осталась фуражка парня. На тротуаре — запонка редактора.

К полудню улицы были полны народу, как на масленицу; государственные учреждения в знак сочувствия важному лицу прекратили присутствие.

Варварка, сгибаясь под тяжестью плетеной корзинки, вышла на перекресток Астраханской улицы.

Она совсем не знала города, через каждые десять шагов спрашивала прохожих:

— Дяденька, это Астраханская? А где лавка Гордеева?

Устала, пребоялась, глаза полны слез. Корзинка оттянула руку, плечо ныло, как вывихнутое. Ей показали на стеклянную дверь. Поперек стекла золотые буквы: «Гордеев с с-ми».

Она с трудом толкнула дверь на тугой пружине.

Лавка была просторная, устлана столами, на столах посуда: графины и графинчики, рюмки тонкого стекла, разных форм, разной высоты, разного объема, разных цветов. Блюда, тарелки, чашки, стаканы. Кувшинчики с раздутыми боками, вазы и вазочки. Едва сделаешь шаг: динь, цзонн, зумм.

У окна стоял чистенький старик с ватой в ушах, смотрел на улицу. Вертел на пальцах массивное золотое кольцо.

— Я от дедушки Мишаила, — сказала Варварка.

— Не больно-то он мне нужен, твой дедушка, — старик оглядел поверх очков вихры Варварки, — очень ядовитые цветы стал писать, очень смертельные. Ты что, внучка ему?

— Нет, я так.

— Чего сам не пришел?

— Болеет, — сказала Варварка, положила корзинку на прилавок, стала разминать затекшие, онемевшие пальцы. — Побили его. Урядник побил.

Она хотела сказать: отец, а сказала: урядник.

— Это какой же урядник?

— Чужой.

— Ну, давай тарелочки, полюбуемся.

Он вынул из корзинки столбики тарелок, аккуратно завернутые в толстую синюю бумагу, разорвал бечевки. Он брал каждую тарелку, поворачивал ее на свету, то снимал, то надевал очки. Губы его почмокивали, будто ел вкусное, но острое. Видно было, что яростные краски Мишаила ему нравятся.

Потом он вздохнул, потянулся за счетами.

— Дюжинка тарелочек, — сказал он, откидывая костяшки, — условлено по пятнадцати копеек. Или по тринадцати? Ну, обижать не стану, пусть будет по четырнадцати от моих щедрот. Как нынче живем-то: живых людей из окошка выкрадывают! Мишаил говорит: казенные люди худы. А царь небесный, девочка, нас учит: несть власти, аще не от бога. Ты Мишаила не слушай. Он из ума выживший человек, трепотун, мятежник. Это правильно, что его побили. Это возмездие. За все за это причитается Мишаилу два рубля и сорок копеечек. А деньги кому?

— Деньги мне, я отнесу.

— А если украдешь?

— Воровать я неученая, — сказала Варварка.

— Воровству не учатся, с ним рождаются, с воровством. Учатся, девочка, честности. Теперь такие времена, что каждый только у себя дома не вор. Вышел человек на улицу — он уж и вор, и убийца, и забастовщик, и насильник. Я скоро в магазин казака найму. За ним спокойней. Как я тебе деньги дам? Может, ты нищенка. Пусть Мишаил сам зайдег.

— Да он не может.

— Как это не может, если нужны деньги? Не может, значит не нуждается.

Денег он так и не дал. Варварка пошла домой, радуясь, что корзинка пуста. После длинного разговора в лавке, которого она боялась и который обошелся хорошо, ей теперь было море по колено.

Она любовалась барынями на улицах, пыльными кружевными, торчащими из-под их юбок, каблуками туфель, похожими на рюмочки из лавки Гордеева. И казачьими подседельниками, и жир-

ными красными шнурами на револьверах полицейских. И ясными стеклами на фонарях, и выпуклыми золотыми буквами на вывесках, и часами на городской думе, и барским ребенком в окне, прижавшим к стеклу розовый нос. И зеленой афишей на заборе, и воробьями, клюющими клейстер, и словом Калибрадос.

Но ей нужно было спешить к Мишаилу, потому что Лизавета уходила стирать, а Мишаилу необходимо разговаривать с кем-нибудь: иначе он обижался. И еще нужно было кормить голубей пшеном: Мишаилу, после избиения, не под силу лезть на голубятню.

До слободы Варварка дошла втрое скорей, чем из слободы тащилась до города. Она шла, помахивая пустой корзинкой. У нее появились обязанности, ей не нужно выклянчивать любви, ее любили. Теперь она была чистёха, аккуратница.

Какой-то парень с унылым носом околичивался у дома. Оглядел Варварку с головы до пят.

Она толкнула калитку, вошла в лопушинный двор. Лизавета, бледная, стояла в дверях баньки. Такая бледная, что глядеть страшно. Вот-вот сорвется, побежит неизвестно куда.

Она взмахнула руками, увидя Варварку: так заждалась.

Схватила корзинку, бросила в лопухи, сказала, сильно приглаживая волосы Варварки от темени к ушам, оглядываясь то на калитку, то на баньку:

— Слушай, деточка, внимательно слушай. Всё понимай. Сейчас беги к Бездонным Ямам, знаешь? Беги к дальним Ямам, все лугом, лугом. Все прямо, прямо, до самой дальней Ямы.

— Ну, что ж, побегу, — сказала Варварка, зажигаясь огнем ее скороговорки.

— Беги, беги, никому встречному ничего не говори, слышишь? В дальнюю Яму беги, в кусты, там увидишь много народу, увидишь Алексея или Капитона Ивановича, шумни им: скажи, Лизавета видела, как в участке снаряжали полицию — итти в Ямы. Скажи: Лизавета сама не побежала, потому что ее видели, за ней какой-то парень увязал-

ся до самых ворот. Или это не говори. Скажи, чтоб все расходились, чтоб Алексей потише был. Поняла, деточка?

— Я мигом, — сказала Варварка, села на траву, стала разуваться.

— Ой, беги, беги, — торопила Лизавета. — Перелезь через забор. Болотной улицей ближе. Не собьешься?

Она была, как безумная. Оглядываясь на калитку, повела Варварку к забору. Прижимала к груди ее башмачки. Пока Варварка перелезала через забор, крестила ее порывистыми широкими крестами.

И потом глядела, как бежит Варварка, сверкая пятками. Притиснула лоб к шершавой доске забора. По узкой, сухой спине ее прошел озноб.

XXIX

Бездонные Ямы подходили к городу с северо-восточной, всегда ветреной стороны. Когда-то это были неглубокие лёссовые расщелины, пробитые пойлой водой во время разлива Медведицы. Но из года в год вода зверовала все больше. Размыв увеличился. Образовались овраги с гольми скатами.

Овраги ползли, подбираясь к городу, и скоро передние домишки слободы повисли над кручей или, перекосив стены, стали сползать на скаты.

В оврагах всегда было сыро, темно, на дне их росла густо-зеленая трава и сочились студенные роднички. В ближние Ямы по праздникам рабочий люд ходил пить водку и кричать песни, а молодежь — обожаться. В дальние Ямы никто не заглядывал, о них шла тяжелая слава: будто тот, кто спустится на их дно, увидит белую бабу, вурдалачку, и уже не вернется назад, останется с той вурдалачкой навек.

Рабочие собрались в самой дальней Яме. Когда Капитон Иванович, придя со стороны реки, вошел в кустарник — он увидел человек двенадцать, поджидающих его.

Кто лежал на брюхе, загородив глаза от солнца фуражкой, кто строгал веточку, кто, обняв колени, глядел на край склона, где ветер шевелил порывшую медуницу.

Заводских легко было узнать по обросшим запалым щекам и неподвижной злости в глазах: эти голодали давно. Люди пришли и с паровой мельницы, один был от кустарных медницких мастерских.

Капитон Иванович снял картуз, тыльной стороной руки отер лоб. Всех этих ребят Капитон Иванович хорошо знал.

Он подсел к трем рабочим, слушавшим машиниста с паровой мельницы. Демонстрацию комитет назначил на ближайший понедельник, и сегодня собирались установить ее порядок.

Но об этом речи еще не вели — ждали Нила.

Микеша, молодой слесарек с завода, курчавый, как барашек, валялся на спине, держа перед глазами высохший стебелек, стебельком обводил края облака, плывущего в небе. Другой паренек, Тихон, положил голову ему на живот. Оба слушали старого машиниста с паровой мельницы.

Капитон Иванович сел возле них на землю.

Машинист, просунув пальцы за широкий кожаный пояс, стянувший его живот, рассказывал:

— Как цыганы. Поставили кольшки, натянули бельевые веревки, повесили одеяльца, а то простыни. Прасковья Тимофеевна свояченица мне, она меня зовет: заходи в мой теремок, только на паркетах, смотри, не осклизнись. Я, безусловно, сел на чебурашек, делаю веселое лицо. Она мне говорит: хорошая ваша революция, спасибо вам. Высокие палаты мне построила: крыша — небо, стенки — ветер, кровать — поле чистое. А только, говорит, о питании не подумала, постчевать тебя нечем, не взыщи — пожуй усы свои и тем будь сыт.

— Эта твоя Прасковья, — сказал Микеша, — всех женщин у нас мутит. Вот уж темна, как ночка темная! Я взял бы ее, да вожжой...

— Ты ее вожжой, Паровышников — голодом, вот и просветлеет баба, — спокойно сказал машинист.

— Да нет, — смутился Микеша.

— То-то нет. Я у них спать остался. Она поклаа младенцев в сено, ничтож-

ным тряпьем прикрыла. Ночь. Сидим. Слышу — кто-то ходит округ нашего шалаша, покашливает. Кто это? А это хозяин. Ввалился, глаз не поднимает, спрашивает: покурить нет ли? Я ему даю кисет, а он зерна просыпает. Я ему скрутил сам, он потянул, его захолонуло, не отдышится. Потом мы легли, и я ночью проснулся от его кашля. Давится человек и посередь кашля шепчет Прасковье: «пощупаю, щупаю пустые карманы — сил нет ворочаться домой... на тебя, на детей нет сил глядеть. Извелся я весь, Параша». Она ему со всей ихней бабьей теплотью: «небось, да что ты, небось... не теряй мужества. Ты поближе к смелым людям стань, с машинистом нашим поговори. Вразброд вы овцы, а вместе — сила». Я тут тихо с постели встал, вышел на волю, не могу — чувство душит! А ты — вожжой. Он проснулся, товарищи, рабочий-то класс. Теперь не усыпишь ни попами, ни мором, ни пулями.

«Ах, каленый, ах, чорт его возьми, каленый машинист!» — подумал Капитон Иванович, поджал колени к груди, оплел их руками, почувствовал, что и его «душит чувство».

Разговор переметнулся на войну, на Сахалин, на происшествие в губернаторском доме.

— Если подойдет этот петербургский воевода, — сказал машинист, — нам все равно на поминках не гулять. Вот еще эсеры любят в них постреливать. К чему? Министры, начальники — как черви. Его перережь пополам, станет два червя. Этих двух пополам — станет четыре. Петербургского только кондрашка хватил, а губернатор уже казаков спустил с цепи, крепенько завертывают гайки. С нашей мельницы двоих взяли, бабу и мужчину, — оба они, бывало, как услышат о чем-нибудь таком, о революционном — на пальцы дуют. Ни духом, ни рылом. Слышно, Ленин правильно говорит: надо все дерево под корень рубить, а не листочки срывать. Так она, революция, не пойдет...

Микеша сказал скороговоркой:

— Идет, идет, сама пойдет...

Тихон (голова его подпрыгивала на животе Микешы):

— Еще идет, идет-идет...

Микеша тихим и тонким, как волосок, тенорком затянул «Дубинушку».

— Дурить не время, — рассерчал машинист, — время думать да дело делать. Непонятна программа социалистов-революционеров. Заглядывал я в их «Свободную Россию». Очень, на мой взгляд, бахвальства много.

Микеша сказал:

— Ты, дядя, чересчур сильно гнешь. Люди на смерть идут. Для себя? Нет. Революцию хотят разворошить.

Тихон спросил:

— Как рабочая партия на это смотрит?

Всех этих парней Капитон Иванович знал со дня своего прибытия в город. Разбросать прокламации (афишки — говорили рабочие) почти на глазах у бывших фельдфебелей и унтеров, одетых в полицейские шинели, найти слесаря для починки оружия, заговорить с часовым у воинских казарм, — все это было для них дело как будто плевое.

Одни из них жили в слободе, другие в кирпичных казармах позади завода Паровышниковова, с виду похожих на те кладбищенские камни, какими придавливают могилы городской гольтббы. Могильные камни лежали на холмиках бессловесной, холодной земли, а камни казарм притиснули живую, страдающую и бунтующую жизнь.

В казармах жили крикливые женщины, каждый год рожавшие хилых, кривоногих, шаропузых ребят; старики, почитавшие пароконный выезд заводчика; мечтатели и буяны; хозяйские подлизы и читатели газет; церемонные, чистенькие невесты, желающие выйти замуж за мастера, и легкие на жизнь девушки.

Иной накрепко, по-рабьи верил в Паровышниковова — нет хозяина, нет и работы, нет работы, нет и полочки; иной не верил, что хозяин единственный бог на земле, но верил в то, что надо жить так, как заведено дедами; иной сам не знал, как сделать так, чтобы жизнь была лучше, но хотел, чтобы она стала лучше; иной уже знал единственную дорогу рабочего люда, — становился на нее то робко, то отчаянно-храбро, то в

беспамятстве — от отчаяния, — то сознательно.

В тесно набитых, грязных, вонючих комнатах истошно вопили дети, мальчонки с ранних лет обжигали себе гортань махоркой и вином. Пахло пеленками, помойными шайками. По железным кровлям гремели ободранные, как эта свалочная жизнь, коты. В холостых бараках играли в три листика и в двадцать одно. Из угла в угол шаталось, пританцовывая, похабное слово.

Сейчас, когда забастовка начисто опустошила кухонные полки, женщины яростней кричали на мужей, молодежь слонялась без толку. Темные захожие оборванцы нашептывали, что возле рынка, в тракторе, дают даром шкалик водки, полтинник деньгами, свинчатку, а работать за это не надо.

В казармах люто голодали.

Забастовка осветила людей, как ярким фонарем: стало видно, каков каждый человек, какая ему цена, кто сильный, а кто покорливый.

Семьи рабочих, выброшенные Паровышниковым из казарм, бедовали в поле, под открытым небом,

Общее голодное горе, общее отчаяние, общая решимость перевернуть жизнь к лучшему будто камнем легли в ладони людей: камнем, который пришла пора метнуть в разбитую японцами рожу самодержавия.

Машинист строго посмотрел в глаза Редутову.

Капитон Иванович отогнул подкладку фуражки, вынул сложенную в восьмую долю газету.

— Давнишний номер «Искры», ребята, — сказал он, — еще ленинской. «Искра» писала по этому вопросу: «террористическая борьба старого образца была самым рискованным видом революционной борьбы, и люди, бравшиеся за нее, имели репутацию решительных и самоотверженных деятелей... Теперь же, когда демонстрации переходят в открытое сопротивление власти... наш старый терроризм перестает быть исключительно-смелым приемом борьбы... Теперь героизм вышел на площадь; являющимися героями нашего времени являются теперь те революци-

онеры, которые идут во главе народной массы, восстающей против тех угнетателей...».

Он обвел карими глазами старого машиниста, Микешу, Тихона. Рабочие, вставшие в кустарнике, встали, подтянули штаны, подошли к Капитону Ивановичу. Слушали, покусывая усы, похмуривая брови.

Микеша повернулся со спины на живот, вскочил, не коснувшись руками земли.

— Так чего же мы ждем? — спросил он тихо, провел рукой по курчавой голове, из волос посыпались сухие травины.

— Мы выходим на улицу, — сказал Капитон Иванович.

— Без оружия?

— С оружием, — сказал Капитон Иванович, — Алексей и Нил получили два чемодана револьверов и патроны к ним.

Молодой парень с красной вывернутой губой — его звали Зайцем — обернулся, крикнул негромко:

— Алексей и Нил идут!

XXX

Капитон Иванович поднялся к Зайцу на гребень, раздвинул куст ольшаника и увидел Нила и Алексея, машисто идущих со стороны Медведицы.

На Алексее была ярко-желтая, подпоясанная ремнем, рубаха, на Ниле — его обычный пиджак синего сукна, застегнутый наглухо; жарища — а он повязал галстук. Алексей шел босой, Нил в сапогах, посветлевших от пыли.

Если бы Капитон Иванович знал, что видит их последний раз! Вероятно, поэтому он так ярко вспомнил потом и желтую рубаху Алексея, и седую пыль на сапогах Нила.

Они были уже близко, Капитон Иванович различал их лица. Выпуклое родимое пятно под губой Нила сияло от пота, как светлый камушек. И веки, и глазные впадины, и виски, и шея у него были потные. Шел молча, чуть раскрыв толстые губы. Алексей же был весь свежий, раскраснелся не от ходьбы, а

от волнения. Расстегнутый ворот открывал грудь, розовую, как у бабы.

Он подошел первым, на ходу стиснул Капитону Ивановичу руку. Нил присел на откос; сильно покривив рот, стащил правый сапог, вытряхнул песок. Потом он поковырял пальцем в дыре на подошве, брови его, огорчась, полезли на лоб.

От него, как от запаренной лошади, пахло сильным потом.

Он надел сапог и, раздвинув ольшаник, тяжелым прыжком перемахнул с гребня в кустарник.

— Люблю горячие дела! — сказал Алексей Капитону Ивановичу, открывая улыбой счастливые зубы.

Они спустились вслед за Нилом, оставив на дозоре Зайца. Нил сказал: «здорово, товарищи!», остановился у куста, широкой ладонью схватил ветку. Куст пришел в движение, тряся шершавыми листочками. Рабочие медленно обступили куст.

Никто не спросил ни о чем, стало тихо. Как из другой жизни, с гребня оврага долетел гудок буксира, похожий на голос сильного мужчины. На Ниле при каждом движении поскрипывало закишшее от пота белье, обжавшее его плечи.

— Вот что, ребята, — сказал он, еще не отдышавшись, — собрание наше будем проводить без всяких формальностей. Председатель Пеший. Возражений нет? У нас времени в обрез. Пеший, мне слово.

Капитон Иванович сказал:

— Качай.

— Сразу иду по самому сердцу повестки. Повестка: демонстрация рабочих завода, рабочих паровой мельницы и рабочих медницких мастерских, назначенная на понедельник. Ребята, обстановка в городе изменилась. В городе полно казаков, полицейским выдают по лишнему полтиннику в день. Обстановка изменилась и в другой связи. В связи с тем, что питерские рабочие прислали нам восемьдесят штук револьверов. Мы организуем рабочую дружину.

Надвинулись ближе. Микеша, как и Нил, ухватил рукой ветку, куст затрясся. Микеша, бледнея, раскрыл рот, оглянулся на товарищей.

Старый машинист снял фуражку, медленно перекрестился, сказал истоиво:

— С богом! Пишите в дружину меня и всю паровую мельницу.

— Я предлагаю, товарищи, — продолжал Нил, — принять точку зрения комитета: мы выйдем на улицу с оружием. Мы не поддадимся на провокацию, не пойдём на бессмысленную кровь, но, если на нас нападут, мы покажем самодержавию, что и у революции есть пули.

— Скидавай их с шеи, сукиных сынов! — закричал Микеша, схватил Алексея за грудь.

— Тихо, дура, — сказал Алексей, усмехаясь.

И вдруг всё стало свежо и ярко в глазах: ольшаник, ползущий по скату, воркующий ручей на дне оврага, желтая рубаха Алексея.

Нил, передохнув, продолжал:

— Товарищи, по всей России рабочие демонстрации перерастают в народные восстания. В Питере рабочие еще десятого января, на другой день после царского побоища, захватили типографию и выпустили воззвание. В десяти тысячах экземпляров! У нас было это воззвание, мы все знаем его. О чем они писали там? Они писали: «Кто же направил войско, ружья и пули в рабочую грудь?—Царь, великие князья, министры, генералы и придворная сволочь».

«Они — убийцы! — смерть им! К оружию, товарищи, захватывайте арсеналы, оружейные склады и оружейные магазины. Разносите, товарищи, тюрьмы, освобождайте борцов за свободу», — вот что писали они. «Расшибайте жандармские и полицейские управления и все казенные учреждения», — вот что они писали нам. «Свергнем царское правительство, поставим свое. Да здравствует революция!» После этого, товарищи, в десятках городов закипела и кипит вооруженная борьба рабочих со всей царевой челядью. После этого был «Потемкин», был «Очаков», восстания в войсках, баррикады в Одессе и Екатеринославе. Одни дураки могут думать, что революция делается по циркуляру. Одни предатели и слюнтяи могут удерживать рабочих от не-

медленной, беспощадной, неумолимой вооруженной борьбы. Мы не подымались, пока у нас были только кулаки да палки. Положение изменилось, товарищи. Предлагаю много не говорить. Высказывайся сразу, кто против?

Капитон Иванович обвел глазами рабочих. Они стояли тесным кружком, глядели в рот Нилу. Сдержанное, но горячее волнение их передавалось Капитону Ивановичу. Тихон поднял к глазам ладонь с распряленными пальцами, глядел на нее и вдруг сжал в кулак.

«О чем спорить? Дождались именинного дня».

Вдруг из-за спины раздался ровный, очень спокойный голос:

— А если задать вопрос, то как это будет в рассуждении дела?

Оглянулись на говорившего, потеснились, давая ему место. Человек, подавший голос, был не стар, благовиден по наружности, имел гладкие щеки и ясные глаза.

Это был Акимов, мастер-медяник.

— Хсчу знать, — спросил он не спеша, глядя на Нила своими ясными глазами, — восемьдесят пистолетов против казаков, войска и городских, как это будет — сила?

Он потер ладони, потом кисти рук.

Алексей, помутнев, двинулся на него, спросил:

— Говори без дальних, Акимов. Ты что, в кусты?

— Заявляю от медницких кустарей, — все так же потирая кисти рук, сказал Акимов, — заявляю, что медницкие на убой не пойдут.

Кровь бросилась Алексею в голову.

— На убой? — закричал он, — на убой, хозяйчик? А на революцию? — и, развернув руку, толкнул Акимова в плечо.

Капитон Иванович не успел схватить его за кисть, Акимов пошатнулся, выставил вперед ладони и медленно сел на землю.

— С ума с'ехал? — сказал Капитон Иванович Алексею, — кулаками не голосуют!

Зашумели. Алексей грудью полез на Капитона Ивановича, под глазом его бился живчик. Капитон Иванович об-

хватил его, притиснув руки к бедрам, Алексей дышал ему в ухо, они с полминуты потоптались на месте, как цирковые борцы.

Кругом продолжали шуметь. Вдруг Алексей ослаб, сказал, морщась: «пусти!». Акимов всё сидел на земле, потирая ушибленное плечо.

В это время с гребня, подымая тучу песку, скатился Заяц, схватился за куст. Треснули ветки. Вывернутая красная губа Зайца прыгала.

Он сказал, задыхаясь:

— Казаки, ребята! Сметайся!

Капитон Иванович выпустил Алексея и тотчас же сказал спокойно и негромко:

— Уходи кустами, по одному, по два.

Как всегда в тяжелые минуты, у него прояснела голова и все движения тела стали послушны ему. «Одним итти на казармы, — подумал он, — другим на слободу, третьим на Медведицу».

По шороху и движению кустов он угадывал, куда направились товарищи. Поверх ольшанника, по его листе, как бы пролегли три волнующихся потока. Один — вниз, в овраг, другой — вдоль гребня, третий — тоже вдоль, в сторону города.

Потом он услышал глухой топот ног: это по мягкому днищу Бездонной Ямы товарищи бежали в сторону казарм.

«Поднимись на гребень», — сказал Капитону Ивановичу приказывающий голос в нем самом. Капитон Иванович встал на ноги и натолкнулся на Алексея.

— Я с тобой, Капитон, — сказал Алексей.

— Поднимемся, поглядим, как обкладывают, — сказал Капитон и пополз наверх, раздвигая руками кусты.

Алексей полз рядом с ним. Ползти было трудно, под коленями скрипел и осыпался песок.

Наверху Капитон Иванович выглянул из-за кустов. Прямо перед ним лежал поемный луг, выстриженный косами и пущенный под потраву; стреноженные кони кой-где прыгали по нему, валялись на прогретой траве, скидывая гривами.

Солнце стояло уже низко, над самой Медведицей, вдоль берега ползла желтая труба парохода с широкой черной поперечной лентой.

От солнца было трудно смотреть на луг. Капитон Иванович приставил к глазам ладонь и из-под руки увидел конников, бездорожно скачущих по лугу в развернутом карьере. По тому, как мешковато люди сидели в седлах, и по белым рубашам Капитон Иванович догадался, что это не казаки, а полиция. Лошади разных мастей не держали строя.

На левом фланге, отстав от всех, шел на громоздком галопе вспаренный битюг, маленький всадник пригнулся к его холке.

Капитон Иванович насчитал до двух десятков конных, дернул Алексея за рукав, и они поползли назад в кусты.

Бездонная Яма, загибаясь на восток, переходила в плоскую заболоченную лошину. Там по тряской земле была настлана гать и проходила малоезжая дорога с кирпичного завода, который не работал уже целый год.

Капитон Иванович решил продрасться на эту дорогу и по ней открыто, лугами, итти в город.

С полчаса они ползли ольшанником, потом выбрались в лошину. Сапоги Капитона Ивановича стали вязнуть. Алексей шел впереди, чвакая босыми ногами. Пятки его заблестели. Он шел в раскачку, ремень он потерял, рубаха на ветру надулась желтым пузырем. Озерца воды, обросшие незабудками, розовели на закате.

Там и здесь, спасаясь от ног людей, взвивались лягушки, жирно шлепались в воду.

Наконец благополучно добрались до гати, сели под ветлы, чтобы покурить. Алексей вынул из кармана смятую, раздавленную пачку папирос. Царь-пушка, изображенная на ней, была похожа на лилового мопса.

— Ишь ты, грех, — сказал Алексей с досадой, — покалечил все папиросы. Это я, когда полз, ручкой револьвера их придавил.

Он с жалостью повертел папиросы в пальцах. Папиросная бумага треснула,

усатый табак вылез наружу. Они натрусили табак на ладони, стали вертеть козьи ножки.

Позже Капитон Иванович вспоминал: Алексей, с головы до ног облитый закатом, очень был красив в ту минуту: молодая крепкая шея, чисто пробритая, мягкий подбородок, русая кудель волос.

Они прислушались: в Бездонной Яме бряцало оружие, покрикивали, подбодряя себя, городовые.

Усмехаясь, Алексей поглядел навверх, в широкое раздолье неба.

Они закурили и пошли гатью. Из-за ветел навстречу им выбежали двое незнакомых парней одинаково большого роста: один старый и одутловатый, другой тоже одутловатый, но молодой. Старый держал в руках железный прут, выдернутый из церковной ограды: на нем уцелел круг и остренькая пика с расщепами.

Капитон Иванович и Алексей отступили на два шага, Алексей сунул руку в карман штанов.

Старый парень встал им на пути, а молодой воровато, по-собачьи, начал заходить сбоку, не спуская с них маленьких бессмысленных глазок.

Здесь, у ветлы, Капитон Иванович заметил Петушка, полицейского надзирателя слободской части. У него было двойственное выражение лица: святоши и пьяницы, он был стар, страдал одышкой.

Стоя под ветлой, он перебирал толстыми ножками, обутыми в глянцевые сапоги, и кричал:

— Хватай их под жабры, ребятки, не опасайся!

Сейчас же молодой парень сбоку кинулся Алексею под ноги. Алексей пошатнулся, и в это время железная пика страшно ударила его в голову, пробив правый глаз. Алексей упал как-то необычайно легко, свернулся калачиком.

Капитон Иванович, похолодев от мысли, что опоздал, выстрелил по челоуку с пикой и промахнулся.

Все тело его стало звонким и пустым: оно будто стало полое и в нем гулял ветер. Под его ногами хрипел Алексей.

Оба парня кинулись в сторону реки, где начинался тальник. За ними, держа фуражку в руке, длинными, нелепыми прыжками побежал полицейский надзиратель, и вправду похожий на петушка.

Капитон Иванович, не целясь, выстрелил по его спине, перекрещенной ремнями. Петушок подскочил, взмахнул руками, но остался невредим.

Все трое скатились в тальники.

Капитон Иванович присел над Алексеем, повернул его на спину. Он не мог бы сказать, как долго сидел над ним. Раскинутые ноги Алексея вдруг поразили Капитона Ивановича своей неподвижностью: твердые, округлые ногти и между средним и безымянным пальцем на левой ноге — головка наперстянки.

Отдышавшись и придя в себя, он поднял Алексея на руки и пошел дорогой в слободу. «Хороший подарок несешь Лизавете», — мелькнула мысль, и он ясно представил себе ее резкое, темное лицо, молчаливо сжатые губы и слезу неистовства, застрявшую в ресницах.

Рука Алексея била его по коленям. От крови Алексея у Капитона Ивановича намок живот. На бархатной пыли проселка лежал закат, он пылал также в окнах домиков, раскинутых по горе. Капитон Иванович шел прямо на эти огоньки.

Несколько раз он присаживался, сваливал тело Алексея в траву. Отдыхая, жмурил глаза, в них всё пылали окна домиков. Опять поднимал Алексея, прижимая его к груди, и вдруг прямо перед собой увидел Варварку, которая бежала на него по дороге, крича и размахивая рукой.

Не доходя двадцати шагов, она села прямо в пыль, он увидел черное пятно ее раскрытого рта.

Когда он поровнялся с ней, она встала, робко пошла с ним рядом, коротко спросила осевшим голосом:

— Кто его так?

— Царь, царь его так, — ответил Капитон Иванович.

Он вдруг спохватился, что идет открытым местом, что округа, конечно, кишит шпиками. Он свернул к реке, к

зарослям ольшанника. Варварка протянула руку и на ходу положила ее на лодыжку Алексея, впиалась в нее пальцами.

Дойдя до кустов, Капитон Иванович опустил тело Алексея на землю и сел рядом с ним.

Варварка молча привалилась к его плечу.

— Как царь-то его не пощадил, — прошептала она, вздрогнув.

— Не пощадил его царь, — сказал Капитон Иванович.

Протянув руку, обнял Варварку за голову. Ладонью провел по ее лицу. Ее щеки были сухи, только очень горячи. Она повернула к нему широко раскрытые и словно обезумевшие глаза.

Они сидели в кустах до темноты и только ночью вернулись в слободу.

Этот же ночью рабочие принесли тело Алексея в дом Лизаветы.

XXXI

Чувство внутренней нечистоплотности, какой-то недоговоренности с собой, недовольство поступками, совершенными опрометчиво, испытывал князь Сергей Аврелиевич в ночь несчастья с важным государственным лицом. Он не мог с'ехать тотчас же с губернаторского двора: это могло быть принято, как отсутствие человечности в князе или открытая демонстрация против важного лица.

Князь не мог ни уйти в комнату, отведенную ему для ночлега, ни сойти вниз, в апартаменты важного лица. Уединившись в своей комнате, он дал бы повод думать, что радуется несчастью полуживого человека. Но он также не мог замешаться и в толпу перепуганных чиновных людей, столпившихся перед дверью, за которой, в страхе смерти, мычало важное государственное лицо, потерявшее дар речи. Это показало бы, что он разделяет возмущение и ужас этих чиновных людей, их уважение к важному лицу, как к государственному деятелю.

Бесшумно он ходил по большой гостиной, устланной коврами. Люстра почему-то не горела. На круглый стол

поставили тяжелый бронзовый двенадцатисвечный подсвечник; горели только две верхние свечи. Подсвечник изображал группу дородных, очень круглых, толстоногих девушек. В темноту уходили висящие на стене, в золоченых рамах, суворовские генералы под плюмажами, рыхлые помещики в венгерках, расшитых шнурами, красавицы с лицами распутных мадонн, писанные кистью крепостных.

Огонь обеих свеч то рвался в стороны, то низко стлался по ободкам, и в голову Сергея Аврелиевича пришло банальное и печальное сравнение: пламя свечи, рвущееся с фитиля, подобно жизни, борющейся со смертью.

И хотя он всегда считал, что огонь и жизнь — во всем подобны, что рождение жизни и огня одинаковы в своей тайне, хотя он называл себя огнепоклонником, древним парсом, умеющим добывать пламя из гнилушек, это сравнение не вызвало в нем ни волнения, ни жалости к умирающему человеку.

Да, сколько бы он ни думал о важном государственном лице, он так и не мог понять в нем человека; и, представляя себе, как важное лицо лежит сейчас в подушках, обложенное льдом, он видел только неподвижное желтое, раздутое жиром, тяжелое тело, и он мог сказать о важном лице только одно: что оно большое и толстое.

Подходя к окну, Сергей Аврелиевич видел вереницу колясок, освещенных двумя большими фонарями губернаторского под'езда. Коляски все прибывали, околоточный делал кучерам знак, где останавливаться.

В глаза Апаркова бросилась длинная, узкоплечая фигура в черной разлетайке с серебряными пряжками — местный врач, талантливый человек, женатый на мецанке-алкоголичке и тем сгубивший и жизнь, и славу.

Затем сошла с коляски незнакомая ему дама под вуалью; чтобы ей было мягко итти, лакей положил на мостовую коврик.

Двери растворялись бесшумно, голосов почти не было слышно, но во всем обширном доме чувствовалось присутствие многих людей; иногда Сергею

Аврелиевичу казалось, что он слышит судорожные рыдания. Но слух обманывал его: дом был тих, и только если пройти в коридор, то можно услышать сдержанный шопот посетителей, шарканье подошв и — быть может — глухой голос врача, доносящийся из-за двери.

К двенадцати часам стало известно, что жизнь важного государственного лица вне опасности.

Сергей Аврелиевич поднялся к себе и спал довольно хорошо, радуясь тому, что завтра с утра сможет уехать.

Его разбудил лакей, подавший ему на подносе письмо от княгини Юлии Душановны.

Лежа в постели, Сергей Аврелиевич прочитал его.

Юля писала, явно не владея собой. Ему показалось, что буквы шатаются от горя и плачут. Сейчас же после его отъезда Юлия Душановна слышала, как на кухне ела́тминский мужик, зашедший попросить денег в долг, говорил кухарке, что скоро мужики станут делить князеву землю. «Разве они люди? — писала Юлия Душановна, — они животные, они не помнят и не ценят твоего добра, они не верят, что ты за народ, они сожгут нас. Вчера в Заломском уезде видели зарево».

Юлия Душановна просила мужа немедленно прислать отряд казаков. «Они никого не будут убивать, — писала она, изнемогая от ужаса, — они поживут у нас в садовой беседке».

К письму был приложен листок, исписанный сплошь круглым, разгонистым почерком, в котором князь Апарков узнал почерк волостного писаря.

В листке стояло:

• «Ваше сиятельство, князь Сергей Аврелиевич! Мы, крестьяне села Ела́тмы, собрались вместе обсудить свое житье-бытье. Потолковав между собою, расспросив у стариков об их прошлой жизни, нашли, что наша жизнь нисколько не переменилась, как была при дедах и прадедах наших, и, слышно, так же самое порют мужика губернаторы. Придет зима лютая, а нам и скотине нашей есть нечего, нет нам хлеба, и скотинушке есть нечего, корму нет, нет дровишек и отопить наши

жилища — все это надо купить, хорошо, если есть за что, но если нет, что тогда делать, лезть в кабалу к богачу-кулаку.

Что за причина нашей бедности? Одни говорят, что мужик — пьяница, другие, что он лодырь, а мы, посудив да порядив, нашли, что это вредная брехня, если и выпьет мужичок, так от горя. Много у него накопело на сердце. Мы нашли, что бедность наша от малоземелья, землицы мало, а налогов много, вот отсюда и наша бедность.

Ваши предки поступили несправедливо с нами, они обделили нас землей, дали неполные наделы, да в придачу к этим наделам поставили ловушки для нас, разные отрезки да заказники, чтобы мужичок не выходил из рук барина. Ох, дорого мы заплатили за эти ловушки! Сколько труда, пота и крови оставлено нами на ваших полях.

Для нас лично ловушки, это ваш заказник. Много поработали мы за него, много пота и крови пролили мы за него, мы окупили его в несколько раз, если всю нашу работу перевести на деньги.

Долг божеской и человеческой совести требует уступить нам этот заказник. Мы не говорим бесплатно, мы уже сказали, что сторицею заплатили вам за него. Мы, наши жены и дети просим вас об этом. И хоша мы уважаем вас безмерно, не доведите нас до крайних мер, чаша терпения нашего переполнилась, упаси бог, если она прольется. Тяжко нам, душно нам, спасите нас! Просим немедленно ответить на имя старосты Сергея Петрова Голубкова, не ответите, за будущее не ручаемся, народ сильно возбужден.

К сему с уважением и подписываемся крестьяне-малоземельники села Ела́тма».

И письмо жены, и обращение крестьян расстроили Сергея Аврелиевича. Юлия Душановна была неправа. Но правы ли были крестьяне? Он всегда сочувствовал им, любил их и — был уверен в этом — понимал их нужды. Письмо огорчило, расстроило князя. Если не содержание письма, то форма его, особенно форма последних, как бы

угрожающих строк показалась ему несправедливой. Нет, все оборачивалось дурно!

В столовой Сергей Аврелиевич, как и вчера, застал губернатора и камеристку, и опять губернатор подал камеристке знак, и она ушла, легкая, как воздух.

Губернатор был полон энергии, и это не соответствовало тяжелой атмосфере дома.

— А та молчит, проклятая баба, — сказал губернатор, провел ладонью по голове против волос.

— Кто?

— Брокера из Елатьмы.

Он с выжиданием поднял на Сергея Аврелиевича глаза.

Князь промолчал. У губернатора сегодня был отличный аппетит: ел звучно, со вкусом, шевеля линевичевскими усами. Важное лицо чувствовало себя сносно, и было бы великодушно со стороны князя навестить больного. Князь ответил, что не хочет беспокоить важное лицо, что их свидание было в деловом смысле лишним, а политически ложным, и что он велел кучеру закладывать коляску.

В нем опять поднялось недовольство собой, он ясно видел: губернатор радуется неловкости его положения.

Апаркова раздражило письмо Юлии Душановны, он вдруг почувствовал, что у него нигде нет покоя: нет покоя даже наедине с самим собой.

— Впрочем, передайте его высокопревосходительству мои сочувствия, как человеку, мужу и отцу, — сказал он.

Опять в воображении его возникла постель важного лица, высокие подушки, эмалированный таз на стуле, желтая, будто воздухом натянута, кожа, термометр, торчащий из подмышки; но он не мог представить себе самого простого: что этот человек любит дочь, заботится о жене, что он способен производить детей и мучиться их страданиями.

— Что же, — спросил Сергей Аврелиевич, — жизнь его действительно вне опасности?

— К счастью, к счастью, — сказал губернатор, положив на тарелку дес-

ертный ножичек и подняв глаза к лепному потолку, — но, дорогой мой князь, дочь его пропала.

— Как пропала дочь?

— Исчезла. Этого больше не скроешь. Весь город только и говорит об этом. Никто не видел, как она вышла из дома. Его высокопревосходительство потерял дар речи. Рука его парализована. Он не может ни говорить, ни писать. Каково мое положение, князь, дорогой мой! Я принял экстренные меры, к вечеру жду донесений от агентуры. Как вам это нравится, а?

Он снова взялся за ножичек. Ел звучно, с открытыми губами: видно было, как движутся ряды тесных белых зубов.

Потом отодвинул тарелку, сорвал салфетку с шеи и, положив на стол кулаки, плечами наклонился к Апаркову:

— Что вы думаете обо всем этом, князь?

— Признаться, я ничего не понимаю, — сказал Апарков.

Губернатор наивно промолвил:

— Были случаи, когда девушки из аристократических семей уходили к революционерам. Междоусобная война везде, князь: на улицах, в семьях. Если бы я не был солдатом, я сказал бы: грустно жить.

Он подумал, глаза его сделались льстивы.

— У меня к вам повторная и настоятельная просьба, князь.

Он откинулся на спинку стула и открыто, как друг, посмотрел Сергею Аврелиевичу в глаза.

— Наталья Брокера, из Елатьмы, требует свидания с вами.

— Требуется?

— Требуется, князь. Мы ее не стали бы держать, но она очень испугана, да и больная. Сама не уходит. Она говорит, что лично имеет сделать вам весьма важное, весьма решающее сообщение. Весьма решающее и, поскольку я могу понять, касающееся лично вас. Впрочем, я ничего не понимаю. Припадочная баба, с фантазиями. Из Елатьмы, вы ее должны знать, — жена урядника Брокера.

Губернатор помолчал, опять провел ладонью по голове, против низко стриженных волос.

— Конечно, это ни к чему вас не обяжет. Если совесть не позволит вам оказать помощь следствию, вы останетесь, князь, наедине со своей совестью. (Это выражение очень понравилось губернатору, губы его издали звук пощелуя, глаза стали еще добрее). Но я советую вам поехать — как друг и как почитатель вашего таланта. К тому же, для удобства, я приказал перевезти Броккову на квартиру одного старичка. Незаметный старичок, не имеющий никакого отношения к полиции.

Раздражение Апаркова усилилось. Он хотел сказать, что требование Брокковой, как его передает губернатор, похоже на шантаж, но не сказал этого, чтобы не выдать раздражения.

Ему представилось, что губернатор в душе смеется над ним: если пропавшая дочь важного лица будет разыскана, губернатор преувеличит трудности этих розысков и свою роль в них. Если у важного лица было четырнадцать сундуков, благодаря которым он делал карьеру, то у губернатора до сих пор не было ни одного — и вот, один явился!

Со всегдашней живостью воображения Сергей Аврелиевич представил себе губернатора сидящим на сундуке желтого фибра и наклейку, подобную маркам заграничных отелей, с надписью: «Распорядительность при розыске дочери важного государственного лица».

Он поднял глаза на губернатора. Взор губернатора говорил о дружеских чувствах, питаемых им к Апаркову.

Этот дружеский взор губернатора окончательно вывел Сергея Аврелиевича из равновесия. Конечно, в губернаторском доме считали приглашение Апаркова ошибкой Петербурга и боялись, что соглашение состоится. Теперь, когда соглашение не состоялось, присутствие Апаркова в губернаторском доме было и унижительно для князя и смешно — и губернатор открыто смеялся над ним.

Губернатор, передавая просьбу Бро-

ковой о свидании, хотел показать, какие люди близки с Апарковым, — настолько близки, что могут требовать свидания. Он хотел показать Апаркову, с кем, с какой гилью тот знается.

— Хорошо, — сказал Апарков, стараясь не глядеть на губернатора, — если эта женщина просит меня о свидании, я не откажу ей. Я поеду к ней и, быть может, сумею ей помочь.

Когда доложили, что коляска подана, князь Апарков простился с губернатором и прошел к выходной лестнице. У нижнего коридора, как и вчера, толпились лучшие люди города: чиновники, полнокровные барыни, именитые купцы и плохо маскированные охранники.

Апаркова несколько раз окликнули. Кивнув головой, он прошел в под'езд. Козырнул полицейский, выпятив широкую грудь. Кучер потянул вожжи.

Апарков сел и, коснувшись пальцем спины кучера, назвал адрес старичка, не имеющего никакого отношения к полиции.

XXXII

Раздражение не покидало Апаркова за все время пути по улицам города. На толстых булыжниках коляску подкидывало. День был залит густым, хорошо настоенным зноем: начиналась осень.

Оглядывая улицы, Сергей Аврелиевич говорил себе: то стесненное, в высшей мере ошибочное положение, в какое он поставил себя, поехав в город, вытекало не из дурных, но из самых лучших его побуждений. И тем не менее его лучшие побуждения — по результатам, достигнутым им, — будут истолкованы дурно и в правительственном, и в антиправительственном лагере. Все шло по русской пословице: пришла беда, отворяй ворота.

События развернулись в доме, где, наряду с важным государственным лицом, находился в качестве гостя и князь Апарков. В конце-концов, понес поражение князь Апарков, но не люди из губернаторского дома. Бестактное письмо Юлии Душановны, казаки на улицах города, эта его поездка к арестованной жене урядника... он сам не знал точно,

зачем едет к ней. Вырвать из рук полиции ни в чем не виновную жену урядника из своей деревни? На деле показать губернатору, что он, князь Апарков, даже узнав от Броковой имя «преступника», все же не назовет его полиции?

Ощущения князя Апаркова были смутны, мысли беспорядочны, и чувство внутренней нечистоплотности не покидало его.

Оглядывая улицы, он душой сопротивлялся всему, что видел, и все же не мог не впустить в душу впечатления этого тяжелого дня.

Прошла девчонка, сгибаясь под тяжестью корзинки, распаренная, с испуганными, чуть косящими глазами—она показала ему знакомой. Под зеленой афишей в самозабвении жестикулировал старик в кремовом летнем пиджаке, удивительно похожий на Николая II. Улыбнулась ему прямо в глаза толстая старая дама, вдруг крикнула, раскачивая дряхлые бедра: «Не узнали? Я дантистка Итальянская, князь!». Он в испуге тронул спину кучера.

Какого-то рыжеватого паренька забрал казачий раз'езд.

Эта последняя картина подняла в душе Сергея Аврелиевича новую волну возмущения: он содрогнулся в своем полном бессилии перед мерзостью, которая творится на его глазах.

Казачий офицер с выпуклыми глазами почему-то напомнил ему Вассека, ученика, которого князь подобрал в академическом классе.

Вассек был мелкий, суетливый человек с расшлепанными губами, в шапке вьющихся черных волос и с торчащими ушами. Он был невозмутимо бездарен, труслив в жизни и самонадеян, как индеец.

Не имея квартиры, Вассек жил «по товарищам». Апарков плохо разбирался в людях. Его тронула цыганская бесприютность и телячья ласковость, с которой Вассек заглядывал людям в глаза. Вассек жил у него, как нахлебник.

И вот однажды Вассек исчез, а спустя день прислал письмо, написанное в духе подвыпившего стряпчего: он

обвинял Апаркова в том, что тот будто бы в последней своей картине украл его, Вассека, идею. И теперь Вассек вызывал академика на третейское разбирательство.

Высоко подняв брови, Апарков принял суд.

Однако явилось второе письмо, из которого можно было понять, что такому честному человеку, как Вассек, негоже судиться с Апарковым.

На что надеялся Вассек? На деньги? На клочок славы? Жалкая наглость этого человека сначала вызвала в Апаркове приступ веселости, потом брезгливость — брезгливость при мысли, что такие люди живут среди нас, что им подают руку, что они называются людьми.

Брезгливость, подымавшаяся в Апаркове, сейчас перешла в презрение. В том, проходящем, случае попался какой-то Вассек, тусклое ничтожество; и — в конце концов—виноват был сам Апарков, не разглядевший в человеке негодяйчика. Однако, негодяйчики случались и покрупнее и попадались чаще, нежели он думал.

Негодяйчики невозбранно кормились на полях царского отечества, от'едались, жирели, вырастали в негодяев. Негодяи соединялись в черные сотни, оседали на хлебных местечках, надевали шинели околоточных, подминали под себя общественное мнение. Подкупам, наглостью и круговой порукой негодяи подымались все выше — и вот, они уже подпирали трон и, в союзе с троном, топтали Россию в крови и грязи и грабили ее народ.

Как всегда в минуты волнения, князь Апарков делил людей на дурных и хороших и мерил их поступки понятиями «зло» и «добро». Казачий офицер в его глазах был дурным человеком, а парень, схваченный казаками, — хорошим. Это детское по своей непосредственности восприятие всего, что происходило перед глазами, легко могло повести к выводу: будь на месте дурного казачьего офицера хороший казачий офицер, парень не был бы арестован; стало-быть, нужно бороться не против офицеров, служащих царизму, а против дурных офицеров во-

обще и на их место искать хороших офицеров.

Но в минуты волнения князь Апарков не умел делать никаких выводов из своих наблюдений.

В этом состоянии душевного угнетения он вошел в деревянный одноэтажный домик, поднялся на крыльцо и постучал в запыленную дверь с металлической дощечкой: «Для писем и газет». Дверь открыл бравый старик в седом бобрике, ходивший на прямых, не сгибающихся в коленях ногах.

Он молча пропустил князя в комнаты.

По цветному половичку князь Апарков вошел в прихожую, потом в светлую комнату, заставленную фикусами, олеандрами и кактусами, свирепыми, как рассерженные ежи. На стене висел портрет какого-то хмурого разбойника в кафтыре и манатейке. Блестели выкрашенные масляной краской полы. Чехлы на мебели не были сбиты — и кресла и диван стояли, будто на продажу.

Князь Апарков остановился среди комнаты.

Старик, стуча толстыми каблуками, подошел к нему и, будучи глух, сказал могучим голосом:

— По приказу его превосходительства, господина губернатора, имею честь представить вашему сиятельству Наталью Брокову. Чинчусов!

Князь Апарков тревожно посмотрел на белые двери.

— Чинчусов! — снова прокричал старик.

— Как изволили сказать? — не понял князь Апарков.

— Моя фамилия Чинчусов. Состою на пенсии ввиду глухоты. До пенсии состоял старшим тюремным надзирателем.

Он прошагал своими негнушными ногами к двери и скрылся за нею. Сергей Аврелиевич сел в кресло.

За дверью прогудел голос Чинчусова, прошуршала юбка, женский голос сказал с веселым испугом: «ой-я?».

Опять появился Чинчусов и гаркнул:

— Должен предупредить, ваше сиятельство, что женщина заговаривается. Припадочная. Но я буду здесь невдале-

ке, в случае извольте позычнее крикнуть.

Он ушел и тотчас же втокнул Наталью в комнату. Дверь за ней с громом закрылась.

Сергей Аврелиевич тотчас же узнал Наталью. До этой минуты, занятый всем происходящим, он думал о ней, как о незнакомой, голыми буквами: Брокова. {

Он не раз встречал ее и на селе, и на усадьбе. За внешней простотой ее, за легкостью ее взгляда скрывалось что-то вкрадчивое, что-то лживое и ненадежное, и это настораживало против нее. Но, может быть, ее смутный эгоизм и влек к ней людей. Ее крупное лицо, полное свежих красок, открытый взгляд, свобода ее движений, белозубая улыбка не раз толкали Апаркова на мысль писать Наталью. Но смутное нерасположение к этой женщине (ее муж был урядник, который лихо воровал и жил, как богатый кабатчик) мешало ему осуществить этот план; князь не умел писать людей, которым не симпатизировал.

Наталья подняла на него доверчивые глаза, потом опустила веки. Быстрыми, чистыми пальцами оправила платье, сказала, усмехаясь:

— Здравствуйте, ваше сиятельство, Сергей Аврелиевич. Грубый человек этот надзиратель, как меня нелюбезно толкнул!

Она смотрела на руку Апаркова, ждала, что он поздоровается с ней. Он физически ощутил ее взгляд на своей коже: будто по руке пробежал паучок. Но ему не пришло в голову, что нужно протянуть ей руку.

Он спросил, глядя на дверь:

— Что вы хотите от меня, госпожа Брокова?

Она опять усмехнулась, села в кресло и расправила юбку, чтобы ровно лежала на коленях. Долго копошилась: поправила рукав, потом шов на плече, гребень в тугих волосах, провела пальцем по крыльям носа: движение женщины, которая пудрится. Прибиралась, как птица, у него на глазах.

Князь Апарков сел на диван; Наталья не казалась ни замученной, ни за-

пуганной, и, недоумевая, он не знал, как начать разговор.

Наконец, она перестала возиться с собой, сказала свободно:

— Говорить можно громко, он глухой, надзиратель-то.

— О чем же мы будем говорить?

— Я, как узнала, что вы в городе, так велела вам обязательно прийти, — сказала Наталья, подняв на князя глаза; он почувствовал, как легкий паучок пробежал по его щеке, по подбородку и остановился на губах. — Вы слышали, что господин царский помощник смертно заболел?

— Жизнь его вне опасности, — сказал князь Апарков.

— Все равно, болезнь ужасная. Вам ничего обо мне не говорили?

Он взглянул на нее и встретил ясный, чистый взгляд: не смешливый и не пытливый, а только жалеющий.

— Вас незаконно задержали, — сказал князь Апарков, — я приму меры, и вас отпустят. Вероятно, вы беспокоитесь за семью, за мужа?

— За мужа я не беспокоюсь, мне с ним вряд ли жить. Нет, я просьбы вам не навязываю. Я одна знаю, кто увез дочку царского человека.

— Почему же вы не назвали этого человека властям?

— Назвать его властям я не смела.

— Почему?

— Потому, что это Илья Сергеич.

Илья Сергеич! Он встретил ее прямой взгляд, увидел зеленоватую, в коричневых точках и светлых стрелках радужную оболочку ее глаза и в ней узкий, неподвижный зрачок.

Апарков очень испугался. Но первое, о чем он подумал, было: как бы Наталья не заметила этого испуга. По улице медленно ехала телега, грохали о камни железные ободья колес, скрипела ось. Невеселый голос покрикивал: «А вот сахарные, астраханские арбузы! А вот арбузы!».

Наталья опустила глаза и вдруг показалась ему маленькой и тихой. Стук колес все приближался. Невеселый голос прокричал под самыми окнами: «А вот астраханские сахарные арбузы!».

Он понял, что Наталья не замети-

ла его испуга, но испуг от этого не проходил. Телега удалялась, голос покрикивал глуше.

И, когда он вовсе перестал быть слышен, Апарков вдруг безотчетно поверил Наталье, что она не лжет, что именно Илья Сергеич герой этой нечистоплотной истории.

Апарков встал, дошел до подоконника, уставленного кактусами. Наталья торопливо рассказывала о том, как услышала под окном разговор, как она видела Илью Сергеича и говорила с ним.

Но Апарков слышал только ее голос и не улавливал смысла слов. Разбойник в манатейке глядел на князя со стены, как живой. В тот вечер, когда в губернаторском доме, внизу, тяжело упали бронзовые часы, князь Апарков оставался один, наверху, в комнате, где с важным лицом у него состоялась беседа. Он кинулся к двери, запутался в тяжелой портъере. Кто-то шумно пробежал по коридору.

Пока Апарков отворял дверь, шум затих. Весь дом тонул в безмолвии. Окно в комнате было открыто, Апарков раздвинул портъеры и по пояс высунулся за подоконник.

В окнах аптеки уже мало было света: вероятно, остался один помощник провизора на ночное дежурство. Мимо аптеки пробежали девушка под вуалькой и человек в белых брюках. Он показался Апаркову довольно полным, но живость, с которой он бежал, увлекая девушку, говорила, что человек молод.

Что-то было знакомое в нем, — в повороте головы, в бодрой походке. Или это теперь ему казалось, что тогда он узнал человека?

«Это был Илюша, Илюша», — подумал Апарков, и в одну минуту все, что было связано с Илюшей за последнее время, его ненатуральная веселость, его неуклюжая нежность с Юлией Душановой, его отъезд в Москву, его молчание, слезы Юлии Душановой, — все это пронеслось в его памяти. Он похолодел.

Он повернулся к Наталье, сказал с усилием:

— Вы понимаете, что вашим показанием никто не поверит. Я тоже не верю ни одному вашему слову. Но я готов понести известные жертвы. Сколько вы требуете?

— Илья Сергеич тоже предлагал мне деньги,—просто сказала Наталья.

— Хорошо. Назовите сумму.

— Моя сумма какая же? — сказала Наталья, словно раздумывая.—Сначала я, это верно, даже имя его хотела выдать. Они обидели меня, Илья Сергеич-то. А теперь моя сумма такая, что я буду молчать. Может, Илья Сергеич когда-нибудь оценят. А вот бабенка, которая его оплела, непременно его погубит. Такие не умеют любить, разбойницы-то. И все там вокруг него разбойники. Отроки! Какие они отроки? Они охранники.

Усилием воли князь Апарков вернул себе мужество. Он не мог понять Натальи, и опять ему показалось, что она за своей простотой таит что-то; он не угадывал ее намерений и поэтому не мог отделаться от ощущения, что его стерегут из-за угла.

И разбойник на портрете, бородатый, в кафтыре, казалось, заодно с нею.

Князь тотчас же собрался идти. С Натальей простился неловко, почти враждебно. Ее спокойствие пугало его. Вышел Чинчусов, свирепо поглядел на Наталью, она передернула плечами.

Чинчусов, стуча каблуками, пошел провожать князя Апаркова.

Спиной Апарков чувствовал, что Наталья стоит у двери и смотрит на него ясными и ненадежными глазами.

Он решил остаться в городе и выжидать, чтобы вмешаться, если произойдут события. Он не сомневался в том, что рвение губернатора увенчается успехом, Илья будет задержан.

Апарков потерял всякое самообладание. Быть может, он продолжал делать опрометчивые поступки? В эти часы он не думал об Илье, как о человеке родной ему крови, как о сыне, но только об опасности, которая висела над ним.

Или он заботился об Юлии Душановне? Или о собственной репутации, которой болезненно дорожил? Все мешалось, все путалось в нем. Но, не ду-

мая ни о сыне, ни о его вине, а только об опасности, нависшей над семьей, он сумел так спокойно направлять свои действия, как если бы он думал о чужом человеке: о Капитоне Ивановиче, например.

Он велел ехать в гостиницу и там занял номер с золоченой мебелью, с «Популярным обрядом» на стене и с мышами, свободно бегающими по паркету. Он велел подать себе бумаги и чернил и написал Юлии Душановне, что остается в городе по делу с Крестьянским банком: выкупить закладную на лес.

Дальше он написал, чтобы она попросила крестьян подождать его приезда, и тогда он сам договорится с ними о заказе. Он просил Юлию Душановну ни о чем не беспокоиться и верить в разумную волю народа.

Письмо вышло убедительным и успокоило его самого: князь Апарков настолько взял себя в руки, что мог притворяться.

К вечеру улицы рано опустели, городские стояли на перекрестках по-двое и по-трое. Казачьи разезды то появлялись, то исчезали. Дворники дежурили у ворот.

Сойдя в ресторан гостиницы, князь Апарков узнал о том, что в Бездонных Ямах было столкновение и убиты двое рабочих. Приятный по виду, весь мягкий и ласковый метрдотель объявил: по распоряжению полиции ресторан сегодня закрывается в десять часов.

Князь Апарков поднялся к себе в номер и тотчас же лег. Но едва он погасил огонь, тело его стало цепенеть от животной тоски. Из темноты наплыло лицо Натальи, и он понял, что Наталья ведет наивную, но грязную для Илюши игру, что она хочет продать свое молчанье подороже.

«Почему я держал себя с ней так неуклюже?»—осудил себя князь Апарков. Лицо Натальи все стояло перед ним, ее плечи, ее простоватый взгляд, ее притягивающая лживость. Если эта женщина возьмет деньги, то и тогда нельзя верить ни ей, ни ее молчанию. Стремясь отогнать ее образ, князь Апарков зажег лампу, но пустой номер, нежилой вид мебели, подбитый го-

лубым шелком шатер алькова и мыши, грызущие паркет, только усилили его смятение.

«Илюша погиб! — подумал князь, — жизнь закрыта перед ним!».

Эта мысль тотчас же родила образ Илюши: вот он приотворяет дверь, входит, у него розовый, как у Юлии Душановны, цвет кожи и добродушные губы, которые дрожат и шепчут: я погиб.

И вдруг Апарков понял, что весь день играл в прятки с самим собою, со своим смятением, со своим страданием. Никакого розового Илюши не существовало на свете! Илюша погиб — и прежде всего погиб в его отцовских глазах. Илюши не было, а существовал негодяйчик, выродок, возвращенный слепой любовью Юлии Душановны и режимом семейной свободы, ложно понятой Апарковым-отцом. Этот розовый негодяйчик, бесхребетный, безыдейный, отважился на пошлую, полубульварную, скандальную историю, достойную спившегося армейского штабс-капитана.

Сына Ильи больше не было у князя Апаркова. Он вышвырнул его за порог своего сердца, как важное лицо вышвырнуло Илью за порог своего дома.

Виски князя стали тяжелыми. Он зарылся головой в подушки. Сон, полный бредовых видений, сразу подкосил его.

Хотя в бреду он и отрекался от сына, губы его все же шептали:

— Мой мальчик, мой мальчик!

XXXIII

К утру Лизавета перестала кричать. Женщины, державшие ее за руки, тихо вышли в сени. Лизавета лбом уткнулась в подушку, заснула, страшно всхрапывая.

Гробовщик принес на плече некрашенный гроб — весь в сучках, в капельках смолы, пахнущий свежестерзанной плотью дерева. Крышку с восьмиугольным крестом прислонили к косяку входной двери, на крыльце.

Вслед за гробовщиком появились никем не званные старухи-сестры с Тупого угла; от их черных платков нестерпимо пахло галантерейной лавкой. Кре-

стьясь, они повесили на стену большую икону спасителя; первая достала из кармана желтенькие копеечные свечки, вторая погнала людей из комнаты, тыча им в спины костлявым кулачком.

Варварке сказали, что старухи обмывают покойника, убирают его в дальний путь к богу.

День проходил незаметно, полон событий.

В полдень у калитки появился околочный, прижимая к животу папку, тесемочки трепались на ветерке. Держался вежливо, искоса поглядывал на сумрачный народ, толпящийся у окон.

Лизавета выслала к нему Варварку. — Сама-то горюет? — спросил околочный, поглядывая на людей.

— Молчит, — сказала Варварка, — а тебе велела уходить поздорову.

— Кто там еще из взрослой родни есть? — спросил околочный, делая вид, что этих слов не слышал.

— Дедушка Мишаил есть.

— Так он не родственник. Там у вас жилец живет, вышли мне его.

— Его дома нет.

— Да чего надо? чего над чужим горем стоишь? — сказали из толпы с угрозой.

Околочный повел глазом, сказал в воздух:

— Распоряжение есть хоронить вежливо. Чтобы одни родственники, и больше никого. Кто здесь может подписать бумагу?

— Алексей Качуров подпишет, — сказал все тот же голос из толпы. — Чего не сделаешь, чтобы полиции угодить? Для полиции из гроба встанешь!

Околочный надул щеки, засопел.

— Ладно, — сказал он осторожно, — вечером постового дошло.

И шагнул из калитки. Двое парней перебежали пыльную дорогу и по другой стороне улицы пошли за ним, не говоря ни слова, только угрюмо поглядывая в его сторону. Околочный оглянулся, пошел быстрее. Ближе к углу околочный почти бежал.

Парни повернули назад. Никто не улыбнулся, и парни не улынулись, но каждый подумал, что так и надо с полицией, что парни молодцы.

Парни встали у калитки, пускали в дом только тех, кто шел проститься с Алексеем. После обеда их сменили пожилые рабочие. Этих рабочих спустя два часа сменили другие: караул стоял всю ночь.

Проститься с Алексеем шли слободские, потом густо потянулись жители казарм, потом городская публика: адвокаты, молодые чиновники, свободомыслящие дамы, московские студенты, гимназистки.

Пришел причт слободской церкви. Утоли печали, неизвестно кем оплаченный.

Гроб тонул в цветах, широкие белые лепестки ниспадали над телом Алексея, а на груди его лежал пучок красных цветов, удивительно сочных и свежих, каких Варварка никогда не видела. И думалось, что такие цветы мог вырастить только Мишаил, дед-чудодей, кудесник.

Маленький и сухонький священник служил панихиду, его смиренный голос опытно залезал в самую душу; псаломщик у печи раздувал в кадиле угли; пели все пришедшие поклониться праху Алексея.

Варварка никогда не боялась мертвых: они вызывали в ней большое, почти непосильное ее душе любопытство: будто покойник выкинул замечательный фокус, — помер, а как это сделал, никому не расскажет. И покойники казались ей ловкими, притворными людьми, вроде елачминского старшины: тот, бывало, сидит на крылечке и, сопя в бороду, делает вид, что заснул, а сам все слышит и все видит из-под полуприкрытых век; курица вспрыгнет на крыльцо, он ее — цоп за лапу!

Голова Алексея обернута полотенцем, чтобы не было видно глазницы, страшно развороченной пикой, и поэтому мертвый Алексей ничем не напоминал прежнего, живого, каким Варварка знала его.

Скоро она перестала думать о том, что в гробу лежит Алексей. Ее радовала теснота, в комнате все поют, пахнет цветами и церковью, Мишаил смотрит на всех, как старшой. Жизнь должна теперь пойти совсем по-новому. Живой

Алексей войдет через дверь и тоже увидит весь этот народ в комнате и посмотрит на цветы, поклонится праху неизвестного человека в гробу, перекрестит лоб.

Правда, она никогда не видела, чтобы Алексей крестился.

Когда окончилась панихида и священник стал снимать епитрахиль, тонкая, бледная девушка в гимназическом платье, в черном фартучке, вдруг разрыдалась громко и безутешно. Студент взял ее за локти, поднял с колен. Многие в толпе заплакали, пошли к выходу.

Варварка тоже заплакала, но не об Алексее, которого она не признавала мертвым, а потому, что все люди жалели их дом и отдавали горю этого дома свои слезы.

Лизавета сидела за перегородкой. Плачущая девушка откинула ситцевую занавеску, вошла в комнату и, схватив руку Лизаветы, сжала ее крепко, прижала к груди.

— Не плачь, не плачь, слезами не поможешь, — сказала Лизавета глухим голосом, и Варварка не поняла, почему Лизавета утешает девушку, чужую и ей и Алексею, и как она может утешать ее, когда в доме такое нечужое, такое глубокое горе.

После этого Варварка еще крепче стала верить в то, что в гробу лежит неизвестный человек, а живой Алексей вернется.

Капитон Иванович заглянул раза два на дню. Измученный, будто голоден. Варварка полезла в печь, подвигала горшки. Заглянула в кастрюлю, черную от окалины. Пустая. В доме со вчерашнего дня не ели.

Капитон Иванович встал против гроба и долго в упор глядел на круглый подбородок Алексея, уже поросший бородой, на полотенце с красными петушками, прикрывшее его лоб и глаза. От тихого движенья огоньков на свечах ноздри Алексея будто подрагивали.

Варварка взяла Капитона Ивановича за руку. Он сжал ее пальцы так тесно, что они занемели. И ей представилось, что они все еще идут с ним по лугу, несут убитого Алексея, а навстречу им

по траве волнами катятся густые тени от облаков.

Капитон Иванович стоял истуканом, все глядел да глядел на мертвеца. Несмотря на то, что комната полна народу, слышно, как во дворе скрипят на ветру старые рябины.

Капитон Иванович, наконец, оторвал глаза от мертвеца и сквозь ладанный дым взглянул в лицо стоявшему за гробом пожилому рабочему. Кто был этот рабочий, Варварка не знала. Одет в белую рубаху с тесным воротником, опущая шея вываливается из него, как опара.

На взгляд Капитона Ивановича рабочий чуть шелохнул плечом. Огоньки свечей блеснули в его глазах. Другой рабочий, помоложе, подошел ближе к гробу.

Капитон Иванович сделал шаг назад, положил ладонь на голову Варварки.

Тягучая песня, полная сдержанного, но могучего чувства, поднялась над людьми, пришедшими проститься с Алексеем. Ее пели негромко, но так слаженно, так единодушно, что казалось, будто поет один человек. И еще казалось, что этот человек очень силен, хоть и смят горем.

Варварка никогда не слыхала этой песни, как не слыхала, чтобы люди пели так слаженно, дружно, от самых заветных сокровищ души. Ее ноги стали слабнуть, и было такое чувство, будто они должны переломиться пополам, как сухие лучинки. Песня была о жертве, о борьбе, о смелой жизни, за которую Алексей умер, и еще о многом, что Варварке было непонятно.

Священник, опять надевавший в уголке епитрахиль, вдруг заплакал от испуга, сложил епитрахиль и тихо пошел в дверь. За ним, делая лицо гордым и отсутствующим, громко везя по полу большие сапоги, вышел псаломщик, но стук его шагов не только не помешал песне, но вышло так, будто песня выгнала притчу за дверь.

Пели все, кто был в комнате. Песня вырвалась в окна, запели и те парни, которые дежурили у калитки.

И тогда — в первый раз на людях —

закричала Лизавета. Она подняла руку, рукав кофты скатился до плеча.

— Проклятые собаки! — выкрикивала она, — собаки! Зачем же вы им не перебьете ноги, люди?

Варварка подумала, что Лизавета сейчас выкинется в окно, но руки людей схватили ее, она недолго билась в руках.

Ее увели, голос от дверей тихо сказал:

— Идет полиция.

Никто ничего не ответил, только несколько мужчин, стоявших ближе к двери, вышли на улицу и стали рядом с теми парнями, которые дежурили у калитки.

Трое полицейских прошли серединой улицы, подымая сапогами пыль. Один из них был выпивши.

Трезвые молчали, а тот, что выпивши, сказал осторожно:

— Петь нельзя. Запрещается.

Мужчины у калитки не ответили ему. Полицейские прошли и остановились на углу.

К ночи, впервые за все время, мимо дома Качуровых проехал казачий раз'езд. Вероятно, имелся приказ: не задевать и не раздражать слободских. В темноте лиц казаков не видно. Слышался только мягкий стук копыт по жирной пыли, да у одного коня селезенка укала, как угод.

Раз'езд проехал для порядка мимо дома и завернул на Вокзальную. Взяли рысью. О булыжник зазвенели подковы.

К ночи Лизавета пришла в себя, умылась, расчесала волосы. То стояла у гроба, то шла во двор, бродила там где-то у сарайчика, под рябинами. Караул рабочих дежурил у калитки всю ночь. Люди больше не приходили.

Варварка взяла листовяный веничек, подметала натоптанные полы. Глаза у нее слипались. В комнате душно от запаха цветов и церковных курений; Алексей лежал нестрашно, только все казалось: сейчас шелохнется и велит позвать доктора.

В головах его, за столом, держа в руке пучок церковных свечей, Мишаил читал псалтирь. Огоньки свечек слились в

одно общее пламя, оно потрескивало, стреляло в воздух искрами.

Мишаил надел чистую белую рубашу, поверх нее синий жилет с железкой на хлястике. Лохматые брови вздернуты. Зажимая между мизинцем и безымянным пальцем жирный лист псалтири, он часто отдыхал от чтения, подымая глаза к потолку, покашиваясь на покойника или приминая на свечках тающий желтый воск.

Варварка, подметя полы, присела на табуретку, слушала:

— «Подлинно ли правду говорите вы, судьи, — читал Мишаил скучным голосом, — и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои».

— Во как хлещет эта книга! — сказал Мишаил, отрываясь от псалтири, с удовольствием почесывая грудь. — Во как мордует, шут их на плаху!

Варварка разлепила тяжелые веки, встрепенулась.

— Убивцев?

— Убивцев, черносотенников, вообще всех казенных людей, — со вкусом сказал Мишаил и стал читать дальше, окапывая воском страницы. — «Боже! сокруши зубы их в устах их; разбей, господи, челюсти львов!».

— Здорово чешет! — опять прервал себя Мишаил, подняв палец свободной руки, посмотрел на него сияющим взором.

— «Да исчезнут, как вода протекающая; когда напружат стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка; да не видят солнца, как выкидыш женщины».

— Бог, он тоже за нас, — сказал Мишаил, отрываясь от псалтири, — только, попы скрывают. Робеет слегка бог: слова сильные, а дела пока не видно.

Он опять стал читать, чуть-чуть захлебываясь, будто ел наваристые щи.

А Варварке дремалось. Видела льва с патлатой гривой, и улитку, ползущую по траве, прикованную к своему костяному горбу. Ужасалась. Ночь еще шла

за слепыми окнами. За псалтирью — видела — то дед Мишаил, то Лизавета. Ничего не поймешь. Гривастый лев тяпнул ее за ногу.

Сметнулась с табуретки, лбом — в дверь. Выскочила во двор, упала на крыльцо, поживаясь от озноба. Зорька только-только занималась, где-то за краем земли встали прохладные столбы света, а по ясным звездам шел невидимый Алексей.

Душа Варварки согрелась. Явственно почудилось ей, что где-то так же, как она, стоит человек, самый лучший на свете, издавек — вместе с ней — горюет об Алексее.

Горе ее не ослабло, но стало тише. Она подумала об этом человеке словами Лизаветы: «Это он велел мне доброй быть». Потом словами Капитона Ивановича: «Он тебе по жизни родня».

И она сказала себе, что Алексей сверху видит этого человека, и поэтому, наверное, Алексею не так страшно быть мертвым.

XXXIV

Несмотря на то, что полиции велено было помешать общественным похоронам, с утра в городе знали, что эти похороны состоятся.

В канцелярию губернатора явилась делегация местной интеллигенции: известный в губернии присяжный поверенный, пудренный, с голубыми щеками толстяк, никогда не проигрывающий ни денег в клубе, ни процессов в суде; чахоточный редактор либеральной газеты; идейная актриса местного театра Ермолова-Лешковская и сын попечителя Технического училища.

Начальник канцелярии принял их учтиво, в то время как чиновник особых поручений, кривя губы, поднялся в аппартаменты губернатора.

Делегация продолжительно разговаривала с начальником канцелярии — прошло около часу, прежде чем губернатор спустился из аппартаментов. Важное государственное лицо, которое снова обрело дар речи, но еще не покидало постели, высказалось за то, чтобы при создавшихся в городе условиях не

раздражать интеллигенцию и не дразнить рабочих.

Губернатор был за то, чтобы рабочих припугнуть, а с интеллигенцией обойтись вежливо, но двоедушно — так, как русская власть обходилась с нею со времен адамовых: пообещать и не исполнить обещанного.

Однако мнение важного государственного лица не подлежало обсуждению.

Губернатор спустился в канцелярию, поцеловал руку актрисе (он отметил, что при вечернем свете актриса более привлекательна, нежели сейчас, днем) и пожал руки мужчинам.

— Мы не будем обсуждать, — сказал он с радушной улыбкой, легко помещая свое тело в кресле, — мы не будем обсуждать, господа, кто больше виноват в печальном инциденте: рабочие, созвавшие в Бездонных Ямах незаконное собрание, или полиция, охраняющая закон. Похороны будут разрешены. Однако я не допущу ни литий в городе, ни речей на кладбище. Насколько мне известно, причты всех церквей отказываются от участия в процессии.

— Панихида будет отслужена на кладбище, — сказала актриса.

— Нам хотелось бы знать, ваше превосходительство, — сказал присяжный поверенный плавным, приученным к игре голосом, — примут ли в похоронах участие вверенные вам казачьи части и чины полиции?

— Участие? — переспросил губернатор, покраснев щеками и шеей, — вы изволите шутить! Нет, нет, так далеко дело еще не зашло, так далеко еще не зашло! Полиция и казачьи части будут, как всегда, охранять порядок, дабы ни вы, прославленный служитель Фемиды, ни вы, прелестная дочь Мельпомены, не понесли никакого ущерба в здравьи.

Он остался доволен собою, найдя удачный ответ на иронию присяжного поверенного, и встал, опершись согнутыми пальцами о стол.

— Я полагаю, что полиция не допустит провокации, — стуча манжетами, бестактно и немного истерично крикнул редактор газеты.

— С чьей стороны, сударь?

— Со стороны темных элементов города, предприимчивость которых за последние дни заметно усилилась. Опасность провокации вполне реальна, ваше превосходительство.

— Вы относитесь ко мне так, — проговорил губернатор с наслаждением, — словно я сам инициатор этих похорон. Это похоже на то, как если бы вы, сударь, пригласили меня на званый обед и потребовали, чтобы я отвечал за качество вашей кухни.

— Мы этого не требуем, — закричал редактор, теряя голову от возбуждения, — но мы требуем, чтобы вы, придя на поминальный обед, не приносили с собой пик, выломанных из церковной ограды!

Произошло замешательство. Смешался даже присяжный поверенный.

Губернатор, все еще опираясь на стол, поднял плечи. Краска сбежала с его щек. Он сам увидел, как дрожат концы его длинных усов.

«Эка вы, батенька!» — в досаде подумал присяжный поверенный, глядя на редактора, бледного, как мел.

Выручила актриса. Этого требовал момент — и она похорошела у всех на глазах, стала еще миловидней. Она сделала вид, что вокруг нее — неразумные мальчики и она одна понимает всю невинность и вздорность их ссоры. Она встала со стула с грацией женщины, которой подчиняется мир: и добрый, и злой, и равнодушный. Она положила длинную руку на обшлаг губернаторского рукава и, обернувшись, бросила на редактора взгляд комического ужаса.

Губернатор попытался отвести руку, но актриса задержала ее; редактор, фыркнув, как раздраженный кот, попытался отвернуться, однако он не сказал больше ни слова. Рука актрисы с обшлага спустилась на руку губернатора.

Он нашел в себе силы сделать вид, что реплика редактора не задела его.

— Ну, вот и все, — сказала актриса, вздохнув с облегчением. — Какие вы сегодня милые, господа!

Аудиенция на этом кончилась. Делегация ушла, довольная тем, что все

обошлось как нельзя лучше. Однако искренни во всей этой сцене были только два человека: редактор (боящийся, что революция в России не состоится, а также и того, что, если она состоится, не пошла бы слишком резкими толчками) и сын попечителя Технического училища, молодой человек, только еще завязывающий революционные связи в рабочей среде.

В вестибюле сын попечителя потряс руку редактора, сказав с выпренной искренностью юности:

— Я уважаю вас, чорт возьми!

Актриса была довольна тем, что мужчины повинуются ей, как денщики или как приказчики в магазине. А присяжный поверенный надеялся, что редактор завтра напишет о его участии в делегации, чем поднимет в городе его авторитет человека передовых идей.

Было еще очень рано — около десяти. По улице мимо делегации спеша прошли молодые люди с трубами, флейтами, корнет-а-пистонами и кларнетами. Это был ученический оркестр Технического училища, известного своим радикализмом.

Юноша, ходивший в делегации, перебежал дорогу и присоединился к оркестру, который должен был играть в траурной процессии «Реквием» Моцарта. Кто-то из оркестрантов сунул юноше флейту, вынутую из футляра.

Присяжный поверенный услышал, как на вопросы товарищей юноша отвечал пылко:

— Еще бы он посмел! Еще бы!

Варварка выглянула из калитки, закричала: идут, идут! Успела обуть одну только ногу, так много было дела. В сенях она нашла чулок, а куда девался башмак, не помнила.

Мишаил, хрупкий после бессонной ночи, будто вылинявший, слабый, держал в руках пиджак, снимал с него дрожащими пальцами пушинки. Солнце жарило во все щеки, весь двор был, как золотой.

Варварка кинулась в дом, осеклась. В доме попрежнему гостевало горе. Лизавета на коленях стояла перед мертвым, положив на край гроба руки и прислонив к ним щеку. Лицо темное.

Губы шевелятся. «Клянется, — подумала Варварка с любовью и уважением к ней, — клянется ни за кого больше замуж не итти!».

И опять ее опалило сознание бесповоротности, непоправимости горя, и, хоть солнце весело било в окна, почему-то трудно было верить, как вчера, что в гробу не настоящий Алексей, а настоящий, гляди, шагнет через порог и гаркнет этому, лежащему: «Вставай, довольно петрушку строить!».

Башмак валялся под столом, неподалеку от колен Лизаветы. Варварка встала на колени, хотела тихо оползти Лизавету и достать башмак. Лизавета перевела на нее глаза, потом на руку девчонки, потянувшуюся за башмаком.

— Идут люди-то, — прошептала Варварка, — си-ла!

Лизавета достала башмак, села рядом с Варваркой, стала обувать ее. Не говорила ни слова, глаза дикие. Последняя пуговица не хотела лезть в тесную петлю. Лизавета вынула шпильку из волос, согнула крючком, всунула его в петлю. Кожа башмака чуть скрипнула, пуговица пролезла.

— Поклонимся ему, пока никого нет! — сказала Лизавета.

Они обе встали на колени и земно поклонились гробу.

Потом они поднялись на ноги.

— Милый ты мой! — сказала Лизавета мертвецу с большой силой, — печаль, надежда моя!

Варварка закричала, заголосила, белый свет поплыл в ее глазах.

Как выносили гроб, не помнила. Вся в слезах шла среди людей, подле Мишаила. Какие люди двигались в процессии, какие стояли у ворот, какие глядели в окна. Охватить глазами все шествие Варварка не могла: мешали идущие рядом. Признала старого рабочего: он вчера первым запел у гроба. Другие незнакомы.

Шли тесно, молчаливые, глядели под ноги. Над шествием клубилась пыль. Варварка обеими руками схватилась за руку Мишаила, боялась, что сомнут.

Медленно пропывала под ногами пыльная земля. Вон растоптанная обертка из-под мыла, картинка: желтая пус-

тыня, вихрастое дерево, человечек в белой рясе с ружьем в руках. Обертка проплыла под ногами, исчезла из глаз. Потом таким же порядком показалась пуговица, вбитая в пыль.

Потом шедший впереди человек вильнул в сторону: обошел ямку. Варварка тоже обошла ямку.

Всхлипывая, она прижималась к руке Мишаила. Она могла бы итти так сто лет: вместе со всем народом. Смотреть себе под ноги, горевать об Алексее.

Когда шествие остановилось, молодой парень взял Варварку подмышки и вскинул себе на плечо. Головы, головы, головы без шапок. Волосы, растрепанные ветром. Лысины стариков. Платки женщин. И впереди, совсем неподалеку, два гроба, как лодки на пестрой волне. У второго мертвеца голова открыта, ветер взбил мертвые брови.

— А второй-то, это кто в гробу лежит?—спросила Варварка, держа парня за вихор.

— Дружок Алексея закадычный,— ответил парень,— прежде время отхлопотал свою жизнь. Казаков-то видишь?

Казаки ехали впереди процессии. Один из них, положив руку на круп коня, повернул голову к толпе. Лицо круглое, в оспинах. Как змея, полз чуб по его лбу.

Парень опустил Варварку на землю, спросил Мишаила:

— Да что, не ее ль Алексей дочкой звал?

— Ее,—сказал Мишаил,—обязательно ее.

Парень толкнул соседей и, взяв Варварку за руку, вывел из рядов. Он окликнул товарища: подошел человек с черной повязкой на рукаве, повел Варварку вперед. Дед Мишаил поплелся за ними. Они прошли мимо полицейского наряда.

Вчерашний околоточный вполголоса сказал человеку:

— Креп отстегни, лишнее.

Человек безразлично прошел мимо него, как проходят мимо тумбы. Варварка увидела Лизавету и знакомых женщин, окруживших ее. Пошла за Лизаветой. Процессия поворачивала на Вокзальную.

XXXV

Сначала тянулись домишки слободы, то разрушенные временем, похиленные, то поновей. Заборы с просветами; где есть ворота, где нет их. В окнах вместо стекол кое-где торчат цветные тряпки. Дворы не выкошены, сады не охожены. Дворовых собак нет.

Потом, ближе к городу, потянулись аккуратные домики. Наличники что кружева, даже в слуховых окошках рамы со стеклами. Ручки у дверей чищены кирпичом, под водосточными трубами киснут кадушки. Заборы или утыканы гвоздями, или усыпаны бутылочным ивернем — есть, что огораживать от людей. Во дворах на цепи мечутся псы — есть, что стеречь.

— В городе, на главной площади,— сказал Мишаил,—расположена казна, и чем ближе люди живут к ней, тем они, шут их в бездну, сытей и пухлей, а чем дальше, тем живут голей.

— Помолчи, старик,—сурово сказал из толпы рабочий с повязкой по рукаву.

— Это зачем?—спросил Мишаил.— Любишь молчать — оставайся дома. А вышел на улицу — говори все, что есть. Мне убитый Качуров, наверное, дороже сына, а я буду молчать?

— Дедушка,—сказала Варварка, — Алексей теперь святой?

— Святой. Все рабочие люди святы.

— А если вино пьют?

— Это они не вино, это они свои слезы пьют.

— Хорошо Алексею теперь у богато...

— Недурно. Надо думать, в младших дворниках ходит. Как если какой праздник в раю, так ему — чаевые.

— Слышь, дед,—сказала Варварка,— люди сказывают — хорошо в раю. Там речка текет, светлая, ширше нигде нет, и вся из меду. — Она взволновалась, стала говорить одним потоком слов, без точек и запятых.—А какие яблоньки цветы крыжовник с кулак ешь сколько хошь домай сколько хошь чего мы опять стоим дед вот бы того крыжовнику покушать.

— Крыжовник дело земное, — ответил дед, переминаясь, — ничего там такого нет, одно просторное место. Старому человеку, как мне, там даже прилечь негде.

— А ты был там, если знаешь?

— Бывал, — сказал Мишаил, — как не бывать? В девяносто девятом году помирал от брюшного тифу, тогда временно заглядывал. Просторное место и больше ничего. Сквозняк. Там и бога-то нету. Бог — он на земле... Его казней придушило.

— Где ж он?

— Да уж непременно с нами сегодня Алексея похороняет.

Позади них голос сказал добродушно:

— А ты, дед, боевой. С богом — попригельски.

— Во, во, — сказал Мишаил, не оглядываясь.

— Ты материалист и социалист.

— Во, во, он самый, — с удовольствием подтвердил Мишаил.

Капитон Иванович пробился через толпу к Лизавете, но не пошел с ней рядом, а немного сзади. Все эти дни он думал о ней не головой, а сердцем. В себе он нес двойное чувство: разбитости и под'ема. Мышцы тела болели, будто и сейчас тащил на руках убитого Алексея, а передохнуть нельзя.

Нила нашли на дне Бездонной ямы, изрубленного, потоптанного, простреленного: кусок кровоточащего мяса, завернутый в лохмотья одежды. Все, что осталось от Нила: кусок кровоточащего мяса. «Не ослабну, Нил, не ослабну, не поддамся». Вспомнил петербургский Ботанический сад, теплый дождь, вдвоем они сидели на скамье, они только-что ушли от шпиков, Нил говорил: «Жить, как Ленин, работать, как Ленин».

Лизавета схватилась за сердце, споткнулась. Капитон Иванович хотел помочь, но женщины подхватили ее под руки. Не видя ее, он чувствовал, как зеленая бледность затопила ее лицо.

Лизавета прошла несколько шагов с помощью женщин, потом быстрым движением высвободила руки.

Капитон вышел из рядов, остановился на краю панели. Тротуар был высокий. Капитон Иванович видел шествие

будто с помоста. Человеческий поток катился и катился. Люди изредка вполголоса перекидывались короткими фразами. Сразу за гробом, в длину всей Базарной, вытянулись заводские, за ними рабочие паровой мельницы, за ними кустари из медницких мастерских.

Прошел курчавый Микеша, увидел Капитона Ивановича, молча и серьезно помял себе грудь. Под пиджаком у него красный лоскут, из-за жилетки высунулся кончик. Древко нес в руках, как трость.

Полиции совсем не было видно. За спиной Капитона Ивановича скрипнула калитка. Он обернулся. Из калитки вышла горничная в розовом уютном платье, за ней кухарка с полотенцем на жирном плече, в руках — тарелка, вся в капельках воды.

Из-за плеча кухарки на утоптанном дворе Капитон Иванович увидел трех конных казаков. Один из них, запрокинув голову, пил из ковша воду, дворник стоял перед ним, вытянув вдоль бедер руки.

Капитон Иванович пошел по тротуару навстречу движению процессии. Он обошел треногу фотографа, распяленную на мостовой. Из-под черной шали торчали ноги в клетчатых панталонах.

В толпе на тротуаре сказали:

— Побойще будет. Почийше екатеринославского.

Капитон Иванович прошел дальше. Ему сказали вслед: «Этот не здешний».

Увидя медницких, вошел в их ряды.

Акимов, тот, которого в Бездонных Ямах чуть не побил Алексей, протиснулся к Капитону Ивановичу, шепнул в ухо:

— Плохо мне, дружок. Тяжелую мысль обо мне унес с собой Лексей-то.

— Ладно. Зато вышел хоронить, как все.

— Вернусь ли, нет ли... С бабой я на всякий случай простился.

Заяц потянул Капитона Ивановича за руку, сказал:

— Долго так без песен будем итти?

— До самого кладбища. Чтоб не разогнали.

В конце Базарной в хвост шествия влилась честная компания. Одеты чи-

сто, косоворотки прямо из-под утюга, сапоги зеркальные. Главенствовал мужчина лет за сорок в черной бороде с серебряной проседью, глаза, как у жеребца в охоте. Рубаха затянута широким поясом с кармашками для часов. Пиджак летний, легкого суконца.

Подле него, плетя ногами, шел юнец лет пятнадцати, выпивши. Розовая шея, а щеки втянуты, как у голодного. Глаза нечистые. Прорешка на штанах озорно расстегнута.

Капитон Иванович поровнялся с бородачом, спросил:

— Покойников знавали?

— А вам что? — спросил бородатый, схватил юнца за плечо, боялся: как бы не вылезла прежде времени в драку.

— Я к тому, что больше нет сил терпеть. Убийцы среди бела дня замучили безоружных людей. Весь город встал, как один. Вы, я гляжу, тоже.

— Я тоже, — усмехнулся бородатый. — Глас народа — глас божий. Мученикам на святой Руси всегда почет. Ты заводской?

— Рабочий человек.

— Я тоже рабочий человек.

— Вижу. Не рабочий, человек за товарища на бойню не рискнет пойти.

— Здесь не бойня, а похороны, — отдаленным голосом сказал бородатый.

— Слышно, завелась в городе черная сотня — зубатовские наследники. Если вяжутся, рабочие намнут бока.

— Не слышал таких наследников, — сказал бородатый, — каковы они по себе?

— Да вроде этого птенчика, — кивнул Капитон Иванович на юнца.

— Трогаешь? Не обожгись. Я ссориться люб! — тонким голосом крикнул юнец, толкнул плечом Капитона Ивановича.

Бородатый прикрикнул на него:

— Молчи! Аль не видишь, что человек с поминоком? Однако личность его возьмем на заметку.

Капитон Иванович усмехнулся и быстрыми шагами, обгоняя шествие, пошел к голове колонны. Дружинники во всех колоннах шли крайними. Больше всего Капитон Иванович боялся, что толпа запоеет песни раньше, чем шествие выйдет

из города. Кладбище начиналось сразу же за тюрьмой, на полверсты тянулось вдоль московского тракта. Во дворе тюрьмы казаки. Если толпа запоеет, они выставят заслон.

Руками разводя идущих, Капитон Иванович пробивался в голову шествия.

И, чем дальше он шел, тем сильнее в нем рождалось чувство нетерпения: пускай то, что неизбежно, свершится, свершится скорей.

Голова шествия уже выходила на Дворянскую улицу, текла к площади. Посреди нее, за оградой, высился памятник Екатерине: чугунная баба, разведя юбки, сидела на глобусе, будто клушка на яйцах. Возле памятника теснился оркестр Технического училища.

Капитон Иванович обрадовался ему. Его даже прохватило жаром. Юноши с горящими глазами шевельнули медными трубами, стали во главе колонны, впереди гробов. Косым взглядом Капитон Иванович увидел на балконе гостиницы нарядных дам под зонтиками, лысого человека с кием и официантов во фраках, в горбатых манишках.

Пока выстраивались оркестранты, шествие остановилось.

Капитон Иванович стал протискиваться к оркестру, чтобы попросить музыкантов играть тотчас же и играть до самого кладбища. Неловко он толкнул старушку в черной мантильке, с черепаховым высоким гребнем, по-испански торчащим из ее накладных буклей. Боясь, чтобы она не рассыпалась от толчка, он руками придержал ее легкие, как из картона, локотки — и здесь, в дверях гостиницы, увидел князя Апаркова.

Они только переглянулись. По краске, залившей сухие щеки Апаркова, Капитон Иванович понял, как того удивила и обрадовала эта нечаянная встреча. Князь Апарков был желт, словно после кутежа, складка страдания лежала в углах его губ. Капитону Ивановичу показалось, что Апарков подал ему едва уловимый знак.

Было ли это так? Апарков медленно снял с головы легкую шляпу из белой соломы и, прижимая ее к груди, длинными, твердыми шагами пошел прямо к голове шествия. В другой руке он нес

белую полированную гробовую трость. Не доходя до гробов, остановился и немного театрально, но не впадая в смешное, в пояс поклонился праху убитых.

Тотчас же он вошел в толпу. Он был очень высок: его рано поседевшие виски долго еще были видны Капитону Ивановичу.

XXXVI

Едва князь Апарков вошел в толпу, как его узнали, и несколько голосов негромко окликнули его. Процессия тотчас же двинулась. Рядом с князем оказался присяжный поверенный — тот, который не проигрывает ни денег, ни процессов. Князь Апарков не любил этого холеного и самоуверенного человека, как вообще не любил людей, эксплоатирующих собственное дарование в целях наживы.

— Мы не знали, что вы в городе, князь, — сказал присяжный поверенный своей плавной речью, — иначе вы возглавили бы депутацию от интеллигенции. Мы возлагаем на могилу венки.

— Помилуйте, какая депутация? Людей убили за то, что они собрались и стали обсуждать, как сделать, чтобы люди, живущие своим трудом, не погибали от голода, невежества или опоя; чтобы их жены были грамотны; чтобы их дети были счастливы. Венки от интеллигенции? Интеллигенция должна встать в ряды восстания, это единственно, что нужно. Почему вы не отнесли этих денег вдовам? Рабочие бастуют около месяца, им есть нечего. Они купят на эти деньги немного хлеба, чтобы накормить детей, и побольше пороха, чтобы обороняться от черной сотни.

— Через два месяца в России будут виселицы или республика, — серьезно сказал присяжный поверенный. — Я хочу верить во второе.

Князь Апарков взглянул на него, тон адвоката показался ему искренним. Апарков плохо спал ночь, голова его кружилась. Каждые две-три минуты он чувствовал замирание сердца. Оттого, что плохо спал, он был весь как-то внутренне раскрыт, легко уязвим, истерический комок сидел в горле.

Мысли его путались.

Он неожиданно поймал себя на убеждении, что идет за гробом Илюши, растерзанного казаками и полицейскими. Странное дело, ему хотелось думать, что сын погиб для него другою, высокой гибелью — не той низкой гибелью, какой погиб в действительности.

Этот новый самообман сообщил князю под'ем, придал силы и ясности. Душевная слабость длинной гостиничной ночи прошла. Иллюзия (он идет за гробом сына) была так сильна в князе, что он запоминал все мелочи сего дня для Юлии Душановны, чтобы потом рассказать ей о них.

Все недоумения, в которых он жил и из которых не умел выйти, и сознание ошибок, которые он совершал, думая, что приближается к народу, все это развеялось, как дым, от того настроения, в котором Апарков сейчас находился. У него было чувство слитности с толпой и чувство полной и неоспоримой веры в правоту всего, что сегодня совершается.

Процессия двигалась медленно. Медленно плыли поверх улицы вывески магазинов, каменные карнизы домов, железные кровли и черные фигурки людей на них. Апаркову вдруг сделалось дурно.

Присяжный поверенный бережно вывел его из колонны, сунул толстые пальцы в жилетный карман, вынул плоский пузырек.

Князь понюхал нашатырю. Колени его были очень слабы, он схватился рукой за гриву деревянного льва на крыльце дома.

— Ваша коляска там, — заботливо сказал присяжный поверенный, — или вы вернетесь в гостиницу, князь?

— Нет, я поеду, — сказал князь Апарков, досаду на себя, снова ощущая душевный под'ем, и прибавил, — я сегодня плохо спал ночь.

— У вас очень скверный вид, разрешите, я позабочусь о вас, — сказал присяжный поверенный и с настойчивой бережностью обнял князя за талию.

Слова его, сказанные просто, осторожная и заботливая навязчивость тронули князя: опять присяжный поверен-

ный показался ему искренним, и князь удивился тому, что раньше недружелюбно относился к этому человеку.

Коляска стояла у тротуара, затиснутая толпой. Кучер выгнул из-под ног кисть, похожую на кропило, и обмахнул мягкое сиденье. Этот жест угодливости смутил Апаркова. Люди, стоявшие у коляски, расступились. Среди них многие знали князя.

Поддерживаемый за локти присяжным поверенным, князь влез в коляску, испытывая неловкость из-за того, что поедет, в то время как люди идут пешком.

Присяжный поверенный сел рядом с ним, положил свою сиреневую шляпу на колени.

— Видите ту женщину за гробом, с отчаянными глазами? — спросил князь.

— Это жена убитого.

— Ах, так! Вообразите, что она почувствует дурноту. Что она сделает? Она отойдет в сторону и немного посидит на тротуаре, пока не отдышится. Потом она снова пойдет за гробом. В сущности, дорогой мой, мы все сейчас охвачены одним глубоким чувством протеста, но даже в излишнии этого чувства не отказываемся от привилегий.

— Князь, это яснополянские слова, — сказал присяжный поверенный, стараясь вызвать в Апаркове улыбку.

— Нет, почему? Все эти определения устарели: думает, как Леонтьев, думает, как Ницше, как Лев Толстой, как Маркс. Мы слишком разнообразно и много думали и слишком мало делали. Вот уж, подлинно, носило нас по царству идей: «то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком». Высшая деловая жертва, на какую был способен русский интеллигент, это кинуться, очертя голову, работать на голоде, на холере или умереть на виселице за идею. Вы думаете, это достаточно: умереть на виселице за идею? Мне кажется, что даже лучшие наши представители, идя на этот подвиг, где-то в душе, тайно, не признаваясь самим себе, думали, что не интеллигент должен принориться к социализму, а социализм к интеллигенту. Вот я, Апарков, полагаю, что народовластие

плюс моя коляска — это социализм. Народовластие же без моей коляски — это уже не социализм. Ведь на деле так получается. Вы представляете себе социализм без ваших гонимых? Не поймите гонимых только в прямом смысле. Пусть и в переносном: положение в обществе, влияние, авторитет...

— Ах, князь, ах, князь! — сказал присяжный поверенный добродушно.

— Мы демонстрируем сейчас не с народом вообще, а с рабочим классом, который довольно красноречиво доказывает государству, что с ним нужно считаться. И, хотя мы с ним разделяем чувство безграничного возмущения тем, что городские среди бела дня безнаказанно истребляют передовых рабочих, мы все-таки не сливаемся с этим классом. Мы вместе — и в стороне. Нам мешают наши материальные и моральные коляски. Пока коляски составляют для нас хоть какую-нибудь ценность — мы не пролетарии и не будем ими. Известно ли вам, что нынешний вождь большевиков — интеллигент.

— Ленин?

— Да. Но это — только факт рождения. И внутренне, и внешне Ленин — пролетарий. Один знакомый революционер рассказывал мне, что единственная собственность Ленина — шахматы, собственноручно вырезанные его отцом из дерева. Скоро сочувствующие социализму интеллигенты, вроде нас с вами, сделаются в глазах нового общества или посмешищем, или врагами. Важно уметь не только умирать за идею, но жить ею и в ней. Для этого мы должны стать пролетариями или уйти с дороги.

Присяжный поверенный проговорил осторожно:

— Вы хотите сделать наш далеко не первоклассный народ вундеркиндом. Прежде чем играть рапсодию коммунизма, пусть-ка он сперва попиликает добрые конституционные экзерсисы.

— Не первоклассный народ? — спросил Апарков. — Ах, мы любим, как мы любым плюнуть в глаза себе самим!

Коляска медленно двигалась вдоль тротуара. В это время послышались

первые такты «Реквиема» — музыки сильной и ясной, всегда рождавшей в Апаркове чувство большой душевной собранности.

Шествие, выйдя из торговых рядов, стекало сейчас по горбатой узкой улице к московскому тракту.

С высоты своей коляски Апарков увидел вдаль, за медными трубами, плавно машущие ладони капельмейстера, всем известного в городе чудака-музыканта, нюхающего табак, носящего вместо галстука бант из белого жрепа и внешностью похожого на Франца Листа (если бы Франц Лист был рассеянным неряхой). Оркестр Технического училища славился в городе.

Несмотря на то, что музыканты играли на ходу, траурная мелодия звучала стройно, и скоро люди подчинились ей, найдя в ней выражение своей скорби. Ряды идущих как бы подобрались, короткие разговоры в толпе смолкли. Здесь князь Апарков во второй раз увидел Капитона Ивановича. Он шел за гробом рядом с женщиной, которая поразила князя отчаянием, застывшим в ее глазах. Гармония звучала уже во всю силу. Апарков увидел, как узкие плечи женщины поднялись, горе шатало ее.

Он почувствовал горе этой женщины, как свое. И опять поймал себя на мысли, что хоронит Ильюшу и это и есть та его жертва, которую он отдает народу, чтобы быть с ним заодно.

Он опять не мог собрать своих мыслей: они возникали и обрывались без связи, без порядка. Чувство большой, мужественной, сильной печали все росло в нем.

Он вдруг сказал, не глядя на присяжного поверенного:

— Они хоронят своих мертвых. Но не кажется ли вам, что похороны похожи на развернутое наступление? На разведку? Или, быть может, уже на атаку?

И так как мысли его рвались, то сказал безо всякого перехода:

— Моцарт всегда производил на меня впечатление музыканта, который выиграл у природы душу, стоящую миллион, но не сознает этого. Он пел, как

соловей, а должен был петь, как пророк. Слушая музыку этого солнечного и беспутного человека, я вспоминаю его последние часы. Бедный Вольфганг Амедей Моцарт! Послушайте. Утро. Косые лучи солнца дымятся на полу и фортепиано. Умывшись, Моцарт вытирает руки; несмотря на слабость, он бойко постукивает одной ногой о другую, как мальчик, которому некуда девать свою энергию; потом он садится завтракать, повязывая шею старенькой салфеткой. Его лицо истощено болезнью, он думает о музыке и о своей смерти. Его пальцы, как по клавиатуре, бегают по скатерти стола, по цепочке часов, по плечу жены, когда он ее обнимает, по краю чашки с дымящимся кофе. И вот он пишет «Реквием», свою последнюю музыку, он пишет ее для собственных похорон. У меня есть забытая картина на этот сюжет. Он лежит в постели под ветхим семейным одеялом, слезы мешают ему видеть партитуру, и Зюсмейер, любимый ученик, пишет под диктовку, силась поймать последнее биение его музыкальной мысли. Моцарт при смерти, Моцарт в агонии. Желтое лицо его вспухло и надулось, как пузырь. Бескровные губы еще пытаются подражать звуку литавр — он творил до самого конца, пока еще тлела в нем последняя искра сознания.

— Я хорошо помню вашу картину, князь, — сказал присяжный поверенный, — кажется, она так и называется: «Реквием»? Помню, меня всегда поражало противоречие в ней: мрачная комната, слышишь смерть, уже переступившую порог, — а лицо умирающего весело и ясно.

— Я не чувствовал иначе. О нем говорили, что он добрый христианин, но и в жизни, и в музыке своей он был веселый, жадный безбожник! В «Реквиеме» Моцарта нет тяжести могильного камня. Это сильное, ясное горе, но без отчаяния. Или это мне так кажется? Его «Реквием» не прощание с жизнью, но наступление на смерть.

Слева показались каменная стена кладбища, крытая проржавевшим железом, ворота с покосившимся крестом, утыканным гвоздями. Против ворот по-

ле; из-за горизонта налезала бородастая, изсера-белая гуча.

Конный отряд полиции жался к ограде неподалеку от ворот. На огромном битюге сидел маленький городской, весь в веснушках, обрывал с рябины уже покрасневшие ягоды, жевал их, морщась.

Скоро он подал команду, и конные стали по обе стороны дороги, чтобы пропустить шествие.

— Сейчас появится поп, перепуганный насмерть таким огромным стечением крамольного народа. Но у него есть бумажка от полиции: разрешается препроводить убитых в рай небесный.— Князь Апарков усмехнулся. — Когда я был мальчиком, то-есть верил в небесный рай, родители взяли меня в путешествие по Сибири. Всю жизнь я буду помнить Обь. Была весна, и шла вторая вода — второй паводок, когда на алтайских кряжах тает снег. Сибиряки зовут этот паводок коренной водой. Тогда на берегах Оби цветет черемуха, берега, как в пене, белый кипень могучего цветенья отражается в воде. Когда я думаю о рае на земле, о будущем рае человечества, я всегда слышу запах черемухи, запах коренной воды. Если бы я нашел в себе большую силу, я написал бы полотно о будущем человека. Окровавленный человек входит в могучую паводочную реку, берега которой в цвету. Человек входит в реку, чтобы обмыть кровь: он наступил на горло хищному и смрадному прошлому человечества. Он раздавил это прошлое. Где-то там, за белыми кущами черемухи, корчится подышающее тело старого мира, эксплуататора, сводника, ростовщика и убийцы. Человек завоевал земной рай.

— Но в этом раю нет бессмертия, — сказал присяжный поверенный.

— Есть, — ответил Апарков, — глаза человека должны убедить вас в этом. В них живет знание. Знание бессмертно.

XXXVII

Устала, раскисла от жары, ошалела от печальной музыки. Мишаил посадил Варварку на памятник, пестрый, как

яйцо дрозда. Охватив ногами прохладные щеки ангела, Варварка держалась за его голову.

Куда ни глянь,—народ, торчат то белые, то черные кресты, золоченые прутья оградок. Гробов за народом не видно, не видно могилы. Тот самый попик, что служил на дому, при гробовом молчании народа читал панихидные тексты.

Варварке от усталости смертно захотелось спать — так заснуть, как спит камушек.

Но побоялась свалиться с ангела.

— Дедушк, а, дедушк! — позвала сонным голосом.

Мишаил встряхнулся, как из воды вышел. Поднял на нее строгие глаза:

— Чего надо?

— Скоро ли погребать будут?

— Молчи, бесчувственная! — сердито сказал Мишаил, — без тебя есть охотники поскорей их в землю-то загнать.

— Жалко мне их, — лицо Варварки сморщилось, — дядю Алексея, тетю Лизавегу. Тебя тоже жалко, старенький ты.

— Сиди, сиди скромно. Хочешь, молись, хочешь, кощунствуй. Чего хочешь делай, только молчи. Вырастешь — вспомнишь этот день.

Голос дьячка, разбитый от долгого употребления, затянул «Со святыми». В рядах людей произошло движение. Нестройно и недружно молитву подхватило несколько голосов. Как-то одиноко, покрывая их, выделился женский альток: словно лодочку понесло по тихой воде.

Но так длилось недолго. Дружные мужские голоса вдруг вломились в церковное песнопение, смяли его и, подержанные во всех углах кладбища, запели о жертвах, которые пали в борьбе.

Это была та же песня, что пели в домишке Алексея, на слободе. Ближе всех к Варварке стоял Мишаил. Его голос за слабостью не мог вытягивать продолжительных нот, пение его было похоже на силпое тьяканье. Висок он прижал к мраморному ребру памятника. По сморщенной коже голого черепа сновали тени листьев.

Он вдруг устал петь, ладонями помял грудь и поднял на Варварку полные слез глаза.

— Пой, ласточка, — просипел он, — что ж не поешь? Священная песня.

Варварка не знала слов песни. Пение у нее получалось дикое. От этого пения ей стало жалко себя: сирота. И мать и отец кинули. Да бес с ними! Жалко было не матери, не отца, а вдруг вспомнилось, как в Елатьеме осенними днями во дворе бабы стоят над корытами, стучат тяжелые сечки, хрустит капуста; работник Гриша катит по траве бочки, выпаренные кирпичом.

Потом она вспомнила, что на чердаке в клетке сидит кинутая голубка; две недели к ней приваживали голубя, а когда пустили в небо, голубь ушел к другой. Ей стало жаль голубку пуще себя: сидит нахохленная, раскидала по всей клетке пшено, опрокинула баночку из-под ваксы, вода расплескалась, ушла в щели пола.

Еще пуще голубки ей стало жалко Алексея, вспомнила, как он сказал как-то под счастливую руку: «Ну, что ж, благододие, я вам теперь вроде как временный папаша». И от всего этого обилия нестерпимых жалостей Варварка заплакала, но не перестала петь.

Из-за слез, мешавших ей видеть, она не разглядела, что за человек влез на могильную плиту и на целый аршин стал выше толпы.

По голосу узнала Капитона Ивановича.

Мерно махал рукой, сжатой в сердитый кулак, говорил глубоким голосом:

— ... но крови их не засыплешь землей. Кровь их останется на руках насильников, душителей, палачей рабочего класса. Это наша живая кровь. Мы пришли сюда не плакать над товарищами, отдавшими жизнь свою борьбе за рабочее дело. Мы пришли сюда сказать: не сомневайтесь, товарищи! И сила, и победа, и право на нашей стороне! Борьба не на жизнь, а на смерть — вот наша клятва...

Здесь со стороны кладбищенской стены ударил залп, с рябины посыпались ветки, срезанные свинцом. Варварка скатилась с памятника, порвав юбку о

крыло ангела. Она больно шлепнулась о мраморный постамент, увидела кашу человеческих тел, повалившихся между могилами, и в ужасе закрыла глаза.

Потом с зажмуренными глазами ползла куда-то в сторону, чувствуя под ладонями и коленками то жесткий песок, то мягкую траву.

Залп повторился. Раздался топот ног, крики женщин, затрещали деревянные кресты под напором тел.

Варварка встала, но сейчас же ее сшибли с ног. Она больно ударилась о землю затылком. На нее навалился Мишаил, прикрыл телом. Рубаха торвана, в ямке ключицы темный пот.

— Лежи тихо, подавют, постреляют, — сказал он и пальцами крепко сдавил ее плечи.

Шум бегущих людей все усиливался.

Прошло минут десять. Мишаил сполз с Варварки, на коленках добрался до памятника и выглянул из-за ангельского крыла. Пулька стегнула по ангелу, отломила ему короткий нос. Варварка подняла мраморный нос, в его ноздрю набилась пыль.

Мишаил оглянулся, сказал таинственно:

— Ну, теперь через стенку махают, лови их! Одного человека поймашь, а тысячи разве можно словить?

На четвереньках подполз к Варварке, сказал:

— Из этих-то, казенных, кого-нибудь непременно ушибут.

Он прошептал Варварке на ухо:

— У наших, слышать, тоже огневые машинки есть.

Они затаились среди памятников, как мыши.

Здесь памятники сошлись тесно. Возле пестрого ангела на широком кресте висел чугунный Христос, и тернии его венка торчали, как штыки. На один из них напоролся, бился на ветерке пожелтевший лист клена. Дальше — белый домик, вроде погребка, с зеленой шишкой на крыше, а на шишке тонкий крест из золоченой жести. Дверь склепа затянута решеткой.

Мишаил пошел попробовать, не поддается ли решетка.

Но совсем близко, у церкви, застучали беспорядочные выстрелы — и вдруг оборвались. Гул убегающей толпы слышался теперь совсем далеко. Где-то среди могил застонал помятый человек.

— Через полчаса домой пойдем, — сказал Мишаил, поглядывая на Варварку, — только сперва каких раненых поищем. Ты, девка, не бойся, далее еще страшной пойдет.

— Я не боюсь.

— Сам-то я бессмертный, — сказал Мишаил ободряющим голосом, — я от казенной пули не помру, не доставлю ей такого удовольствия.

— А мой отец урядник, — сказала Варварка с недетской злостью, губы ее покривились.

— Ничего, — сказал Мишаил, — бог тебя простит.

Они опять повалились за памятник — совсем близко, на дорожке, раздались шаги, сапоги хрустели по песку, грубо заорал густой голос. Сейчас же вскрикнула женщина, так страшно, что Варварка оледенела.

Мишаил встал, оправил штаны и оборванный конец ворота, сказал глухим голосом:

— Лизавета кричит!

Он, ни от кого уже не прячась, вышел из-за памятника, Варварка уцепилась за полу его пиджака, побежала за ним. За памятником тянулась аллея, проросшая лебедятником, затоптанная ногами.

Мишаил не пошел по аллее, а полез напролом через могилы. С креста скатился железный венок, со звоном полетел на землю.

Когда перелезали через могилу, Варварка увидела пристава в русых усах, плечи — косая сажень. За ним, наклонившись, городской в белой пропотелой рубахе шарил по траве руками.

Мишаил легко соскочил с могилы. Прямо под своими ногами Варварка увидела глубокую черную яму, два гроба в ее края. На одном, прижавшись к нему грудью, оплетя его руками, лежала Лизавета, билась лбом о крышку. Черные волосы рассыпались, локоть ободран. Медное кадило, брошенное в высокой

траве, чадило, как головешка, над ним пальмочкой встал церковный дымок.

Городовой поднял кадило за цепь, помахал им, злобно поглядывая на Мишаила и Варварку.

Пристав закричал на Лизавету:

— Подымайся, рвань слободская, за мной пойдешь!

Он подергал Лизавету за плечо, потом взял под грудь и стал отрывать от гроба. Ударом локтя она рассекла его губы. Он поднял шашку и ножнами вытянул Лизавету вдоль спины. Мишаил нагнулся поднять камень, но городской сапогом пхнул его в бок. Мишаил покатился по траве, сипя.

— Сволочи! — крикнула Лизавета, — или во могилу нам тоже ходу нету?

Она плюнула пристава в лицо, он вывернул ей руку. Она изогнулась вся.

Он повел ее к сторожке, толкая коленом в бедро.

Заведя глаза, Мишаил хрипел в траве. Городовой нагнулся, поставил его на ноги. Совсем низко над головами пропела пуля. Голова городского ушла в плечи.

Они пошли к сторожке, Мишаил шатался, как хмельной, совал в воздух желто-восковой нестрашный кулачок.

Теперь выстрелы хлопали то в одном, то в другом конце кладбища. Варварка повернула голову вправо: увидела длинный ряд могил, памятники, белеющие сквозь зелень, угрюмый город мертвых. Повернулась налево: увидела раскрытые настежь ворота из пик, крашенных в зеленую краску, и за ними казаков, залегших в канаве возле тракта, стреляющих по невидной цели.

Один из них валялся на тракте, бросив коричневые руки в пыль.

Варварка кинулась за городovým, крича:

— Дяденька, меня возьми, я ихняя!..

Споткнулась о шапку, валяющуюся в траве, потом о растоптанный, со сбитым на сторону козырьком, старый заношенный картуз. Бежать-то было недалеко, всего до сторожки, а запыхалась.

— Дяденька, я ихняя! — опять закричала она. Городовой поднял ногу, и

она натолкнулась животом на жесткий и тяжелый каблук.

Присела на землю, шаря руками, как в потемках.

Когда немного отлегло, поползла к сторожке. Спрятавшись за каменную стенку, пристав все держал Лизавету за вывернутую руку, по иссера-бледному лицу его катился пот. Мишайл, бормоча и плюясь пеной, ползал по траве. Городовой, выставив из-за стены револьвер, все целился куда-то поверх могил, со свистом сосал зуб.

Варварка доползла до Лизаветы, схватила ее за юбку, близко от себя увидела ее налитое кровью, искаженное от боли лицо. Выстрелы хлопали все настойчивей.

«Напирают!» — промычал городовой и вдруг гулко выстрелил из револьвера.

Пристав бросил руку Лизаветы, потянулся к поясу, пальцы его скользили по гладкой коже кобуры.

Лизавета размяла плечи, закричала пристава:

— Наши подходят вас, собак, бить! Наши!

— Наши подходят! — сказала Варварка с угрозой.

Пристав положил ладонь на рот Лизаветы и, ногой подшибив под колени, сбросил ее на землю. Сел на корточки. Глаза его полезли на лоб. Мыча, Лизавета извивалась в траве. Варварка схватила пристава за руку, да что сделаешь с громадой такой?

Он шевельнул локтем, она откатилась от него к стене.

В воротах кладбища на золотистом коне показался казачий офицер. Как из земли вырос. Слегка приподнявшись на стременах, он вглядывался в рябины по ту сторону кладбища. Рот его был приоткрыт, блестели ясные, мелкие зубы. Игрушечные усики чернели у ноздрей. Он крепко натянул повод, и конь стоял, как врытый.

Потом Варварка увидела непонятное: офицер потянулся, скосил голову набок. Фуражка слетела с него.

Он грудью свалился на холку коня, вытянув руку с привязанной к запястью тонкой витой ременной плеткой: залетевшая в ворота пуля сзади ударила его.

Конь, чувствуя на себе всадника, но не чувствуя повода, поднял уши. Потом, осторожно переступая на длинных ногах, пошел к газону, согнул шею и, пофыркивая, надменно и нехотя стал щипать траву.

Мертвая рука всадника свисала с его шеи, плетка достала до земли, на запястье мертвеца поблескивала серебряная цепочка.

— Видел? — хрипела Лизавета, катаясь под руками пристава, — видел, как цокнули? Так и всех вас, царевых собак... Бей меня, бей! Это наши его цокнули!

— Это наши! — с угрозой сказала Варварка, глядя на кулак пристава, поднятый над Лизаветой.

Конец первой книги.

Баллада о пожаре

И. ФЕФЕР

★

Давно уж тех людей нет и в помине,
Но случай был такой на Украине.
Вдали от столбовых больших дорог,
От городов губернских в отдаленьи
Существовало бедное селенье,
А в том селеньи бедный был шинок.

И тайная вела к нему дорога,
Она кончалась у его порога,
И многие к шинку знавали путь,
Сбираясь под кровлею худую,
Чтобы поплакать над своей судьбою,
Чтобы судьбу недобрым помянуть.

Еврей держал шинок в убогом доме,
Но сам он спал, бедняга, на соломе,
Хоть все село собиралось в доме том,
Хоть пропивали там живую душу,
Хоть скорбь и ужас становились глуше
За чаркою с казенным злым вином.

У сгорбленного, старого еврея
Судьба была не многим веселее,
И он слышал нередко от жены:
«Нас тот же царь, нас тот же пан
обидел,
Мы каждый день чужие слезы видим,
И наши слезы также солонны».

Прошло недель и месяцев немало,
И ненависть в народе закипала,
Да только обнаружилась не вдруг.
И шли в шинок селяне друг за другом,
И чарка с зельем шла привычным
кругом,
И сразу к ней тянулось десять рук.

Однажды ночью в том шинке
невзрачном
Стон чумаков мешался с пеньем
мрачным, —
И словно сажа занялась в трубе, —
Вдруг над селом, над голыми полями
Негаданно-нежданно взмыло пламя,
Пришел конец веселью и гульбе.

Бежали все, огонь прошел по крыше,
И вырос он крестов на церкви выше,
И над селеньем загудел набат.
Тот колокол гудел, гудел в тумане,
И просыпались трезвые селяне
И выбегали с ведрами из хат.

А дым клубился, как в степи ютара.
И у огня шинкарь метался старый.
Он руки к небу красному простер.
И вот уже скрипят в селе колодцы,
И вот вода по красным балкам льется,
И кажется — не так высок костер.

Дом отстоим! Воды наверно хватит!
Тогда на дрожках, в стеганом халате
Приехал пан, а с паном сыновья,
А с паничами панские лакеи.
Пан говорит: «Напрасная затея
Тушить пожар, — к стихиям склонен я.

Всех разогнать». Стрельба из пистолетов
Пошла кругом. Панок полуодетый
Глядит с улыбкой на своих псарей,
А те народ честной с пожара гонят.
Один шинкарь в дыму багровом тонет,
Один с ведром мечется еврей.

Он мечется меж домом и криницей,
Он от усталости готов свалиться,
И кажется, в несчастьи позабыт.
Но девушка за хмурыми рядами
Селян, отогнанных назад псарями,
Рыдая, начинает «Заповіт».

А вдалеке уже гремит телега,
И лошади горячие от бега
Круг разрывают. Нам седок знаком:
Усы, папаха. Паничи бледнеют.
Седок кричит селянам и лакеям:
«Что ж вы глядите, чей пылает дом?».

Неясный гул тогда прошел в народе,
А из лакеев псарь один выходит
И говорит, непрошен и незван:
«Еврей горит, тушить никто не хочет,
Да и не стоит». Паничи хохочут,
И переливчато хохочет пан.

И на проезжего глядит селенье.
А он, исполнен словно вдохновенья,
Уже вскочил. Схватил ведро. С ведром
Спешит к колодцу. Нет, еще
не поздно,—

Хотя огонь и стервенеет грозно
И красной шапкой полыхает дом.

Кричит проезжий: «Что глядеть
на пламя».

И кажется, он говорит стихами:
«Мы правнуки Адама одного, —
Поможем брату своему — еврею,
Берите ведра и бадьи скорее».
И все село послушало его.

Зазвякали и зазвенели ведра
И застучали радостно и бодро,
И полилась веселая вода,
И, дружная, она лилась не даром.
А господа? Не доглядев пожара,
Убрались во-свои господа.

Народ не расходился до рассвета.
Еврей-шинкарь спросил: «Так кто же
это,

Кто нас, убогих, от несчастья спас?
Живу я больше половины века,
А не встречал такого человека,
Наверно, ангел он».

— «Ні, це Тарас».

Перевел с еврейского,
Ник. УШАКОВ.

Крылья Китая

Капитан ВАН СИ

(Окончание) ¹

★

VIII. ИСТРЕБИТЕЛИ НАД ОКЕАНОМ

В один из теплых майских вечеров майор Ли Сян собрал командиров частей и сообщил им о получении секретного приказа. Командование республиканской авиацией поручало истребителям ответственнейшее и почетное задание. В тот же вечер наши техники сели в поезд и уехали на юг. Им было строжайше запрещено болтать о цели поездки. Нам предложили проверить материальную часть и быть готовыми к дальнему рейсу.

Чен Лу, отличающийся большим любопытством, всю ночь ворочался в постели и умоляюще шептал, толкая меня под бок:

— Не будь свиньей, Ван Си, неужели ты мне не доверяешь?..

Я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь, и сердито отвечал:

— Летчик Чен Лу! Вы нарушаете воинскую дисциплину! Приказываю вам спать.

Ранним утром мы собрались на аэродроме. Солнце, едва оторвавшись от горизонта, щедро раскрашивало далекие горные хребты в яркорозовые тона. На густой зеленой траве аэродрома искрились прозрачные капли обильной росы. Огромные кучевые облака клубились в небе, закрывая почти половину горизонта.

Майор Ли Сян озабоченно об'езжал

эскадрильи, проверяя их готовность к дальнему рейсу. Все самолеты были заправлены горючим по самую пробку. Моторы опробованы, машины — «в большом порядке», как любил выражаться наш майор. Убедившись в боевой готовности частей, майор созвал летный состав и спросил:

— Ну, как, мальчики, хорошо позавтракали? Боюсь, что вам сегодня придется подтянуть как следует пояса. Нам предстоит немало потрудиться...

Затем майор скомандовал:

— Смирно! Начальники частей сейчас вам раз'яснят задание. Маршруты ими уже проложены. Сегодня вечером нам с вами надо быть в Кантоне. Приличных посадочных площадок на этой трассе маловато. Летим частями, друг за другом. Пока одна часть направляется на посадочной площадке, — другая охраняет ее в воздухе от непрошенных гостей! Понятно? Командиры частей, ознакомьте летный состав с маршрутом. Вольно! Разойтись!..

Трудно описать восторг, с которым наши ребята встретили этот приказ. Чен Лу от радости чуть было не сделал свое излюбленное сальто, но потом опомнился и покраснел.

— Я вас слушаю, Ван Си!..

Признаться, и мне самому стоило больших трудов удержаться в рамках официальной инструктивной беседы. Но долг превыше всего, и я обстоятельно растолковывал своим летчикам каждую деталь предстоящего полета по маршру-

¹ См. «Новый мир», кн. 2 с. г.

ту. Летчики слушали меня с огромным волнением, и мне приятно было глядеть в их открытые храбрые лица. Больше всех был обрадован кантонский студент Тин: мы летели защищать его родной город, который жестоко страдал от воздушных бомбардировок японских пиратов, пользовавшихся в этом районе полной безнаказанностью.

— Ну, теперь мы сведем с ними счеты за надругательство над памятником Сун Ят-сена, — глухо сказал мне Тин.

Ровно в 10 часов мы поднялись в воздух и взяли курс на юг, с неприязнью поглядывая на густые облака, клубившиеся в небе. Мы шли над широкой рекой. Справа и слева высились горы, уходящие своими вершинами в облака. Лететь в ущелье довольно утомительно, но синоптики обещали нам впереди хорошую погоду, и мы мирились с этой временной неприятностью.

Я механически следил за маршрутом и время от времени пересчитывал машины, следующие за мной. Все в порядке. Наша часть идет в строгом соответствии с графиком. Конечно, придется трудновато, но приказ есть приказ, и не выполнить его невысказано. За день мы обязаны пролететь 900 километров над совершенно незнакомыми местами, чтобы к вечеру быть в Кантоне.

Кантон... Я смутно помнил по детским впечатлениям этот прекрасный город, который по праву зовут жемчужной Китая. В нашей стране, пожалуй, нет города, равного Кантону по своей благородной славе. Свободолюбивая славная столица Южного Китая вошла в историю республики, как символ непримиримости народа к угнетателям.

Когда я был мальчишкой, отец привез меня на берег Жемчужной реки и говорил, показывая красивый город: «Запомни, мой сын! Здесь наш вождь Сун Ят-сен закладывал фундамент свободного Китая». Я плохо помнил, о чем говорил тогда мой отец. Но годы шли, и уже потом, за океаном, куда бежала наша семья от голода и нищеты, я узнал, кто такой Сун Ят-сен и чем обязан Китай Кантону.

Это здесь в 1894 году начало свою работу «Общество возрождения Китая», основанное доктором Сун Ят-сеном. Это здесь 22 года спустя Сун Ят-сен создал независимое правительство для борьбы с реакционным Севером, для объединения Китая. Это здесь Сун Ят-сен создал легендарную школу революционных командиров Вампу, которые сформировали армию народа. Это здесь, уже после смерти Сун Ят-сена, начался знаменитый Северный поход против феодалов Севера. Это здесь 11 лет тому назад вспыхнуло восстание рабочих, крестьян и солдат, основавших Кантонскую коммуну, которая просуществовала всего три дня, но прославилась навеки, как пример мужества и отваги. В декабрьские дни 1927 года правительство рабочих, крестьян и солдат Кантона провозгласило 8-часовой рабочий день, рабочий контроль над производством, национализацию крупных промышленных предприятий, конфискацию банков, национализацию земли, уничтожение класса помещиков, организацию рабоче-крестьянской армии...

Реакция задушила Кантонскую коммуну, но память о ней никогда не умрет...

Сейчас, когда весь китайский народ, сплотившись воедино, дает отпор захватчикам, подлые пираты японского воздушного флота с особой злобой обрушивают удары на Кантон — колыбель национального освободительного движения. Республике трудно защищать свои портовые города, находящиеся под прямой угрозой мощного японского флота и десантных войск захватчиков. Наше командование стремится затянуть японцев вглубь страны, чтобы там разгромить их. Поэтому уже сейчас начата эвакуация Кантона. Тем с большим энтузиазмом летим мы сейчас на юг, чтобы у ворот великого свободолюбивого города нанести врагам неожиданный удар. Наш полет спутает все карты японского командования и поможет значительно изменить соотношение сил у берегов Южного Китая...

... Мерно гудит мотор. Сердце моей маленькой зеленой птички бьется без перебоев. Слева и справа летят мои

друзья. Я вижу, как они следят за мной, соразмеряя скорость самолетов.

Я двигаю вперед сектор газа, и мотор, как подстегнутый, ревет еще громче. Мои товарищи не отстают. Взгляд вниз. Взгляд на карту. Взгляд на часы. Все идет отлично. Мы четко выдерживаем маршрут. Впереди уже вырисовываются контуры небольшого города, обнесенного глиняной стеной. Это Цинзу. Здесь первая посадочная площадка на нашем пути.

Но что это за пятна на сочных зеленых полях вокруг города? Луга устланы огромными разноцветными полотнищами. Может быть, это какие-то сигналы? Нет, ни один код в мире не пользуется такой комбинацией полотнищ и красок. Я с трудом отыскиваю среди этих полотен знакомый всем летчикам мира простой белый знак «Т» и иду на посадку. Вслед за мной садятся остальные летчики. Только здесь, на аэродроме, я узнаю, что за полотнища разбросаны на лугах. Оказывается, местные жители сушат на солнце выделанную ими и окрашенную затем ткань. Невинный кустарный промысел, не имеющий ничего общего с военной сигнализацией...

Скорей за работу! Техников здесь нет. Нам самим придется заправить свои машины горючим и поскорее убраться отсюда: за нами идут новые эскадрильи. Чи-то заботливые руки сложили на краю аэродрома целые штабеля квадратных банок с бензином, замаскированных сверху зеленью. Мы сами таскаем эти банки к самолетам и поим своих зеленых птичек. Чен Лу остервенело тащит на себе сразу несколько бидонов, — ему лень носить их по-одному. За ухом у него торчит свежий полевой цветок.

Заправка закончена в рекордный срок. Я устало оглядываюсь по сторонам. Теплый ветерок несет с поля медовый аромат неведомых нам, северянам, цветов. Облака, как и предсказывали синоптики, быстро тают в синем небе. Густая, сочная трава покрывает аэродром. Хочется на миг прилечь на нее, отдохнуть... Но нам надо спешить. — По самолетам!..

Моторы оглашают аэродром бешеным ревом, и через минуту толпа жителей Цинзу, еще не успевших добежать из города на аэродром, в изумлении закидывает головы вверх, — мы уже летим высоко над землей. Стрелки компасов указывают путь на юг.

Солнце высоко над нами: ведь мы все ближе подходим к тропикам. Чувствуется усталость. Я вспоминаю напутствие майора, который заботливо осведомлялся, хорошо ли мы позавтракали, и начинаю шарить по карманам. Вот замечательно! У меня сохранился мешочек груш, который я вчера привез из Ко-Ани и забыл выгрузить на аэродроме. Достая великолепную ароматную грушу и с наслаждением грызу ее.

Слева от меня, как всегда, идет Чен Лу. Я подскальзываю поближе к нему и торжествуя показываю ему свое богатство. Парень угрюмо качает головой. Бедняга! Он очень любит покушать, и сейчас ему явно не по себе...

И снова взгляд вниз, взгляд на карту, взгляд на часы. Нам пора садиться. Но где же аэродром? Нас предупреждали, что здесь неважная посадочная площадка. Однако здесь вообще нет никакого намека на аэродром! Наконец, на крохотном клочке земли я вижу аккуратно выложенный знак «Т». Признаться, на душе у меня сразу заскребили кошки. Перед нами расстилалось рисовое поле, залитое водой. За ним — небольшой кусочек сухой земли, — это и есть посадочная площадка. Но тут же, в конце крохотной площадочки, огромный вал, опоясывающий ее полукольцом. В довершение ко всему на этой площадке уже стоят самолеты, прилетевшие раньше нас.

Спокойно, Ван Си! Как ты поступишь сейчас? Надо как-то выпутываться из этой неприятной истории. Бензин на исходе. Других посадочных площадок нет. Надо садиться — садиться так, чтобы показать всем своим ребяткам, что эта посадка — сущий пустячок. Не рассчитывай, — уйдешь на второй круг и сразу же испортишь настроение всем остальным летчикам. Подломаешь машину, — опозоришься

навек. Значит, надо садиться классически...

Я подвел свою машину к границе аэродрома на высоте полутора метров, осторожно посадил ее и плавно, но энергично включил тормоза. Слева и справа, совсем рядом, мелькнули самолеты, сидящие на земле. В самом конце площадки, когда перед глазами у меня уже вырос земляной вал, машина дрогнула и остановилась. Облегченно вздохнув, я отрулил в сторону, освобождая путь своим друзьям. Сели в общем все благополучно, хотя Хо Синь-цзе пришлось сделать несколько кругов над аэродромом, прежде чем удалось точно рассчитать «божественную» посадку.

Наскоро заправив баки, мы снова поднялись в воздух. Солнце уже приближалось к закату. Мы ощутили резкую перемену климата. Хотя наши машины шли на довольно большой высоте, воздух был теплый и влажный. Внизу расстилались какие-то густые заросли. Заходящее солнце расцвечивало далекие перистые облака в кроваво-золотистые тона.

На последней посадочной площадке, невзирая на большую усталость, все были немного возбуждены: нам предстояло пересечь тропик Рака.

Как определить это торжественное мгновение? Ведь на земле не написано, что, дескать, именно здесь проходит тропик. Я обещал своим друзьям с особенной тщательностью следить за маршрутом, чтобы не пропустить тот миг, когда мы пересечем эту условную линию.

И вот торжественная минута наступила. В лиловых сумерках я увидел низенькие, густо поросшие зеленью сопочки. Можно было различить железную дорогу, уходившую еще дальше на юг, к Кантону. Есть тропик! Еще раз сверившись с картой, я качнул крыльями своей машины, и мои ребята подняли руки: понято! И хотя я сам отлично понимал, что тропик Рака — это лишь условное географическое понятие, — на душе стало как-то особенно весело и радостно. Сейчас каждый чувствовал себя по меньшей мере Колумбом...

На юге темнеет очень быстро. Различить незнакомые места, отмеченные на карте, в густых сумерках было уже трудновато, и мы помчались вдоль железной дороги, ведущей к Кантону. Многогострадальная дорога!.. Японцы бомбят ее ежедневно, пытаюсь прервать связь с Центральным Китаем. Но упорство наших патриотов не знает границ. На каждом перегоне дежурит ремонтная бригада. Она терпеливо ждет, пока японские бомбовозы сделают свое грязное дело, и затем сразу же принимается за работу. Через полтора-два часа по восстановленному пути снова идут поезда...

Сейчас, по расчету времени, нам должен открыться Кантон. Я с волнением жду этой минуты. Так и есть! Вот впереди виднеется какое-то легкое сияние. Вот из сумрака выступают созвездия огней. Вот уже он весь перед нами — красивейший город Китая, раскинувшийся в устье реки Жемчужной, на берегу Южно-Китайского моря, самого западного из морей Тихого океана. Вот и сам океан. Без конца и края раскинулась впереди величественная водная пустыня молочно-голубого цвета.

Гигантская река, разбившаяся на множество потоков, вьющихся между островками, остается справа от нас. Слева — небольшие извилистые морские заливы. У этих причудливых берегов Южно-Китайского моря — чудесный город, выросший у самого края Азии.

Город ярко освещен огнями. Внизу белеют прекрасные здания европейского типа. Вот и аэродром. Мы идем на посадку и низко-низко пролетаем над роскошными виллами. Еще мгновение — и колеса наших самолетов касаются летного поля, заросшего травой.

Рейс закончен. Усталые и радостные, мы выходим из машин. Нас сразу опьяняют запахи тропических цветов. Где-то рядом цветет магнолия. Вокруг целые заросли олеандров. Вот гунговое дерево, кипарисы, пальмы. В воздухе порхают светлячки.

Вдруг блаженную тишину нарушает резкий голос практичного Чен Лу, который успел обнаружить, что на аэро-

дроме нет ни одного нашего техника. Проклятая неорганизованность! Техники задержались в пути. А ведь сейчас они нам требуются как никогда.

Подойдя к своему самолету, я увидел дикое зрелище. К машине подвезли водовозную бочку, и какой-то чудак уже хлопотливо отвинчивал пробку масляного бака, видимо, намереваясь заправить его водой.

Я похолодел от неожиданности. Хорошо бы выглядел я в момент тревоги со своим самолетом!

Я оттащил водовоза за ногу. Он испуганно оправдывался. Бедняга до сих пор встречал только машины с водяным охлаждением мотора и был уверен, что наши самолеты также нуждаются в воде.

Пришлось самим осматривать и готовить к полету машины. Закончив работу, мы расставили самолеты подальше друг от друга на случай ночного налета бомбардировщиков и только после этого отправились на отдых.

Нам предоставили одно из лучших помещений в городе. По дороге туда мы, несмотря на смертельную усталость, с огромным интересом осматривали незнакомые улицы. Кантон сильно пострадал от зверских бомбардировок японцев. Я видел четырехэтажный дом европейского типа, разрезанный бомбой надвое. От него уцелела только половина, — были видны квартиры с мебелью, с кухнями, с ваннами. Сколько безвинных женщин и детей уничтожил изверг, бросивший бомбу в жилой дом! Такие страшные руины можно встретить в самых различных углах города. И все же Кантон живет своей кипучей жизнью. Открыты магазины с ярко освещенными витринами, работают кино и театры, по тротуарам спуют оживленные толпы.

Наконец-то мы добрались до ночлега! Никому не хочется есть — настолько велика усталость. Мы сразу же валяемся на койки, предусмотрительно подсовываем под себя концы кисейных пологов, предохраняющих от ядовитых укусов moskitov, и крепко засыпаем.

Но отдых сразу же был прерван.

Сквозь сон мы услышали резкий вой сирен, знакомые глухие удары бомб. Вскочили с постели. Темно. Видимо, электричество погасло во всем городе. С улицы доносился иступленный вой женщин и детей.

На этот раз мы были бессильны что-либо сделать.

В два часа ночи меня кто-то осторожно тронул за плечо. Я с трудом открыл глаза. Передо мной стоял одетый по всей форме майор Ли Сян.

— Поднимайте своих ребят! Через час — вылет...

У подъезда уже фыркали автобусы. Через несколько минут мы мчались по пустынным улицам города, которому пришлось пережить тревожную ночь.

Автобусы мчались по асфальтированным улицам, мимо красивых белых зданий с колоннами. Кое-где путь преграждали груды битого кирпича — след очередного визита японцев. Шофера замедляли ход и объезжали обломки разрушенных зданий.

Майор, проверив готовность частей, отдает боевой приказ. Восток уже окрасился багровым заревом.

— По самолетам!..

Майор Ли Сян взлетает первым. За ним одна за другой уходят в воздух эскадрильи истребителей. Перед нами поставлена сложная боевая задача: на сухопутных машинах пройти около сорока километров над морем, найти в океане небольшие островки, где японцы устроили свои аэродромы, и уничтожить их бомбами и пулеметным огнем.

Кантон остается к северу от нас. Над морем клубится голубая дымка. Где-то слева дремлет Гонконг — английская крепость. Когда-то Гонконг был хорошим логовом для британского льва в Южном Китае. Но сейчас лев одряхлел и теряет остатки сил. Японский пес обнаглел до того, что решил отнять у него это логово.

Справа отчетливо виден город Макао — центр крохотной португальской колонии.

Берега азиатского материка тают в утренней дымке. Мы мчимся над океаном. Там и сям мелькают небольшие

островки. Косые лучи утреннего солнца ярко освещают водную гладь. Впереди мы уже видим остров, отмеченный на наших картах. Это — цель, к которой мы примчались за 900 километров. Возле острова я вижу японский крейсер, из труб которого подымается легкий дымок. Гм!.. Открытие не совсем приятное. Нам вовсе не хочется подставлять свои машины под огонь зенитных орудий крейсера. Конечно, было бы неплохо опустить наши бомбы на его палубу, но мы бережем их для японского аэродрома.

Ориентировавшись в обстановке, я захожу со стороны солнца, чтобы японцы нас не заметили. Солнечные лучи слепят часовых, а мы с бешеной скоростью пикируем на вражеский аэродром с высоты 4500 метров.

4000... 3000... 2000... Наконец альтиметр показывает 1000 метров, и я дергаю за ручку, освобождаюсь от груза бомб. Вслед за мной шлют гостинцы японцам остальные летчики. Бомбежка для истребителя — не совсем привычное занятие. Нам сподручнее драться в воздухе и поражать врага своими пулеметами. Но и бомбежку мы провели не так уж плохо: набирая высоту, я успел заметить, что внизу запылали постройки и склады.

Чтобы завершить начатый разгром осинового гнезда, мы решили окончательно деморализовать японцев пулеметным огнем. Под нами расстиралось поле, по которому метались охваченные ужасом японцы. Кто мчался в автомобиле, кто спешил удрать на велосипеде, кто попросту катался по земле, охваченный испугом. Некоторые летчики метались по аэродрому в одном белье, выскочив из пылающей казармы. Мы камнем падали вниз с высоты и на бреющем полете уничтожали поддых бандитов, расплачиваясь с ними сполна за все их злодеяния. Воспоминания о ночной бомбардировке Кантона еще больше усиливали наш гнев, и мы без всякой пощады громили врага.

На изрытом воронками поле, которое еще две минуты назад было аэродромом, догорали обломки сооружений. Вдруг я увидел совсем рядом со своей

машиной разрывы снарядов зенитной артиллерии. Ах, вот оно что! Ротозен с японского крейсера, наконец, заметили нас и пытаются накрыть мою машину зенитным огнем. Остальные самолеты уже ушли в Кантон.

Я слишком увлекся своей работой и сейчас оказался в несколько затруднительном положении. Высота у меня ничтожная—триста метров. Разрывы зениток все ближе...

Я дал полный газ, перешел на бреющий полет и ловко нырнул за сопку. Японцы были уверены, что моя машина сбита, и прекратили огонь. Тем временем я вышел к морю и стремительно помчался к Кантону. Конечно, итти над морем на сухопутном истребителе, имея под собой всего лишь несколько десятков метров, довольно рискованно, но я был уверен в своей машине, как в самом себе, и полет закончился вполне благополучно. Миновав Макао, я присоединился к своим товарищам, которые радостно меня приветствовали. Оказывается, когда над аэродромом начали рваться снаряды, они потеряли меня из виду и думали, что мой самолет сбит. Тем радостнее была эта встреча!

На аэродроме было шумно. Тин, оживленно жестикулируя, рассказывал о том, как он расплатился с японцами за бомбежку своего родного города. Но закончить этот рассказ ему не удалось: майор Ли Сян, только-что вернувшийся с бомбежки второй японской базы в океане, созвал нас и сообщил: — Получен новый боевой приказ. Сегодня вечером мы должны быть в Наньчане, а завтра утром в Ханькоу. Как видите, подвижность и внезапность решают успех. Японская авиация потеряла свои базы у ворот Кантона. У нас же никаких потерь. Проверьте материальную часть. Вылет, так же, как и вчера,—в 10 часов.

Чен Лу, возясь у машины, угрюмо насвистывал какой-то заунывный мотив. Закончив работу, он вылез из-под самолета и мрачно сказал:

— А я-то, идиот, думал сегодня вечером сходить в кино. Вы представляете себе, как это эффектно звучит: «Дорогая Ли! Позавчера я смотрел в кан-

тонском кино фильм «В когтях у любви»...

Честно говоря, нам не хотелось так быстро покидать Кантон. Мы пробыли здесь меньше суток, но город нам очень понравился, и каждому хотелось поближе познакомиться с ним. Однако мы понимали, что сейчас в Ханькоу наши самолеты нужнее, чем здесь. Пока японцы опомнятся от сегодняшнего сюрприза, мы успеем подготовить для них кое-что на Севере.

Вечером мы опустились на Наньчанском аэродроме. Только здесь я вспомнил, что за эти полтора суток мы завтракали только вчера перед вылетом из Наньчана. На этот раз мы не дожидались особых приглашений и гурьбой ввалились в столовую.

IX. ВИЗИТЫ НА ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА

В Ханькоу нас, как всегда, встретили очень радушно. На этот раз начальство подготовило для летчиков уютно обставленный домик, с маленьким садом, близости от аэродрома. На клумбах у под'езда чьи-то заботливые руки рассадили чудесные, необычайно яркие цветы.

Чен Лу, блаженно улыбаясь, жмурился и поглаживал себя по брюшку, которое заметно сократилось за три месяца нашей кочевой жизни:

— Клянись душой черепахи, это — санаторий. После фанз Ко-Аня мы здесь с вами совсем неплохо отдохнем.

Хо Синь-цзе ядовито усмехнулся:

— Что я вижу? Наш бедный Пышка соскучился по буржуазному быту? Жизнь может разрушить вашу идиллию...

Хо Синь-цзе, как всегда, оказался пророком. В ближайшие дни нам предстояло участвовать в серьезных событиях.

19 мая мы, как обычно, дежурили на аэродроме. Разведка сообщила нашему командованию, что японцы замышляют очередной налет на Ханькоу. Мы спокойно ждали непрошенных гостей.

После нескольких дней проливных дождей и туманов выдалось погожее

солнечное утро. В нашем садике у аэродрома расцвели огромные яркие цветы. Даже угрюмый Тин скрипучим тенорком напевал какой-то мотив. Чен Лу сосредоточенно чистил мелом пуговицы на своей парадной куртке и изредка вздыхал. У него было назначено свидание в городском парке, а майор в последние дни был очень скуп на отпуска.

Солнце уже давно перевалило точку зенита и начало склоняться к западу. На аэродроме было попрежнему тихо. Лишь изредка взлетали и садились самолеты связи, да в дальнем углу у группы бомбардировщиков возились техники. Что они там делают? Уже с утра лучшие инженеры наших воздушных сил прибыли на аэродром. Они о чем-то совещались, делали какие-то расчеты, техники в десятый раз запускают моторы и проверяют материальную часть.

Видимо, готовится какой-то дальний полет особо важного значения. Маршрут и дату полета знает лишь чрезвычайно узкий круг командиров, непосредственно отвечающих за выполнение задания.

После обеда на аэродром прибыли летчики бомбардировочной авиации. Они надели меховые комбинезоны, взяли кислородные аппараты и сразу же направились к самолетам.

Капитан Ми Сяо с кислой миной подошел к нам. Он был явно расстроен. Недавно он схватил злокачественную лихорадку, и вчера у него был страшный приступ болезни. По его лицу мы сразу же догадались, что высшее командование не разрешило ему принять участие в предстоящей операции.

— Перехожу в инвалидную команду, — криво улынулся он. — Чорт бы побрал этот проклятый климат!..

Мы наперебой начали утешать нашего друга, но капитан угрюмо чертыхался и не хотел нас слушать. Щеки у него ввалились, лицо пожелтело, глаза горели нездоровым блеском. Наш доктор, добрейший Сун Чжоу-лян, только вздыхал и укоризненно качал головой.

Ми Сяо сходил к самолетам, о чем-то поговорил с летчиками, потом вер-

нулся. Мы не спрашивали его ни о чем, зная, что никакого ответа от него не добьешься.

Часа в четыре дня на аэродром примчался грузовик с какими-то тюками, которые сразу же погрузили в кабины самолетов. Потом бомбардировщики вырулили на старт и взлетели, взяв курс куда-то на запад. Мы прекрасно понимали, что это ложный курс, взятый специально для того, чтобы ввести в заблуждение японских шпионов, и потому не строили никаких предположений о цели рейса бомбардировщиков.

День закончился так же тихо и спокойно, как начался. И на этот раз японцы не рискнули пожаловать к нам. Но как знать? Быть может, они явятся под покровом ночи? Группа летчиков дежурит на аэродроме. Остальные разошлись по койкам и спят чутким сном солдат, готовые в любую минуту вскочить и сесть в кабины самолетов.

Дежурю сегодня я вместе со своими друзьями Тином и Чен Лу. Мы лежим на траве, подложив под головы парашюты, любимая звездным небом и мирно беседуем. Наши стремительные короткокрылые машины стоят рядом. В темноте они похожи на каких-то фантастических птиц. Мерно шагает взад и вперед часовая.

— ...И вот он говорит мне: «Ты, собачье легкое, забываешь, кто стоит перед тобой. Ты не смеешь возражать офицеру императорской армии». И забирает у меня с прилавка самый лучший отрез товара. Тогда я...

Это Чен Лу в сотый раз повторяет историю о том, как в 1936 году заезжий отставной офицер императорской армии, чувствовавший себя в Ханьжоу царем и богом, устроил погром в его лавке. Чен Лу не может забыть эту обиду. Сейчас он совсем не тот малограмотный увалень, каким пришел к нам несколько месяцев назад. Когда мы кончим войну, Чен Лу вряд ли вернется к своей профессии. Но сейчас в нем еще крепко гнездится ревнивое чувство собственника, и он при каждом удобном случае вспоминает о жалкой лавчонке, отнятой у него японцами.

— О чем это вы здесь болтаете?

Мы слышим знакомый голос Ми Сяо. В темноте краснеет огонек папиросы. Капитан подходит и садится рядом с нами на траве.

— Почему вы не спите, Ми Сяо? Доктора хватит удар, если он узнает, что вы бродите по ночам.

— Бессонница одолела, — говорит Ми Сяо, жась от ночной сырости, и долго кашляет.

— Капитан, а ведь вы до сих пор не рассказали нам о своем визите на Формозу, хотя не раз обещали это сделать. Ночь длинная, вам не спится, и нам тоже пока делать нечего. Почему бы вам не прочесть лекцию о методике дальних бомбардировочных полетов?

Мы шумно одобрили это предложение. В самом деле, до сих пор как-то получалось, что капитан не успевал обстоятельно рассказать нам о своем полете на Формозу — об одной из самых интересных операций китайской авиации.

Капитан вынул папиросу и чиркнул спичкой. Красноватый отблеск на миг озарил его выразительное, энергичное лицо.

— Дело было в конце февраля, — сказал Ми Сяо, — через несколько дней после того, как мы с вами впервые повстречались на Ханькоуском аэродроме. Помните, вы тогда еще завидовали нам. Мы улетели из Ханькоу в Наньчан. Нас предупредили: бомбардировщикам придется выдержать серьезный экзамен. Ну, что ж, мы ответствовали эту проверку...

Неспеша капитан рисовал перед нами увлекательную картину дальнего рейда бомбардировщиков.

— ... Это было 23 февраля 1938 года. Историки японо-китайской войны отметят эту дату, как выдающееся событие: китайские самолеты впервые бомбили японскую территорию.

Наше командование получило серьезный сигнал: на японском острове Формоза, который лежит далеко в Южно-Китайском море, в 120 километрах от берега, формируется крупное авиационное соединение. Японцы предполагают перебросить его на центральный фронт. Совершенно очевидно: если эти прич-

ки появятся в Китае, снова начнется безжалостное уничтожение мирных городов, истребление беззащитных стариков, женщин и детей. Зачем же ждать, пока японские самолеты прилетят в Китай, если их можно уничтожить сразу же, на японской земле?

И наше командование приняло единственно возможное в этой обстановке решение: подвергнуть бомбардировке авиационные базы на острове Формозе и истребить японские самолеты на земле до того, пока они подымутся в воздух!

Вечером 22 февраля наши летчики легли спать раньше обычного. Их разбудили на рассвете. Быстро позавтракав, летчики отправились на аэродром. Самолеты уже были готовы к дальнему рейду. Баки заполнены горючим, бомбы подвешены, моторы опробованы. Немного возбужденные техники с нетерпением ждали командиров кораблей.

Командир части собрал летчиков и еще раз объяснил задание. Предложенный командованием план был дерзок и прост. Нашим бомбардировщикам предстояло подойти на большой высоте к острову, если потребуется — пробить облака и сбросить бомбы на военные объекты.

В 7 часов утра 23 февраля взрвали 24 могучих мотора, и мощные корабли поднялись в воздух. Покружившись над аэродромом, бомбардировщики построились звеньями и взяли курс на юго-запад.

Погода благоприятствовала полету, хотя горизонт был закрыт густой дымкой. Видимость была равна приблизительно двум километрам. Двенадцать тяжело нагруженных самолетов упорно полезли вверх, набирая высоту.

Термометр показывал минус 4°, но летчикам, одетым в меховые комбинезоны, было жарко. Уже два часа самолеты летели над сушей. Внизу расстились бескрайние просторы рисовых полей, залитых водой. Часто мелькали деревни и города, — эти места густо заселены. Изредка появлялись невысокие горные хребты. Наконец, впереди блеснуло голубое море. Теперь сухопутные самолеты мчались над водными просторами,

быстро пожирая пространство. Прошло около двадцати минут, и летчики увидели сквозь голубую дымку далекие смуглые контуры земли. Перед ними лежал гигантский остров. Благодатная Формоза когда-то считалась жемчужиной Китая. Но японцы захватили ее и превратили в свою колонию. Сейчас на Формозе японцы создали базу своей авиации. Все летчики с нетерпением ждали минуты, когда бомбы освободятся из своих гнезд и сорхнут вниз.

Но штурманов наших бомбардировщиков ждала непредвиденная неприятность: над горами Формозы нависли густые облака.

Вот они ползут под самолетами. Штурман флагманского корабля доложил командиру части: «Мы — над Формозой. Под нами — аэродром, помеченный на карте». Как быть? Бомбить вслепую, сквозь облака — довольно рискованно. Эту бомбардировку хотелось провести с максимальной точностью. Попытаться пробить облака? Но кто знает, на какой высоте они кончаются? Можно вынырнуть под самым носом у японских зенитчиков.

Конечно, наши летчики, не задумываясь, отдали бы свои жизни за выполнение ответственного боевого задания. Командир части уже приготовился дать знак остальным одиннадцати кораблям «пробить облака», как вдруг заметил разрывы в тучах. Летчики сбавили газ и начали снижаться.

Им открылся незнакомый город. Отчетливо были видны улицы, железнодорожные линии. Китайская авиация не воюет с мирным населением, и наши машины, построившись четким строем, шли к аэродрому, который был целью этого полета.

Летчики напряженно следили за землей и за небом. Они ждали ураганного зенитного огня, ждали встречи с японскими истребителями.

— И вдруг, — представьте себе, — никто нас не встречает. Мы даже обиделись, — полное отсутствие вежливости! — иронически сказал капитан Ми Сяо, закуривая вторую сигару.

— В чем же дело? — спросил Чен Лу.

— Все не потому, что у японцев не было зениток и истребителей. Оказывается, эти самоуверенные псы не могли даже мысли допустить о том, что китайские летчики посмеют совершить полет на Формозу. Увидев нас, они решили: «Наверное, к нам летит новая авиационная часть». Ну, тут мы им показали, кто мы такие...

Дальше капитан изложил ход боевой операции. Наши самолеты, снизившись над японским аэродромом, уложили свои бомбы прямехонько в ангары и склады. Внизу, видимо, началась невообразимая паника. Японцы растерялись. Только этим можно объяснить, что они даже не попытались обстрелять наши самолеты. Тем временем китайские летчики продолжали методически и аккуратно бомбить японскую авиабазу.

Рядом с ангарами стояли японские самолеты, выстроившиеся в длинную шеренгу. Меткие штурманы опустили часть бомб на них. Самолеты тотчас же окутались дымом. Баки с горючим взорвались. Вверх полетели обломки крыльев, фюзеляжей, растерзанные моторы, пропеллеры. Часть присланных на остров самолетов японские техники не успели даже вынуть из ящиков. Штурманы разбомбили и эти ящики. Только тогда, когда на земле все было разрушено и объято огнем пожара, наши самолеты круто развернулись влево и скрылись в облаках.

— Поднявшись на высоту, где нам уже не угрожала никакая опасность, я пересчитал, сколько машин в воздухе, — заканчивал Ми Сяо. — Все 12 самолетов были целы и невредимы. Остальное было весьма просто. Когда японцы спохватились, мы уже ушли далеко от Формозы. Через несколько часов эскадрилья села на аэродроме в Ханькоу. Японцы потеряли в две минуты сорок самолетов и трехлетний запас горючего. Своим налетом мы спутали все их карты, и они долго после этого не пытались бомбить наши аэродромы...

Ми Сяо умолк.

— Капитан! Что я вижу? — услышали мы громовый голос взбешенного доктора.

— Простите, доктор, но, мне кажется, в этой крошечной тьме вы ничего не можете видеть, — с усмешкой ответил Ми Сяо.

— Простите, капитан, но я считаю ваши шутки неуместными, — отпаривал доктор. — Потрудитесь вернуться на койку.

Доктор взял капитана за плечи и, как ребенка, увел в общежитие, ворчливо упрекая его в легкомыслии.

Остаток ночи мы коротали, делясь воспоминаниями. Я рассказывал ребятам о том, как длинноногий Джимми Хауст из штата Калифорнии научил меня, чумазого обтирщика, разбирать и собирать дряхлые моторы старых самолетов в своей мастерской. С этого и началась моя авиационная карьера. Тин с увлечением описывал свои студенческие годы, а Чен Лу в 101-й раз жалобно говорил о том, как японский унтер-офицер громил его лавку.

Утром мы сменились со своей вахты. На аэродроме начиналась привычная суэта. Техники проверяли моторы; изредка раздавалась очередь из пулемета; кто-то пробовал действие оружия; кули таскали банки с бензином; в небе шумели моторы тренировочных самолетов.

Проголодавшись за ночь, мы уписывали за обе щеки сытный завтрак и с наслаждением предвкушали законный отдых; через пять минут мы растянемся на своих койках и дружно захрапим. Вдруг в столовую четким военным шагом вошел майор Ли Сян. За ним шел Ми Сяо. На лицах у обоих было написано такое торжество, что мы сразу же вскочили с мест и побежали навстречу.

— Что произошло? Какие новости?..

— Смирно! — скомандовал майор и обвел нас всех радостным взором.

Мы мгновенно построились, вытянув руки по швам. Майор сообщил нам чрезвычайную новость:

— Сегодня, 20 мая, эскадрилья китайской авиации впервые в истории совершила воздушный налет на города Нагасаки, Фукуока, Сасебо и другие пункты юго-западной Японии, сбросив при этом листовки, адресованные мир-

ным жителям Японии. Наши бомбардировщики вылетели вчера вечером из Ханькоу, сели в Нинбо, зарядились там горючим и в 2 часа утра сегодня ушли на запад — за 1200 километров от линии фронта. Операция завершена удачно. Сейчас наша эскадрилья уже перелетела линию фронта и находится в полной безопасности. Скоро мы будем встречать ее здесь, на аэродроме. Вольно, можно разойтись!..

Мы молча поглядывали друг на друга, не находя слов для того, чтобы выразить свои чувства. Потом, как дети, бросились к майору и капитану и братски обнялись с ними. Сон как рукой сняло. Никто из нас не помнил о том, что нам пришлось провести долгое ночное дежурство. Недаром бедняга Ми Сяо так мучился всю ночь!.. Ему не пришлось принять участие в таком полете...

Все летчики уже были оповещены об успешном рейде нашей бомбардировочной эскадрильи. Немного грустен был лишь кантонец Тин:

— Что — листовки? Надо было бомбы захватить с собой!..

Майор, улыбаясь, поправлял горячее кантонца:

— Вот бомбы-то как-раз в этом рейде и не требовались! Что они сделали бы? Ну, уничтожили бы одну базу, другую, а дальше что? Японское командование закричало бы на весь свет: — Вот, дескать, смотрите на китайских варваров, — они громят с воздуха Японию! А сейчас весь мир убедился в том, что мы можем бомбить Японию, но не хотим, предпочитая разговаривать с мирным населением на языке листовок. Мир сравнит этот полет с налетами японских пиратов на наши города и сделает выводы...

Через час у аэродрома выстроилась вереница роскошных автомобилей. На летное поле пришли генералы из авиационного комитета, корреспонденты иностранных газет, представители правительственных учреждений. Сотни граждан Ханькоу пришли с плакатами и знаменами. На солнце поблескивали трубы оркестров.

На горизонте показались сверкаю-

щие на солнце точки. Раздались бешеные аплодисменты и приветственные крики. Пронзительно запели трубы оркестра. Точки быстро увеличивались, и скоро все увидели красивые двухмоторные самолеты, быстро приближавшиеся к аэродрому.

Одна за другой машины выпускали шасси и шли на посадку. Снизу плоскости и фюзеляжи были выкрашены в светлоголубой цвет, а сверху раскрашены защитной, камуфлированной расцветкой. Машина капитана Сю Хуаньшэня примчалась первой. Капитан выключил мотор, открыл люк и вышел на плоскость. По его лицу не трудно было догадаться, что после бессонной ночи он сильно устал. Но глаза его светились огромной радостью. Не успел он встать на землю, как его подхватили на руки и начали качать. Корреспонденты защелкали фотоаппаратами. Летчики, не ждавшие такой встречи, немного растерялись и конфузливо улыбались.

После короткого митинга их усадили в машины и увезли. Мы даже не успели поговорить с ними. Вернулись они только под вечер. Оказывается, наших ребят принимали министры.

— Я приветствую не только вашу храбрость, — сказал на приеме один из министров, — но и ту славу, которая вписана нашей авиацией в историю Китая. Ваш полет показывает, что для китайской авиации вполне возможно достигнуть Японии. Успешный полет доказывает, что техника китайской авиации не ниже японской. Япония заимствовала у Китая письменность и культуру, теперь японские милитаристы, безжалостно разрушающие мирные китайские города и села при помощи современной техники, забыли о сильной стороне китайской культуры — о гуманизме. Наши летчики сбрасывали листовки, а не бомбы, чтобы сказать японскому народу правду о войне. Японские милитаристы сбрасывают на мирное китайское население бомбы, так как им нечего сказать народу.

Когда летчики вернулись в общежитие, мы окружили их и забросали вопросами о полете. Капитан Сю Хуаньшэнь скромно сказал:

— Ну, что ж, полет протекал нормально. Правда, было немного утомительно: нам пришлось все время лететь на большой высоте, и мы не снимали кислородных приборов. К тому же летели ночью. Но ведь наши штурманы водят машины по звездам не хуже, чем по солнцу!

Полет продолжался шесть часов. Летели, понятно, над морем. Прилетели ночью, — внизу горят огни. Справились по карте — Нагасаки. Ну, тут, конечно, сердце на минутку дрогнуло. Думали ли мы когда-нибудь летать над Нагасаки? Кладем машины в вираж, ходим над городом. Штурманы бросают листовки. Потом летим к другому городу, к третьему... Около двух часов кружились над японскими городами. А внизу попрежнему горят огни, никто не стреляет, никто не летит нам навстречу. Неужели наши листовки упали где-нибудь в стороне от городов? ... Вдруг слышим удар, — заговорили зенитки. Наконец-то ротозей поняли, кто над ними летает! Значит, листовки доставлены по адресу...

Внизу началась паника: сразу начали тушить свет, стрелять из пушек. Но найти нас ночью было не так просто. Мы спокойно развернулись и ушли на родину. Летели благополучно. Правда, по пути пробовали поохотиться на нас зенитчики с японских крейсеров, но ничего у них не вышло. Вот и весь полет...

Сю Хуань-шень и его друзья совершенно искренне считали этот полет совершенно обыденным: ведь им даже не пришлось подраться с истребителями...

До позднего вечера в Ханькоу царил веселое оживление. Лишь капитан Ми Сяо был безутешен. Но доктор дал капитану слово, что через месяц поставит его на ноги, если он будет послушно исполнять все медицинские предписания.

Х. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА

31 мая, на рассвете, майор Ли Сян собрал нас и лукаво сказал:

— Честь имею сообщить вам, что сегодня японский император празднует

свой день рождения. В ознаменование этого высокотожественного дня командование японской авиации решило преподнести его величеству приятный подарок: уничтожить нас с вами... Короче говоря, сегодня надо ждать гостей. Прошу еще раз самым тщательным образом проверить материальную часть и быть на-чеку...

Над Ханькоу вставало туманное, хмурое утро. Невыспавшийся Чен Лу недовольно бурчал, осматривая машину:

— В такую нелетную погоду великолепно спится.

Погода и впрямь не обещала ничего хорошего. Высокие горы были закрыты облаками. Над Янцзы клубилась сероватая дымка. Откровенно говоря, мне и самому не верилось, что в такой день к нам могут пожаловать господа японские летчики. Однако майору лучше знать, как надо поступать.

Закончив осмотр самолетов, мы стали ожидать визита гостей.

Вдруг на вышке взвился черный флаг.

— Вот тебе и нелетная погода! — сказал я Чен Лу.

К нам уже мчался на забрызганном грязью фордике майор Ли Сян. Лицо его было серьезно и озабоченно. Он отрывисто сообщил командирам частей:

— В 60 километрах — тридцать японских бомбардировщиков в сопровождении сорока истребителей. Приказываю: действовать согласно намеченному плану. В воздух!..

На вышке уже трепетал красный флаг. На ходу пристегивая парашют, я вскочил в кабину и включил контакт. Послушный мотор яростно взревел, и через секунду я уже вел в воздух свою группу.

Как всегда перед боем, в голове — одна мысль, четко сформулированная приказом:

— Высота — 4 000 метров. Цель — бомбардировщики. Обеспечить взаимодействие с остальными группами.

Было досадно на плохую работу наших постов наблюдения, которые подпустили японцев на 60 километров к аэродрому. Сию минуту японцы будут здесь. Успеем ли мы набрать высоту?..

Альтиметр показал 4 000. Я облегченно вздохнул. Японских бомбардировщиков нет. Но... что за черт?.. Это — «И-96». Откуда-то из поднебесья прямо на нас валяются японские истребители. На этот раз они раскрашены в пятна и полосы. Это камуфлированная раскраска, — такой самолет труднее различить в воздухе. Камуфлированные монопланы с изогнутыми верху концами крыльев пикируют с огромной высоты.

Там их ждал майор Ли Сян со своей группой. И вот самураи, получившие хороший щелчок, валяются вниз, пытаясь выместить свою злобу на нас.

Бомбардировщиков все еще нет. Принимаю мгновенное решение — вступить в бой с истребителями. Я выхватываю ручку доотказа на себя, и моя машина, как бешеная, взвизгивает на дыбы. Вслед за мной лезут вверх навстречу японцам остальные летчики. Только одному звену я поручаю ждать бомбардировщиков.

Но японцы, свалившиеся с 6 000 метров, не проявляют никакого желания драться с нами. Они показывают нам свои красные хвосты и удирают. Bravo, майор! Значит, вы уже показали им, что такое хорошая школа. Мы спешим туда же, в верхний «этаж», чтобы принять участие в драке с истребителями.

Ревут моторы. Мгновение, — и стрелка альтиметра подпрыгивает, отсчитывая еще одну тысячу метров. Мы подоспели как-раз во-время: целая стая японских истребителей зашла в хвост эскадрильи, которую вел майор.

— Тр-р-р-ах!.. Я нажимаю на все гашетки. Одновременно со мной открывает огонь еще несколько летчиков, нащупавших цели. Японцы отваливают в сторону; они не ожидали нашего появления. Мы мчимся дальше — в самую гущу драки.

На такой огромной высоте нелегко вести воздушный бой. Однако мы стараемся сделать все, что в наших силах. Люди, оставшиеся на земле, рассказывали потом, что они видели какой-то комариный рой в воздухе. Этот рой постепенно вытягивался, медленно прибли-

жаясь к земле. Около ста истребителей кружились в воздухе, сцепившись друг с другом в смертельной схватке. Мы прижимали японцев все ниже к земле.

Вот уже альтиметр показывает 3 000 метров. Рой распадается на отдельные группы дерущихся самолетов. Воздух исполосован дымными лентами трассирующих пуль. Давно уже потерял строгий групповой строй. Каждый дерется самостоятельно. Однако наши летчики все время стремятся четко координировать свои действия и при первой же возможности пристраиваются друг к другу звеном.

Трудно вспомнить все подробности этого боя.

Помню, что в конце этого грандиозного воздушного сражения я схватился один-на-один с японским пилотом. Очевидно, это был очень опытный летчик. Я последовательно прижимал его все ближе к земле, хотя он и пытался вырваться вверх.

В конце-концов мы очутились в трехстах метрах от земли. Упорство японца было сломлено. Он попытался броситься наутек. Но было уже поздно. Несколько пулеметных очередей с моей машины и с двух подоспевших сюда же истребителей нашей группы сделали свое дело. Японский «И-96» как-то вяло заколыхал крыльями, клюнул носом и пошел прямо в землю.

Мы снова взмыли вверх, отыскивая японцев. Но воздух уже был чист. Я ждал второй волны самолетов. Но бомбардировщики над Ханькоу так и не появились. Где они? Только потом я узнал, что командование японской авиагруппы, встретив нас, повернуло обратно и увело бомбардировщики назад. Мы дрались уже с истребителями, лишенными командиров, которые удрали с поля битвы раньше всех.

На аэродроме уже выложили знак посадки, и мы спокойно приземлились у самого «Т». Я быстро пересчитал машины своей группы. Все сели благополучно, но Чен Лу отсутствовал. Что с ним случилось? Я вначале сильно взволновался, но потом вспомнил историю с Тинем в бою 29 апреля и немно-

го успокоился. Очевидно, Чен Лу сидит где-нибудь на запасном аэродроме.

На летном поле было шумно, как всегда после боя. Окруженный толпой летчиков майор Ли Сян сообщил о предварительных итогах сражения. Японцы потеряли двенадцать истребителей и три бомбардировщика. Хотя бомбардировщики удрали, не приняв боя, их перехватила другая группа истребителей — в 200 километрах от Ханькоу.

Мы потеряли два самолета. Один из наших летчиков выпрыгнул из горящей машины с парашютом. Сейчас он делится с друзьями своими впечатлениями:

— Какие сволочи, эти японцы! Только я оторвался от машины, раскрыл парашют, вдруг слышу — трр... Это они шпарят по мне из пулемета. Спасибо нашим ребятам, — в самый разгар боя две наших машины бросились ко мне на помощь. Они прогнали японцев и сопровождали меня почти до земли. Если бы не они, — японцы растреляли бы меня в два счета...

— Эй, Ван Си! Иди-ка сюда, посмотри, что здесь делается. — Меня звал Хо Синь-цзе.

Я обернулся. Передо мной стояла истерзанная машина, которой, видимо, пришлось вынести серьезные испытания в бою. Винт у нее был изогнут. Под моторная рама лопнула. Можно было только удивляться, как летчик посадил такую машину на аэродром.

Хозяин этого истерзанного самолета — один из летчиков соседней с нами эскадрильи — возбужденно рассказывал о том, что ему пришлось сегодня проделывать.

Когда была объявлена боевая тревога, его самолет находился в ремонте — меняли мотор. Летчик пересел на другую машину. У этой, как на беду, были неисправны пулеметы. Работал только один. Но не оставаться же летчику в такой момент на земле! И он поднялся в воздух.

Своим единственным пулеметом наш парень успел зажечь японскую машину. Японский летчик выбросился с парашютом. Видимо, это был какой-то начальник: рядовым летчикам в японской

авиации парашютов не выдают. Ободренный первым успехом, наш летчик погнался за вторым японцем, который в панике бросился наутек. Но тут как на беду отказал последний пулемет!

Что делать! Парню чертовски не хотелось выпускать добычу. И вот он, безоружный, гнал японского летчика, вооруженного до зубов. Стоило тому атаковать нашего летчика, и ему нечем было бы ответить. Но повергнутый в панику японец даже не пробовал защищаться. Он на предельной скорости удирает к западу. Наши машины быстрее японских, и летчик не отставал от японцев.

— И вот поймите мое положение, — рассказывал нам хозяин истерзанной машины: — как быть? Бросить японца? Жалко. Стрелять в него? Нечем. Тогда я решил посадить его на наш аэродром. Пристраиваюсь сбоку, подхожу вплотную и грожу японцу кулаком. Он испуганно смотрит на меня. Я показываю ему рукой на наш аэродром. Он, как болванчик, кивает головой и разворачивается. Я — за ним. Ну, думаю, теперь все в порядке. Но этот мерзавец в самый последний момент опомнился и решил все-таки удрать. Он ушел чуть ниже, потом вдруг развернулся на 180 градусов и проскочил под меня. Вот негодяй! Я возмутился до глубины души. Ведь ему все равно от меня не уйти. Снова подхожу к нему — слева и сзади. Он уходит вниз, не замечая меня, и на низкой высоте, метров 200—250 над землей, мчитя к линии фронта. Я опять жму на гашетки. Нет, пулеметы не действуют! Что же делать? Я решаюсь на последнее средство — протаранить негодяя своей машиной. Будь что будет, — погибну сам, но его не выпущу. Догоняю его, — целюсь так, чтобы срубить винтом руль глубины. Вдруг вспомнил, что я не отстегнулся от сиденья. Как же я буду прыгать из машины, если она разобьется о вражеский самолет? Отстал. Отстегнулся. Приготовился к прыжку и снова догоняю японца. Подхожу ближе, ближе, — вот мы уже совсем рядом. Страшный удар. Вижу, как в сторону отлетает элерон японской машины, — я

ее ударил винтом по крылу. Мой самолет сразу затрясся, как бешеный. Неужели рассыплется? Я вижу, что японская машина потеряла управляемость. Она переворачивается на спину и падает. Хочу прыгать с парашютом. Но моя лошадка еще кое-как тянет, хотя мотор трясет отчаянно. Жалко с ней расставаться. Убавил газ и кое-как добрался до аэродрома. Вот и...

К нам бежал запыхавшийся доктор.

— Ребята, только что позвонили по телефону: найден наш раненый летчик. Сейчас его доставят в госпиталь...

Раненый? Ну, конечно, это Чен Лу! Все остальные уже были в сборе. Что же случилось с беднягой? Я быстро вскочил на седло мотоцикла и помчался к госпиталю. У ворот я встретил носильщиков, которые несли на легких бамбуковых носилках мокрого перепачканного тиной и окровавленного Чен Лу.

Наш друг был в полном сознании. Когда его переодели и забинтовали, он подозвал меня и с обычной усмешкой сказал:

— Первый случай в истории — летчик превращается в водолаза!

— Что же произошло, Чен?

— Их трое, а я один. Вертелся, как дьявол. Одного сшиб. Совсем было уже вырвался, а тут забарахлил мотор. Они этим воспользовались. Несколько пулеметных очередей, и мне уже становится жарко: из бака хлещет бензин, машина горит. Надо прыгать. Отцепился, выбросился. Японцы по мне из пулеметов. Чувствую — по ноге резнуло. Я парашют, конечно, не раскрываю, иду с затяжкой. Так до трех тысяч метров. Потом раскрыл. Опускаюсь. Кажется, все кончилось. И вот еще приключение: несет меня в самый центр большого озера. Вижу, на берегу рыбаки. Кричу им, бросаю перчатки. Приземлился в воду. Отцепил лямки, барахтаюсь. Мелко, — метра полтора глубины. Но на дне — ил. Вязну, захлебываюсь. И вдруг подплывает лодка. Я благодарю небо, — теперь я спасен! И в этот самый момент меня с лодки глушат веслом по голове. Оказывается, рыбаки

думали, что я японец, и хотели тут же меня прикончить.

Чен Лу громко рассмеялся и вдруг утих, сморщившись от боли.

Я подошел к доктору. Тот понял меня без слов и убежденно сказал:

— Можете не сомневаться. Ваш друг будет спасен. Он еще посчитается с японцами за разбитую машину...

Несколько дней спустя майор Ли Сян рассказал нам забавную историю. Наше командование получило сведения о том, как пытались оправдаться перед своим генеральным штабом разбитые нами командирские японских воздушных сил. Они докладывали:

— Китайская авиация применила новую тактику. Против нас выпускают столько же истребителей, сколько приходит наших. Потом в разгаре боя китайцы поднимают в воздух еще столько же машин, и потому авиация Восходящего Солнца терпит поражение...

Мы смеялись от души, узнав об этом объяснении. У японцев от испуга двойлось в глазах. Нам-то уж во всяком случае было отлично известно, что японцы численно превосходили нас.

Надо полагать, что и японский генеральный штаб не поверил этой басне. Командование японских воздушных сил, после неудачной попытки преподнести императору подарок в день рождения, было снято.

XI. ИЗ БОЯ В БОЙ

Жаркие летние дни. Печет солнце. Мы все стали черными, как негры. С утра до позднего вечера дежуришь у самолетов, встречаем японцев, провожаем наших бомбардировщиков, опять встречаем японцев, снова громим вражеские аэродромы.

Боевых встреч так много, что о каждой из них подробно рассказать невозможно. И когда я вспоминаю об этих жарких днях лета 1938 года, передо мной встают вьющиеся в воздухе истребители, похожие издали на рой мошек, вспыхивают и тают белые разрывы снарядов зенитной артиллерии, виснет паутина дымных лент, оставленных в воздухе трассирующими пулями, а над всем

этим — синее бездонное небо и ослепительное солнце.

Когда-нибудь об этих героических днях обороны Уханя будут написаны увлекательные книги. Историки воздадут должное доблести китайского народа, который на протяжении пяти месяцев после падения Суйчжоу отстаивал Ухань и сдерживал наступление миллионной японской армии, прекрасно оснащенной авиацией, танками, артиллерией и поддерживаемой морским флотом.

Триста тысяч убитых и раненых — вот цена, которую заплатили японцы за взятие Уханя. Они ворвались в Ханькоу лишь 26 октября. Им достались пустынные улицы, охваченные пожарами. Заводы, фабрики, институты, школы, детские дома — все было заблаговременно эвакуировано. Китайская армия, попрежнему сплоченная и сильная, стояла на новых укрепленных рубежах.

Вспомнят историки добрым словом и нас, летчиков республики. Уже подсчитано, что лишь за первые одиннадцать месяцев войны наша авиация сбила 600 японских самолетов. Одна бомбардировочная авиагруппа, в которой служит наш добрый друг Ми Сяо, за короткий промежуток времени уничтожила 120 самолетов, много танков, автомобилей, несколько морских судов, склады, аэродромы, нефтебазы, электростанции, железнодорожные мосты. Потеряла эта авиагруппа пока всего три самолета...

Я перелистываю свои фронтовые дневники, испещренные отрывистыми, сделанными наспех, надписями. Сейчас у меня нет времени восстанавливать полную картину событий прошедшего лета. Пусть же наши далекие друзья, к которым дойдут эти строки, не обессудят летчика Ван Си за небрежное описание интереснейшего периода обороны Китая. В этой главе читатели найдут лишь беглые записи из дневника, которые мне так и не удалось из-за недостатка времени обработать.

15 и юн я. На фронте жестокие бои. Японцы рвутся к Ханькоу. Дорогу армии вдоль Янцзы пробивает императорский флот. Около ста японских военных кораблей бомбардируют города, расположенные на берегах реки. Наша ави-

ация беспощадно громит этот флот. Японцы защищают свои корабли самолетами с авиаматок. Чуть ли не ежедневно — жестокие схватки в воздухе. Мало спим, мало сидим на земле. Боевые тревоги — чуть ли не ежечасно.

18 и юн я. Ми Сяо рассказал интересную историю о том, как его эскадрилья бомбила японский аэродром сквозь облака.

Дело было на Северном фронте. Японская авиация мешала нашим частям захватить очень важный пункт на Бэйпин-Ханьжоуской дороге. Базировалась японская авиация близ Чжандэ — далеко от линии фронта.

Наши бомбардировщики встретили в пути сплошную облачность. Облака поднимались до двух тысяч метров. Цель была закрыта. Как быть? Не возвращаться же домой с бомбами, когда трудный и опасный путь к цели уже преодолен!

Командир группы помнил, что в районе, где находится аэродром, есть высокая гора, вершина которой наверняка поднимается над облаками. Он повел самолеты к этой горе.

Все в порядке. Гора действительно гордо высилась над пеленою облаков, точно остров в океане. Флаг-штурман рассчитал расстояние, время и направление полета от этой горы к аэродрому. Корабли легли на боевой курс.

Это была нелегкая задача. Надо было пролететь над облаками 120 километров, не видя никаких ориентиров, идеально выдержать прямую, точно рассчитать время и сбросить бомбы на цель, которую не видишь. Если бы флаг-штурман ошибся на одну секунду, бомбы отклонились бы от цели на 85 метров. Наши летчики должны были в течение 25 минут выдерживать строго равномерную скорость полета.

И вот самолеты подходят к цели. Секундомер флаг-штурмана показывает расчетное время. От ведущего самолета отделяются бомбы. Они утопают в белой пелене облаков. Вслед за ведущим освобождаются от своего груза остальные самолеты.

Попали или не попали? Куда упали бомбы? На этот вопрос ответила япон-

ская зенитная артиллерия. Ми Сяо увидел разрывы снарядов над облаками. Японцы стреляли вслепую, сляясь прогнать нашу авиацию. Но наши летчики не ждали особых предупреждений. Сделав свое дело, они развернулись и спокойно ушли домой.

Вечером было получено сообщение: на японском аэродроме разрушено десять самолетов; уничтожено двадцать танков, стоявших у здания штаба; здание штаба разрушено; ранен японский генерал; японцы переносят свою базу за сто километров в тыл.

27 июня. Только что прибыла весть, которая потрясла всех нас. Погиб наш боевой товарищ. Погиб так, как погибают патриоты.

Это было у Аньцина. Два наших летчика приняли бой с тремя японцами. Один из наших самолетов был поврежден. Летчик мог спастись, выбросившись с парашютом. Но он принял другое решение. Твердой рукой он направил свою машину вниз — прямо на палубу японского военного корабля. Раздался страшный взрыв. Наш летчик погиб, но зато крупный японский корабль сильно поврежден и выведен из строя.

29 июня. Большая радость: Чен Лу вернулся в часть. Он еще немного прихрамывает, но майор разрешил ему сесть на машину. Сейчас каждый летчик ценится на вес золота.

30 июня. Весь Ухань снова говорит об авиации. Сразу три блестящих операции.

Дело было все там же — в Аньцине. Японцы превратили этот город в базу для наступления. Там — аэродром, стоянка судов, базы. И вот в строжайшей тайне готовится полет звена наших бомбардировщиков. Три самолета сваливаются на Аньцин, как снег на голову. Японцы не ждали такой дерзости.

На старте японского аэродрома стоят пятнадцать новейших истребителей. Наши штурманы хладнокровно освобождают самолеты от бомб. Прямое попадание. Японские истребители уничтожены.

На следующий день наши бомбардировщики повторяют дерзкий налет —

уничтожено еще десять самолетов, сожжены приангарные строения.

Наконец, бомбардировщики отправляются в третий рейд, и снова внезапность и смелость дают блестящие результаты: разбито шесть японских самолетов, разрушены строения.

2 и 3 июля. Сегодня изучали трофей — японский истребитель марки «96» (конструкция 1936 г.). Машина средних качеств, хотя в Японии она считается самой лучшей. Это высотный скоростный моноплан. Летает на высоте 7 тысяч метров. Скорость — 400 километров в час. Мотор — 550 лошадиных сил. Вираж делает за пятнадцать секунд. Вооружение — два пулемета, стреляющих через винт. Запас горючего — на четыре часа полета. Кабина очень узкая и тесная. Летчик сидит сразу за мотором. Прямо перед его глазами висит какая-то тряпка.

Любопытная деталь: японское командование не выдает рядовым летчикам парашютов, боясь, что летчики не захотят драться и будут выпрыгивать из самолетов.

Это не помогает. Мне рассказали, что в Кантоне прямо на аэродроме приземлились два японских самолета. Командир звена объяснил, что он не хочет воевать с китайцами, которые ему ничего плохого не сделали. К Кантону он вел три машины. Один из летчиков отказался пойти на посадку. Тогда командир звена расстрелял его в воздухе.

3 июля. Снова удачный день. В районе Дунлю наши бомбардировщики потопили три больших военных корабля. У Аньцина потоплено пять военных судов и один авианосец, на палубе которого стояло пять самолетов. Между Синкоу и Матаном крейсировали около пятидесяти японских военных судов. Они в панике бежали вниз по течению Янцзы.

4 июля. Решил воспроизвести в дневнике один из типичных рабочих дней нашей части.

В этот день мы уже дважды поднимались в воздух, встречая японцев. Дважды они обращались в бегство, теряя по несколько самолетов. На нашем аэродроме всего двадцать истребителей. У

японцев — в восемь-десять раз больше. Они хотят взять нас измором, — работают в 2—3 смены. Мы же дежури́м на аэродроме бессменно.

И вдруг — снова сигнал тревоги. Майор предупредил: через 10 минут японцы опять будут здесь. Мы только что закончили заправку бензиновых баков и пулеметных ящиков. На вышке уже трепетал красный флаг.

— В воздух!..

12 наших самолетов взлетели и набрали высоту в 5000 метров. Вдруг мы видим 36 японских бомбардировщиков. Соотношение не в нашу пользу. Но мы смело атакуем японцев. Они наспех сбрасывают бомбы, не целясь, и бегут на запад, оставляя на земле несколько разбитых и сожженных машин.

Мы поворачиваем к аэродрому. И в этот самый миг со стороны солнца на нас дождем валятся японские «И-96» — запоздавший конвой бомбардировщиков. Они нападают на нас группами по 5 — 7 самолетов.

Четвертый бой за день! У нас — ограниченный запас горючего и патронов. И все-таки мы приняли и этот бой.

На каждый наш самолет приходилось по 3—4 японских. И из этого боя мы вышли победителями. Но какое огромное напряжение сил и нервов испытал каждый из нас!..

5 и ю л я. Опубликована официальная сводка. За последние 10 дней наша бомбардировочная авиация потопила 36 японских кораблей, 40 катеров, повредила 23 военных корабля. В воздухе сбито 23 японских самолета.

6 и ю л я. Страна торжественно отмечает годовщину борьбы с японскими захватчиками. Год тому назад смешанная японская бригада генерала Кавабэ спровоцировала вооруженное столкновение в районе Бэйпина. Японцы думали покончить с нами одним ударом.

Но вот прошел год, а силы Китая не только не сломлены, но, наоборот, растут. Взбешенные японцы прибегают к неслыханным зверствам и издевательствам над мирным населением. Они были бы рады совершенно уничтожить весь наш народ. Расстрелы, казни, грабежи, насилия, — вот их тактика.

На завоеванной территории японцы закабаляют китайцев. Китайскому рабочему платят 7 пенсов в час; японский рабочий за ту же работу получает 30 пенсов. Китайского крестьянина лишают самых плодородных участков, — эти участки отдают японским переселенцам.

Беспощадно расправляются японцы с китайской культурой. В Шанхае, Бэйпине, Тяньцзине разрушено 23 школы и университета. В уцелевших средних школах введено обязательное преподавание японского языка. Китайцев пытаются превратить в бессловесных рабов японской империи...

Но китайцев нельзя поработить: они будут драться с врагами до последнего человека. Вот несколько фактов, о которых должно знать все человечество.

... Август 1937 года. Китайский полк обороняет высоту в районе Нанькоу. Японцы наступают с танками и тяжелой артиллерией. После двадцатичетырехчасового боя наш полк был полностью уничтожен. Единственный боец, оставшийся в живых, собирает в одну кучу винтовки, патроны, гранаты своих погибших друзей; он хочет взорвать оружие, когда японцы подойдут поближе.

Не слышно больше ответной стрельбы, японцы бросаются на штурм. Они уже подходят к нашим позициям, и в этот момент раздается оглушительный взрыв, от которого погибает много японских солдат. Герой-боец вернулся в свою часть.

...Ноябрь 1937 г. В городе Яминбао сосредоточено 20 тысяч японских солдат, охраняющих аэродром. Батальон 8-й армии решается на безумно дерзкий поступок. Он прорывается к аэродрому и сжигает на нем 24 японских самолета. Из всего батальона осталось в живых только несколько десятков человек, но боевая задача была выполнена.

...Март 1938 года. Наши части защищают город Тенсянь от превосходящих сил японцев. После 8-часового боя весь гарнизон Тенсяня погибает. Тогда охрану Тенсяня принимает на себя отряд из 3000 бойцов под командованием Ван Мин-чжана. Двое суток кипит кровопролитное сражение. Наши солдаты отстаивают каждый камень полураз-

рушенного города. Японцы несут огромнейшие потери. Но на их стороне — преимущество техники и вооружения. Наши солдаты защищались до последней минуты с исключительной самоотверженностью. Из 3 тысяч осталось в живых только 500. 300 раненых бойцов, не желая сдаваться японцам, покончили самоубийством, стреляя друг в друга. Когда японцы вошли в город, они нашли здесь лишь окровавленные развалины...

Японцы продвигаются вглубь Китая ценой огромных потерь. Но стоит им продвинуться на десяток километров вперед, как в тылу у них возникает новый партизанский отряд, который бьет их в спину.

В северной провинции Аньхуэй семидесятилетний старик Фан Шао-джоу организовал трехтысячный отряд «красных пик», который наносит врагу тяжелые поражения.

В провинции Шаньси отряд горняков-партизан возглавляет старая женщина, которой исполнился 61 год. Один ее сын сражается в регулярной армии, другой — в партизанском отряде. Сама старуха пользуется в отряде огромным авторитетом и отлично руководит партизанскими боями.

Когда японцы заняли Шанхай, они начали насиловать наших девушек. Многие из девушек бежали, многие покончили с собой. Три мужественных дочери китайского народа стоворились не сдаваться живыми самураям. Взяв по несколько ручных гранат, они дерзко вошли в месторасположение японских войск. К ним бросилась целая сотня японцев. Девушки забросали их ручными гранатами и убили несколько десятков насильников. Отважных героинь японские изверги прокололи штыками.

Такие истории можно рассказывать бесконечно долго. Ежедневно наша печать приводит новые примеры народного героизма.

Продажные собаки-троцкисты пытаются продолжать свою гнусную деятельность. Но народ хорошо разбирается в их маневрах. Он знает, что троцкисты — это наемники японского штаба. Мы еще не забыли, как во время

сианьских событий они пытались снова разжечь гражданскую войну в Китае. Мы не простим им убийства национального героя Ван И-чже, который первым из высших военачальников установил совместно с коммунистами единый анти-японский фронт. Мы знаем, что конечная цель троцкистов — это порабощение Китая Японией.

И народ сурово расправляется с предателями. Недавно в городе Линьфынь был пойман и разоблачен троцкистский вождь Чжан Муо-тао. Он подавал сигналы японским самолетам. Это заметили четверо студентов Национально-революционного университета. Чжан скрылся. Студенты подняли тревогу. Все местное население бросилось на поиски предателя.

Чжан Муо-тао был пойман. На квартире у него нашли восемь ящиков ручных гранат, четыре маузера, пять револьверов, радиостанцию для связи с японцами и много троцкистских документов.

Китайский народ непоколебим в своем стремлении до конца разгромить врагов — как внешних, так и внутренних.

Весь вечер мы втроем, — я, Чен Лу и Хо Синь-цзе — бродили по улицам, толкаясь в праздничной веселой толпе. Всюду горят бумажные фонарики. Молодежь несет на длинных бамбуковых палках смешные бумажные фигурки — карикатуры на японских генералов. Звучит пронзительная музыка. Люди оживленно беседуют друг с другом. И, хотя уже неподалеку отсюда гремит оружейная канонада, в городе нет и тени паники. Во второй год борьбы с захватчиками китайская республика вступает еще более сплоченной и крепкой.

8 и 10 я. Сегодня снова большой день у бомбардировщиков. Два налета на аэродромы — в Уху и Аньцине. Три раза бомбили японские корабли на Янцзы. У Аньцина один корабль затонул. У Матана на двух судах вспыхнули пожары.

15 и 10 я. Бои в долине Янцзы приобретают все более ожесточенный характер. За последние дни японцы потеряли в районе Пынцзе 10 тысяч убитыми и ранеными. Из Гуйчи и Дунлю они

отправили в Японию 20 пароходов с урнами, в которых лежит пепел убитых.

Разъяренные японцы пытались сегодня напасть на Ханькоу с воздуха. К нам прилетали 18 японских бомбардировщиков и 12 истребителей. Встретили мы их, как обычно. Один японский самолет сбит, другой поврежден. Остальные в панике бежали.

Наши бомбардировщики сегодня опять громили японские корабли — выведено из строя еще 5 судов.

16 и ю л я. Сегодня встретил знакомого инженера, который только что прилетел из Сычуани. Он рассказывает много интересного об этой огромной провинции, которая еще недавно была полупустыней. Освободительная война пробудила ее к жизни.

Что мы знали о Сычуани раньше? Знали, что это огромная провинция, равная примерно 4/5 Германии. Знали, что 3/4 Сычуани покрыто горами. Знали, что на востоке провинции лежит котловина, в которой такие сказочные климатические условия, что там собирают три урожая в год. Знали, что в Сычуани растет сальное дерево, бамбук, лаковое дерево, мыльное дерево, восковое дерево, что в джунглях живут обезьяны и попугаи.

Но все это были лишь смутные, сбивчивые представления. И только теперь, когда Сычуань становится одной из баз освободительной войны, мы начинаем понимать, какой замечательный и богатый край не находил применения своих возможностей на протяжении долгих лет.

Сычуань уже дала армии сотни тысяч добровольцев. Она внесла в фонд национальной обороны около 20 миллионов долларов.

Сейчас в этой провинции проложены новые шоссе. Это гигантские сооружения. Дорога Чунцин — Чанша протянулась на 1 300 километров. Великий шоссе путь соединил Сычуань с Юннанью и далее с Индокитаем. Открыт прекрасный путь для экспорта. Строятся железные дороги.

Только теперь начинается эксплуатация богатейших недр в провинции. Тонна угля в Чунцине стоит 11 долларов —

второе дешевле, чем в Ханькоу. Только за первые месяцы войны добыча угля выросла на 25 проц. Солью Сычуань может обеспечить всю страну. Найдена нефть — на северо-востоке провинции и к востоку от Чунцина. Велики запасы меди и железа. Сейчас с востока в Сычуань эвакуированы многие десятки заводов и фабрик.

Чунцин — временная столица Китая — становится большим культурным городом. В нем сейчас насчитывается до 800 тысяч жителей. Работает университет. Издаются газеты. Киностудия готовит патриотические фильмы.

В окрестностях города разбито около ста строительных площадок, — здесь будут сооружаться здания для эвакуированных с востока предприятий. Цементный завод Чунцина работает с полной нагрузкой. На электростанции пришлось пустить добавочный мощный турбогенератор.

Так преображается лицо нашей страны в суровые дни освободительной войны. Как же расцветет Китай после победы над Японией!

17 и ю л я. Наши самолеты летали над Шанхаем. Японские зенитчики тщетно пытались их победить.

19 и ю л я. Воздушный бой над Наньчаном. Сбито два японских самолета.

20 и ю л я. Наши бомбардировщики потопили еще две японских канонерки.

24 и ю л я. Наши самолеты опять летали над Шанхаем.

26 и ю л я. Все эти дни было очень много работы. Поэтому пришлось ограничиваться лишь самыми беглыми записями. Сегодня небольшая передышка.

Капитан Ми Сяо, который уже оправился от своей лихорадки, опять рассказывал нам изумительные истории.

Недавно наши бомбардировщики снова летали в Аньцин — бомбить японский аэродром. Погода была отвратительная — туман, низкая облачность. Аэродром закрыли облака. И вот командир группы принимает решение — итти на реку, бомбить корабли.

Внизу сквозь дымку тумана неясно рисовались контуры военных судов. Среди них один корабль необычной

формы. Судя по тому, как бешено за-
лаяли японские зенитки, корабль имел
особенно большую ценность. Оказывается,
это была авиаматка с 40 самолета-
ми на борту.

Наши бомбардировщики спокойно
шли к цели, хотя навстречу им уже
мчались японские истребители.

Один наш самолет японцам удалось
сбить. Другие получили немало проб-
овин. Но японская авиаматка все-таки бы-
ла выведена из строя, а четыре других
корабля пошли ко дну.

Другой рейд бомбардировщиков был
не менее удачен. Подкравшись к япон-
ским кораблям на большой высоте, они
отыскали окно в облаках и сбросили
бомбы. Ко дну пошли японская авиа-
матка с 20 самолетами на борту и еще
3 больших корабля...

...Нет, японцам нелегко будет взять
Ухань. А ведь итог войны не будет ре-
шен в Ухани: мы возьмем японцев из-
мором, затягивая их все дальше вглубь
страны.

ХИ. ХОРОШИЕ ВЕСТИ С СЕВЕРО-ВОСТОКА

Уже несколько дней все мы пережи-
ваем глубокое волнение. Где-то далеко,
на северо-востоке, разыгрываются таин-
ственные события, о которых к нам до-
ходят самые противоречивые сведения.
Японское радио трубит о том, будто бы
Советский Союз начал войну против
империи Восходящего Солнца. Но мы
знаем цену японским уткам и прекрасно
понимаем, что речь идет об очередной
провокации Квантунского штаба. Одна-
ко уже сейчас отчетливо видно, что на
этот раз у советской границы происхо-
дят события крупнейшего масштаба. До
нас дошли сведения о том, что там идут
длительные бои с участием танков и
артиллерии.

Японское командование явно нервни-
чает. Генералы его величества прекрас-
но понимают, насколько невыгодно по-
ложение армии которую бьют одновре-
менно и с фронта и с тыла. Надо по-
лагать, что на северо-востоке ее дела
неважны. Но и здесь, в долине Ян-
цзы, они не блестящи.

Сегодня нам предстоит немало пора-
ботать. Майор Ли Сян еще с вечера
сказал нам:

— 3 августа японцы предполагают
еще раз прорваться в Ханькоу.
Проверьте как следует материальную
часть...

Еще затемно собираемся на аэродром.
При свете звезд техники готовят мощ-
ные бомбардировщики к полетам. Сино-
птики обещали на сегодня хорошую по-
году. Ми Сяо со своими друзьями впло-
голосо обсуждают боевое задание.

Чен Лу, Хо Синь-цзе и я яростно
препираемся по поводу опубликованно-
го в газетах сообщения токийского кор-
респондента французского телеграфного
агентства Гавас. В этом сенсационном
сообщении рассказывалось, что совет-
ские самолеты будто бы бомбят Корею.

Хо Синь-цзе категорически опровер-
гает это сообщение. Чен Лу склонен
признать его близким к истине; быть
может, действительно советские самолеты
вступили в бой? Я упрекаю обоих в
бесплодности подобных споров: ведь
никто из нас толком еще не знает, что
происходит на северо-востоке. Конечно,
Советы миролюбивы. Но если кванту-
нские генералы зашли в своих провока-
циях очень далеко... кто знает, чем все
это может кончиться?

Еще солнце не взошло, а на старте
уже выстроилась длинная шеренга раз-
нокалиберных самолетов. Среди них бы-
ло лишь семь первоклассных, прослав-
ленных в боях истребителей, — корот-
кокрылые зеленые бипланы с голубыми
звездами Гоминдана. Остальные два-
дцать пять истребителей выглядели
очень убого рядом с этими красавцами.
То были устарелые «шрайки», «дугла-
сы», «хоки». Но выбирать в данную ми-
нуту было не из чего...

Вдруг в предрассветной тишине звуч-
но запела автомобильная сирена; на
шоссе вспыхнули фары, и на аэродром
мягко вкатился форд майора. Ли Сян
спрыгнул на ходу и подошел к нам юно-
шески легкой походкой. Чувствовалось,
что у него наредкость хорошее распо-
ложение духа.

— Внимание, летчики! — крикнул
он: — Зовите сюда бомбардировщиков,

техников, — зовите всех. Есть хорошие новости!..

От бомбовозов уже бежали люди. Запыхавшись, пилоты нетерпеливо спрашивали нас, о чем собирается говорить майор. Ми Сяо, как всегда, выглядел наиболее осведомленным человеком, но... молчать он умел лучше всех. Вежливо улыбаясь, капитан пожимал плечами. Наконец, когда все собрались, майор сказал:

— Я только что из авиационного комитета. Внесена полная ясность. Могу сообщить совершенно официально: на северо-востоке, близ залива Посьет, — там, где сходятся границы СССР, Кореи и Манчжурии, идут военные действия...

Чен Лу пребольно ушипнул меня за руку и шепнул:

— А что я говорил?..

Майор продолжал:

— Сейчас еще рано делать какие-либо определенные выводы. Наш великий сосед не хочет войны. Однако японская военщина ведет себя так нахально, что на этот раз пограничный конфликт приобрел весьма солидные размеры. Сведения, поступающие из Токио, конечно, искажают действительность...

Теперь уже Хо Синь-цзе толкнул меня в бок:

— Я же говорил, что это клевета!

— Однако, — говорил майор, — совершенно ясно, что там идут крупные бои. Японцы стянули в этот район большие военные силы и вторглись на территорию СССР, захватив высоты у малоизвестного озера Хасан. Сейчас советские войска выбивают их обратно. Бои идут на узком фронте. Участвует в них несколько дивизий. Много артиллерии. Танки. По некоторым сведениям, позавчера в бой вступила советская авиация.

По рядам выстроившихся летчиков и техников прокатился гул одобрения. Майор улыбнулся и продолжал:

— Советская авиация четыре раза бомбила японские позиции, расчищая дорогу танкам и пехоте. Сейчас бои продолжаются. Судя по сведениям, которыми мы располагаем, моральное состояние японских солдат весьма резко

снизилось. Надо полагать, что сегодня японское командование попытается достигнуть успехов за наш счет, чтобы хоть как-нибудь поднять авторитет своего оружия. Агитировать мне вас не зачем: я думаю, вы и сами поймете важность переживаемого нами момента...

Уже пылал восход. Звезды угасали. На старте рвели моторы бомбардировщиков. Один за другим серебристые корабли уходили в небо, навстречу солнцу. Им предстояло сегодня немало поработать.

Мы остались на аэродроме — выжидать японцев. За эти полгода каждый из нас свыкся с боевой обстановкой и приобрел солидный боевой опыт. Первые огрубели, мы стали настоящими солдатами и хладнокровно выполняли свой воинский долг. Кто из нас мог думать в феврале, что 7 китайских истребителей сумеют принять удар 30 японских машин и разгромить их в бою? А ведь недавно нам пришлось проделать именно такую операцию.

Давно уже выветрился дух романтики, когда мы с душевным трепетом ждали сигнала боевой тревоги. Но в этот день мы чувствовали себя как-то необычно. Новости, о которых рассказал нам майор, глубоко волновали каждого из нас. Весть о том, что где-то на северо-востоке японцев сейчас громят летчики нашего великого друга — СССР, вселяла желание сделать какой-то особенный подвиг, совершить большую доблесть.

Солнце уже поднялось высоко над горизонтом. Было жарко. Мы сидели на траве у самолетов. Разговор как-то не клеился. Хотелось поскорее подняться в воздух. Даже любимая игра в кости была забыта, и Чен Лу, меланхолически посвистывая, царапал костяной кубик своим кинжалом.

Наш друг сильно возмужал за эти месяцы, и кличка Пышка как-то сама собой отпала. Характер Чен Лу становился все более твердым и сильным. У него появились новые интересы, новые запросы. Давно уже не слышали мы от него жалоб на японского унтер-офицера, который разграбил его лавку в Ханьчжоу. Давно не вздыхал он о благах

мировой жизни торгаша. Война закалила Чен Лу и сделала его храбрым солдатом.

— Наконец - то, — воскликнул Хо Синь-цзе, все утро не спускавший глаз с вышки аэродромного здания. Мы оглянулись и увидели, что над вышкой трепетал красный флаг. К нам уже мчался на машине майор.

— На Ухань идут 70 японских самолетов — бомбардировщики и истребители. Действуйте согласно плану! Будьте мужественны!..

Взлетая, я успел заметить, как суетились на улицах люди, услышавшие сигнал воздушной тревоги: японцы подходили все ближе, и мирные жители Уханя уже испытали весь ужас воздушных бомбардировок. Сейчас толпы людей устремлялись на берега озер, в поле, пытались прорваться на неприкосновенную территорию французской концессии.

Семьдесят самолетов... Против них мы выставляем лишь семь современных скоростных истребителей и двадцать пять устаревших машин. Нам предстоял жесточайший неравный бой.

Наша семерка легко обогнала все отряды. Справа за мной, как всегда, шел Чен Лу. Наши машины бешено мчались вперед, пожирая пространство.

Южнее Ханькоу, над зелеными рисовыми плантациями, мы заметили противника. Щукообразные японские бомбардировщики с кровавыми пятнами на крыльях шли по-ротно, группами по девять самолетов. Целые стаи краснохвостых монопланов, крылья которых были изогнуты кверху, охраняли банду воздушных громил, готовых уничтожить тысячи жизней стариков, женщин и детей.

«И-96»... — мелькнуло в моем мозгу. Стало быть, нашим стареньким «дугласам» придется туго...

Бой начался на высоте 5 тысяч метров. В холодном воздушном океане творилось нечто совершенно неопишное. Весь воздух был исполосован сероголубыми дымными лентами — следами трассирующих пуль. Яростно выли десятки моторов — нагрузка превышала всякие пределы. Время от времени то один, то другой краснохвостый самолет

окутывался дымом, клевал носом и отвесно шел книзу, оставляя за собой огненный след. Но силы японцев все еще во много раз превышали наши. На каждый наш биплан, точно стая шакалов, набрасывались сразу по пять-шесть японцев.

Мы держались единственно возможной в этих невероятных условиях тактики: летчики работали поближе друг к другу, чтобы вести сосредоточенный огонь. Наши бипланы более маневренны, чем японские «И-96». Мы вертелись в воздухе, как черти, перегоняя японцев на виражах, и обрушивали на них смертоносные струи свинца. У меня иной раз темнело в глазах от перенапряжения. Мы то взмывали свечой кверху, то на бешеной скорости делали боевые развороты, то пикировали почти отвесно, догоняя струсившего врага.

В стороне от нас группа устаревших истребителей, как могла, сдерживала напор бомбардировщиков. Многие из наших товарищей шли на верную смерть, садясь в кабины этих старых, плохо вооруженных самолетов. Сейчас уже несколько тихоходных «шрайков» и «хоков» упали на землю, расстрелянные японскими пулеметчиками. Но задачу свою эта группа выполнила; как потом я узнал, к городу прорвались лишь восемнадцать бомбардировщиков, да и те испуганно металась в воздухе, бросая бомбы наугад. Лишь две из них угодили в дальний угол аэродрома, не причинив никакого вреда.

Наша семерка приняла на себя весь удар японских истребителей и заслонила группу тихоходных машин. Мы буквально изнемогали в этой неравной борьбе. Один из моих друзей, опытный пилот, вынесший на себе всю тяжесть долгой воздушной войны, уже был пронзен насквозь японскими пулями. Его самолет пылал. Последним усилием летчик выбросился из кабины и дернул за кольцо парашюта. Но, когда раскрытый белый купол бережно опустил его на землю, он был уже мертв.

В воздухе остались шесть бипланов. Мы с удвоенной яростью бросались на врага. Строй японских истребителей давно уже был разбит. Они беспорядоч-

но металась в воздухе. Часть из них уже повернула во-свояси. Еще мгновение, и этот невероятный поединок закончится с честью для нас... И вот в этот напряженный момент я увидел странное зрелище...

Чен Лу, который все время дрался бок о бок со мной, атакуя снизу японский истребитель, попал под огонь целой стаи «И-96». Идя вверх на полном газу, Чен вдруг сделал мертвую петлю. Я не поверил своим глазам. Мертвая петля, как известно, в бою абсолютно неприменима. Что заставило опытного летчика подставить себя под пулю в такую критическую минуту?

Биплан Чен Лу с грозным ревом падал вниз, завершая петлю. Даже японцы опешили и метнулись в стороны, освобождая дорогу загадочной машине. Чен, не меняя направления, снова задрал нос своей машины, и она с душевраздирающим воплем снова полезла вертикально вверх.

Я вздрогнул. Что задумал Чен Лу? Но в это мгновение на меня сразу ринулись четверо японцев, я ввязался в драку и на мгновение потерял Чен Лу из вида.

Бой длился неслыханно долго — целых сорок минут. Я чувствовал огромную усталость. В ушах стоял звон, зверски болела голова, немного тошнило от бешеных перегрузок на маневре, хотелось пить. И, когда краснохвостые японские истребители повернули, наконец, на восток, я испытал огромное облегчение. Хотел было отдать ручку от себя и нырнуть вниз на посадку, как вдруг увидел нечто такое, от чего похолодела кровь в жилах: уцелевшие от разгрома японские истребители уже скрылись за горизонтом, наши самолеты ушли вниз, а в синем бездонном небе все еще кружился одинокий самолет Чен Лу, делавший одну петлю за другой.

Я дал полный газ и взмыл кверху, стараясь пристроиться к самолету своего друга. На мгновение моя машина подошла к нему почти вплотную, наши крылья едва не коснулись. Я глянул в кабину бешено мчавшегося биплана. В ней неподвижно сидел летчик, опершись на спинку и глядя прямо перед собой.

Ручка была доотказа выбрана на себя. Ураганный ветер трепал конец шерстяного шарфа, окутанного вокруг шеи Чен Лу, солнечные блики играли в стеклах его новеньких щегольских очков.

Чен не обращал никакого внимания на все мои сигналы. Казалось, он забыл о всем окружающем и глубоко сосредоточился на выполнении трудного школьного задания. Петля... Еще петля...: еще петля... еще петля...

Мне стало жутко, и я, отвалив вправо, доотказа сунул ручку вперед и с полным газом ринулся в бездну. Неужели у моего храброго друга помутился разум? Ничем иным нельзя было объяснить в высшей степени странное поведение Чен Лу. Помочь ему я был бессилен...

У самой земли я привычным движением вывел машину из пике и осторожно посадил ее на аэродром. У старта толпились летчики, с глубокой тревогой следившие за маневрами Чена. Его мощный истребитель очень медленно терял высоту. Чен уже десятки раз повторил петлю, и каждый раз эта фигура была точной копией предыдущей.

Время тянулось неслыханно долго. Вот, наконец, истребитель в тысяче метров над землей. Вот до земли остается пятьсот метров... триста. Чен перешел все рамки дозволенного. Свою последнюю петлю он начинает на высоте сто пятьдесят метров. Истребитель, точно смертельно раненная птица, взмывает на полкилометра кверху, поворачивается вверх колесами и с бешеным ревом мчится почти отвесно вниз.

И тут совершается редчайший, поистине невероятный случай. Я никогда не поверил бы этому, если бы не видел своими глазами, как у самой земли самолет вышел из пике и на бешеной скорости ударился колесами о землю, разбил винт, несколько метров прополз на брюхе и остановился.

Мы ринулись к самолету через ползатоленные рисовые поля, утопая в грязи. Через несколько минут мы были у цели. Рядом с машиной уже собралась толпа крестьян. Они стояли недвижно. Я рванул к машине и окаменел. Передо мной в совершенно целой

кабине сидел мертвый Чен Лу. Пулеметная очередь пригвоздила его к сиденью. На кожаной курточке застыли четыре струйки крови. Холодная рука сжимала ручку управления и ноги твердо держали педали.

Я плохо помню, что было дальше. Мне потом рассказывали, что майор, пытаясь отвлечь мое внимание, долго рассказывал о том, что в этом неравном бою сбиты одиннадцать японских истребителей и один бомбардировщик, что налет отбит, что нам вынесена благодарность за лихие и отважные действия.

Ничто не могло развлечь и утешить меня. Только поздним вечером капитан Ми Сяо облегчил мои страдания рассказом о том, что бомбардировщики, которые утром ушли на восток, достойным образом отомстили за смерть храброго Чена.

На востоке у Аньцина японцы сосредоточили крупные военные силы. Звену наших бомбардировщиков было поручено проникнуть в самое логово противника, охраняемое десятками истребителей и прекрасными зенитными орудиями. Задача — безумно дерзкая и рискованная. Но наши летчики без возражений приняли боевой приказ, ведь такие налеты предпринимались уже неоднократно. Сохранив приготовления к полету в строжайшей тайне, бомбардировщики ввели японских шпионов в заблуждение ложным курсом и... свалились на Аньцин, как снег на голову.

Чтобы обеспечить идеальную точность, летчики решили бомбить в два захода, хотя это удваивало риск. Первый раз они сбросили на военные объекты половину бомбовой нагрузки. Во второй раз два самолета сбросили бомбы на аэродром, а третий послал свои гостицы японским военным кораблям.

Японцы открыли неистовую пальбу из зенитных орудий. Один снаряд разорвался как раз посередине звена, когда наши летчики уже собрались уходить домой, осколки слегка повредили хвост одного из самолетов и исцарапали мотор другой машины, — немного погодя этот мотор вышел из строя.

Летчики уходили на запад, осматривая с воздуха пылающие военные об-

екты. Весь аэродром был окутан дымом. Бомбы упали прямо в цель.

Вдруг летчики увидели перед собой двенадцать японских истребителей, вылетевших навстречу нашим храбрецам. Как известно, наши бомбардировщики обладают большей скоростью, чем истребители противника. Они могли бы преспокойно уйти от японцев. Но на этот раз наши летчики приняли неожиданное решение. Сомкнувшись четким строем, они ударили на японцев, поливая их смертельным огнем пулеметов. Наши меткие стрелки зажгли три японских истребителя. Еще две японских машины камнем свалились вниз, унося в своих кабинах трупы пилотов. Остальные семь истребителей обратились в паническое бегство.

Только тогда звено бомбардировщиков повернуло на запад и взяло курс на свой аэродром. Добрались наши летчики домой с большим трудом. Одному из них последние семьдесят километров пришлось тянуться одним мотором. На другом самолете техники после посадки насчитали пятьдесят пробоя.

Но все эти повреждения ребята окупали с лихвой своей удачной операцией: они уничтожили бомбежкой больше половины из 60 японских самолетов, стоявших на аэродроме в Аньцине, потопили большой корабль японского военного флота и... сбили в воздушном бою несколько истребителей. Для одного рейса трех бомбардировщиков — итоги совершенно исключительные.

Поздней ночью, когда все уже спали, я сел писать письмо родителям Чен Лу. Он не баловал их письмами. Правду говоря, и сам я не рассчитывал на то, что моему посланию посчастливится пересечь линию фронта и дойти в далекую приморскую деревушку, где рыбачит дряхлый отец моего друга. Но я считал себя в долгу перед стариками, у которых война отняла сына. Мы не уберегли нашего славного Чен Лу. Конечно, мы жестоко отомстим за него японским разбойникам. Но ведь отцу и матери героя от этого не станет легче! И я до рассвета сидел над письмом.

Подробно обрисовав картину воздушного боя, я рассказал старикам, как

их храбрый сын пытался спасти погибающую машину, как он до последних секунд боролся со смертью и как геройски погиб.

За окном уже синело утро. Доносился говор техников, спешивших к самолетам. Вдруг откуда-то издалека донеслась печальная и грозная мелодия. Чей-то красивый высокий голос пел одну из самых популярных в народе песен. Я узнавал знакомые слова:

Каленая ненависть выжгла нам грудь.
Товарищ, смотри же, никогда не забудь

Воздушные бомбы и трупы детей,
И пыток и казней кровавую жуть!

Стройный хор подхватил:

И пролитых слез голубой водопад,
И пролитой крови багровый каскад,
Сверлящих обид не забудь никогда,
Японского рабства чудовищный ад!..

И снова к небу поднимался высокий голос:

Отвагой пылая и гневом горя,
Незванных пришельцев гони за моря,
Чтоб жизни спокойной и мирных трудов
Над родиной нашей зарделась заря...

Я распахнул окно и долго прислушивался к далекой песне. Заснуть мне так и не удалось — передо мной стоял дорогой образ погибшего друга.

Дни идут, напряженные, грозные дни. Мы попрежнему бросаемся из боя в бой. Наши машины теперь уже совсем не те, какими мы приняли их в феврале, окончив школу. Десятки заплата, закрашенных эмалитом, покрывают крылья. Износились детали, сменили не один мотор. Но даже на этих потрепанных машинах мы громим новехонькие японские самолеты. На обломках сбитых машин самураев мы читаем самые последние даты, — эти самолеты поступают сюда прямо с конвейеров авиационных заводов. Весь запас самолетов, накопленных Японией, уже растрачен. Надолго ли хватит императорской армии ее ресурсов?..

Сейчас, когда я дописываю эти строки, идет уже второй год кровопролитной войны, затеянной японскими генералами. Около полумиллиона наших соотечественников погибли либо стали калеками. Но весь народ попрежнему ненавидит захватчиков и готов продолжать войну до окончательной победы над японцами.

Огромное впечатление произвели в Китае хорошие вести, пришедшие с северо-востока. Как и следовало ожидать, провокация квантунских генералов окончилась позорным провалом. Советы ответили на нее таким ударом, что японцы кубарем скатились с захваченных ими высот. Говорят, что особенно сильное впечатление произвела на японское командование советская авиация.

События у озера Хасан прославились на весь мир. Что же касается нас, работников китайской авиации, то мы от всей души аплодируем нашим братьям.

На-днях я впервые в своей жизни читал Ленина, знаменитого руководителя русской революции. Кантонец Тин пригласил мне свою тетрадь, в которую он, учась в университете, записывал учение Ленина. Оказывается, этот гениальный человек с большим вниманием следил за судьбами Китая. Он писал по поводу нашей революции 1911 года:

«Четыреста миллионов отсталых азиатов добились свободы, проснулись к политической жизни. Четвертая часть населения земного шара перешла, так сказать, от спячки к свету, движению, борьбе»¹.

И еще писал Ленин:

«Вся командующая Европа, вся европейская буржуазия в союзе со всеми силами реакции и средневековья в Китае.

Зато вся молодая Азия, то-есть сотни миллионов трудящихся в Азии имеют надежного союзника в лице пролетариата всех цивилизованных стран. Никакая сила в мире не сможет удержать его победы, которая освободит и народы Европы и народы Азии»².

¹ В. И. Ленин. Собр. соч., т. XVI, стр. 188.

² В. И. Ленин. Собр. соч., т. XVI, стр. 396.

В эти дни я с особой силой почувствовал справедливость этих пророческих слов. Когда советские летчики громили японцев у озера Хасан, Европа и Азия наглядно убедились в силе и могуществе надежного союзника всех угнетенных народов. Пролетариат России уже навел порядок на одной шестой части земного шара. Сейчас СССР оказывает огромную моральную помощь всем угнетенным народам, в том числе и нам, борющимся за демократию и национальную независимость четвертой части населения земного шара.

Учитель китайского народа незабвенный Сун Ят-сен учил нас итти за СССР к священным целям революции. Уже находясь на смертном одре, Сун Ят-сен писал в своем завещании, адресованном народам СССР:

«Хотя я в настоящее время неизлечимо болен, мысль моя все время обращена к вам и к будущему моей партии и моей страны... Что я оставляю здесь, это — Гоминдан, и моя единственная надежда, что он будет действовать совместно с вами для завершения освобождения Китая и других угнетенных наций от империалистического гнета...».

Советский народ на деле доказал, что он горячо сочувствует Китаю в той вой-

не, которую мы ведем с японскими империалистами. Уже после того, как эта война началась, СССР заключил с нами договор о взаимном ненападении.

Сейчас, после хасанских событий, японские собаки, изгнанные с советской земли, зализывают свои раны и трусливо дрожат при одной мысли о том, что все это может повториться. Нет сомнений, что японские генералы захотят отыграться на Китае. Ну что ж! Китай продолжает борьбу. И, как бы тяжело нам ни было, наш народ не прекратит этой борьбы до тех пор, пока у Японии не останется ни одного самолета, ни одного танка, ни одного здорового солдата.

Рано или поздно знамя республики снова будет реять над Шанхаем, над Нанкином, над Бэйпингом, над всеми городами и деревнями нашей необъятной страны. В этом клянемся мы, рядовые солдаты Китая.

Китайская республика,
Центральный фронт.

Август — октябрь 1938 г.

Перевел с китайской рукописи, литературно обработал и подготовил к печати

Юрий ЖУКОВ

Лирические стихи

В. ЛУГОВСКОЙ

★

1. МЕДВЕДЬ

Девочке медведя подарили,
Он уселся, плюшевый, большой,
Чуть покрытый магазинной пылью,
Важный зверь
с полночной душой.

Девочка с медведем говорила,
Отвела для гостя новый стул,
В десять
спать с собою уложила,
А в одиннадцать
весь дом заснул.

Но в двенадцать,
видя свет фонарный,
Зверь пошел по лезвию луча,
Очень тихий, очень благодарный,
Ножками тупыми топоча.

Сосны зверю поклонились сами,
Все ущелье начало гудеть,
Поводя стеклянными глазами,
В горы шел коричневый медведь.

И тогда ему промолвил слово
Облетевший, многодумный бук:

— «Доброй полночи, медведь! Здорово!
Ты куда идешь-шагаешь, друг?»

— Я шагаю ночью на веселье,
Что идет у медведей в горах,
Новый год справляет новоселье.
Чатыр-Даг в снегу и облаках.

— Не ходи,
тебя руками сшили
Из людских одежд, людской иглой.
Медведей охотники убили,
Возвращайся, маленький, домой.

Кто твою хозяйку приголубит?
Мать встречает где-то Новый Год,
Домработница танцует в клубе,
А отца — собака не найдет.

Ты лежи, лежи, лежи в постели,
Лапами не двигай до зари,
И, щеки касаясь еле-еле,
Сказки медвежачьи говори.

Путь далек, а снег глубок и вязок,
Сны прижались к ставням и дверям,
Потому что без полночных сказок
Нет житья ни людям, ни зверям.

★

**ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР.**

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) и Совет Народных Комиссаров СССР с глубоким прискорбием извещают партию, рабочий класс и всех трудящихся, что 27 февраля в 6 часов 15 минут утра, в Москве, после тяжелой болезни скончалась старейший член партии, ближайший помощник В. И. Ленина, член ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР тов. **Н. К. Крупская.**

Смерть тов. Крупской, отдавшей всю свою жизнь делу коммунизма, является большой потерей для партии и трудящихся Союза ССР.

*ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР.*

★

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

с глубоким прискорбием извещает о смерти старейшего и преданнейшего члена ВКП(б), неумолимого борца за дело коммунизма, верного друга и соратника великого Ленина, члена Президиума Верховного Совета СССР тов. **Надежды Константиновны Крупской.**

★



Владимир Ильич и Надежда Константиновна в Горках (1922 год)

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ НАДЕЖДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

(1869 — 1939)

Н. К. Крупская родилась в 1869 году в Петербурге, в семье, связанной с кругами русской передовой общественности того времени, росла и воспитывалась в революционной среде. С самого начала сознательной жизни Надежда Константиновна отдала себя революционному движению.

В 1890 году Н. К. Крупская вступила в студенческий марксистский кружок. Образованный марксист и пламенный революционер, она вскоре сама стала руководить марксистским кружком студентов, а затем была учительницей

вечерней школы на Шлиссельбургском тракте.

Когда в 1893 году в Петербург приехал Ленин и вскоре объединил марксистские рабочие кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», Надежда Константиновна приняла активное участие в работе «Союза», в составлении, печатании и распространении нелегальных революционных листовок, содействовала упрочению связей «Союза» с передовыми рабочими Питера. Рабочие, ученики Надежды Константиновны, вписали свои имена в

историю русского революционного движения, например — рабочий Бабушкин.

По поручению петербургских товарищей Н. К. Крупская участвовала в 1895 году в совещании по подготовке I съезда социал-демократических организаций. Когда в том же году был арестован Ленин, Надежда Константиновна организовала с ним связь и переписку, доставку в тюрьму книг и необходимой партийной информации.

Всеобщая забастовка петербургских текстильщиков в 1896 году вызвала новую волну ожесточенных репрессий. Тов. Крупская была арестована, просидела 7 месяцев в доме предварительного заключения, а затем была приговорена к ссылке. С большим трудом Надежда Константиновна добилась разрешения отбывать ссылку в селе Шушенском, где уже находился в ссылке В. И. Ленин.

В годы ссылки Н. К. Крупская была ближайшим помощником Ленина в его научных работах и революционной деятельности. После отъезда Ленина из Сибири Надежда Константиновна провела оставшийся ей еще один год ссылки в Уфе, где она развернула большую подпольную работу, связавшись с рабочими Уфы, Златоуста и Усть-Катавы. По окончании ссылки она в марте 1901 года уехала в Мюнхен, где в то время жил Ленин и где находилась редакция ленинской «Искры». В качестве секретаря редакции Н. К. Крупская выполняла сложные обязанности по руководству конспиративными связями с революционными организациями в России и подготовке II съезда партии, в работах которого Надежда Константиновна принимала самое активное участие.

В период подготовки к III съезду партии в Лондоне, в 1905 году, Н. К. Крупская работала секретарем редакции большевистской газеты «Вперед» и принимала деятельное участие в организации съезда.

В ноябре 1905 года В. И. Ленин и Н. К. Крупская вернулись в Россию, в Петербург, и Надежда Константиновна в качестве секретаря ЦК мужественно вела подпольную работу — встреча-

лась с десятками товарищей, передавала им партийные директивы, снабжала их явками и паспортами, связывалась с партийными комитетами и снабжала партийные организации подпольной литературой. В конце декабря Н. К. Крупская участвовала в Таммерфорской конференции большевиков, на которой познакомилась с товарищем Сталиным.

После подавления декабрьского вооруженного восстания в Москве Ленину и Крупской пришлось из-за усилившейся слежки царской охранки покинуть Петербург и переехать в Финляндию, а в 1907 году они вынуждены были снова эмигрировать за границу и уехали в Женеву. Революционная работа Надежды Константиновны не прерывалась и в годы жестокой реакции. В качестве секретаря редакции большевистской газеты «Пролетарий» она неутомимо восстанавливала связи с революционными организациями, налаживала переписку с Россией. Уже в то время Надежда Константиновна много времени посвящала изучению школьного дела и народного просвещения, что позволило ей потом с таким успехом работать в Наркомпросе по организации политического просвещения трудящихся масс советской страны.

С конца 1908 года Надежда Константиновна вместе с Лениным была в Париже, где активно участвовала в борьбе с ликвидаторами и отзовистами и работала в партийной школе, организованной в 1911 году под руководством Ленина. После Пражской конференции 1912 года В. И. Ленин и Н. К. Крупская переехали в Краков, поближе к русской границе, и здесь Надежда Константиновна быстро наладила тесные связи с Россией, с редакцией газеты «Правда», с большевистской фракцией IV Государственной думы, организовала ряд встреч и совещаний Ленина с товарищами из России и, в частности, с большевиками — депутатами думы.

Когда началась империалистическая война и Надежде Константиновне удалось с огромным трудом вырвать Ленина из рук австро-венгерских тюремщиков, Ленин и Крупская переехали в

Швейцарию. Надежда Константиновна приняла тогда энергичное участие в сплочении революционных сил для борьбы с империализмом, с оборончеством — за превращение войны империалистической в войну гражданскую. В частности, Н. К. Крупская участвовала в составе русской делегации на международной женской конференции в Берне, на которой, оставшись в меньшинстве, русские делегатки выступили с особой декларацией, излагавшей большевистскую позицию в отношении войны.

После свержения самодержавия, возвратившись вместе с Лениным в Россию, Н. К. Крупская работала в секретариате Центрального Комитета большевистской партии, проводила дни и ночи среди трудящихся, среди молодежи, разъясняя работникам и солдаткам большевистские лозунги. Когда по требованию ЦК Владимир Ильич ушел в подполье от ищеек контрреволюционного буржуазного Временного правительства и жил в шалаше у станции Разлив, а потом в Финляндии, Надежда Константиновна, переодеваясь крестьянкой, пробиралась к Ленину, поддерживала связь между вождем пролетарской революции и Центральным Комитетом.

Н. К. Крупская участвовала в работах VI съезда партии, проходившего под непосредственным руководством

товарища Сталина. В дни Великой Октябрьской социалистической революции Надежда Константиновна работала в Выборгском районном комитете партии и в Смольном. После победы советской власти Надежда Константиновна была назначена членом коллегии Наркомпроса и с той поры непрерывно работала в наркомате, в последние годы на посту заместителя наркома.

В период гражданской войны Надежда Константиновна вместе с тов. Молотовым выполнила огромную агитационную работу во время поездки на агитпароходе «Красная звезда».

Н. К. Крупская — активный участник великого строительства страны социализма, талантливый публицист, член ЦК Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, член Президиума Верховного Совета СССР. За выдающуюся самоотверженную работу в области коммунистического просвещения тов. Крупская награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Надежда Константиновна была участником всех (кроме V) съездов большевистской партии. Вся ее жизнь, начиная с тех дней, когда при зарождении партии она молодой девушкой вступила в революционное движение, и до самой смерти была отдана борьбе за дело партии, за счастье трудящихся, за коммунизм.

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

До последнего дня жизни Надежда Константиновна вела большую работу, принимала людей, отвечала на письма. Умерла она, когда со всех концов страны весь наш народ желал ей долгих дней. Лежат нераспечатанными сотни телеграмм с этими пожеланиями, иные не дошли еще, а Надежды Константиновны, большого, любимого человека, спутницы Ильича, приносившей в работу и в общение с людьми аромат бессмертной ленинской душевной культуры, — уже нет с нами!

И потому, что она была женщина, умевшая удивительно просто, по-своему поговорить и со старухой-работницей, и с учительницей, и с молоденькой инструкторшей Моссовета, и с ребятишками, которые все тянулись к ней сразу и безо всякого сгрома и стеснения, — испытываешь чувство какой-то особенной осиротелости, словно потерял кровно дорогое, матерински близкое.

Почти год назад я получила от нее в Ульяновск письмо, датированное 18 марта.

Это письмо было ответом на просьбу, чтобы она рассказала возможно полнее о своем детстве. Надежда Константиновна начала письмо любимым своим словечком:

«Уйма работешки» — так уменьшительно ласково она почти всегда говорила о работе, не любя и никогда не употребляя слов «тяжелая работа» или «невыносимо много работы». Потом пишет о своей книге к 8 марта: «Считаю, что пока по женскому делу

все сделала, что могла». И дальше: «Подготовила сборник по ликвидации неграмотности (статьи с 1920 по 1938 год), тут тоже основное сделано. Сегодня закончила книжку «Письма к пионерам», — это мои друзья-приятели... А теперь очередная работа — та, о которой Вы пишете. Года два тому назад я занялась изучением эпохи, в которую я росла, раздобыла разные документы, и многое из моего детства стало много для меня яснее... Я думаю, что рассказать об этом нашей молодежи необходимо. Помню я очень многое. Только у меня работа наполовину уже написана и рассказывать я не умею, стенографистки бог знает что записывают. Работу летом я закончу».

Молодежи ей хотелось рассказать о своей юности, о пути, пройденном ею с 1883 г. по 1890 г.

«Путь, пройденный мною с 1883 по 1890 г., когда я стала марксисткой, очень интересен». Не знаю, дописала ли Надежда Константиновна эту работу, как предполагала летом, или ограничилась тем, что было ею напечатано не так давно в «Большевике». Во всяком случае на двух драгоценных страничках письма имеется общий конспект ее раннего детства и подробное сообщение об отце. Привожу его полностью.

«Мой отец был революционер — с ранней молодости примыкал к революционному движению, имел тесную связь с организацией «Земли и воли» 60-х годов, примыкал к движению русского офицерства, стоявшего во время поль-

ского восстания на стороне поляков, потом кончил Военную Юридическую Академию, был связан с петербургским кружком чернышевцев, примыкавшим к поэтам «Искры» (в другом письме она сообщает, что радикально-сатирический еженедельник «Искра» был, по словам Владимира Ильича, в семидесяти годах также и любимым чтением семьи Ульяновых. — М. Ш.), потом поехал служить в Тотьму, боролся с угнетением поляков и евреев, имел связь с первым Интернационалом и за то, что проводил в жизнь постановление Лондонской конференции I Интернационала о работе среди с.-х. рабочих, был осужден Варшавской судебной палатой и лишен права занимать госуд. должности. Он апеллировал в Сенат и в 1880 году был сенатом оправдан. Конст. Александр. Вартунин (чрезвычайно интересная семья Варгуниных, начиная с Ивана Варгунина, связанного как-то с Утиным и Поляковым, издателем I том. Капитала) — бумажный фабрикант пригласил отца быть фабричным инспектором в гор. Угличе на бумажной фабрике, где хозяйничал его компаньон Гобберт. Все революционное движение проходило у меня на глазах, очень много пришлось наблюдать. А потом отец отдал меня в гимназию Оболенской — где руководство было из людей, примыкавших к «Земле и Воле» 60-х годов, и где училось много детей тогдашних ее участников. Отец умер, когда мне было 14 лет».

Даже в этих беглых набросках Надежда Константиновна дает свое отношение к истории: ей всегда хотелось, чтобы советская молодежь видела и понимала прошлое в *его* движении, как революционную борьбу за радостное, счастливое будущее человечества. Когда пять лет назад праздновали шестидесятипятителетний юбилей Надежды Константиновны и делегаты со всех концов нашей страны принесли ей приветствия, она выступила с ответной речью и сказала замечательные слова.

Она сказала:

«...Жизнь у меня сложилась исключительно счастливо. Знаете, наше поколение старых большевиков видело все

время, — как *вся жизнь в корне менялась*».

Иметь возможность увидеть, как в корне меняется жизнь, активно участвовать в этом изменении жизни — это и есть величайший, завидный удел человека.

Перед притихшей молодежью, ребятами, друзьями она с глубокой душевной теплотой воскресила кусочек далекого прошлого, — как сорок лет назад в маленькой петербургской студенческой комнатухе сидел перед книжкой молодой Владимир Ильич, сидел и страшно волновался, — ему предстояло делать доклад. За стенами комнаты был старый мир царизма и капитализма, ошестиненный штыхами, упертый на устои, казавшиеся тогда гранитными. А в докладе говорилось об «... учении Маркса и Энгельса... о социалистической революции, о международном рабочем движении... о том, как надо перестроить жизнь, как надо перестроить нашу деревню, чтобы жизнь там шла не так, как она шла при капитализме... чтобы в деревне было построено новое коллективное хозяйство...». Так ярко представился слушателям, от необычности этого образа, — образа молодого волнующегося Ильича за книжкой, — какой гигантский, героический путь прошла партия большевиков за эти сорок лет: «И вот, — продолжала Надежда Константиновна, — когда мы, делегаты съезда, слушали доклад товарища Сталина, который приводил массу фактов, рассказывал, как по-новому переживает жизнь, как колхозное движение стало господствующей формой, тогда каждый из делегатов чувствовал, какая одержана громадная победа, — я сидела на съезде и все время вспоминала Владимира Ильича. От многих делегатов тогда приходилось мне слышать: Эх, Ильич бы послушал, как теперь достигнуто то, за что он всю жизнь боролся... Товарищ Сталин закончил свой доклад словами, что мы должны быть ударной бригадой мировой революции. И мы должны отдавать каждую свою минуту этому делу.

Мы должны в нашем труде, в нашей борьбе всегда помнить эти слова».

До конца жизни помнила эти слова сама Надежда Константиновна, — и когда враги партии, трусы, предатели и изменники пытались подорвать мощь нашего Союза, единство «ударной бригады мировой революции» — она со страстью и силой верного борца партии Ленина—Сталина обрушивалась на них и клеймила их.

«Нам надо оберегать, — говорила Надежда Константиновна, — как зеницу ока, победы социализма в нашей стране. Самую острую ненависть испытывает наш

народ к тем, кто борется против дела Ленина—Сталина, к тем, кто предает дело рабочего класса. Глубокую ненависть и отвращение к троцкистско-бухаринским шпионам и диверсантам испытывает наш народ. Другого чувства к врагам у нас быть не может».

И мы все, партийцы и беспартийные, будем помнить эти слова и высоко нести славу и мощь и крепко защищать единство и спаянность первой «ударной бригады мировой революции».

МАРИЭТТА ШАГИНЯН.

Последний путь Г. Я. Седова

(Из дневников участников экспедиции)

В. Ю. ВИЗЕ

★

На столе передо мной лежат две тетради в черном клеенчатом переплете. Много лет тому назад, находясь на «Св. Фоке», я заносил в эти тетради свои впечатления об арктической природе, с которой мне тогда впервые пришлось познакомиться. Иногда эти записки, которые я вел во время экспедиции Г. Я. Седова, принимали характер дневника, в котором я довольно обстоятельно описывал жизнь на «Св. Фоке». Но большею частью это были все же краткие заметки, не подчиненные какому-либо цельному плану.

Сейчас, когда Советская страна отмечает двадцатипятилетие со дня гибели Георгия Яковлевича Седова, одного из отважнейших русских исследователей Арктики, я достал эти тетради, к которым уже давно не прикасался. Желтеющие листы помогают мне воскресить в памяти далекое прошлое.

Я вижу занесенного снегом дряхлого «Фоку», его скромную кают-компанию со стоящей посредине железной печуркой, в которой жарко и пахуче горят куски моржового сала... Вижу столпившиеся вокруг фигуры с хмурыми бледнозелеными лицами, освещенными скудным светом стеариновой свечи, слышу тяжелый цынготный запах, стоны прикованного к постели механика Зандера...

Было это во вторую зимовку на Земле Франца-Иосифа, в конце 1913 года. Г. Я. Седов к этому времени превра-

тился из веселого и искрящегося остроумием товарища, общего любимца на корабле, в молчаливого и сосредоточенного человека. Только упорство его не только не сдало, а, казалось, наоборот, росло. Физический недуг уже стал подтачивать силы Седова, но в голове его попрежнему сидела упрямая мечта — на полюс, на полюс!

Г. Я. Седов был несомненно выдающейся личностью, человеком исключительной выносливости и упорства и такой большой смелости и воли, которые присущи только герою. Вместе с тем это была личность очень сложная. И не всегда понятны бывали поэтому те или иные решения и поступки Седова. Мне, как участнику экспедиции Седова, часто задавали вопросы вроде следующих:

«Отчего Седов, будучи больным и ясно сознавая, что со своим жалким снаряжением ему до полюса не дойти, все-таки решил идти к полюсу и не поворачивать, пока полюс не будет достигнут? Отчего Седов пошел на это самоубийство, и как он мог взять на себя ответственность за судьбу двух сопровождавших его матросов? Как мог Седов взять на себя ответственность за некоторых лиц из судового состава, которых он увез на Землю Франца-Иосифа, не обеспечив их ни обувью, ни теплой одеждой и оставив их в одних пиджаках, в которых они явились на борт «Фоки» в Архангельске?».

Для того, чтобы ответить на такого рода вопросы (а их можно было бы задать множество), надо знать личность Седова и прежде всего знать раздиравшие этого человека внутренние противоречия, вызванные в основном социально-политической обстановкой, в которой протекала деятельность Седова. Как известно, Седов был сыном неграмотного бедняка-рыбака. Благодаря своей энергии Седов добился того, что сделался «кадровым» морским офицером. Чин старшего лейтенанта, полученный Седовым незадолго до выхода в плавание на «Св. Фоке», был только первой ступенью на манившей его лестнице военно-морской службы. Однако, начав подниматься по ней, Седов никогда не порывал с народом и все время чувствовал себя крепко спаянным с ним. «Нутро» его было, несомненно, бедняцко-мужицким, а потому революционным. Он вполне ясно видел ничтожество и непримиримое отношение к нему, как к «черной кости», тех людей, с которыми ему приходилось работать по морскому министерству и от которых зависела его судьба. Вот основа тех противоречий в личности Седова, которые в конце-концов свели этого высоко одаренного смелого исследователя Арктики в могилу на острове Рудольфа.

Большая часть того, что до сих пор было написано о Седове, к сожалению, не дает верного представления об этом человеке, совершенно чуждом пошловатой героике, которую так часто хотят навязать Седову.

Ниже приводится несколько выдержек из моего дневника, касающихся Седова. Их очень немного, но, может быть, они все же помогут восстановить образ этого замечательного человека.

★

«27 августа¹ 1912 г. Архангельск. Сегодня мы должны, наконец, выйти в море. Однако портовые власти чинят нам препятствия. Утром нам было заявлено, что, пока «Фока» сидит в воде

выше ватерлинии, судно из порта не выйдет. Как Седов ни старался доказать, что перегрузка ничтожна и практического значения не имеет, формалисты из порта стояли на своем. Тогда Седов пришел в бешенство и приказал сбрасывать на пристань палубный груз. Полетели ящики, тюки, бочки — все, что попадало под руку. Кто-то заметил Седову, что в числе других грузов был выброшен ящик с нансеновскими примусами. «К черту, обойдемся и без них!» — ответил Седов, все еще разъяренный».

В сентябре 1912 г. встреченные на широте Панкратьевского полуострова (76° N, Новая Земля) льдины преградили «Фоке» путь на север. Надежда на достижение Земли Франца-Иосифа — базы для похода на полюс — стала падать с каждым днем.

«18 сентября, у Панкратьевского полуострова. Вчера Г. Я. говорил, что если мы доберемся до северной оконечности Новой Земли, то он пойдет оттуда по пловучим льдам на Землю Франца-Иосифа, а дальше — на полюс... Трудно бедняге расстаться с мыслью о полюсе. О 400-километровом переходе по дрейфующим льдам Баренцова моря на Землю Франца-Иосифа в темное зимнее время, да еще с нашим жалким снаряжением, говорить, конечно, не приходится.

22 сентября, там же. Во время плавания к Новой Земле Седов часто говорил: «Вот хорошо бы зазимовать на Земле Петерманна!»¹. Откуда у него эта уверенность в существовании Земли Петерманна? Он и сейчас думает об устройстве на ней базы. Сегодня он снова говорил о том, что еще осенью переберется пешком по пловучим льдам на Землю Франца-Иосифа и перезимует на этом архипелаге.

23 сентября. Судно основательно сковано льдом. Г. Я. все время повторяет:

¹ В 1874 г., когда Пайер находился на северной оконечности о-ва Рудольфа, ему показалось, что он видит к северу большую землю. Этой земле он дал название Земли Петерманна. В 1900 г. итальянцем У. Каньи было доказано, что Земля Петерманна не существует.

¹ Числа всюду по новому стилю.

«Паршивый мороз! Вы понимаете, какое дело?». Дело, конечно, ясное — вынужденная зимовка у Новой Земли.

25 ноября. На зимовке в бухте Фоки. Г. Я. все продолжает думать о полюсе. Он упрям и наивен. В феврале он хочет отправиться отсюда, с Новой Земли, пешком на Землю Франца-Иосифа. По плану одним из участников этой «прогулки» являюсь я. Самое печальное то, что нелеп не только план зимнего похода с Новой Земли на Землю Франца-Иосифа, но и поход с Земли Франца-Иосифа на полюс. Нужно совершенно не знать полярную литературу, чтобы с таким снаряжением, как наше, мечтать о полюсе.

28 ноября. Г. Я. все время мрачен, сидит, подперев голову руками. Видимо, он сознает не только невозможность зимнего перехода пешком на Землю Франца-Иосифа, но и всю неподготовленность полюсной экспедиции.

4 декабря. Г. Я. сказал сегодня, что необходимо посмотреть в книгах Пири, где на крайнем севере Гренландии живут эскимосы. При этом он прибавил: «Нам это пригодится, когда мы будем возвращаться с полюса через Гренландию».

18 декабря. На «Фоке» сейчас процветает игра в винт на папиросы. Больше всех увлечен игрой Г. Я. Седов».

Летом 1913 года со «Св. Фоки» была списана партия людей во главе с капитаном Захаровым. Эта партия на шлюпке достигла Маточкина Шара, где пересела на пароход, доставивший ее в Архангельск. Пишущий эти строки воспользовался представившимся случаем и отправил с Захаровым письма на континент. В одном из этих писем, адресованном Б. Г. Власеву, имеется следующая характеристика Г. Я. Седова:

«...Георгий Яковлевич, пожалуй, самый симпатичный человек на судне. Он беззаветно смел, очень искренен и задушевен, полон силы, энергии и бодрости. Всякое дело, будь то серьезное или пустяк, он делает с огромным энтузиазмом, отдается ему всей душой. Если он работает — он весь уходит в работу, если веселится — то веселится больше и искреннее всех. Когда он ве-

сел, он напоминает ребенка. Редко я слышал такой искренний смех, как у него. Иногда он садится за пианино и грубым голосом поет песенки, аккомпанируя себе фальшивыми аккордами. Нужно видеть, с каким увлечением он делает это! Его слова: «я везде с вами и переди вас» — не пустая фраза. Он действительно всегда вперед нас — в работе и в веселии. Наряду со смелостью он обладает большой дозой легкомыслия («авось») и огромной дозой упрямства и самолюбия. Он держится свободного образа мыслей, хотя в этом отношении военная служба несомненно наложила на него отпечаток. Поэтому бросаются в глаза противоречия в нем»...

Дальше следуют снова выписки из дневника.

«18 августа 1913 г., бухта Фоки. Г. Я. начинает предпринимать решительные меры к освобождению судна из льда. К сожалению, экспедиция не располагает для этого никакими средствами. Пока-что взялись за старую довольно короткую пилу, и сегодня с утра началась авральная работа по распиливанию льда. Около устья впадающей в бухту Фоки небольшой речки еще ранним летом образовалось большое пресноводное озеро на льду, впоследствии превратившееся в сквозную промоину. Туда-то и направился сегодня Г. Я. с командой. Стали отпиливать пилой куски льда и отводить их в полынью. Георгий Яковлевич намеревается создать таким способом канал до самого судна, отстоящего от полыньи на $\frac{3}{4}$ км. Сегодня прошли около 60 метров. «Денечка через три дойдем до судна», — заявил Седов.

19 августа. Продолжали аврально у полыньи. Сделать удалось очень мало — оторвали от ледяного покрова только небольшую льдину.

20 августа. Опять авралили и опять сделали очень мало».

Попытки пропилить канал во льду так ни к чему и не привели.

«29 августа. Г. Я. вздумал сделать попытку взорвать лед около судна. Запасы наших взрывчатых веществ жалки — один пуд пушечного пороха (он

был взят нашим геологом для взрыва-ния горных пород). После первых двух взрывов, не давших даже трещин во льду, дело это было оставлено. После этого команда целый день работала пешнями около левого борта судна и в конце-концов сделала в толстом льду небольшое отверстие. Г. Я. со свойственным ему упрямством хочет преобороть непреборимое.

2 сентября. Г. Я., наконец, решил прекратить никчемные авральные работы по освобождению судна. Смешно вызволять судно из толстого сплошного льда с помощью одного пуда пороха, десятка пешней и одной пилы. Для борьбы со стихией, пленившей «Фоку», нужные стихийные силы».

Через три дня — 5 сентября — лед в бухте взломало, и «Фока» вышел на Землю Франца-Иосифа.

«18 сентября. У острова Нордбрук. Вечером снялись с якоря у мыса Флора. Когда мы проходили мимо итальянского памятника¹, был дан пушечный салют из трех выстрелов. Георгий Яковлевич при этом заплакал.

К ужину команде дали водки. Линник² нашел порцию слишком малой и сказал, что лучше бы уж совсем не давали водки. Позвав к себе Линника, Г. Я. спросил его, как он смел требовать водку. Линник ответил, что он не требовал, а только просил. Тут Г. Я. закричал: «Ты не имеешь права просить, понимаешь? Я сам знаю, что тебе нужно и что нет». Затем последовал поток крепких морских ругательств. За ужином Г. Я. сказал: «Этот Линник уж чересчур зазнался! Видно, слышал, что все его хвалят!». Я сказал: «Но ведь это так и есть. Линник безусловно самый энергичный, самый работающий и самый способный из команды». На это Г. Я. возразил: «Да наплевать мне на это! Пусть он будет дурак и лентяй, но не говорит дерзостей». Я замолчал, а на сердце опустился тяжелый камень.

¹ На мысе Флора стоит небольшой обелиск из серого гранита, поставленный в память трех погибших в 1900 г. участников экспедиции герцога Абруццкого к Северному полюсу.

² Матрос, принимавший участие в походе Седова к полюсу.

Сегодня в первый раз Седов был для меня не товарищем, а только морским офицером. Гнусное влияние среды сказалось даже на этом сильном и светлом человеке.

28 декабря. Бухта Тихая. Г. Я. в беседе со мной в первый раз откровенно заявил, что считает свою санную экспедицию к полюсу «безумной попыткой», но что он все-таки ни за что не откажется от нее, пока у него не кончится последний сухарь. Сколько силы, сколько ничем не сокрушимой энергии в этом человеке!

2 января 1914 г. Сегодня у Г. Я. появились признаки цынги в виде очень острой боли в ногах, опухоли и красноты.

5 января. Г. Я. стало хуже. Он очень слаб, бледен, страдает полным отсутствием аппетита, болью в ногах и слабостью десен.

8 января. Г. Я. сегодня целый день не выходил из своей каюты, из чего я заключаю, что ему во всяком случае не лучше.

14 января. Г. Я. встал с постели и принял участие во встрече Нового года. Он очень побледнел, осунулся и страшно ослаб. Когда говорит, то сильно задыхается.

22 января. Г. Я. попрежнему болен и не выходит из каюты. Между тем идут усиленные приготовления к полюсной экспедиции, развешиваются провизия, шьются мешки, чинятся палатки и т. д.

29 января. После того, как Г. Я. назвал свой поход к полюсу «безумной попыткой», меня сегодня чрезвычайно удивили его слова, сказанные М. А. Павлову, копировавшему для него карты: «Пометьте меридиан магнитного полюса, это нам будет нужно, когда мы будем выходить с полюса. Кроме того отметьте самые северные местожительства эскимосов в Гренландии».

11 февраля. Видно, нервная система Г. Я. расшатана вконец. Сегодня вечером он просил всех остаться после вечерней молитвы в кают-компани. Когда все собрались, Седов обратился к команде с диким криком: «Опять среди вас воровство! Я больше вас не

буду ни штрафовать, ни судить! Я прямо наповал убью из револьвера. Как начальник полярной экспедиции я имею права убивать людей! Пойду против своей совести и убью этого мерзавца!». При этом Г. Я. задыхался, захлебывался и топал ногами. И в таком состоянии этот человек в ближайшие дни собирается выходить к полюсу!

15 февраля. Сегодня Г. Я. Седов с Линником и Пустошным и всеми собаками вышел к полюсу. При прощании Г. Я., совершенно больной, разрыдался. Выход полюсной партии оставил во мне мрачное впечатление. Гибель этой экспедиции, учитывая смелость, упорство и легкомыслие ее начальника, кажется мне почти неизбежной.

19 марта. Около 10 ч. утра Н. М. Сахаров¹ отправился с ружьем к полынье. Только что он вышел, как сейчас же прибежал обратно, крича: «Наши идут! Георгий Яковлевич возвращается!». Накинув на голову шапку, я выбежал на палубу. Кто-то рядом со мной заметил: «Только двое идут». Я сейчас же понял то, что мне казалось неизбежным: смерть Г. Я. Седова. Я отправился навстречу приближавшейся к судну нарте, впереди которой шел Линник, сзади Пустошный. Молча я подал Линнику руку. «Начальника похоронили», — были его первые слова. Итак, свершилось это страшное дело, на которое Г. Я. Седов пошел почти сознательно...

★

Г. Я. Седов скончался 5 марта, немного не доходя о-ва Рудольфа—самого северного из островов архипелага Франца-Иосифа.

Один из спутников Г. Я. Седова, матрос Г. Линник, вел во время похода на север дневник. В день возвращения Линника и Пустошного на судно участники экспедиции просили Линника рассказать в кратких чертах о походе Седова. Небольшой отрывок этого рассказа был тогда же мною записан и сохранился в моем дневнике. Привожу его целиком.

¹ Штурман «Св. Фоки».

«...Я все время советовал начальнику либо обождать, пока он не поправится, либо итти обратно. Но он постоянно отвечал «нет!», улыбнется и махнет рукой. Перед последними днями Пустошному стало плохо, он падал в обморок и у него изо рта и носа шла кровь. Я сказал начальнику: «Плохо, надо возвращаться на судно!». Но он ответил: «Эх, Линник, оставь эти мысли итти домой! В Теплиц-бай мы в пять дней поправимся». В это время начальнику было уже так плохо, что он почти через каждые пять минут терял сознание. При этом у него появлялась пена у рта, он начинал биться и тянул меня к себе, крича: «Линник!». Впервые начальник начал терять сознание тогда, когда мы ожидали у полыньи. Только с большим трудом уговорил я его здесь не итти дальше, а обождать.

Еще задолго до этого начальник каждый день говорил: «Эх-хе-хе-хе, все пропало». Но он также часто повторял: «Нужно бороться с болезнью, нужно больше есть...».

★

Там же, в каюте «Фоки», Линник прочитал нам и свой дневник. Некоторые места из него я также записал — они касаются последних дней Г. Я. Седова, нигде еще не опубликованы¹ и представляют несомненный интерес.

Из дневника Г. Линника

«...2 марта 1914 г. В 8 час. утра пошли на восток, обходя полынью, и прошли около 10 верст. Сидевший на нарте начальник, одетый в меховую одежду, стал жаловаться на невыносимый холод. Пришлось остановить обоз, развязать нарту и достать спальный мешок, в который начальник и лег. Но это не помогло. Пройдя еще около 3 верст, остановились и начали растирать началь-

¹ В 1919 г. в Архангельске была издана брошюра В. А. Симановского «Экспедиция Г. Я. Седова к Северному полюсу». В основу этой книжки был положен дневник Г. Линника, подвергшийся вольной переработке. О дальнейшей судьбе этого дневника мне лично неизвестно (В. В.).

нику спиртом ноги; ноги у него были опухшие, по ним пошла синь. Они были очень холодные, но не замерзшие. Положив мешок с начальником на нарту, поехали дальше. Дорога была хорошая. Верстах в трех от земли я провалился в воду; я сейчас же лег, и мне быстро удалось выкарабкаться. Затем мы поехали дальше в надежде дойти до берега¹. Пройдя около полуверсты, я заметил, что задняя нарта, на которой находился начальник, стоит. Я вернулся и увидел, что мешок с начальником упал с нарты. Пришлось обе передние нарты повернуть обратно и остановиться на ночлег. Все последние дни начальник с огромными усилиями вылезал из мешка и доползал до палатки.

3 марта. Встали в 10 час. утра. Буря. Всю ночь не спали. Начальник очень жалуется на холод в ногах и тяжесть дыхания. Я принялся варить чай и стал уговаривать начальника выпить чашку с мукой Нестле. После еды мы снова легли в мешок. Через один час начальник начал очень тяжело дышать и ему стало холодно. Я заправил примус. Пустошный, по приказанию начальника, пошел на двор и стал засыпать палатку снегом. Я предложил начальнику с'есть что-нибудь, но он ото всего отказывался; наконец согласился с'есть полкоробки осетрины и шоколаду. Когда Пустошный вышел доставать это с нарты, у него снова пошла ртом и носом кровь. Я уговорил начальника выпить рюмку коньяку. Начальник выпил, и я испугался, так как ему стало вдруг хуже. К счастью, это скоро прошло, и у него явилось желание поесть. Он с'ел полкоробки осетрины и выпил кружку шоколаду. Я кормил его ложечкой. Начальник вылез из мешка и сел рядом с примусом. Пульс, по его словам, был 110—120 в минуту, он чуть не терял сознания.

4 марта. Буря. Здоровье начальника все ухудшается. В полдень Пустошный выходил из палатки кормить собак; нарты с каяками чуть виднелись из-под снега. В этот день начали третий и последний пуд керосину, так как в послед-

нее время примус горел без остановки. Керосину выходит до 10 фунтов в сутки. Вот второй день, как я пишу дневник у примуса, начальник дремлет у меня на коленях. С вечера Пустошный стал жаловаться на тяжесть дыхания, он сидит и стонет. Начальнику гораздо хуже. Всю ночь Пустошный и я держали на руках его голову и оттирали грудь и ноги. Буря не перестает.

5 марта. Сильная буря. Ночь провели в большом беспокойстве. Начальник временами теряет сознание. Пустошный выходил из палатки и заметил, что замерзли две собаки. Лицо у начальника полумертвое, я все время держал его голову на руках. Пустошный стоял на коленях и держал примус около груди начальника. В 2 часа 40 минут начальник скончался. Последние его слова были: «боже мой, боже мой, Линник, поддержи!». Я и Пустошный минут 15 стояли на коленях и молча глядели друг на друга. Затем я взял чистый платок и покрыл им лицо начальника. Мы решили итти в Теплиц-бай¹, чтобы подсушиться и достать керосину. Труп решили привезти на судно.

6 марта. Продрогли всю ночь над трупом любимого и уважаемого нами начальника. Примус не горел. Тело начальника мы положили в спальный мешок, а сами спали в полюсных костюмах² и всю ночь дрожали. Пустошный все время кашляет. Я решил, что буду изо всех сил стараться доставить тело на судно. Утром я заплакал, глядя на мертвое тело начальника.

Мы уложили тело в парусиновые мешки и увязали на нарты. Решили итти в Теплиц-бай на двух нартах, а третью бросить в роковом месте³. Если мы в Теплиц-бай не найдем керосину, придется хоронить тело. За ночь окоченела еще одна собака.

¹ Небольшая открытая бухта на западном берегу острова Рудольфа. Место зимовки экспедиции герцога Абрущского в 1899—1900 гг. и экспедиции Фиала в 1903—1905 гг. (В. В.).

² Эти костюмы были сделаны из меха молодого оленя. (В. В.).

³ Лагерь, в котором скончался Седоз, был расположен на льду пролива Неймайера (В. В.).

¹ Острова Рудольфа (В. В.).

7 марта. Двинулись в 8½ часов утра дальше. Пошли с двумя нартами, по 10 собак в каждой. Но нарта, на которой находилось тело начальника, оказалась слишком тяжелой, в нее пришлось запретить еще двух собак от другой нарты. К трем часам мы еле дотянулись до земли¹, однако вплотную не подошли около 300 сажен. Так как собаки тянули с большим трудом, то мы решили пойти вперед без нарт, посмотреть путь. Пройдя около одной версты, мы пришли в уныние — перед нашими глазами открылась вода, берег земли был глетчерный, впереди не было видно никаких признаков Теплиц-бай. Мы повернули обратно. Старшинство над партией принял после смерти начальника я, и я решил тело начальника похоронить в конце обрывистого и начале глетчерного берега, на юго-западной части острова. Все лишнее бросить здесь. Инструменты взять, но только до первого критического случая. Взять с собой все необходимое из расчета на полтора месяца и двинуться в обратный путь с одной только нартой.

8 марта. Утром ничего не варили, так как решили варить только один раз в сутки, ввиду недостатка керосина. Стали распаковывать одну нарту, затем положили на нее тело начальника. На другую нарту стали складывать все нужное для обратного пути. Тело решили хоронить в меховой одежде, как оно было, ничего не снимая, за исключением хронометрических часов. Вместо гроба решили положить тело в парусиновый мешок, из лыж сделать крест и рядом положить флаг, предназначавшийся для полюса.

9 марта. Утром ничего не ели. Хоронили в этот день начальника. Погода холодная, но тихо и ясно. Я и Пустошный впряглись в нарту, на которой лежало тело начальника. Кроме того, на нарту же положили крест из лыж, кирку, молот и лопату, и с этой печальной кладью направились к берегу. Достигнув берега, втащили нарту на косогор высоту не менее 5 сажен над уровнем моря. Мы выбрали ровное место, затем

положили тело начальника головой к востоку и сняли шапки. В 10 часов могила с установленным на ней крестом была готова. Флаг мы положили рядом с телом. Кроме того, оставили здесь кирку, нарту и молоток. С камнем на сердце и слезами на глазах мы перекрестились и пошли обратно...».

По рассказам Линника и Пустошного, участники экспедиции решили, что Г. Я. Седов похоронен на юго-западной оконечности острова Рудольфа — мысе Бророк. В течение 15 лет после трагической гибели Седова остров этот не посещался человеком, и только в 1929 году к нему подходил советский ледокольный пароход, носящий имя похороненного на острове выдающегося русского полярного исследователя.

«Седов» бросил якорь у мыса Бророк со специальной целью розысков могилы. Однако найти ее не удалось. И только в 1938 году сотрудники полярной станции на острове Рудольфа случайно обнаружили следы могилы Седова, притом не на мысе Бророк, а на мысе Аук, расположенном к северу от первого мыса. Здесь были найдены куски парусины, флагшток и обрывки флага, который Седов хотел водрузить на полюсе и который матросы положили рядом с телом Седова. Однако ни кирки, ни молотка, ни нарт — предметов, упоминаемых в дневнике Линника, — странном образом, найдено не было.

Возвращение экспедиции Седова в Россию совпало с началом империалистической войны. В газетах мелькнуло несколько небольших заметок о трагической гибели Седова, а потом имя его было забыто.

В военно-морских кругах довольно откровенно высказывалось удовлетворение по поводу того, что назойливый «выскочка» больше не будет приставать со всякого рода нелепыми проектами, вроде экспедиции к Северному полюсу. В Гидрографическом управлении морского министерства с нескрываемым цинизмом отмахнулись от экспедиции и ее научных работ, в том числе от выполненных Седовым на Новой Земле с'емок. «Нам это не интересно, несите, куда хотите», — заявил почтенный воен-

¹ Острова Рудольфа (В. В.).

ный гидрограф автору этих строк, когда последний поставил перед Гидрографическим управлением вопрос об обработке и опубликовании собранных экспедицией Седова научных материалов.

Седову и после смерти сопутствовала ненависть его классовых врагов, прилагавших все свои усилия к тому, чтобы стереть память об этом отважном русском исследователе Арктики.

Грянула Великая Октябрьская социалистическая революция, и страна Сове-

тов высоко вознесла имя Георгия Яковлевича Седова.

Память Седова чтит весь советский народ. Опубликованы научные результаты его экспедиции. Только в стране социализма его мечта о достижении Северного полюса была претворена в действительность.

Труды Седова не пропали даром, и их непосредственным продолжением являются великие завоевания, сделанные в Советской Арктике после Октября, — завоевания, прославившие работу советских полярников на весь мир.



Бомбардировочная авиация и противовоздушная оборона глубокого тыла

Полк. А. СЕГЕДИ

★

1. *Угроза воздушного нападения на объекты глубокого тыла.* Использование самолета, как транспорта огня на дальние расстояния, ведет свое начало от первых дней империалистической войны, когда, с «легкой руки» командования германской армии, были подвергнуты воздушной бомбардировке столицы Англии и Франции. За 4 года немецкая авиация произвела 116 налетов на территорию Англии, разрушив 40 населенных пунктов глубокого тыла этой страны. Материальный ущерб от этих налетов выразился в сумме 143 млн. долларов. Количество убитых и раненых достигло почти 5 тыс. человек. Германская авиация сбросила на английскую территорию 9 000 бомб общим весом в 280 тонн, для чего было использовано 448 самолетов и 199 дирижаблей.

Париж за этот же период выдержал 32 бомбардировочных налета, в которых принимало участие 485 самолетов. Еще более интенсивным воздушным бомбардировкам подвергались: Венеция (136 налетов), Пола (40 налетов), Дюнкерхен (175 налетов).

Не замедлили последовать и ответные посещения германской территории представителями бомбардировочной авиации Англии и Франции. Промышленные районы глубокого тыла Германии испытывали на себе около 300 налетов. 2 452 самолета, участвовавших в этих нападениях, сбросили 8 657 авиабомб, которыми было убито 2 500 человек. Материальные убытки достигали 25 млн.

марок, не считая тех потерь, которые понесла германская промышленность из-за частых перерывов в работе в связи с воздушными налетами.

Такими многообещающими задатками зарекомендовала себя авиация в период своего младенчества, когда бомбардировщиков в современном понимании еще не существовало, а летно-технические качества самолета (скорость, высотность, дальность) были очень ничтожными.

Но разрушения и жертвы авиации периода империалистической войны бледнеют при сравнении их с разгулом фашистских бомбардировщиков сегодняшнего дня. За 1937 год только в одном Мадриде было разрушено 940 зданий. Перестали существовать благоустроенные города Испании — Герника, Фрага, Дуранго. Огромные разрушения причинила фашистская авиация своими налетами на Альбагет, Сагинто, Реус, Валенсию, Аликанте, Рейнос, Альказар, Барселону и т. д. Число жертв среди мирного населения Испанской республики достигает десятков тысяч. В одной только Барселоне несколькими налетами в 1938 г. фашисты убили 1 300 и ранили 2 000 человек. Не меньшие опустошения несет на своих крыльях японская авиация, нападающая на населенные пункты китайской территории. По данным английской газеты «Сэндей экспресс», японцы совершили за 9,5 месяца, т. е. с 1 сентября 1937 г. по 14 июня 1938 г., 1 430 налетов на города про-

винции Гуандунь. Во время этих налетов было сброшено 10 480 бомб, которыми разрушено 5 384 дома.

Во всей провинции убито 4 786 и ранено 9 027 мирных жителей. В одном только Кантоне убито 1 627 чел. и ранено 6 720.

Итальянская авиация в процессе захвата Абиссинии произвела за 7 месяцев 872 бомбардировочных налета, сбросив 1 500 тонн бомб и расстреляв 270 000 пулеметных лент. О числе жертв от этих налетов буржуазная печать умалчивает.

Так выглядит звериное лицо фашизма в его авиационной разновидности. Таковы истинные намерения руководителей этой авиации, о чем с ледяным бесстрашием повествовал еще некоторое время тому назад Людендорф («Тотальная война»), утверждавший, что военное командование с первых же дней войны будет стремиться при помощи всех имеющихся в его распоряжении авиационных средств «нанести сокрушительный удар хозайству и населению страны противника». Эта перспектива с большим усердием смакуется на страницах фашистской военной печати. Один из военных писателей, некто Юстров, подражая Людендорфу, заявляет, что «прекрасными мишенями (для бомбардировочной авиации) могут служить скопления жилых домов около промышленных предприятий, а также большие города».

Линия поведения бомбардировочной авиации намечена, таким образом, достаточно отчетливо и никаких сомнений не оставляет.

Реальная угроза со стороны бомбардировщиков объектам глубокого тыла в свете всех этих фактов и заявлений становится совершенно очевидной.

2. *Авиация — оружие дальнего прицела.* О степени угрозы воздушных нападений в условиях настоящего периода следует судить уже только по показателям тактических и технических возможностей современной авиации, учитывая, вместе с тем, и направление ее технического развития.

Едва ли имеет смысл приводить сравнение между авиацией сегодняшнего дня

и ее исторической тенью прошлых лет, так как красноречивость качественных характеристик современных нам самолетов не требует усиливающих впечатление сопоставлений. Общеизвестно, что наиболее распространенной конструктивной схемой самолета в настоящем является скоростью двухмоторный моноплан. Скорость таких самолетов в некоторых образцах достигает 450—500 километров в час. До последнего времени в отношении самолетов этого класса культивировалась, главным образом, их скоростность и высотность. Последние образцы позволяют, однако, установить приобретение ими новых качеств, а именно — резкое увеличение радиуса действия, живучести и грузоподъемности. Наряду с принятыми в большинстве стран на вооружение двухмоторными бомбардировщиками, обладающими бомбовой нагрузкой до 800—1 000 кг., при радиусе действия в 900—1 200 км., появились новые образцы самолетов этой категории, радиус действия которых возрос до 2 000—2 200 км., а бомбовая нагрузка увеличилась до 1 600—2 000 кг.

8 июня 1938 года летчики России и Вигру (Франция) на самолете «Амио-370» с грузом в 1 000 кг. пролетели расстояние в 5 000 км. со средней скоростью в 400 км. в час, причем на последнем этапе пути она была повышена до 415 км.

В США строятся для военной авиации стратосферные самолеты «Локхид-22» с моторами в 2 000 лощ. сил, рассчитанные на максимальную скорость в 773 км/час на высоте 11 000 метров. Радиус действия этих самолетов предположено довести до 6,5 тысячи километров.

Вместе с тем продолжается строительство и проектирование тяжелых многомоторных самолетов с значительно большим радиусом и грузоподъемностью, чем те, которыми обладают их предшественники, состоящие на вооружении в качестве современных самолетов военно-воздушных сил.

В этом отношении очень симптоматичны данные, приведенные в журнале «Флюгспорт», относительно двух образ-

цов американских многомоторных самолетов, подготавливаемых к постройке фирмой «Консолитейтед Эркафт Корпорейшен». Данные одного из этих самолетов следующие: при 6 моторах по 2 000 сил и весе, достигающем 181 тонны, он должен развивать скорость свыше 500 км/час. Радиус действия с экипажем в 30 чел., с 300 пассажирами, багажом, почтой и грузом спроектирован в 8 000 километров.

Освоение авиацией стратосферы—очередная проблема, которая подвергается сейчас тщательной обработке во всех странах. По сообщению «Аэро», итальянская фирма «Капрони» форсирует строительство высотного самолета, который, по расчету конструкторов, должен будет иметь потолок в 18 000 метров. Как известно, существующие типы самолетов обладают сейчас потолком в пределах 8 000 — 12 000 метров.

Все это вехи на пути развития авиационной техники наших дней.

Увеличение высоты и скорости повышают способность авиации к внезапности действий и живучесть ее. Рост грузоподъемности и дальности расширяет сферу приложения бомбардировочных усилий авиации, умножает количество доступных для нее целей бомбометания и способствует дальнейшему возрастанию разрушительных возможностей военно-воздушных сил. Таким образом раскрываются возможности авиации в области решения задач на уничтожение и разрушение объектов глубокого тыла. Можно утверждать, что уже сейчас на территории любой западно-европейской страны не существует ни одного недоступного для авиации ее соседей участка. Острые авиационного жала способно впитаться в любую точку территории западно-европейского континента. В этом отношении очень показателен совершенный 5 ноября 1938 года перелет трех английских одномоторных бомбардировщиков «Уэльслей» (Виккерс) из Египта (Измаила) в Сев. Австралию (порт Дарвин). За 48 часов беспосадочного перелета 2 самолета прошли по прямой расстояние в 11 460 км. и третий — 10 138 км.

Не следует упускать из вида еще одно обстоятельство — это возможность повышения разрушительной способности авиабомб путем сообщения им большой скорости в конечный момент падения на землю и применения новых взрывчатых веществ, повышающих эффект разрушения. Агентство «Ассошиэтед Пресс» сообщает, что в Германии освоен новый тип авиационной бомбы, изготовленной из легкого и прочного металла и наполненной жидким воздухом. Эти бомбы испытывались немецкими фашистами во время налетов в марте 1938 г. на Барселону. По утверждению «Ассошиэтед Пресс», новые немецкие бомбы, обладающие громадной разрушительной силой, изготавливаются сейчас в Германии в порядке серийного производства.

При возросшей и продолжающей увеличиваться дальности авиация, получив новое бомбардировочное вооружение, является, таким образом, тяжелой артиллерией дальнего прицела.

3. Противдействие воздушным налетам потребовало огромных усилий и затрат. Когда над Великобританским архипелагом появились первые немецкие бомбардировщики и дирижабли, принесшие на своих крыльях смерть и разрушение, стала очевидной необходимость организации серьезной обороны страны на всей ее глубине. Потребовались зенитные орудия, пулеметы, прожектора, аэростаты заграждения, истребители и люди, владеющие этими новыми средствами защиты глубокого тыла страны.

Количество этих средств и число обслуживающих их людей возрастало с каждым новым налетом, с каждым десятком человеческих жертв, достигнув к концу империалистической войны громадных по тому времени цифр.

К обороне одного только лондонского района было привлечено 286 зенитных пушек, 387 прожекторов, 282 истребительных самолета и 30 000 человек, занятых в системе ПВО.

Такие же меры стали необходимыми и для других стран — участников империалистической войны. Франция оборонялась от немецких бомбардировщиков огнем 900 зенитных орудий, выпустив

ших за время войны больше 1 миллиона снарядов. Италия ограничилась 600 пушками. Германия противопоставила бомбардировочной авиации Антанты 2 576 зенитных пушек и 717 прожекторов. Противовоздушная оборона при таком размахе отвлекла с фронта 2 800 офицеров и 55 тысяч солдат. В 1918 году 5 стран имели на западном фронте около 8 тысяч зениток, которые представляли для авиации серьезную угрозу: за 4 года ими было сбито 2 711 самолетов. Быстро развивавшаяся истребительная авиация сумела за тот же период вывести из строя на западном фронте 8 138 самолетов различного назначения. Таким образом совместными усилиями истребителей и зенитной артиллерии за годы войны уничтожено почти 11 тысяч самолетов и 40% принимавших участие в налетах дирижаблей.

Авиация дорого заплатила за причиненные ею разрушения и гибель населения глубинных тыловых пунктов. Противодействие становилось настолько серьезным, что с мая 1918 года немцы должны были прекратить свои налеты на Англию. Продолжавшиеся в 1918 году попытки бомбардирования с воздуха Парижа не имели сколько-нибудь значительных результатов, т. к. из 483 немецких самолетов, принимавших участие в этих налетах, сумели долететь до Парижа только 37, причем 13 из них было уничтожено огнем зенитной артиллерии и истребителями. Выполнили задание лишь 5% бомбардировщиков. Из общего числа 390 самолетов, участвовавших в налетах на Пола, 30% погибло от огня зенитной артиллерии.

Причиненные остальными самолетами разрушения оказались сравнительно ничтожными, т. к. бомбардировочный процесс протекал в очень усложненной и опасной для авиации обстановке.

4. *Авиация — в поисках новых решений.* Возросшая мощь средств противовоздушной обороны, которую почувствовал на себе авиация, понесла громадные потери в самолетах и летном составе, и слабая, в конечном счете, эффективность

самих налетов, осуществляемых небольшими по составу группами бомбардировщиков при малой их грузоподъемности, заставили авиацию искать новые пути для решения своих задач в глубоком тылу противника.

Бомбардировочная авиация переносит свои действия на ночь и стремится использовать затрудненные метеорологические условия в интересах внезапности своих налетов и непредугаданного появления над избранными для бомбометания целями, что в значительной степени снижало и потери в самолетах. Оборона не замедлила противопоставить ночным бомбардировщикам аэростаты заграждения, ночные истребители и развитую сеть прожекторных точек.

Появляются первые образцы тяжелых многотонных самолетов с большой грузоподъемностью, но с очень низкими пока летно-техническими качествами и слабым вооружением.

Наконец, применяется метод массирования бомбардировочной авиации при организации ее налетов на тыловые объекты. Это решение сейчас же зарекомендовало себя в качестве наиболее действительного мероприятия.

Массирование бомбардировочной авиации сочетается с применением различных методов налета на объекты глубокого тыла.

Одним из наиболее характерных приемов является звездный налет, в котором отдельные группы бомбардировщиков появляются одновременно над целью с разных направлений и на различных высотах. Находит частое применение метод эшелонного налета, в котором бомбардировочные группы последовательно появляются над целью через различные промежутки времени.

В действиях бомбардировщиков в Испании и Китае эти методы налетов авиации, обладающей новыми качествами в отношении дальности, скорости, высотности и грузоподъемности, широко применяются.

Так же, как в период империалистической войны, по мере усиления средств противовоздушной обороны бомбардировщики фашистов переносят свою деятельность на ночь.

Ночные налеты преимущественно производятся по методу эшелонных или повторных действий. Таким способом фашисты бомбардировали Валенсию, целый ряд аэродромов республиканской авиации и т. д., причем промежутки между бомбардировочными волнами варьировались от 15 минут до 3 часов.

В своих планах нападения на Париж германские фашисты предусматривают также эшелонный метод ночных действий бомбардировщиков, о чем свидетельствуют материалы военной игры, проведенной Герингом осенью 1937 года среди офицеров воздушного министерства. По ходу военной игры немецкие самолеты появлялись над Парижем пятью массированными группами (эшелонами) через час одна после другой, причем состав первого и последнего эшелонов был доведен до 600 самолетов, второго — в 200 самолетов и в остальных — по 100 самолетов.

Всего в этом воображаемом налете участвовало, таким образом, 1 600 машин типа «Юнкерс-52», которые, по расчетам фашистов, должны были сбросить на столицу Франции больше 1 миллиона бомб общим весом почти в 3,5 тысячи тонн взрывчатого вещества.

Как бы ни были фантастичны эти планы, они тем не менее свидетельствуют об истинных намерениях командования германской армии в отношении характера и методов использования немецкой бомбардировочной авиации в будущей войне.

Зенитная артиллерия китайской армии заставляет японцев уходить на большую высоту. Бомбардирование же с большой высоты в ряде случаев не дает уверенности в попадании в цель и требует громадного расхода авиабомб. Поэтому японская авиация стала прибегать к бомбометанию с пикирования.

Этот метод японские бомбардировщики чаще всего применяли при атаках железнодорожных объектов. Пикирующие бомбардировщики действовали в этом случае звеньями, снижаясь до высоты 600—800 метров. Вероятность поражения цели при бомбардировании

с пикирования повышается в очень значительной степени. Специальный тип самолетов-бомбардировщиков конструируется сейчас в Германии, Англии, Франции и США.

«Фляйт» сообщает, что в последнее время морские силы США вводят на вооружение большие группы пикирующих бомбардировщиков, типа «Кертис ВС-3», «Нортроп ВТ-2» и «Врьюстер», которые снабжены воздушными винтами особого устройства, уменьшающими скорость самолетов в процессе пикирования. Бомбовая нагрузка этих машин составляет в среднем около тысячи английских фунтов. По отзывам печати, атака новых американских пикирующих бомбардировщиков может дать решительный результат даже в отношении линейных кораблей с тяжелой броней.

На пикирующих бомбардировщиков предположено возлагать, кроме уничтожения морских судов, выполнение следующих задач: разрушение отдельных объектов в составе крупных промышленных пунктов, а также мостов, путей сообщения, переправ, оборонительных сооружений, командных пунктов, средств противовоздушной обороны и т. д. с применением пулеметного обстрела и авиабомб от 10 до 500 кг. Таким вооружением обладает, например, немецкий пикирующий бомбардировщик «Хейнкель На-118», английский бомбардировщик Блэгборн «Скуа» и др.

Американская авиация на последних воздушных маневрах производила бомбардирование целей малых размеров с пикирования, применяя авиабомбы замедленного падения, снабженные парашютами. Это мероприятие необходимо в целях предотвращения возможности поражения самолетов осколками своих же бомб.

По мнению иностранных специалистов, метод бомбометания с пикирования в будущей войне найдет самое широкое применение.

В непрекращающейся борьбе между средствами ПВО и бомбардировочной авиацией последняя нашла, таким образом, целый ряд различных новых решений, которые позволяют ей рассчи-

тывать на возможность поражения тыловых объектов, несмотря на очень усложнившуюся для нее обстановку и возросшее значение системы противодействия воздушным налетам.

Однако бомбардировщики не могут считать себя победителями в этой борьбе, поскольку техника средств ПВО продолжает непрерывно совершенствоваться наряду с изысканием новых методов ее применения. В этом отношении наиболее показательны успехи зенитной артиллерии.

5. *Современная зенитная артиллерия — достойный противник авиации.* Еще в течение империалистической войны зенитная артиллерия заставляла серьезно считаться с нею бомбардировочную авиацию, внушая уважение к себе по мере численного ее роста и, главным образом, качественного изменения материальной части и методов ведения огня. Если в 1916 году французская зенитная артиллерия расходовала на один сбитый самолет 11 тысяч снарядов, то к концу войны этот расход был уже снижен почти в 3,5 раза и доведен до 3 200 снарядов. Английские зенитчики добились еще большей экономии снарядов, расходуемых на один сбитый самолет: в 1918 году поражение самолета достигалось в результате 1 500 выстрелов. Американская артиллерия в тот же период времени сократила расход снарядов до 605. Из общего числа 1 658 самолетов, сбитых за 4 года германской зенитной артиллерией, — 745, или 45%, приходится на 11 месяцев 1918 года. Французская артиллерия сбивала за тот же срок около 40% общего числа уничтоженных ею за все годы империалистической войны немецких самолетов. Тем не менее, хотя значение зенитной артиллерии в качестве одного из наиболее действительных средств борьбы с авиацией быстро возрастало, ее трофеи, однако, покупались дорогой ценой, — миллионами снарядов, которые расстреливались тысячами зенитных пушек.

Полной гарантии безусловного недопущения бомбардировочных налетов авиации на обороняемый объект зенитная артиллерия в империалистическую вой-

ну не обеспечила. Самолеты приобрели новые, повышенные летные качества, прибегали к более совершенным тактическим приемам атаки, более искусно применялись к условиям воздушной и метеорологической обстановки. Зенитная артиллерия стала перед необходимостью ответить на технический рост авиации дальнейшим повышением прицельности и меткости своего огня, увеличением дальности и скорострельности.

В этом направлении и велась работа на протяжении всего послевоенного периода включительно до наших дней. Сравнение пределов досягаемости зенитных орудий по высоте, относящихся к орудиям 1918 г. и современным пушкам, показывает, что в этом направлении артиллерия сделала серьезные успехи. Действительно, если зенитные пушки средних калибров (75—80 мм) раньше могли вести огонь на предельную дистанцию в 7 тысяч метров, то современные орудия этого типа имеют досягаемость до 10 км. высоты. Предельная досягаемость крупнокалиберных пушек (100—130 мм) повысилась с 8 до 16 км. т. е. в 2 раза. Скорострельность, определяемая числом выстрелов в минуту, повысилась в отношении малокалиберных пушек на 66% (с 150 до 250), среднекалиберных — почти на 60% (с 16 до 25) и крупнокалиберных — на 100% (с 8 до 16). Однако, эти темпы роста качественных показателей зенитной артиллерии, несмотря на все их неоспоримое значение, все же недостаточны, т. к. бомбардировочная авиация увеличивает свою высотность и скорость гораздо интенсивнее, и это обстоятельство предъявляет к зенитной артиллерии требование дальнейшего роста ее возможностей и перехода на автоматичность.

Зенитная артиллерия добилась повышения меткости стрельбы и снижения расхода снарядов путем усовершенствования методов ведения огня и улучшением своего приборного хозяйства. Централизованное управление огнем с применением автоматических приборов, вырабатывающих все необходимые исходные данные для стрель-

бы зенитной батареи и передающих эти данные на орудия электрическим путем (при помощи синхронной связи). в значительной степени содействовало повышению меткости стрельбы. Фашистские самолеты в Испании и Китае вынуждены, встречаясь с организованным огнем современных зенитных батарей, уходить на большие высоты и применять высотное бомбометание. В апреле 1937 года республиканская зенитная артиллерия за 10 дней четырьмя батареями отбила 17 бомбардировочных налетов фашистской авиации на Мадрид, сбив при этом 6 самолетов противника при расходе всего лишь 933 снарядов. На каждый сбитый самолет приходилось, таким образом, не более 165 снарядов. В порядке оценки результатов больших противоздушных маневров, имевших место в октябре 1938 года в США — в штате Сев. Каролина, — газета «Таймс» сообщает, что, по мнению военного обозревателя «Нью-Йорк Таймс», присутствовавшего на этих маневрах, эффективность огня среднекалиберной американской артиллерии повысилась по сравнению с 1918 годом в 12 раз. Стрельба по буксируемым мишеням на высотах до 4,5 тысячи метров показала, что из каждых 24 выстрелов один снаряд поражает цель. На основании этих результатов посредники на маневрах считали самолет сбитым, если он находился в сфере огня 4-орудийной зенитной батареи 30 секунд, за которые батарея успевает произвести до 40—50 выстрелов.

Имеются сведения о разработке системы ведения огня полностью автоматизированной зенитной батареей, не требующей присутствия на ней обслуживающего состава, кроме нескольких электротехников, наблюдающих за работой автоматических механизмов. Автоматы производят не только все расчеты для ведения огня, но также и зарядание орудия, выстрел и т. д. Не прекращаются работы над получением новых типов зенитных артиллерийских снарядов и взрывателей для них.

По данным той же газеты «Таймс», американские мелкокалиберные зенит-

ные орудия (37 мм) стреляют сверхчувствительными снарядами, взрывающимися при ударе о полотняную обшивку крыла самолета.

В Англии испытаны ракетные снаряды «Метьюз». Заброшенные на высоту до 9 тысяч метров, они разрываются, выбрасывая очень тонкие стальные сети, медленно спускающиеся на маленьких парашютах. Таким путем перед бомбардировщиками можно поставить воздушные проволочные заграждения, окружающие обороняемый объект. Бомбардировщики, попав под обстрел ракетными снарядами, рискуют запутаться в стальных тенетах, поставленных перед ними зенитной артиллерией.

Там же ведутся опыты над снарядами, создающимися в воздухе, на пути движения самолетов, невидимую для летного состава завесу. У самолетов, попавших в нее, останавливаются моторы, и они вынуждены приземляться.

Вполне освоено производство трассирующих снарядов, получающих широкое применение в зенитной артиллерии. Завод Бофорса в Швеции, изготовляющий такие снаряды, считает, что они должны в дальнейшем являться основными в боевом комплекте зенитных батарей. Преимущество трассирующих снарядов заключается в возможности проследить по дымовому следу их путь от орудия до самолета и судить о допущенных неточностях в исчислении исходных данных при ведении артиллерийского огня. Широкое применение могут найти осветительные снаряды для ночных стрельб, позволяющие не только осветить цель (самолет), но и ослепить летный состав, чем нарушается точность ведения самолета на боевом пути перед началом бомбометания.

В обстановке ночных налетов большое значение принадлежит работе прожекторов, облегчающих зенитной артиллерии нахождение цели и способствующих более точному и надежному ведению огня.

На американских воздушных маневрах применялись новые, улучшенные образцы 60-дюймовых прожекторов с силой света до 800 миллионов све-

чей, обнаруживавших самолеты на высоте до 7 200 метров.

В США подготавливаются испытания нового прибора, определяющего местонахождение самолета в любых метеорологических условиях путем использования световых волн. Данные этих приборов пока не опубликованы. Обязательными и надежными помощниками современных зенитных батарей служат звукоулавливатели, предупреждающие о приближении самолетов противника с 22 километров. С 16 километров самолет засекается с достаточной точностью, причем определяется не только направление полета, но и высота, на которой он летит.

Таким образом, зенитная батарея сегодняшнего дня имеет в своем распоряжении самое разнообразное и очень мощное приборное хозяйство, образующее при централизованном управлении огнем единый комплекс дополняющих друг друга приборов, которые способствуют повышению прицельности, меткости и своевременности открытия зенитного огня по бомбардировщикам противника.

Однако и сами зенитные батареи могут быть целью бомбардировщиков и штурмовиков. План бомбардировочного налета на тыловые пункты, обороняемые зенитной артиллерией, предполагает предварительное уничтожение зенитных батарей, прожекторов, звукоулавливателей и пр. Кроме того, в ряде случаев, как об этом свидетельствует практика бомбардировочных действий авиации в Испании, самолеты уходят от огня зенитной артиллерии с резкой потерей высоты и бомбардируют некоторые тыловые объекты на очень малых высотах. Все это заставляет принимать для обороны тыла, кроме артиллерии различных калибров, еще и зенитные пулеметы.

Применяемые в Испании и Китае пулеметы для борьбы с авиацией обладают дальностью огня до 1 500 метров, но действительным огонь их может считаться до высоты 1 000 метров. Для повышения вероятности поражения самолетов и увеличения плотности огня эти пулеметы монтируются по несколько

стволов на одной установке, которая может быть укреплена на автомобиле для придания пулеметам необходимой подвижности и маневренности.

В сочетании с мелкокалиберной и среднекалиберной зенитной артиллерией подвижные счетверенные (спаренные, строенные) зенитные пулеметы на автомашинах могут с успехом оборонять от штурмовиков и бомбардировщиков самые разнообразные тыловые объекты: склады, базы, аэродромы, населенные пункты, железнодорожные станции, пергоны, мосты, участки шоссе, линии и узлы связи, электростанции и т. д.

В США недавно испытывались зенитные пулеметы нового образца, вертикальная дальность которых превышает 1 500 метров, а скорострельность достигает 750 выстрелов в минуту. По отзывам печати, эти пулеметы зарекомендовали себя в качестве отличного средства борьбы с самолетами, летящими ниже 2 000 метров.

Следует ожидать применения для обстрела штурмовиков и бомбардировщиков разрывных пуль наряду с увеличением калибра зенитных пулеметов. Это позволит рассчитывать на поражение металлических самолетов повышенной живучести.

Наконец в арсенале огневых средств борьбы с авиацией имеются пока еще мало применяемые, но изготавливаемые уже в нескольких образцах противосамолетные ружья.

По сообщению английской печати, дальность таких ружей, при длине в 5,2 метра и весе в 75 кг., достигает 6 километров. Винтовка снабжена специальным каучуковым плечом, смягчающим отдачу после выстрела, ствол же помещается на небольшой платформе перед прицелом. Калибр такой винтовки достигает 20 мм.

Все это вместе взятое наращивает основной капитал средств противовоздушной обороны и позволяет сочетанием различных калибров зенитных орудий, пулеметов, ружей, прожекторов, звукоулавливателей и пр. организовать достаточно полноценную оборону объектов глубокого тыла, если к тому же эти ог-

невые средства борьбы с авиацией противника взаимодействуют со своими истребителями и опираются на четкую работу системы постов наблюдения и оповещения.

6. *Истребительная авиация обогатилась новыми средствами борьбы с бомбардировщиками противника.* Возросшая скорость самолетов всех назначений потребовала и от истребителей увеличения скорости и перевооружения их, так как продолжительность атаки в воздушном бою свелась к нескольким секундам. Новейшие образцы одноместных и одномоторных истребителей обладают уже сейчас скоростью свыше 500 км. в час. По сообщению «Фляйт», в США строится новый истребитель-перехватчик, обладающий скоростью до 600 км. в час. Этот самолет должен быть вооружен 17 пулеметами. Вместе с тем появляется новый тип одноместного двухмоторного истребителя. Представителем машины этого типа является французский самолет «Анрио-220» со скоростью 515 км/час. Скорость двухмоторных истребителей может быть значительно превышена. Вместе с тем не теряют своей ценности и истребительные самолеты с меньшими показателями их скорости, которые используются в качестве маневренных самолетов, обладающих большой эволютивностью и подвижностью, позволяющей им успешно атаковать истребителей противника с наименее защищенной стороны. Как те, так и другие истребительные машины до последнего времени вооружались только пулеметами, количество которых на некоторых самолетах доходило до 4—6 при скорострельности их в 1 100—1 200 и более выстрелов в минуту. Попутно с этим для увеличения мощности самолетного вооружения начали применять крупнокалиберные пулеметы, которые, однако, как это показал опыт воздушных боев в Испании и Китае, не дали значительных преимуществ в отношении их разрушительной способности. Более удачным решением в этом направлении оказалось применение на истребителях авиационных пушек калибром от 20 до 40 мм при скорострельности свыше 250—300 выстрелов

в минуту. Французская 20-мм пушка «Испано-Сюиза» рассчитана даже на 500 выстрелов, причем есть все основания полагать, что скорострельность некоторых образцов 20-мм авиационных пушек может быть доведена до 800 выстрелов в минуту. Такие пушки могут быть установлены как в крыльях самолета, так и в фюзеляже для стрельбы через винт. Примером пушечных истребителей служат французские самолеты «Кодрон - Рено-710», «Ньюпор - 161», «Блох-150», польские самолеты типа «PZL-P24», германские истребители «Мессершмидт» и т. д. Пушечное вооружение на этих самолетах обычно сочетается с пулеметным. Например, польский истребитель «PZL-P24» имеет 2 пушки и 2 пулемета, немецкий истребитель «Мессершмидт» — 1 пушку и 4 пулемета. Такое комбинированное вооружение дает истребителю новые возможности в отношении борьбы с бомбардировщиками, позволяя вести огонь с гораздо больших расстояний и увеличивая время на использование в бою оружия самолета. Боевые качества истребителя в силу этого резко повысились, так же, как и значение его как средства ПВО объектов глубокого тыла. Этим, однако, не исчерпывается запас возможностей истребительной авиации в области ее вооружения. В итальянском журнале «Ревиста Аэронаутика» помещена статья лейтенанта Джулио Систи, в которой автор подробно разбирает вопрос о бомбардировочном вооружении истребителей, как новом средстве борьбы с бомбардировщиками в воздухе.

По сообщению автора, основывающегося на материале произведенных опытов в Италии, под истребитель может быть подвешено до 10 бомб весом в 15 кг. каждая, причем авиабомбы снабжаются в этом случае дистанционными взрывателями, позволяющими взорвать их в воздухе на любой высоте и через любой промежуток времени после сбрасывания с самолета.

Таким образом, группа истребителей в составе 10 самолетов может сбросить, находясь выше бомбардировщиков на 1 000—1 500 метров, до 100 бомб, ко-

торые, пролетев заданное расстояние, взорвутся вблизи самолетов противника, поражая их осколками и ударной волной. По мнению иностранных специалистов, такой метод действий истребителей сообщает им исключительные возможности в борьбе с бомбардировщиками, покушающимися на пункты глубокого тыла.

Универсальность и разнообразие вооружения истребителей, обладающих громадной скоростью, повышенной живучестью и значительным радиусом действия, создают условия, позволяющие оценивать этот вид авиации по-новому и придавать ему огромное значение в системе противовоздушной обороны глубокого тыла страны.

Противовоздушная оборона Мадрида с полной очевидностью доказала, что истребительная авиация и зенитная артиллерия образуют трудно преодолимые для бомбардировщиков противника условия в том случае, если оба этих решающих средства ПВО, взаимодействуя друг с другом, умело сочетают свои усилия в решении общей для них задачи.

7. *Воздушный проволочный забор из аэростатов заграждения.* Если авиация противника, встретив сильное и хорошо организованное противодействие средств ПВО, перенесет свою бомбардировочную «деятельность» на ночь, ей может быть противопоставлено проволочное заграждение, преодоление которого сопряжено с большими затруднениями и риском.

Аэростаты заграждения широко применялись в течение империалистической войны для прикрытия крупных тыловых объектов. Однако неудачные способы их расстановки и незначительная высота подъема не давали надежного обеспечения.

Обычно практиковалось заграждение «фартуками», т. е. расстановкой на небольшом удалении друг от друга 5—6 аэростатов на одной линии с соединением их продольными тросами, поддерживаемыми свисающие вниз тонкие стальные тросики. Вес такой заградительной сети был очень значителен, в результате чего ее нельзя было поднять

на большую высоту даже при применении крупных аэростатов. Кроме того, аэростаты, оттягиваемые сетью, снижались и сближались друг с другом и не давали нужного прикрытия.

По английским взглядам сейчас предпочитается система заграждения, состоящая из поднятых на значительную высоту отдельных аэростатов, несимметрично расположенных по контуру защищаемого объекта (кольцевое прикрытие) или в пределах всей его площади. Взаимоудаление аэростатов рекомендуется доводить до 90—100 метров; при этом считается, что вероятность столкновения самолетов с тросом одного из рядом стоящих аэростатов достигает 50 процентов.

Так как бомбардировщики могут подойти к объекту бомбометания на предельно доступной для них высоте, 7—8 тыс. метров, то и аэростаты заграждения должны иметь возможность подниматься на такой же потолок. По заявлению английского журнала «Фляйт», в ближайшем будущем аэростаты будут способны подниматься на эти высоты, а для усиления их защитной способности они могут снабжаться зарядом взрывчатого вещества, которое взрывается в момент касания троса крылом самолета.

8. *О постах воздушного наблюдения.* Любое средство противовоздушной обороны оказывается действительным только в том случае, если оно будет своевременно и заблаговременно предупреждено о приближении к обороняемому пункту авиации противника. Поэтому противовоздушная оборона должна иметь надежно действующую сеть постов воздушного наблюдения и оповещения. Эти посты являются недремлющими глазами и чутким слухом обороняемого объекта; без них немыслима правильная организация защиты от воздушного противника.

Прекрасно подготовленная и безотказно действующая сеть таких постов в системе противовоздушной обороны Мадрида предупреждала о налетах фашистов за 7—8 минут до появления их над городом, что позволяло дежурным республиканским истребителям под-

няться в воздух и вступать в бой с противником до того, как его самолеты начинали сбрасывать бомбы.

Не меньшие услуги они оказывали и республиканской зенитной артиллерии, всегда получавшей во-время предупреждения о предстоящем налете и успевавшей, благодаря этому, встретить противника в состоянии полной готовности.

На американских противовоздушных маневрах 1938 г. система воздушного наблюдения состояла из 307 постов, расположенных на 20 тысячах квадратных миль; таким образом, на 8 кв. миль приходился один пост. В течение 6 дней маневров этими постами было произведено и передано по телефону 2 300 наблюдений, при чем на передачу и получение сообщения затрачивалось в среднем не более 3 минут. Штаб обороны получал своевременно и безотказно сведения о приближающихся самолетах.

Располагаясь в определенном порядке на удалении от пункта ПВО до 40 км., посты воздушного наблюдения, имея в своем распоряжении простейшие приборы и средства связи, могут предупреждать о налете бомбардировщиков как днем, так и ночью. Примером отличной ночной работы системы постов наблюдения может служить организация ее в течение империалистической войны при обороне Лондона, подробное описание которой приведено в книге Ашмора «Воздушная оборона Англии». Эта система совершенно исключала возможность появления незамеченными немецких самолетов и устраняла нередкие до ее организации ошибки.

9. Инженерные мероприятия. Даже при наличии достаточного количества истребителей, зенитных орудий, пулеметов, прожекторов, аэростатов заграждения и всех остальных средств ПВО населению тыловых пунктов должна обеспечиваться его сохранность и безопасность целым рядом и других мероприятий.

Инженерно-технические средства защиты обладают в этом отношении немалыми возможностями. В первую очередь они способны применять маски-

ровочные приемы, затрудняющие противнику нахождение объекта и ориентировку в процессе бомбометания. Казалось бы, что крупные объекты замаскировать полностью невозможно. Однако скрыть их от противника применением дымовой завесы днем и приемом светомаскировки ночью не представляет большого труда.

Необходимо только учитывать, как об этом свидетельствует опыт тех же американских противовоздушных маневров, что затемнение лишь самих населенных пунктов еще не создает для авиации больших затруднений в нахождении своей цели. Затемнению должны подвергаться все пути сообщения, подходящие к объекту бомбометания, или полоса местности на значительной глубине. Одновременно с этим могут быть включены ложные световые ориентиры, привлекающие к себе внимание противника. Маскировочная дисциплина в условиях ночных налетов, предполагающая соблюдение всех требований, разработанных в отношении световой маскировки, способна дезориентировать авиацию противника или, в лучшем для нее случае, заставить ее производить бомбометание по большой площади без точного прицеливания.

На ряду с этим большое значение приобретает устройство надежных убежищ, вмещающих в себя население обороняемого пункта и предохраняющих его от поражения авиабомбами и отравляющими веществами.

Опыт строительства таких убежищ в Испании показал возможность быстрого их возведения усилиями населения тех городов, которые подвергались налетам авиации фашистов. Во многих из этих городов убежища обеспечивали по своей емкости и количеству укрытие почти всех жителей.

Во время империалистической войны население Лондона при появлении немецких бомбардировщиков уходило в тоннели метро. В Ист-Энде под защитой метрополитена в отдельные дни находилось до 300 тысяч человек. Использование метро весьма целесообразно, так как для крупного населенного пункта подготовить на всех жителей

специальные убежища очень трудно. По расчетам Вотье, для обеспечения укрытия 1 миллиона жителей необходима постройка 200 убежищ в 250 кв. метров каждое. Вместе с тем надежное предохранение от поражения тяжелыми бомбами требует толщины верхнего перекрытия из 3 метров бетона или 15—18 метров земли.

В Англии производится строительство подземных гаражей, которые, так же, как и метро, могут быть заняты населением в качестве убежища.

В Париже предполагается наряду с максимальным использованием метрополитена построить на глубине до 25 метров большие убежища, вместимостью каждое до 1 000 человек. Всего в таких убежищах можно будет разместить свыше 1,5 миллиона человек.

В Лондоне запроектировано строительство убежищ, способных вместить до 1 млн. человек. На строительство их ассигновано до 8,5 млн. долларов.

Но на ряду с такими дорогостоящими сооружениями не следует пренебрегать устройством простейших защитных укрытий в виде узких небольших щелей, удаленных от жилищных построек. Такие щели нашли широкое применение в Испании. Вместе с тем не было зарегистрировано ни одного случая попадания в щель авиабомбы, так как их ничтожные размеры обеспечивают крайне незначительную вероятность прямого попадания.

10. Местная оборона. Местная противовоздушная оборона населенного пункта должна подкреплять и усиливать всю систему ПВО. Четкая организация управления ПВО предполагает наличие, помимо внешних постов наблюдения и оповещения, внутренней системы наблюдения и оповещения, поддержание порядка, организацию медицинской помощи и противохимической индивидуальной и групповой защиты, противопожарной охраны, восстановительной службы и т. д.

При нападениях с воздуха на города бомбардировщики могут широко применять зажигательные средства.

По расчетам Вотье, 100 самолетов

способны вызвать 17 тысяч очагов пожаров, применяя мелкокалиберные зажигательные бомбы.

Авиация японских фашистов при своих налетах на населенные пункты территории Китая нередко использует это средство поражения.

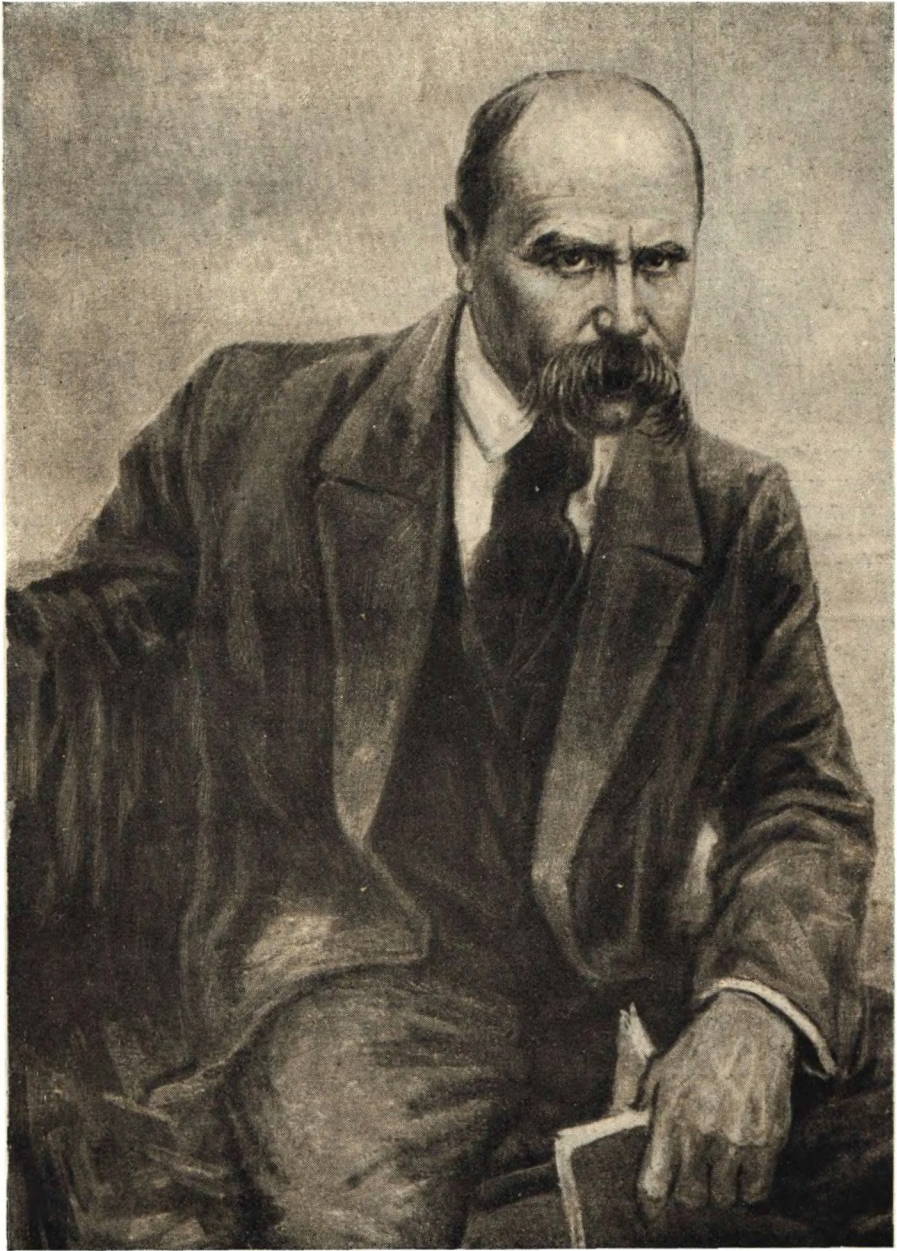
Учитывая эту опасность, каждый населенный пункт может считать себя хорошо подготовленным в противовоздушном отношении, если, помимо всех прочих мероприятий, в нем будет отлично налажена противопожарная охрана.

За границей этому вопросу уделяется очень большое внимание. В Париже, например, организован для этой цели специальный полк противопожарной защиты, укомплектованный в значительной части из добровольцев, снабженный всеми современными средствами противопожарной техники и имеющий свои подразделения во всех районах города.

Подготовка населения тыловых пунктов в области местной противовоздушной обороны в условиях численного роста и увеличения дальнобойности, высотности и грузоподъемности современной авиации приобретает исключительное важное значение.

Для нашей страны, где забота о человеке поставлена в исключительно благоприятные условия, где социалистическая собственность требует предельной бережливости, бдительности и сохранности, где защита родины является первой и почетнейшей обязанностью каждого трудящегося, — вдумчивое и повседневное укрепление во всех областях противовоздушной обороны в обстановке капиталистического окружения приобретает значение первостепенной важности.

Отличная организация противовоздушной обороны каждого пункта нашей страны должна расцениваться в качестве обязательного элемента ее обороноспособности в целом. Вот почему участие в этой ответственной области еще в мирное время является необходимым вкладом в общее дело защиты своей родины от всяческих покушений со стороны врага на ее неприкосновенность.



Т. Г. Шевченко

Рис. худ. Н. П. Глуценко

Эстетика Тараса Шевченко

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

I

На первый взгляд, казалось бы, нет смысла даже ставить вопрос об эстетике Шевченко. Известно, что он ненавидел эстетика. В бесконечном одиночестве ссылки он записал в дневнике: «Я, несмотря на мою искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и природе, чувствую непреодолимую антипатию к философиям и эстетикам». Эту «непреодолимую антипатию» ко всякому отвлеченному теоретизированию Шевченко почувствовал еще в то время, когда студентом Академии Художеств слушал в Петербурге лекции конференц-секретаря Академий, Григоровича, построенные по принципу «побольше рассуждать и поменьше критиковать», — «чисто платоновское изречение», как иронически называет Шевченко этот профессорский принцип.

Но не надо путать. Ненависть Шевченко к идеалистической эстетике его времени, к болтовне об отвлеченно-прекрасном и к пустому теоретизированию отнюдь не означает, что у него самого не было стойких взглядов на искусство. Наоборот, у него были эти стойкие взгляды, не случайные и не бессвязные, а представляющие собою глубокую внутреннюю связь, почти систему. Знакомство с этими взглядами, — в их органической связи, — ценно и важно не только для полноты биографии Шевченко, для закругленной характеристики его образа. Они действительно

интересны сами по себе и глубоко поучительны для всех нас, работников искусства. Каковы же эти взгляды?

Первым учителем Шевченко в искусстве был Брюллов. Влияние Брюллова на Тараса Григорьевича было не простым воздействием учителя на ученика. Оно умножалось на целый ряд приводящих обстоятельств. Именно Карл Брюллов — «великий Карл» — был тот могущественный человек, та добрая сила в сказке шевченковской судьбы, чье вмешательство волшебным образом изменило эту судьбу. Он сразу оценил рисунки мальчика — «кріпака», встреченного молодым украинским живописцем Сошенко в Летнем саду; именно он, узнав, что талантливый рисовальщик — крепостной помещика Энгельгардта, помог его выкупить, да не одним только, а дешево стоящим, «влианьем», а своею рабочей кистью, — нарисовав и разыграв в лотерею портрет Жуковского. Наконец, именно он, Карл Брюллов, взял двадцатичетырехлетнего Шевченко, плохо и случайно обученного юношу, без школы, без знаний, еще целующего руку «барину», еще хранящего следы побоев на себе, учеником в Академию, поселил в своей мастерской, посадил на хлебником за свой стол, сделал своим человеком в доме, приучил к чтению вслух, стал брать с собой в театр, словом, впустил в свой интимный мир, — мир знаменитейшего художника того времени. Ясно, каким кумиром, каким авторитетом он должен был стать

и стал для впечатлительного, благодарного, глубоко чуткого Шевченко. И тем изумительнее тот факт, что из Шевченко вырос не «брюлловец», не ученик своего мастера, не продолжатель дела первого своего учителя, даже и не живописец,—хотя у Шевченко было огромное художественное дарование,—а певец, неизмеримо далекий от брюлловских канонов.

Но и во взглядах на искусство Брюллов не оказался для Шевченко решающей силой. Усвоив от Брюллова целый ряд вкусовых симпатий и антипатий, крепко запомнив кое-какие любимые словечки Брюллова и подчас употребляя их, Шевченко выработал совершенно самостоятельные художественные убеждения, бесконечно более глубокие и передовые, нежели брюлловские.

Не следует представлять себе этот путь самостоятельного мышления и преодоления брюлловского авторитета очень легким для Шевченко. «Великий Карл» был и остался для Тараса Григорьевича кумиром, каждое сомнение в нем сопровождалось для него тягчайшими душевными переживаниями. Когда, например, Брюллов копировал «Иоанна Крестителя» Доменико и Шевченко почувствовал, что оригинал выше копии, он был потрясен этим, он пытался объяснить несовершенство копии самыми посторонними причинами, только не тем, что Брюллов ниже Доменико («или это время так очаровательно ступало эти краски?» и т. д. Повесть «Художник»). И много-много лет спустя, вспоминая, как Брюллов, которого уже и в живых не было, молчал о картинах Александра Иванова или в шутку называл Иванова «немцем», «то-есть кропуном, а кропать, по словам великого Брюллова, верный признак бездарности», — Шевченко в дневнике своем почтительно и осторожно замечает: «с чем я не могу согласиться в отношении Иванова, глядя на его «Марию Магдалину». И, тем не менее, при всем этом глубоко, искренним благоговением, долгое время живя и работая с Брюлловым бок о бок, Шевченко сумел накопить самостоятельный и совершенно не похожий ни на что брюлловское опыт. Представим се-

бе двух этих людей, Брюллова и Шевченко, в одной мастерской.

Карл Павлович Брюллов вошел в историю русской живописи, как «нео-классик». Нео-классицизм, возврат к величавой законченности античных тем, к статически поданной, античной нагоде, был искусством официальным, парадным, искусством дворцов. Клиентами Брюллова были светские люди, придворные, царская семья. Учеников своих Брюллов держал на библейских, древнегреческих и древнеримских сюжетах, далеких от современности, — даже средние века он считал «уродством». В соответствии с темами, собственный разговорный и эпистолярный язык Брюллова был неизмеримо пышен, тяжел, старомоден. Он писал, например, в тридцатых годах, когда по синтаксису уже ударила освежающая струя облегченной пушкинской речи: «Первое, что я приобрел в вояже, есть то, что я уверился в ненужности манера. Манер есть кокетка»... Или «к ои зритель иначе не может видеть, как на таком расстоянии, на каком»... И т. д.

И в то же время «нео-классицизм» Брюллова сочетался с огромным вкусом, с высоким пониманием природы, с французской любовью к «открытому воздуху».

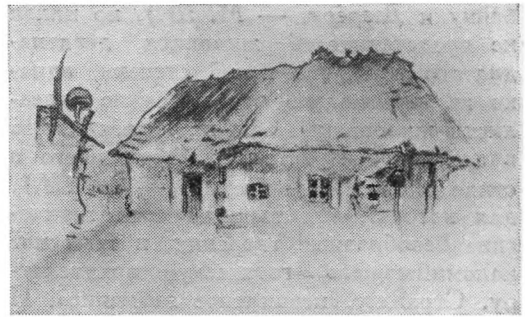
В воспоминаниях Рамазанова сохранились такие его советы ученикам: «Рисуйте антику в античной галерее, это так же необходимо в искусстве, как соль в пище; в натурном же классе старайтесь передавать живое тело, оно так прекрасно, что только умеете постичь его, да и не вам еще поправить его; здесь изучайте природу, которая у вас перед глазами»... Не вам поправить его — это уже заповедь против формальной идеализации, формальной красивости. Когда Брюллов воюет с «немцами» за Рафаэля, бушует против Альбрехта Дюрера, против Корнелиуса с его попыткой вернуть искусство к примитиву XV века, он прежде всего отстаивает чисто живописное начало и прозорливо видит хранителей и продолжателей рафаэлевского живописного принципа во французах: «Все шесть Корреджиев, славных картин, делающих

Дрезденскую галерею славнейшею, по словам здешних беснующихся потомков Альбрехт-Дюреровых, никогда не делают и сотою пользы, что одна Пуссенова картина, о котором едва знают, что он какой-то француз» (письмо к Кикину, от 1823 года).

И первое, что останавливает в отношении Шевченко к Брюллову, это—умение неопытного и неискушенного в искусстве парнишки разобратъся в различных свойствах Брюллова, выбрать, выделить и усвоить себе наиболее из них прогрессивные. Как реагировал он на парадность Брюллова, на его тематику, на официальную служебную роль его живописи, на адресование этой живописи определенному кругу зрителей (то-есть на важнейший момент в судьбе художника, для кого и кому он пишет), — мы увидим в дальнейшем. А сейчас посмотрим, что в Брюллове и как пошло ему впрок.

Стихийная ненависть учителя к немецкой школе и его любовь к эпохе Возрождения, так же как и к полнокровному французскому письму, целиком были восприняты Шевченко. Но для Брюллова это был вопрос чистого искусства, и, воюя с немцами, он защищал от «уродства», от посторонних идеологических примесей «Альбрехт-Дюреровых крикунов» чистое живописное начало, принцип рафаэлевской красоты, а Шевченко чувствовал и понимал глубже, он видел в основе этой борьбы столкновение разных отношений к миру, двух мировоззрительных начал.

Немецкое искусство было в то время живым отражением немецкого идеализма. Попытки Петера Корнелиуса и его товарищей, именовавших себя «назарянами», вернуться к церковному примитиву, возрождение готики, стилизация под Дюрера, провозглашение того, что было у гениального Дюрера его слабостью, его косноязычностью и с чем он сам боролся, желая добиться реализма, то-есть провозглашение его условных, церковных и традиционных приемов наиболее великими и достойными подражания, — все это было отголоском воинствующего философского немецкого идеализма, взгляда на искус-



*Хата Шевченко в Кирилловке
Рис. Шевченко*

ство, как на воплощение «умозрительной идеи», «чистого абсолюта» и т. д. Идеалист-поэт В. А. Жуковский именно так и понимал это, именно за такую направленность и любил немецкое искусство. И ненависть Шевченко к этому искусству, подхваченная первоначально у Брюллова, переросла вкусовой характер и всем своим острием направилась не на «измену живописному началу и красоте», а на идеализм немцев. Больше того, словом «немецкое», — у Брюллова равносильным «кропательскому», то-есть ремесленному и лишенному вдохновения, — Шевченко прямо начал называть все идеалистическое, все, проникнутое идеалистическим мировоззрением.

Как-то Жуковский зашел в мастерскую Брюллова и, найдя его произведения «слишком материальными», предложил Шевченко и Штернбергу зайти к нему, полюбоваться только что привезенной из-за границы «портфелью», полной репродукций с тогдашних немецких художников так называемой мюнхенской школы, — Корнелиуса, Генриха Гесса и других.

«Мы не преминули, — вспоминает Шевченко, — воспользоваться сим счастливым случаем и на другой же день явились в кабинет германофила. Но, боже! Что мы увидели в этой огромной, развернувшейся перед нами, портфели—длинных безжизненных мадонн, окружающих готическими, тощими херувимами... настоящими мучеников живого улыбающегося искусства. Увидели Гольбейна, Дюрера (то-есть подражания Голь-

бейну и Дюреру. — М. Ш.), но никак не представителей живописи девятнадцатого века. До какой степени, однако ж, помешались эти немецкие идеалисты-живописцы. Они не заметили, что в архитектуре Кленца (строившего в стиле эпохи Возрождения. — М. Ш.), для которой они творили свои готические безобразные творения, и тени нет напоминающего готическую архитектуру. Странное, непонятное затмение». И он делает замечательный вывод о польском философе Либельте, чтение которого навело его на эти воспоминания: «Он только пишет по-польски... а думает по-немецки, по крайней мере пропитан немецким идеализмом... Он смахивает на нашего В. А. Жуковского в прозе. Он так же верит в безжизненную прелесть немецкого, тощего и длинного идеала, как и покойный В. А. Жуковский».

С величайшей любовью и страстностью подхватывает и записывает Шевченко те уроки Брюллова, те его отзывы, которые сродни его собственному реалистическому вкусу. Друг и сожитель Шевченко, художник Штернберг привез тетрадь украинских рисунков. «На маленьком лоскутке серенькой оберточной бумаги, — рассказывает Шевченко, — проведена горизонтально линия; на первом плане ветряная мельница, пара волов около телеги, наваленной мешками; все это не нарисовано, а только намекнуто, но какая прелесть! очей не отведешь». Он повез эту тетрадь Брюллову и был счастлив, что тому тоже понравилось. И в то же время записывает, как мудрость, как урок, полученный от учителя, тот факт, что художники-формалисты, братья Чернецовы, привезшие с Волги «огромную кипу ватманской бумаги, по-немецки аккуратно перышком исчерченной», получили уничтожающий отзыв от Брюллова: «Я здесь не только матушки-Волги, и лужи порядочной не надеюсь увидеть». Шевченко радуется, в сущности, не тому, что Брюллов учит его понимать настоящее, а тому, что Брюллов думает так же, как он, то-есть думает реалистически.

Настоящее откровение для него там,

где Брюллов роняет чисто профессиональные замечания, помогающие художнику приблизить свою вещь к натуре: например, в мастерской Ставассера, глядя на глиняного рыбака, Брюллов советует скульптору «вдавить ему немного нижнюю губу». И Шевченко записывает, как Ставассер был благодарен Брюллову за этот совет, ожививший его рыбака.

Живя в мастерской у Брюллова, Шевченко разделял и его быт. Он поднимался спозаранку, работал до завтрака, в одиннадцать шел к своему учителю завтракать, потом опять работал до трех. В три знаменитый брюлловский Лукьян звал его к обеду, на неизменный ростбиф, после обеда — опять работа до вечера, потом он либо шел в театр, либо опять работал. Брюллов приучил Шевченко к одному из прекраснейших занятий и лучшему способу выработки личной и бытовой культуры — к чтению вслух. Иногда Шевченко читал своему учителю, иногда наоборот. Привычка к чтению вслух в тесном кругу друзей сохранилась у Шевченко до самой смерти. В этих чтениях были паузы, обмен мыслями и впечатлениями, была своеобразная учеба. Брюллов рекомендовал своим ученикам, как уже сказано, лишь древнюю историю, считая средние века «безнравственностью и уродством». Но из чтения не были исключены романы. Шевченко, начавший даже изучать французский язык только для того, чтобы прочесть историка Гиббона, — в то же время усердно читал вслух и Вальтер-Скотта. Однажды он читал со Штернбергом «Вудстока» Вальтер-Скотта. И его чрезвычайно заинтересовала сцена, где Карл II Стюарт, скрывающийся под чужим именем в замке старого баронета Ли, открывается его дочери, Юлии Ли, что он король Англии, и предлагает ей при дворе своем почетное место наложницы. «Настоящая королевская благодарность за гостеприимство», — иронически замечает Шевченко. Драматизм этой сцены так его захватил, что он тут же делает ее эскиз, очень понравившийся и Брюллову.

Что привлекло Шевченко в сюжете? С точки зрения чисто профессиональной как будто ничего особенного, — готическая комната замка, красавица-девушка и король перед ней — две фигуры. Но вся тяжесть «особенности» этой сцены ложится на «психологию», на выразительность обеих фигур: король, обязанный своей хозяйке спасением, воображает, что роль любовницы, роль «падшей девки» при его дворе — отличная награда за оказанное ему гостеприимство, хотя в любом другом доме любому другому гостю дали бы за такую награду «по шее». Это чисто шевченковский сюжет, излюбленный сюжет его поэм и повестей, — обольщение «господином» своей «рабы». И тут уже ясно, что такой сюжет, «заинтересовавший Шевченко», был в резком противоречии со всею обстановкой, в которой он жил, работал и вращался. Он был выкуплен из рабства на деньги царской семьи, главной покупательницы в лотерее; он учился у великого придворного живописца; он бывал с ним у людей, близких ко двору; ему внушались в мастерской Брюллова идеи нео-классического искусства, любовь к созерцательному бесстрастию античных фигур и положений, к пышности драпировок, к великолепию фонов, к роскоши тканей, золота, мрамора. А вместо античного сюжета, пышных декораций, чувственной роскоши тканей, неизбежной окаменелости поз, — его влечет драматизм самих положений, разрешаемый разве что одним выражением лиц.

Он мог бы рисовать «Вирсавий» и «Амазонок», пастухов и пастушек, а рисует «Сиротку-мальчика, делящегося милостыней с собакой под забором»; он мог бы давать королей в мантиях, везжающих в покоренный город, дарующих милость побежденным, а он делает эскизы короля, предлагающего дочери своего спасителя стать наложницей.

Шевченко явно уходит на другой, не брюлловский путь. Но в брюлловской школе живописи идти этим путем невозможно. Именно брюлловская школа, в которую попал юноша Шевченко, и не позволила ему стать живописцем, —



Г. И. Шевченко — отец поэта
Рис. Шевченко

несмотря на успешное окончание Академии, две медали и много хороших картин и портретов; в рамках этой школы ему нельзя было выразить своей личности, — а личность художника, по Шевченко, это первое, что всегда и неминуемо должно выразиться в творчестве; недаром он сказал про Ван-Дейка: «Во всех портретах Ван-Дейка господствующая черта — ум и благородство, и это

объясняется тем, что Ван-Дейк сам был благороднейший умница».

Что же именно хотел и должен был выразить в своем творчестве сам Шевченко? «Господствующей чертой» личности Шевченко было сознание себя сыном своего народа. Этот народ был бесправен, был сдавлен, измучен, унижен крепостным правом. И Шевченко не мог забыть этого, никогда и ни на одно мгновение не мог стать ренегатом, отделить собственную свою судьбу от страшной судьбы своего несчастного народа. Сознание, что его «выкупили» из рабства, еще сильнее и крепче связывало и его чувства, и его мысли с теми «невъкупленными» миллионами, из среды которых он вышел. И, не имея возможности выразить эту связь в красках и кистью, заговорить за свой народ силами живописи, с полотна ратовать за его дело, излить ненависть к его палачам, — Шевченко берет за перо, становится поэтом. Он сам назвал это «призванием, больше ничего».

Но это было больше, чем призвание. Вот как описывает сам Шевченко свою душевную реакцию на ту обстановку, в которой он учился; упоминая о том, что до кратковременной женитьбы Брюллова и после его развода он почти жил у него на квартире, Шевченко продолжает: «И что же я делал? Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать. Я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем сердце своего слепца-кобзаря и своих кровавых гайдамаков. В тени его изящно-роскошной мастерской, как в знойной степи надднепровской, передо мною мелькали мученические тени наших бедных гетманов. Передо мной расстилалась степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина, во всей непорочной меланхолической красоте своей... И я задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от этой родной чарующей прелести. Призвание — и ничего больше». («Дневник»).

Конечно, это было больше, чем призвание. И царское правительство тоже увидело в этом больше, чем призвание. Известно, что непомерная тяжесть наказания, обрушившегося на Шевченко, была вызвана не только его участием в «кирилло-мефодиевском кружке», но главным образом дерзостью шевченковского «Кобзаря» и рукописных стихов, которые сочинил «неблагодарный раб», то-есть тем фактом, что Шевченко не сделался ренегатом, не приручился, но остался верен самому себе, своему закрепощенному народу.

После Петербурга наступила для Шевченко десятилетняя ссылка, сперва в Орскую крепость, потом в глухое Новопетровское укрепление. Десять лет «на краю света», в обществе пьяниц, преступников и неисправимых бездельников, без книг, без общения (если не считать коротенького оренбургского периода, когда он встречался с ссыльными польскими революционерами), без работы, в одуряющей, тупой, бессмысленной солдатской муштре, да еще с «высочайшим» запретом «писать и рисовать», за нарушение коего надлежало строго взыскивать с начальства! Эти годы надломили крепкое здоровье Шевченко, приучили его пить, — но не только не поколебали «господствующей черты» его личности, а, как это ни странно звучит, придали этой черте еще большую убедительность, последнюю шлифовку. Подобно другому узнику царского самодержавия — Чернышевскому — Шевченко физически сломился в ссылке, но не изменил себе. За несколько месяцев до своего освобождения он начинает вести дневник, — занятие, которое вначале ему сильно не нравилось, «как не нравится всякое занятие, пока мы его себе не усвоим, не смешаем его с нашим насущным хлебом», а потом оно действительно смешалось у него с «насущным хлебом», то-есть стало потребностью, и в нем он сумел отложить весь свой опыт человека и творца. Дневник и дает нам возможность свети к единству отдельные взгляды Шевченко на искусство и говорить о наличии у него своей, целостной, эстетики.

II

Из Петербурга, как мы видели, Шевченко вывез в ссылку вкусы, воспитанные в мастерской Брюллова, — ненависть к тогдашнему бесплотному немецкому «идеалу», любовь к материальному в искусстве, высокую оценку «натуры» в работе живописца, пристрастие к «плэн-эру» — писанию на открытом воздухе. Эта художественная культура проявилась в целом ряде очень ценных суждений Шевченко по самым разнообразным поводам.

Настоящий культурный вкус звучит, например, в его замечании о Моцарте. Говоря о том, что увертюру к «Дон-Жуану» прекрасно сыграл даже маленький провинциальный оркестрик, он прибавляет, что, впрочем, «это очаровательное создание трудно сыграть непрекрасно»; и действительно, крепкую и отчетливую фактуру моцартовских вещей очень трудно передать плохо, она сама говорит за себя. Или о «Рассказе маркера» Толстого, что «поддельная простота этого рассказа слишком очевидна»; или о переделке повести Пушкина «Станционный смотритель» для театра: «я всегда был против переделок»; или во всех резких выпадах против «суздальщины», русской иконописи, которую Шевченко терпеть не мог ни в «натуре», ни в художественной под нее стилизации, сравнивая православные иконы в церквах с индийскими животными капищами, с чудовищами Вишну и Ману; или, наконец, в замечательном суждении о московском «храме Христа спасителя» (снятом при советской власти): «Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности, безобразен. Крайне неудачное громадное произведение», похожее на «толстую купчиху в золотом повойнике». Бесконечно утончилось и выросло в одиночестве его чувство пейзажа. Только художник может так описывать киргизскую степь, как он это сделал в дневнике: «... около кибиток играли с козлятами нагие, смуглые дети, визжали в кибитках женщины, должно быть, ругались, а за аулом мужчины творили свой намаз перед закатом солнца. Вечер был тихий, свет-



Автопортрет Шевченко.

лый. На горизонте чернела длинная полоса моря, на берегу его горели в красноватом свете скалы и на одной из скал блестели белые стены второй батареи и всего укрепления. Я любовался своею семилетней тюрьмой. Возвращаясь на огород, набрал я на тропинку, на уже засохшей грязи которой были отпечатки миниатюрных детских ножек. Я любовался и следил этот крошечный детский след, пока он не исчез в степной полянке вместе с тропинкой». Выросло и обогатилось в тишине одиночества и его чувство языка. Правда, с третьего года ссылки и по самый конец ее (с 1850 по 1857) Шевченко уже перестает петь, все реже и реже записываются стихи в маленькую книжечку, переплетенную в «дегтярный товар» (слова Тургенева) и хранимую за голенищем. Но не иссякает в нем понимание народности в поэзии. Когда уральские казаки завозят в его ссылочную степь петербургские модные романы, он с отвращением и болью упоминает про такую «порчу вкуса», и способен ночь напролет не спать, чтоб

только послушать случайного певца, поющего чистую народную песню. Дневник, так же как и несколько повестей, в том числе и «Художника», он пишет в ссылке по-русски, и нередкость хорошо пишет, с огромным и свежим чувством языка¹. Читаешь и остановишься, например, перед его фразой «путевлавать по Волге». Мы сказали бы теперь «путешествовать». А разве шествуют по воде?

В ссылке же вынужденное бездействие заставило его на опыте узнать и почувствовать всю цену упражнения в искусстве, весь смысл ежедневной обязательной работы: «Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного, кабашного, балалаечника». Он глубоко оценил труд, лежащий в основе большого мастерства: «Нужно избегать на первый раз наготы. Нужен опыт и опыт, а иначе эта очаровательная брюловская нагота выйдет в эстампе безобразным» (о копиях с Брюллова).

Но самое главное, что углубилось и осозналось им в ссылке, это были те смутные впечатления, пережитые им в Петербурге над «портфелем» Жуковского, в которых он впервые нащупал у искусства мировоззренческий скелет. В мастерской Брюллова искусство считалось «чистым», служащим только одному богу — красоте, имеющим только один смысл — живописный. В ссылке для Шевченко окончательно раскрылась неверность этого взгляда. Когда читаешь его высказывания в дневнике, чуть не на каждой странице вспоминаешь Чернышевского, до такой степени переключаются иные места с «Эстетическими отношениями искусства к действительности». Мог ли Шевченко знать эту знаменитую диссертацию, наделавшую столько шума в Петербурге при ее защите? Наверняка не мог и, если бы даже и мог, то с чужих слов, — ведь когда Шевченко выслали «на край света», Чернышевский еще только-только

везжал в Петербург никому неизвестным молодоженом. А когда Чернышевский защищал свою диссертацию в Петербурге, Шевченко был уже в ссылке, в глуши отдаленной пустынной крепости. Круг, где вращался и жил Шевченко до ссылки — учеником Брюллова, был неизмеримо чужд будущему кругу молодого Чернышевского; земляки украинца Шевченко вряд ли общались с земляками саратовца-волжанина Чернышевского. Знакомство того и другого с Н. И. Костомаровым, так навредившим впоследствии и Шевченко, и Чернышевскому, не могло их тогда связать. Эти два мира отстояли друг от друга бесконечно далеко, и тем не менее взгляды практика-поэта совпали со взглядами философа-публициста.

Уже основное положение совпало у них, — взгляд на эстетику. Чернышевский считал, что основанием теории искусства должна быть история искусства. Не зная этого, но перекликаясь с этим, Шевченко утверждает по поводу книги философа Либельта: «Если бы эти безжизненные ученые эстетики, эти хирурги прекрасного, вместо теории, писали историю изящных искусств, тут была бы очевидная польза. Вазари (т. е. историк искусства. — М. Ш.) переживет целые легионы Либельтов (т. е. теоретиков искусства. — М. Ш.)». Такое совпадение не случайно. Оно произошло лишь потому, что оба они были материалистами, — Чернышевский убежденно, а Шевченко стихийно. Своеобразная «религиозность» Шевченко, не мешавшая ему, кстати сказать, ругать бога в дневнике «свинцовым ухом», страстно ненавидеть церковь и не выносить церковных служб, а в поэзию войти воинствующим антирелигиозником, — отнюдь не помешала также и этому материализму.

Драгоценным случаем, помогшим материалистическим взглядам Шевченко оформиться, быть связано продуманными и записанными, послужила трехтомная «Estetyka» Либельта, попавшая ему случайно в руки перед самым отъездом из ссылки. Шевченко умел читать по-польски. И он так изголодался по книге, по чтению, что накинулся на эту схола-

¹ Досада берет на отрицательный отзыв Аксакова об этих повестях, интересных как раз с точки зрения языка, местами напоминающего лирическими отступлениями и оборотами Гоголя.

стику, воевал с каждой прочитанной им страницей, соглашался, спорил, протестовал, и все это заносил в дневник, и из таких «разговоров души с богом», то-есть споров Шевченко с идеалистом Либельтом, и составились самые интересные записи в его дневнике.

Там, где идеализм Либельта чересчур раздражал его, он просто ругал книгу, что называется, «на чем свет стоит». Но стоило Либельту хоть на вершок отступить от идеализма, как его страстный читатель делает радостную запись в дневнике: «Сегодня и Либельт мне показался... более похожим на человека с телом, нежели на бесплотного немца. В одном месте он (разумеется, осторожно) доказывает, что воля и сила духа не может проявиться без материи. Либельт решительно похорошел в моих глазах, но он все-таки школяр».

Основным вопросом диссертации Чернышевского был, как известно, вопрос о примате жизни над искусством, одно из частных применений общей формулы материализма о примате материи над духом. Шевченко не прошел мимо этой основной философской проблемы и, читая Либельта, сразу понял, в чем порочность его установки: «Он (Либельт) человека-творца в деле изящных искусств вообще, в том числе и в живописи, ставит выше природы, потому, дескать, что природа действует в указанных ей неизменных пределах, а человек-творец ничем не ограничен в своем создании. Так ли это? Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающей его природой, насколько природа ограничена своими вечными, неизменными законами. А попробуй этот свободный творец на волос отступить от вечной красавицы-природы, он делается... нравственным уродом, подобным Корнелиусу и Бруни». Но Шевченко тут же делает необходимую оговорку, показывающую, как высоко он понимает творческий момент в искусстве: «Я не говорю о дагерротипном (мы сейчас говорим — фотографическом. — М. Ш.) подражании природе: тогда бы не было искусства, не было бы творчества, не было бы истинных художников, а были бы только портретисты



Портрет художника К. П. Брюллова.
Рис. Шевченко

вроде Зорянка» (портретист XIX века, ремесленно-точно копировавший оригинал).

Третьим важным вопросом эстетики Чернышевского была впервые поставленная проблема классовости искусства, вопрос о том, для кого пишет художник, кому он адресует свое творчество и чьи интересы в нем выражает. И, как бы опять переключаясь с неизвестным ему Чернышевским, Шевченко заносит в свой дневник замечательные слова. Он обдумывает свой будущий путь, свою будущую работу и приходит к убеждению, что ему «из всех изящных искусств теперь больше всего нравится гравюра». Почему? Потому ли, что припомнилось детство, когда лучшим его развлечением было воровать из заезжих изб у станционных смотрителей, во время разездов с барином, дешевые картинки со стен и составлять из них коллекцию? Нет, потому что гравюра распространяется в массе, в народе лучшие произведения искусства и делает их доступными не единицам, а миллионам. «Быть хорошим гравером, значит

быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Прекрасное, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного реза! Божественное призвание гравера!» И Шевченко твердо решает, что по возвращении своем из ссылки он сделается гравером. Его учитель, Брюллов, писал уникамы искусства для дворцов, палат и храмов. А Шевченко мечтает о том, чтобы освоить технику размножения лучших образцов искусства для того, чтобы оно не «коптилось» в галереях, а служило подлинной культуре, стало доступно каждому. Но при этом он менее всего хочет снизить искусство. К своему великому плану, которым загорается, он подходит не только не «халтурно» и легко, а прямо благоговейно: задумав, например, создать двенадцать гравюр на притчу о блудном сыне, он заранее боится, что ему это окажется не под силу, он взвешивает и обдумывает, он понимает, что тут нужен «скорей драматический сарказм, чем насмешка. А для этого нужно прилежно поработать. И с людьми сведущими посоветоваться».

Его учитель, Брюллов, писал для избранных, для немногих. А Шевченко выбирает себе гравюру именно потому, что это наиболее демократический вид искусства. Он ясно видит перед собой и тот новый большой слой населения, который тоже начинает предъявлять требования к искусству. Это место в дневнике Шевченко — одно из самых замечательных. «Малообразованный и малознающий», по мнению барского мыслителя Тургенева, он оказывается умнейшим и почти невероятно знающим, именно знающим, человеком своей эпохи, когда один-на-один со своим дневником, в глуши киргизской степи, ясно представляет себе общественное соотношение сил в России пятидесятих годов. Если бы эти страницы в его дневнике довели прочтенью Маркуса или Ленину, с каким огромым уважением отозвались бы творцы новой науки и нового сознания человечества о

Тарасе Григорьевиче Шевченко! «На пороки и недостатки нашего высшего общества (пишет Шевченко) не стоит обращать внимания. Во-первых, по малочисленности этого общества, а во-вторых, по застарелости нравственных недугов, а застарелые болезни, если и излечиваются, то только героическими средствами. Кроткий способ сатиры тут недействителен. Да и имеет ли какое-нибудь значение наше маленькое высшее общество в смысле национальности? Кажется, никакого. А средний класс — это огромная и, к несчастью, полуграмотная масса, это половина народа, это сердце нашей национальности, ему-то и необходимая теперь... благородная, изящная и меткая сатира. Я считал бы себя счастливейшим в мире человеком, если бы удался мне так искренно, чистосердечно задуманный мой бессознательный негодяй, мой блудный сын». Чтоб полностью оценить в Шевченко истинность сознания и понимание исторического развития общества, нужно поставить с ним рядом большую часть его современников писателей и художников, обращавшихся к «высшему обществу» не только как к главному своему заказчику и представителю власти, но и как к носителю культуры и единственному ценителю искусства.

Только ли мечтал Шевченко в своем дневнике? Обронил ли он просто зашедшую ему в голову мысль, а потом, получив свободу и вырвавшись из ссылки, забыл и думать о ней? Нет, он упорно, несмотря на все рассеяние петербургской жизни, приводил ее в исполнение до самой своей смерти. В лице того же Тургенева и поэта Полонского, так недалеко видного считавших Шевченко «малознающим», мы имеем своеобразных свидетелей его занятий гравюрой. И Тургенев, и Полонский оставили коротенькие «споминки» о Шевченко, написанные по просьбе пражского издателя «Кобзаря» в 1875 году, то-есть спустя 14 лет после смерти Шевченко. И удивительно, как мало они сами знали своего собрата по перу, выдающегося художника и гравера того времени. По приезде в Петербург из ссылки, уже

больным, разбитым и замученным человеком, Шевченко тотчас же начинает приводить в исполнение свой план и деятельно заниматься гравюрой. Больше того, желая технически облегчить производство гравюры, он берется за самый новый способ гравирования по меди при помощи спирта, — за офорт. И вот Тургенев не без иронии «просвещенного парижанина» рассказывает о последних годах жизни Шевченко, что он, «живя в Академии, занимался гравированием на меди посредством острой водки, — офорт — и воображал, что открыл нечто новое, какой-то улучшенный способ в этом искусстве». Сердечней рассказывает об этом поэт Я. Полонский: «По прибытии в Петербург (из ссылки. — М. Ш.) Шевченко горячо ухватился за самый легкий способ гравирования посредством крепкой водки (eau forte). Не знаю, был ли бы Шевченко великим живописцем, если б судьба не помешала ему... но как рисовальщик, смело говорю, он мог бы стать в числе европейских знаменитостей... У меня были им сделанные и мне подаренные оттиски им самим начерченных и отгравированных рисунков... Лучший из рисунков Шевченко, который я видел... внутренность солдатской казармы: нары, печь, полати, развешанное белье и между группами солдат его собственная фигура»...

Мы знаем, что в 1859 году Шевченко получил от Академии Художеств звание «академика гравирования»¹, а Е. М. Кузьмин, в своей статье о нем, как о художнике, пишет в 1900 году: «Ему по справедливости может быть приписана слава едва ли не первого русского офортиста в современном значении этого слова».

Тургенев, подтрунивая над технической «возней» Шевченко и над тем, что



Диплом Шевченко на звание академика

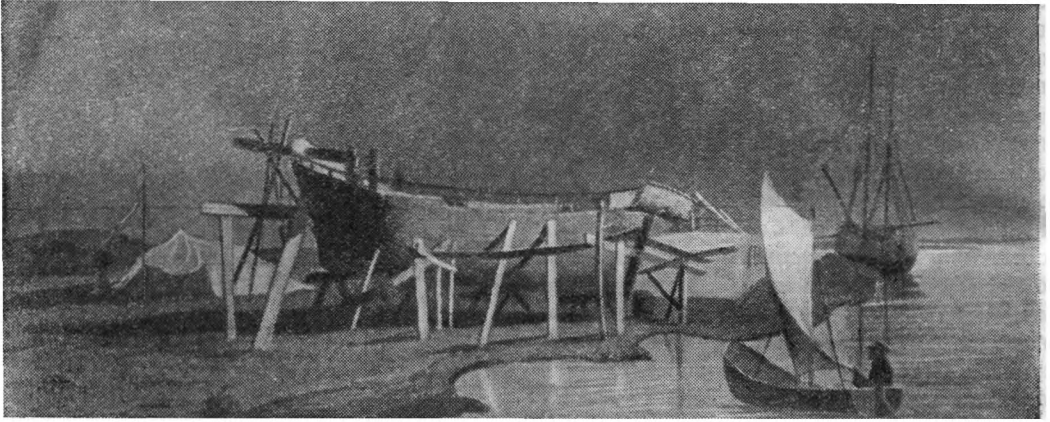
он «воображал» открыть более новый и легкий способ гравирования, думал рассказать только о случайной «чужаковости» этого необыкновенного «батьки» с запорожскими усами, а между тем он затронул тут святая святых, принципиальную, глубоко продуманную сторону характера Шевченко, переросшего своих современников.

Поиски улучшенной техники в гравюре вовсе не были для Шевченко случайностью или чудачеством, то был лишь частный случай его отношения к технике вообще. Последовательно-материалистически мысля об искусстве, проникательно ориентируясь на наиболее живые силы общества, зная и видя перед собой цель искусства, Шевченко не мог не чувствовать огромного значения техники для преодоления всего того, что было ненавистно ему в косном быту его времени.

Вокруг него идеализировали старинный уклад, воспевали долгие путешествия в рыдванах, вводили в картину, как составную часть пейзажа, допотопные сельскохозяйственные орудия, даже либерал и западник Тургенев, заливая прощальным светом крепостную деревню, смягчил высоким мастерством пейзажа и душевной прелестью характеров калечащие и отсталые формы деревенского труда («Живые мощи») и мягко высмеял попытки его рационализировать («Контора»). Но Шевченко и видел и ощущал технику не эстетически, не со стороны, а как бы собственными своими

¹ Копия его диплома находится в архиве Академии Художеств под № 96. Лит. Ш.:

«С.-Петербургская императорская Академия Художеств за искусство и познания в гравировальном искусстве признает и почитает художника Тараса Шевченко своим Академиком, с правами и преимуществами, в установлениях Академии предписанными. Дан в Санктпетербурге за подписанием президента и с приложением печати 1860 г. октября 31 дня».



Шхуна «Константин». Рис. Шевченко

плечами бывшего крестьянина. Еще будучи юношей, до ссылки, он пишет в рассказе «Наймичка» замечательные строки: «О, агрономы-филантропы! выдумайте вы, вместо серпа, какую-нибудь другую машину: вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжкий труд человечеству». А спустя много лет в дневнике записывает свое широко известное пророчество о роли паровой энергии: «Пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревушим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовой поглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон! И великий Уатт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя. Мое пророчество несомненно».

Ставить в прямую связь техническое изобретение с революционно-просветительной работой энциклопедистов—значит понимать, насколько связан технический прогресс с революцией, с опрокидываньем старых общественных отношений. И Шевченко это прекрасно понимал.

Так, от высказыванья к высказыванью, перед нами вырастает удивительно близкий и глубоко современный нам

облик певца «Кобзаря». Со дня его рождения нас отделяют сто двадцать пять лет и семьдесят восемь лет со дня его смерти, а он все приближается и приближается, становится бесконечно своим, родным, больше того, становится в нашем социалистическом кругу мудрым наставником настоящего, передового искусства.

III

Эстетика Шевченко, во всей ее философской близости к нам, замечательна еще тем, что крепко срастается с этикой Шевченко, с теми нравственными принципами, которыми он руководствовался в своем поведении. Это тоже очень важная черта, потому что идеалистическое мировоззрение резко отделяет «художника» от «человека», и принцип двух «линий жизни», не зависящих друг от друга, формулированный в пушкинских стихах:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен, —

этот принцип был широко в ходу в тогдешнем обществе. Шевченко принес с собой в художественную богему простую мораль трудящегося человека. Он любил и уважал труд, как производительник: «Какое благотворное дело труд, особенно если он находит поощрение» (повесть «Художник»). И в то

время, как дворянское поколение писателей, обеспеченное доходом с имений, только лишь учится преодолевать стыд, принимая оплату за литературный труд (еще свежи в памяти первые шаги Пушкина, как профессионала, его борьба с ложным стыдом современников «получить деньги» за рукопись), Шевченко просто, и не задумываясь, заносит в дневник: «рисовал бы портреты, на деньги — не с кого, а даром работать совестно». Даром работать совестно! Вот истинная формула пролетария в капиталистическом обществе. Эти слова — глубокий водораздел между Шевченко и целой плеядой его современников. Так и тянет спросить, а знал ли, а слышал ли что-нибудь Шевченко про коммунизм и как относился к нему? Знал и слышал, и это именно он назвал в первый раз коммунистом Степана Разина.

Слушая на волжском пароходе рассказ лоцмана о том, что Степан Разин вовсе не был разбойником, а только держал на Волге бранд-вахту, собирав пошлину с кораблей и раздавал ее неимущим людям, Шевченко записывает в своем дневнике: «Коммунист, выходит». А свою последнюю работу, сделанную перед самой смертью, — «Букварь южнорусский», изданный в 1861 году в «Санктпетербурге» и стоивший «три копейки», — он начинает не пресловутыми складами (высмеянными им «тму, мну»), а стихом, разбитым на слоги, причем стих этот в своем роде пропаганда будущего коммунизма, хотя и замаскирован названием «псалма»:

Чи що́ лучче, краще, в світі,
Як укупі жити,
З братом до добрим добро́ півнєс.
Познать, не ділити.

В своеобразном букете постоянных словечек и эпитетов Шевченко попадает частое упоминание двух слов, которыми он обозначает отрицательные и неприемлемые для него, как художника, свойства. Шевченко был реалистом, он шел всем своим опытом к материалистическому мировоззрению. Между тем в



*Шевченко с киргизскими мальчиками.
Рис. Шевченко*

сороковые годы был очень силен и официально поддерживался в искусстве идеализм во всех его видах, — и как не изжитая романтика Жуковского, и как условная риторика Марлинского, с которой начала бороться школа Гоголя, и как идущее из Германии (от Овербека, от Мюнхенской школы) увлечение религиозной тематикой в живописи, загубившее и дарование Александра Иванова.

Шевченко крепким словом рутался, когда сталкивался с явлениями ненавистного для него мировоззрения. Он выработал свой шифр, — все истонченное, бесплотное, смакующее религиозный сю-

жет обзывал «немецким», все чисто формальное, декоративное обзывал «японским». Если мы вспомним, что тогдашнее русское общество начинало открывать для себя японское искусство, кокетничать декоративным формализмом и экзотикой, а русское самодержавие подготавливало сближение с Японией и, спустя несколько лет, снарядило и послало знаменитый военный фрегат «Паллада», со специальным корреспондентом на нем, И. А. Гончаровым,— для установления с нею экономической связи, — то Шевченко даже и в этом, оказывается, шел вразрез с окружающими его вкусами, всей здоровой силой своего таланта, всем верным классовым инстинктом восстаивая против ненавистной ему экзотики, за реализм.

Когда Шевченко присутствует на пышной архиерейской службе, он записывает: «В архиерейской службе с ее обстановкой и вообще в декорации мне показалось что-то тибетское или японское. И при этой кукольной комедии...».

Когда он узнает, что ему ухудшили условия жизни в Петербурге, взяли его под надзор полиции, он догадывается: «Это работа старого распутного японца Адлерберга»¹.

Когда в повести «Художник» старый Венецианов рассказывает о своем посещении помещика Энгельгардта, Шевченко заставляет его сказать про кабинет своего бывшего «барина»: «Вот кабинет мне не понравился. Правда, все это роскошно, дорого, великолепно, но все это по-японски и великолепно». Вся Москва восхищается знаменитой пасхальной заутреней в Кремле, люди толпами идут на прославленное зрелище — повидать его и послушать колокольный звон. Шевченко тоже пошел и вернулся разочарованный: «Свету мало, звону много, крестный ход, точно вяземский пряник, движется в толпе. Отсутствие малейшей гармонии и ни тени изящ-

¹ Само собой, русско-немецкий министр царского двора, граф Адлерберг, не был японцем и даже по внешности не походил ни в малейшей мере на японца. Шевченко употребляет свое любимое ругательство в обычном для себя смысле.

ного. И до каких пор продлится эта японская комедия».

IV

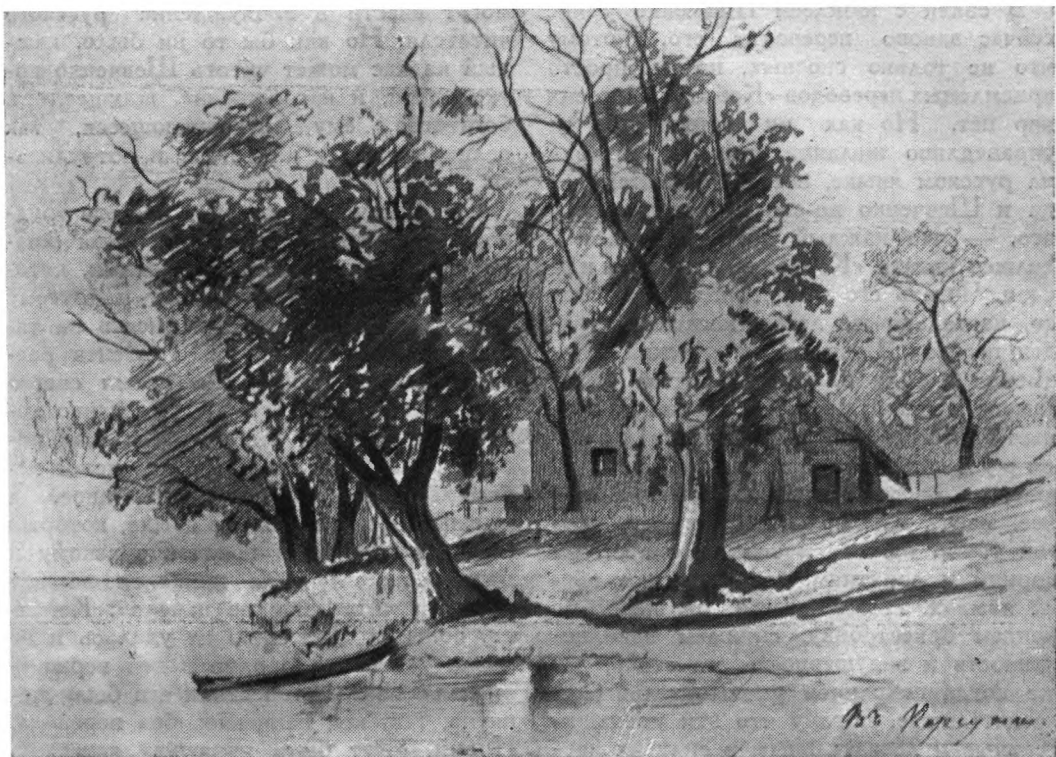
Ненависть к идеализму, ко всякой экзотике, страстность, горячность, эмоциональная выразительность, революционная направленность живой творческой силы искусства, —

Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взвилось,
Щоб людям серце розтопило,—

основная заповедь шевченковской эстетики. Искусство должно бороться за свою правду. И человек, высшее порождение природы, это борец. Его судьба должна быть судьбою борца. Страшны «кандалы в неволе», но еще страшнее «спячка на воле», сонное равнодушное хуже и тяжелее самых тяжких страданий невольника; если «богу жалко доброй судьбы», — говорит Шевченко в одном из самых своих сильных стихотворений, — то пусть же он даст «злую, злую» судьбу, только бы не равнодушное опускающегося, жвачного прозябания, после которого и сказать нельзя, был человек или не был, жив или сгинул:

«Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої!
Коли доброї жаль, боже,
То дай злої, злої!
Не дай спати ходячому,
Серцем замирати,
І гнилою колодою
По світу валятись.
А дай жити, серцем жити,
Людей любити,
А коли ні... то проклинати
І світ запалити!
Страшно власти у кайдани,
Умирати в неволи,
А ще гірше — спати, спати,
І спати на волі!—
І заснути навик-віки,
І сліду не кинуть
Ніякого: однаково —
Чи жив, чи загинув!..
Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої!
Коли доброї жаль, боже,
То дай злої! злої!».

И эту свою эстетику, все требования свои к искусству Шевченко осуществил



В Корсуни. Рис. Шевченко.

на практике, во всем, что вышло из-под его пера. Писал ли он стихи на родном языке, или повести и дневник на русском, составлял ли букварь для народа, — Шевченко давал выразительные, острые, обжигающие вещи, их действие на читателя — глубоко революционно, они заставляют думать, будят политическую мысль.

В простом, народном синтаксисе, в своеобразном словаре Шевченко есть все, кроме равнодушия. Самые созерцательные, жанровые или чисто пейзажные сценки он дает так, что нельзя их читать без огромного душевного движения, без того, чтобы до глубины не всколыхнулось в вас все человеческое. И понятно, почему сам он не мог читать (и слушатели не могли слушать) без слез его знаменитый, отнюдь не грустный, а скорее улыбающийся «Вечір» — небольшое стихотворение 1847 года: простейшие имена существительные, простые глаголы, почти ни одного эпитета и —

«Новый мир», № 3

огромное, нарастающее, страстное волнение, выход которому только в слезах:

Сонце заходить; гори чорніють,
Пташечка тихне; поле німіє,
Радіють люди, що одпочинуть.
А я дивлюся... і серцем ліну
В темний садочок на Україну
Ліну я, ліну, думу гадаю,
І ніби серце одпочиває.
Чорніє поле, і гай, і гори,
На синє небо виходить зоря.
Ой зоре, зоре! — і сльози кануть.
Чи ти зійшла вже і на Україні?..
Чи очі карі тебе шукають
На небі синім? Чи забувають?
Коли забули, бодай заснули,
Про мою доленьку щоб і не чули.

Невольно сравниваешь это со знаменитым гётевым «Uber allen Gipfeln», заканчивающимся торжественной гармонией покоя и вольным его лермонтовским переводом «Горные вершины». Там от покоя в природе — к покою в человеке, здесь от покоя в природе — к страстной тоске в человеке.

В связи с юбилеем Шевченко у нас сейчас заново переводят его, потому что не только сносных, но и просто приемлемых переводов «Кобзаря» до сих пор нет. Но как ни естественно и справедливо желание иметь «Кобзаря» на русском языке, все же я считаю, — да и Шевченко по-своему завещал нам это, — что каждый русский может и должен читать «Кобзаря» по-украински. Читать его в оригинале очень легко, настолько же легко, насколько труден перевод Шевченко на русский язык именно в силу близкого родства обоих языков. Украинский является как бы родным братом русского, по-другому оркеструющим ту же языковую стихию, — он звучит острее, эмоциональнее, мягче, взволнованнее, он дает другой тембр одним и тем же словесным корням и понятиям, имеющимся в обоих языках. Переводя его, мы невольно меняем оркестровку, снижаем взволнованность и задушевность его стиха, даже когда сохраняем уменьшительные и ласкательные, потому что эти уменьшительные и ласкательные, в силу их необычности на русском языке, сразу приобретают иной оттенок. Не плохо было бы выпустить «Кобзарь» с простым смысловым, подстрочным переводом (в сноске или в приложении) хотя бы тех немногих слов, которые своим фонетическим сходством и смысловой разницей

могут ввести в заблуждение русского читателя. Но как бы то ни было, каждый из нас может читать Шевченко по-украински, и наслаждение, ждущее его, богатство, ему открывающееся, так велики, что для них стоит и потрудиться.

Сам Шевченко понимал, что его трудно переводить. В последние годы жизни он мечтал создать такой язык, который был бы понятен и тому и другому народу, он даже пытался писать на таком выдуманном языке. Тургенев рассказывает об этом: «Во время своего пребывания в Петербурге Шевченко задумался до того, что не шутя стал носить с мыслью создать нечто новое, небывалое, ему одному возможное, а именно: поэму на таком языке, который был бы одинаково понятен русскому и малороссу; он даже принялся за эту поэму и читал мне ее начало». Конечно, попытка Шевченко не удалась и не могла удалась. Но одно в ней верно, — желание поэта, чтоб стихи его были понятны так, как написаны, без перевода. И они могут быть понятны каждому, кто в нашей великой стране социализма знает русский язык, потому что ключ к ним — не только родство обоих языков, но и братское восприятие родственной речи и глубокое, сочувственное понимание душевного строя народного певца.

„Невольничья поэзия“

Н. БЕЛЬЧИКОВ

★

I

«Невольничья поэзия», так Шевченко сам назвал «свою поэзию, писанную с 1847 по 1858 год», которую он начал готовить для печати в конце февраля 1858 года в Нижнем-Новгороде, где его задержало правительство по возвращении из ссылки.

Годы 1847—1858 в жизни поэта связаны с необычайно тяжелой ссылкой в отдаленнейший по тому времени Оренбургский край и его крепости. Свою записку в «Дневнике» о переписывании стихов для печати Шевченко из скромности закончил такими словами: «Не знаю, много ли выберется из этой половины доброго зерна?».

Критика в прошлом и в настоящее время не удосужилась «проверить» слова поэта; даже в специальных работах о творчестве Шевченко никто не уделил внимания этому периоду.

Осветить же творчество поэта этих лет, когда он нашел в себе силы противостоять в неравной борьбе с царизмом, душившим его талант, — особенно важно. Великий поэт-революционер и демократ Шевченко твердо стоял под ударами, которые обрушивали на его голову царь, жандармы и царские сатрапы, вроде Перовского, позволявшего оскорблять его телесными наказаниями. У писаря Ново-Петровского комендантского управления Васильева хранился автопортрет Шевченко в солдатском

мундире, в момент наказания его розгами, с надписью: «И так бывало». Современник Шевченко — П. Мартос, человек консервативных взглядов, и тот не мог умолчать, что Шевченко прислал одной знакомой свой портрет, где изображен битым розгами. «Нарисовал он себя без рубашки только в нижнем платье, с заложеными на голову руками; у ног лежит солдатская аммуниция, а с боков два солдата с поднятыми лозами; внизу подпись: «От як бачите».

Невзирая на это, Шевченко накапливал знания, двигался вперед и обогащал свою поэтическую культуру чтением литературы. В письме к графине Ан. И. Толстой от 12 ноября 1857 г. он писал: «Я прочитал уже все, что появилось замечательного в нашей литературе в продолжении этого (т.е. 10 лет ссылки. — Н. Б.) времени».

Не побоялся Шевченко и писать, хотя это и было строжайше ему запрещено. В годы унижительной солдатчины, бесчеловечной муштры и мук постоянного надзора он сумел сберечь свой талант и вынес музу

З казарми смердячої
Чистою святою.

Соблюдение нравственной чистоты и политической честности Шевченко поставил непрременным условием для всякого. В этом он видел естественное, нормальное поведение. Обращаясь к своей доле-судьбе, он сказал:

В образе Шевченко мы имеем исполняющую фигуру народного певца, одержавшего, по сути дела, моральную и политическую победу над царизмом и не сложившего оружия революционной борьбы за дело народа, оружия, единственно доступного ему в то время, т. е. революционной поэзии.

Вот почему каждый гражданин свободной страны социализма склоняет голову перед памятью великого народного революционного поэта Украины, который всей своей трагической жизнью обвиняет страшную эпоху российского самодержавия, обрекавшего лучших людей того времени за стихи, за песни — в ссылку, в солдатчину, на каторгу.

В поэзии лет ссылки поэт так же, как и до ссылки, выступает пламенным глашатаем народной революции, неустрашимым борцом против царско-помещичьего строя; провозвестником высокой идеи братства народов — русского, украинского, киргизского, туркменского и др., жестоко угнетавшихся царизмом; бесстрашным другом и политическим единомышленником западно-европейских народов: французов, венгров и др., которые в годы тюрьмы и ссылки поэта (в 1846 и 1848 гг.) совершали революцию во имя освобождения от феодально-капиталистического гнета.

Все эти мотивы звучат в «невольничьей поэзии» Шевченко художественно-ярко и с огромной силой революционного пафоса.

II

5 апреля 1847 года Шевченко был арестован в Киеве при переправе через Днепр. «Только что я вошел на паром, чтобы переправиться, — писал он Я. Г. Кухаренко в письме от 1 апреля 1854 года, — как со мной случилось такое, что и не следовало бы рассказывать на ночь. Меня арестовали». На следующий день поэта под строгой охраной отправили в Петербург вместе с отобранными у него в момент ареста бумагами. Бумаги бегло просмотрели в Киеве, и гражданский губернатор Фундуклей писал о них в III отделение сле-



Титульная страница дела о художнике Шевченко

дующее: «Между бумагами его оказалась рукописная книга с малороссийскими, собственного его сочинения, стихами, из коих многие возмутительного и преступного содержания. Почему, как эти, так и все прочие, оказавшиеся у Шевченко стихи, равно частную переписку я почел обязанностью представить в III отделение».

В III отделении среди бумаг Шевченко нашли ненапечатанные еще тогда стихотворения «Сон», «Три літа» и др., а также рисунки. О рукописях III отделение дало такой отзыв: «Между бумагами оказалось несколько стихотворений на малороссийском наречии, сочиненных, как должно полагать, художником Шевченко; в них говорится о страданиях, о пролитой крови, цепях, кнуте, о Сибири и прочем; они исполнены ненависти к правительству и, вероятно, сочинены с тою же целью посеять неудовольствие к властям в на-

роде». Рисунки в глазах III отделения оказались не менее предосудительными, потому что «большую часть из них составляли карикатуры на особ императорской фамилии, в особенности на государыню императрицу». 21 апреля Шевченко был допрошен в III отделении, но его показания не удовлетворили жандармов, так как он не был откровенен в своих ответах. «Художник Шевченко, — писали в III отделении, — окончил свои ответы, но его показания несколько не объясняют дела. На все главные вопросы о Славянском обществе, членах оно и замыслах их он отвечал решительным незнанием... Относительно наглых стихотворений он, повидимому, изъясляет раскаянье, и то в самых грубых выражениях. На вопрос, почему он позволил себе дерзость против высочайших особ... он отвечал: «Я начал ругать государя потому, что слышал, как ругают его и в Петербурге и в Киеве».

Царь и ближайший его помощник, шеф жандармов граф А. Ф. Орлов, руководили следствием по делу членов «Кирилло-Мефодиевского братства». В своем докладе царю Орлов так характеризовал направление этого «братства»: «В мыслях их никогда не было ни народных потрясений, ни возмущений, ни преобразования законных властей в России, а тем более каких-либо вооруженных движений». Общество он квалифицировал не более, как «ученый бред трех молодых людей» (Костомарова, Кулиша, Белозерского).

Найденная при обыске Шевченко в рукописи еще не напечатанная тогда поэма «Сон» (1844), пропитанная ненавистью к царизму и крепостникам-помещикам, показала, естественно, царю и жандармам гораздо опаснее либеральных мечтаний членов «Кирилло-Мефодиевского братства». В III отделении расценили эту поэму как удар, как бомбу, брошенную в лицо царю. Если припомнить, что поэма «Сон» разошлась в огромном количестве рукописных списков и до ареста автора была распространена в Киеве, Полтаве, Москве, Одессе, Петербурге, Белоруссии, на Кавказе, то будет понятно, почему жан-

дармы были так встревожены этим агитационным произведением, где прямо было указано, кто является виновником тяжелой доли трудящихся — крепостных рабов Украины, России, Сибири, Кавказа, Белоруссии и с кем надо бороться. Призывы Шевченко, как мы знаем, не остались безрезультатными. Напомним хотя бы слова И. П. Липранди, который вынужден был признать в 1848 году, что на Украине «умы в брожении от семян, брошенных сочинениями Шевченко».

Окончательный приговор по делу Шевченко определил сам царь. «Государь император, — писал шеф жандармов Орлов командиру Оренбургского корпуса 30 мая 1847 года, — высочайше повелеть соизволил: бывшего художника Санкт-Петербургской Академии Художеств Тараса Шевченко за сочинение возмутительных стихов определить в Отдельный Оренбургский корпус рядовым с правом выслуги под строжайший надзор, с за прещением писать и рисовать и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».

Царь Николай выступил в привычной для него роли палача. Известно, что он сам допрашивал декабристов, следил за допросами петрашевцев, как и за допросами членов «Кирилло-Мефодиевского братства». По его приказу были повешены декабристы и возведены на эшафот петрашевцы. Теперь он сам наказывает Шевченко, как двадцатью годами раньше Полежаева, солдатчиной и тем еще, что лишал Шевченко на долгие годы, если не на всю жизнь, возможности писать и рисовать. Для поэта и художника, носившего в себе подлинный талант, это была неимоверно тяжкая кара. Царское запрещение было явно направлено на уничтожение Шевченко.

Талант Шевченко достигал уже вершины, зенита своего расцвета. И в этот момент грубая лапа царя и реакции начала беспощадно его давить, медленной и тем более мучительной казнью умерщвляя гений народного поэта и художника.

В «Дневнике» Шевченко нельзя равнодушно читать те страницы, где он говорит о своем наказании: «Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачней казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот, где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнять благороднейшую часть моего бедного существования! Трибунал под председательством самого сатаны не мог произнести такого холодного, нечеловеческого приговора! А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительной точностью.

Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать. А христианин Николай запретил мне и то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин и христианин девятнадцатого века».

III

Ни арест, ни пребывание в тюрьме при III отделении в 1847 году не принудили Шевченко признать царя высшим судьей. Поэт не склонился перед «всемогуществом» деспота. Бесстрашный Тарас за время с 17 апреля по 30 мая 1847 г., пока был в тюрьме, написал новые стихотворения, из которых видно, что он нимало не поколебался в своих убеждениях. Он несколько не погнулся от удара. Напротив, он изливает гнев на врагов народа — помещиков, сожалеет, что не довел до конца начатое дело освобождения «невольничьих работающих рук», он продолжает выражать любовь к замученной царями и панами Украине, он говорит о «неволе» своей, о своем будущем заточении:

В неволі виріс між чужими,
I, неоплаканий своїми,
В неволі плачучи умру...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві... I в огні
Іі, окрадену, збудать...
Ох, неоднаково мені!

В стихотворениях «Н. И. Костомарову» (1847), «В неволі тяжко — хоча й



Обложка тетради стихотворений, написанных Шевченко в заключении в 1847 г.

волі, сказать по правді, не було» (1847) Шевченко безбоязненно, с достоинством революционера говорит о своей тюрьме, о своих кандалах. В стихотворении «Рано — вранці новобранці» (1847) он, сидя «в казематі», сумел кратко нарисовать жуткую картину разрушения крестьянского хозяйства по случаю рекрутчины, которая была бичом и каторгой для крестьянства.

В каземате написано и стихотворение «Не спалося, *а ніч, як море», в котором поэт, показывая бесчинства господ над крепостными людьми, пишет такие заключительные строки:

I панічі мені приснались
I не дали, погані, спать.

К этому же времени относится и трогательно-лирическое стихотворение «Садок вишневий коло хати», которое до сих пор пользуется широкою известностью и любовью среди масс советских слушателей, как народная песня.

IV

10 лет, 3 месяца и 27 дней продолжалась ссылка Шевченко. Первые годы он содержался в отдаленнейших Орской и Раимской крепостях и семь лет в еще более безлюдном Ново-Петровском форте — «незамкнутой тюрьме», по выражению Шевченко. «В продолжении десяти лет я, кроме степи, казармы, ничего не видел, — писал Шевченко в своем «Дневнике», — и, кроме солдатской рабской речи, ничего не слышал». Солдатская муштра вызывала в Шевченко

только негодование. Он нашел в себе силы противостоять ей: «В незабываемый день объявления мне конфирмации я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, — но даже поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию», — так откровенно он писал в своем «Дневнике» 13 июня 1857 года, возвращаясь из ссылки.

Скованный жестоким запрещением царя («не писать и не рисовать»), Шевченко страдал и терзался в неволе. Его художественный талант жадно впитывал впечатления новой незнакомой жизни, но запечатлеть их он не имел возможности. В письме к В. Н. Репниной от 27 октября 1847 года Шевченко рассказал о своих мучительных переживаниях: «Теперь прозябаю в киргизской степи, в бедной Орской крепости. Вы непременно рассмеялись бы, если бы увидели теперь меня. Вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного солдата растрепанного, небритого, с чудовищными усами, — и это буду я! Смешно, а слезы катятся! Что делать?.. видно я мало терпел в своей жизни и, правда, что прежние мои страдания, в сравнении с настоящим, были детские слезы; горько, невыносимо горько! И при всем этом горе мне строжайше запрещено рисовать и что бы то ни было писать (окроме писем). А здесь так много нового; киргизы так живописны, оригинальны и наивны, сами просятся под карандаш, — и я одуреваю, когда смотрю на них.

Местоположение здесь грустное, однообразное: тощие реки Урал и Орь, обнаженные серые горы и бесконечная киргизская степь. Иногда степь оживляется бухарскими караванами на верблюдах, как волны моря, зыблущимися вдаль, и своею жизнью удваивает тоску.

Я иногда выхожу за крепость к караван-сарая или меновому двору, где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры. Какой стройный народ! Какие прекрасные головы! Чистое кавказское племя! и постоянная важность без малейшей гордости!

Если бы мне можно рисовать, сколько бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков! Но что же делать? Смотреть же и не рисовать — это такая мука, которую поймет только истинный художник!».

Шевченко искал развлечения и спасения от «тоски, что в сердце впиался, как лютая гадина» (в письме к М. М. Лазаревскому от 20 декабря 1847 г.), в чтении книг. В письме к А. И. Лизогубу от 11 декабря 1847 г. Шевченко просит выслать из Одессы Шекспира в переводе Кетчера и «Одиссею» Гомера в переводе Жуковского; в письме от 1 февраля 1848 г. он просит Лермонтова и Кольцова. У А. П. Бутакова, который брал его с собой в экспедицию по Аральскому морю, Шевченко просил выслать из Москвы сочинения Веневитинова и Кольцова.

Влечение к поэтическому творчеству не покидает Шевченко и в это время. Вопреки строжайшему запрещению он писал и написал немалое количество стихов и прозы в годы ссылки. Для записывания стихов Шевченко пользовался особыми «захальными» (хальва — по-украински голенище сапога) книжечками. И. С. Тургенев в своих воспоминаниях рассказывает о том, как Шевченко при встрече с ним в Петербурге по возвращении из ссылки «показал ему крошечную книжечку, переплетенную в простой дегтярный товар, в которую он заносил свои стихотворения и которую прятал в голенище сапога, так как ему запрещено было заниматься писанием».

В первые годы ссылки во время пребывания в Орской крепости и в Раиме он написал свыше 15 стихов и поэм и среди них не мало весьма значительных: «Княжна» (1847), «Сон» (1847), «Иржавец» (1847), А. О. Козачковскому (1847), «Москалева криниця» (1847), «Варнак» (1848), «Царі» (1848), «П. С. (Скоропадському)» (1847), «Марина» (1848), «Пророк» (1848), «Сичі» (1848), «І виріс я на чужині» (1848), «Швачка» (1848), «Сотник» (1848), «Заступила чорна хмара» (1848), «Якби тобі довелось в нас попанувати» (1849), «Петрусь» (1850),

«Якби ви знали, паничі» (1850), «Буває в неволі іноді згадаю» (1850), «І станом гнучим, і красою» (1850).

Революционное содержание некоторых из этих стихотворений, например «Иржавець», «Варнак», «Швачка», ярко бросается в глаза.

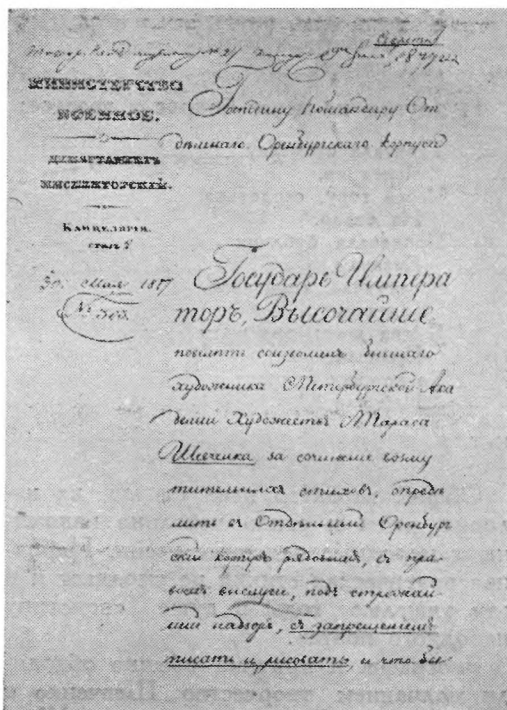
В стихотворении «Варнак» (1848 г.) герой произведения с гордостью говорит о себе: «Я різав все, що паном звалось». Тем важнее отметить, что еще не отзвучали в памяти поэта-невольника слова бесчеловечного приговора, запрещающего писать и рисовать, а Шевченко мечтает о том, «якби кайдани перегризти» (Орская крепость, 1847), и, зная по недавнему опыту жестокость своих преследователей и особенно ненавистного деспота-царя, Шевченко не побоялся вновь слагать революционные стихи:

Та вже ж нехай хоч розіпнуть,
А я без віршів не улежу.

В лирических стихотворениях, писанных на Кос-Арале в 1847—1849 гг. и в Оренбурге в 1850 г., Шевченко часто обращается к изображению неудачной судьбы женщины. Женщины разных социальных слоев — от наймички до княгини — несчастны в любви и семейной жизни. Социальные условия жизни, основанной на рабстве, классовых предрассудках, обрекают на гибель лучших из них, всех, кто хотел стать выше среды. Незаурядные личности смело идут на разрушение традиций. Но жизнь и общество жестоко пресекают эти попытки, мучают и губят смелых одиночек. Так, девушка, рожденная в палатах «роскошных и богатых», проклинает мать за то, что она воспрепятствовала ее браку с «неровней»:

Сироту я полюбила;
Мать родная не пустила
Повенчаться с молодцом.

Крепостные девушки-горемыки «долю проклинают», страдают или оттого, что любимого отдали навеки в солдаты, или оттого, что барин надругался над ними. Вот наиболее мучивший поэта,



Отношение военного министерства к командиру Отдельного Оренбургского корпуса

годами разрабатываемый им сюжет:

А из темного лесочка
Барин выезжает;
На казака стаи борзых
Псов он выпускает.
Белы руки ему вяжет,
Под замок сажает,
А девицу, обесчестив,
По миру пускает.

Женщина — хотел всем этим сказать Шевченко — при царско-помещичьем строе была рабой, страдальцей.

Но гуманизм — любовь к человечеству — в лирических стихах того времени объединялся у Шевченко и с светлыми, оптимистическими мотивами. Он и в ссылке не терял веселой бодрости и жизнелюбия. В это время он написал плясовые, полные веселья, радости и жизни стихотворения:

У перетику ходила
По оріхи;
Мірошника полюбила
Для потіхи.

Мельник меле, шеретує,
Обернеться, поцілує —
Для потіхи

И другое, не менее бодрое и веселое:

Утоптала стежечку
Через яр,
Через гору, серденько,
На базар.
Продавала бублики
Козакам,
Вторгувала, серденько,
Пятака.
Я два шаги, два шага
Прошила,
За копіюку дудника
Найняла

и т. д.

Общий характер этих стихов, их колорит, ритм и стиль невольно напоминают народные плясовые песни. Народная поэтическая стихия не умолкает и в эти тяжелые годы в душе «воистину народного поэта».

Биографы и критики обычно обходили молчанием творчество Шевченко в годы ссылки. Всем казалось, что Шевченко прекратил писать стихи и рисовать, — и ничего значительного за это время не создал. Глубоко ошибочен подобный взгляд. В ссылке Шевченко пел не «песни отчаянья», как утверждают некоторые критики, не «песни грусти», а вольные песни о предстоящей революционной борьбе («Варнак»), песни, исполненные мести «к панам лукавым» за порабощение родного народа («Сон», 1847; «Іржавець», 1847, и др.), за то, что

на его детях кандалы гремят

Шевченко не утратил способности рассказывать («Іржавець») о том, как беспредельно глубока ненависть восставших крестьян к помещикам. В поэме «Москалева криниця» Шевченко вспоминает всем памятные народные восстания — Пугачева и Пикинеров (восстание Донецкого и Днепровского полков 1769—1770 гг.).

В «Княжні» Шевченко изображает картину крайнего морального разложения дворянства. В эти годы свое острое перо с особенной силой Шевченко направляет против дворянских либералов-

филантропов. В стихотворении «П. С.» (комментаторы предполагают, что инициалы «П. С.» означают полтавского помещика П. П. Скоропадского, потомка известного гетмана Ивана Скоропадского, владельца большого числа крепостных) дана жестокая сатира на либерала-крепостника, «сладострастника и вольнодумца». Владение этого «холеного кабана» (Шевченко) поражало видевших его контрастом потрясающей бедности деревень и роскоши барского дома:

І досі нудно, як згадаю
Готичеський з часами дом,
Село обідране кругом;
І шапочку мужик знімає,
Як флаг побачить. Значить, пан.
У себе з причетом гуляють.
Оцей годований кабан!
Оде ледащо! Щирий пан,
Потомок гетьмана дурного,
І презавзятий патріот;
Та й християнин ще до того.
У Київ їздить всякий год,
У світі ходить між панами,
І п'є горілку з мужиками,
І вольнодумствує в шинку.
Отут він ввесь, хоч надрукуй.
Та ще в селі своїм дівчаток
Перебирає. Та спроста
Таки своїх байстрят з десяток
У ігод подержить до хреста.
Та й тільки ж то. Кругом паскуда!
Чому ж його не так зовуть?
Чому на його не плюють?
Чому не топчуть?! Люди, люди!
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То оддасте. Не жаль на його,
На п'яного Петра кривого.
А жаль великий на людей,
На тих юродивих дітей!

Таким образом, Шевченко, преследуемый царем и его сатрапами, загнанный в далекие крепости, безбоязненно продолжал выражать те же революционные мысли, что и в стихах, писанных на свободе. Ни об упадке или оскудении его таланта, ни о каком снижении политического уровня стихов Шевченко в эти годы говорить нет оснований. Надо воздать должное мужеству и революционной стойкости этого великого человека, когда он, обреченный «высочайшим палачем» на гибель, не погнулся, а устоял в этой неравной борьбе; остался верным идеей революции и преданным своему народу борцом.

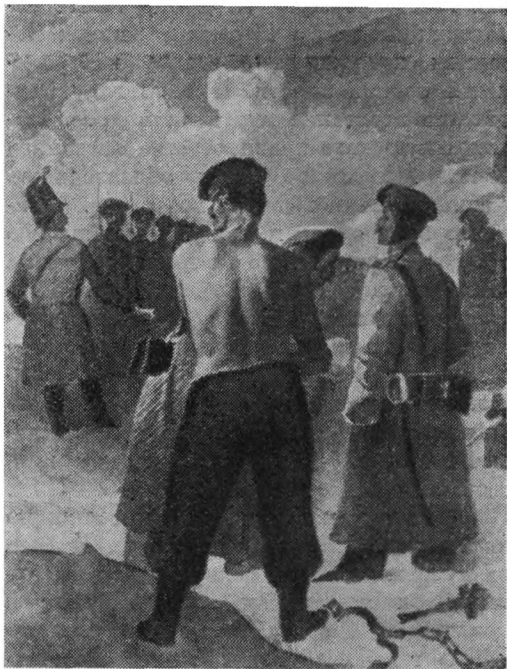
V

Шевченко попрежнему был чуток к проявлениям народной жизни. А все годы ссылки Шевченко были отмечены многочисленными растущими из года в год народными протестами и волнениями.

В своем отчете царю о 1847 году III отделение констатировало зарождение «во всех обществах непонятной уверенности» о возможности «получения полной свободы крепостными людьми. Эта уверенность поселила во всех сословиях опасение, что от внезапного изменения существующего порядка вещей произойдет неповиновение, смуты и даже самое буйство между крестьянами».

Следующий 1848 год оказался еще сложнее. Раскаты революции 1848 г., пронесшейся по Европе, освежили на время душную атмосферу николаевской реакции. Правительство вынуждено было отметить усиление оппозиционного и революционного настроения в стране в связи с европейской революцией 1848 года и принять ряд мер для борьбы «с крамолой». В Петербурге был обнаружен кружок петрашевцев, возникший еще до 1848 года, а в это время ставший наиболее бурно проявлять себя, как кружок фурьеристов, не мирившихся с таким злом, как крепостное право. В отчете царю III отделение не могло скрыть, что «частые... волнения, особенно во время происходивших за границею беспорядков (так называли в отчете революцию 1848 года.—Н. Б.), побуждали губернское начальство к требованиям воинской помощи и принятию особых мер предосторожности для отвращения общего возмущения». Случаев неповиновения крестьян в 1848 г. было более против 1847 года на 22, — сообщал один из «летописцев» III отделения.

Критика справедливо усматривает воздействие буржуазно-демократической революции 1848 года и на творчество Шевченко в смысле усиления в нем революционных мотивов. Шевченко знал о революции 1848 года. Знакомый его, М. Александрийский, в своем письме от



Наказание шпицрутенами. Рис. Шевченко

16 августа 1848 года писал поэту об этих событиях, как достаточно обоим известных: «Новостей много, — писал Александрийский, — очень много; но так как они отнюдь не Орские, а Политические и вдобавок Европейские, а не Российские только, то излагать их со всеми подробностями я не берусь. Скажу однакож главную тему их: хочется лучшего! Это старая песня, современная и человеку и человечеству, — только поется на новый лад: — с аккомпанементом 24-х фунтового калибра! Впрочем, вы знаете, вероятно, все затеи европейской политики в настоящее время».

Надо отметить и влияние политических веяний, которые, несомненно, улавливал Шевченко среди местного населения. Оренбургский край и весь Урал в 1848 году расценивался петрашевцем Черносивитовым как очаг возможного восстания. По показаниям Спешнева, Черносивитов сказал ему, что «восстания должно ожидать не на Волыни, где много войска, а на Пермских заводах, в восточной Сибири», и если пошлют туда войска, то «едва войска перейдут Урал,

как восстанет Урал», где 400 тысяч заводских людей, а Пермские заводы населены каторжными, всегда настроеными против власти. В 1848 году произошло восстание киргизов в крае. Попытка царского правительства заставить кочевых киргизов вести обязательную запашку земли вызвала восстание. Шевченко знал об этом. Он знал также и о том, что грабеж со стороны царизма этого народа дошел до крайних пределов. Тысячами умирали от голода бедняки-киргизы, целые селения изгонялись с насиженных мест в безводную пустыню, гнет превышал всякую меру. Свои симпатии к киргизам Шевченко высказал в первом же своем стихотворении, написанном в этом крае: «Думи» (1847). В 1848 году он обрабатывает старинную киргизскую народную легенду «У бога за дверьми лежала сокира»; эту же легенду он поэтически воспроизводит и позднее в своей повести «Близнецы» (1855 г.). В другой повести «Варнак» (1855) он снова говорит с глубокой любовью и сожалением об этом крае, где невыносимо «видеть самую безобразную нищету в стране, текущей медом и млеком». Но эта «благодатная страна» колониально-эксплуататорской политикой царизма была обращена в край нищеты.

Поддерживала, несомненно, Шевченко и дружеская связь в те годы с группой ссыльных польских революционеров. В Оренбурге он встретился с Б. Залеским, Э. Желиговским («А. Сова»), Станевичем. Несколько позже в Ново-Петровске (в 1853 году) сошелся с Сераковским, Храпчинским, Фиалковским, Пшевлцким, Зеленко и др. Здесь же сказался его знакомый по Петербургу Мостовский. Всех их преследовало николаевское правительство за революционную и политическую деятельность. Мостовский был участником революции 1830 г. и много рассказывал Шевченко об этом событии. Фиалковский отбывал наказание за «побег в 1848 году за границу с намерением присоединиться к венгерским мятежникам». Пшевлцкий обвинялся в том, что «имел тайные неблагонамеренные связи с политическими преступниками, читал зловерные сочи-

нения, декламировал по квартирам патриотические стихи и вел вредные разговоры о правительстве». Храпчинский был сослан за «деятельное участие» в Краковском восстании 1846 года. Под влиянием рассказов последнего о революции 1846 года Шевченко изобразил аллегорически в басне «Сичи» действовавшие силы в этой революции и выразил свои неизменные симпатии к крестьянству.

Шевченко был другом угнетенных народных масс всякой нации.

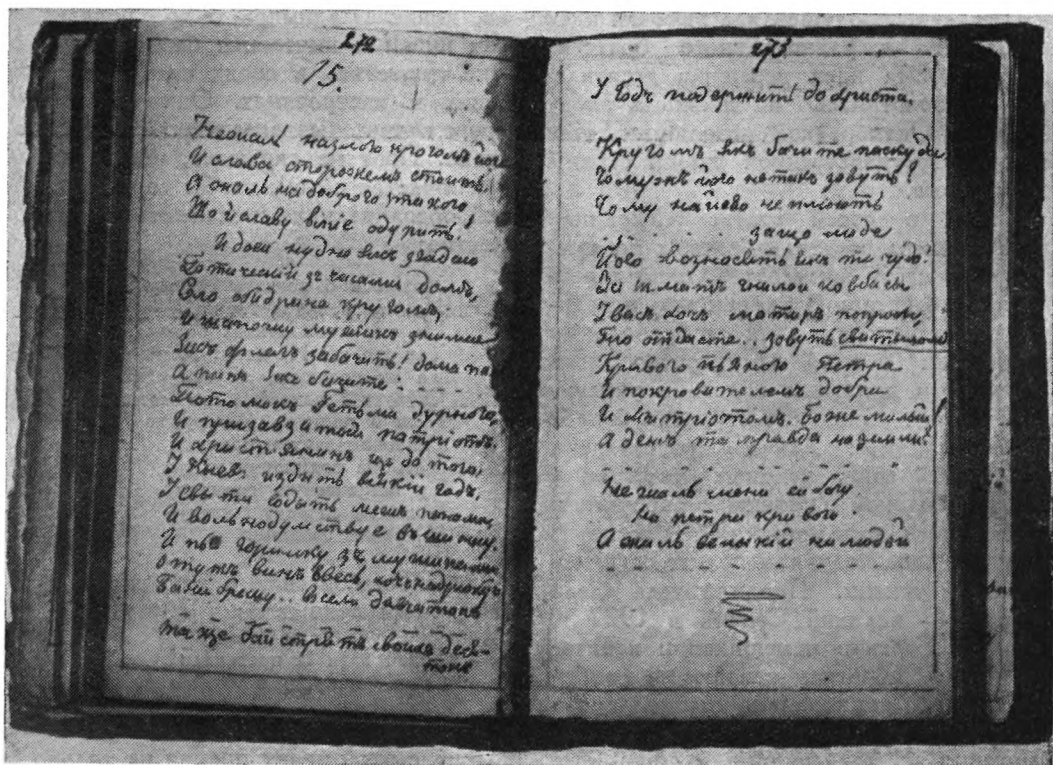
В годы десятилетнего изгнания Шевченко жил чувством связи с народными массами. В сознании социально-политического родства с народом он находил отраду и силу для борьбы и по черпал вдохновение для своего революционного творчества. Не боясь новых преследований со стороны царских сатрапов, Шевченко и в ссылке, находясь под бдительным надзором коменданта, выражал по-прежнему, как и до ссылки, политическое единомыслие с народными массами России и Европы. На подьем народных масс России, всколыхнувшихся в связи с крушением правительственной системы Николая I после Крымской войны, Шевченко также откликнулся стихотворением, исполненным гнева и осуждения по адресу «венчаных катов» — царей и глубоко гуманным сочувствием к народу, проливавшему свою кровь в войне 1853—1855 гг.

Ми заходились розкувать
Своім невольникам кайдани, —
Аж гульк!.. І знову потекла
Мужицька кров... Кати вінчани,
Мов пси голодні за маслак,
Гризуться знову.

(1853—1854).

Шевченко в своем «Дневнике» (запись 22 января 1858 г.) глубоко сожалеет о неудавшемся, «грустном» (выражение Шевченко) екатеринославском восстании 1856 года в имении филантропа-помещика Н. Д. Белозерского, который «так оголил своих крестьян, что они сложили про него песню, которая кончается так:

А в нашего Білоз.ра
Сивая кобила,



Страницы из «Захлявной книжки»

Бодай же його побнаа
Лихая година.
А в нашого Білозера
Червоная хустка,—
Ой не одна в селі хата
Осталася пустка».

Шевченко выразил свое политическое единомыслие и с восставшим в те годы китайским народом. В начале сентября 1857 года во время путешествия по Волге из ссылки Шевченко попался в руки измятый листок газеты «Русский Инвалид» (1857 г. № 167 за 31 июля). Фельетон в газете был посвящен происходившему в Китае восстанию тайпингов против маньчжурской династии. Шевченко с сочувствием приводит в «Дневнике» слова вождя восстания Гонга, полные ненависти к господствующему классу: «Мандарины эти — жирный убойный скот, годный только в жертву нашему небесному отцу». Слова Гонга Шевченко дополнил таким же пожеланием по адресу русских помещиков: «Скоро ли во всеуслышанье можно бу-

дет сказать про русских бояр то же самое?».

Шевченко был враждебен идее национализма, был чужд мысли о национальной обособленности. Свой пламенный патриотизм он сочетал как с интернациональными симпатиями к западно-европейским народам — чехам, венграм (он воспел героическую борьбу чешского народа за свою национальную независимость), так и с братскими глубокими чувствами к русскому, грузинскому, киргизскому, татарскому и другим народам, угнетаемым царизмом. В царизме он видел общего врага всех народов, входивших в состав царской России, этой «тюрьмы народов», где

Од молдаванина до фіна —
На всіх языках все мовчить
Бо благоденствує,—

так глубоко саркастически Шевченко обрисовал царизм, заграждавший всем уста для протеста.

Шевченко воодушевляла высокая идея свободного и равноправного братства народов. Эта идея пережила десятилетия и воплотилась в жизнь в эпоху Великой Октябрьской революции, став основой государственной жизни страны социализма.

Ленин в своей статье «Украина» (1917) писал о «столь близких по языку, и по месту жительства, и по характеру, и по истории» украинском и великорусском народах, о их «добровольном соединении в одно государство двух народов» и призывал видеть в украинском народе «союзника и брата в борьбе за социализм»¹. Ленин провозгласил «свободный союз вольных крестьян и рабочих вольной Украины с рабочими и крестьянами революционной России»². Слова Ленина получили полное осуществление в жизни. Продолжатель дела Ленина — великий Сталин в 1927 г. писал: «Свергнув помещиков и капиталистов, Октябрьская революция разбила цепи национально-колониального гнета и освободила от него все без исключения угнетенные народы обширного государства.

Именно потому, что национально-колониальные революции произошли у нас под руководством пролетариата и под знаменем интернационализма, именно поэтому народы-парии, народы-рабы в первые в истории человечества поднялись до положения народов действительно свободных и действительно равных, заражая своим примером угнетенные народы всего мира»³.

Стихотворение «Царі» (1848), написанное во второй год ссылки поэта, как отклик — по мнению критиков — на революционные события 1848 года в Западной Европе, является в то же время новым метким и неотразимым ударом по царизму. Шевченко развенчивает в этом стихотворении наиболее прославленных дворянско-поповскими идеологами царей и князей: царя Дави-

да, князя Владимира и др., показывая, как низки и ничтожны были эти «высшие существа» в своих поступках, чувствах и настроениях. Они лицемерны, кровожадны, беззастенчиво грубы, жестоки. Поэт не скрывает, что его цель заключается в том, чтобы сорвать с царей ореол величия и показать их ничтожество:

Хотілося б зогнать оскрму
На коронованих главах,
На тих помазаниках божих...
Так що ж? Не втну! А як поможеш
Та як покажеш, як тих птах
Скубуть і патрають, то може
І ми б подержали в руках
Святопомазану чуприну...
Хоть на годиночку у нас
Ту вінценосную громаду
Покажем спереду і ззаду
Незрячим людям...

Заклучил он свою едкую сатиру агитационным призывом:

Бодай кати їх постинали
Отих царів, катів людських.

Шевченко рассматривал «венценосных катов» с этой точки зрения не только в пределах царской империи; он их брал в общеевропейском масштабе. Он также имел в виду и Людовика XVI, чью казнь считал «назидательным зрелищем», и Наполеона III — «злодея», разбойника и грабителя трудящихся Франции; Екатерину II и Николая I, и «тихого пьяненького господаря» — Александра II. Разоблачение народных палачей посредством поднятия¹ покрывала, скрывавшего их злодеяния, было безусловно наиболее убедительным средством для внедрения в сознание широких масс мысли о гнусности и презренности царей. В другом стихотворении — «Пророк» (1848) — Шевченко показывает, как люди сами породили царизм. Кровожадный царь пришел властвовать над людьми на смену пророку. Агитационно-революционный смысл аллегории тоже был ясен для всякого, даже неискушенного читателя: люди сами виноваты в появлении презренного царя. Нельзя забывать, что это сказано в мрачнейшую полосу николаевской реакции, когда, по меткому определению Герцена, наступило «цар-

¹ Ленин, Собрание сочинений. XX том, стр. 534—535, 3-е изд.

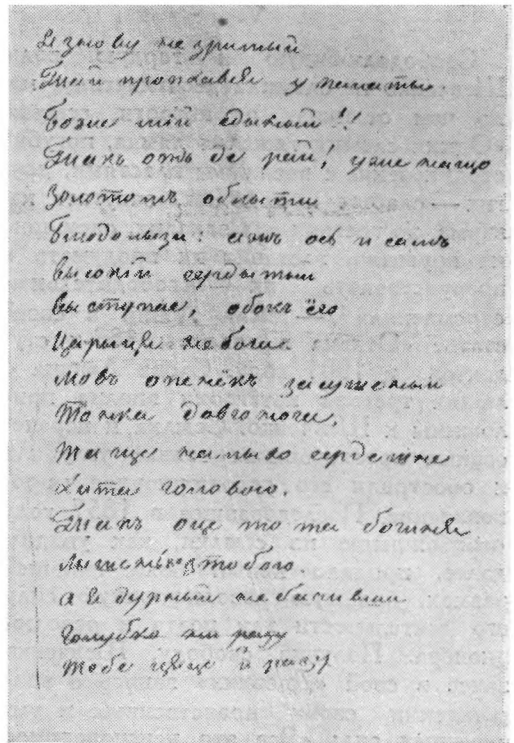
² Там же, стр. 535.

³ Сталин «Марксизм и национально-колониальный вопрос» (сб. статей и речей), 1938 г., стр. 189.

ство, тглы, произвола, молчаливого замирания, гибели без вести, мучений с платком во рту... Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову... за одно смело сказанное слово — годы ссылки... а иногда и каземат. Потому-то и важно, что слова эти говорились... деятельность, скрытая снаружи, закипала, таясь внутри».

В Ново-Петровском укреплении Шевченко после нового ареста и наказания, стесненный грубым надзором фельдфебеля, продолжал опять-таки писать. Здесь написано известное стихотворение «Мій боже милий, знову лихо», являющееся откликом на Крымскую войну, в которой лилась без сожаления по капризу царя кровь 500 тысяч крепостных рабов.

Здесь же он написал ряд повестей: «Княгиня» (1853), «Музыкант» (1854—1855), «Капитанша» (1855), «Близнецы» (1855), «Художник» (1856), «Прогулка с удовольствием и не без морали» (1856). Повести эти проникнуты идеями борьбы и разоблачения феодально-крепостнического строя, дворянства, вошщины и т. п. Они служили тем же целям революционной борьбы, что и стихи. В своей повести «Прогулка с удовольствием и не без морали» (1856 г.) Шевченко выражает свою глубокую веру в величие народных масс и их колоссальную творческую роль в историческом процессе: «Мои покойные земляки ничуть не уступали любой европейской нации, а в 1768 году — Варфоломеевскую ночь и даже первую французскую революцию перещеголяли. Одно, в чем они разнились от европейцев: у них все эти кровавые трагедии были делом всей нации и никогда не разыгрывались по воле одного какого-нибудь пройдохи, вроде Екатерины Медичи, что допускали нередко у себя западные либералы». Лирическим произведениям Шевченко в этот период всегда придает политический смысл. Так, несомненно индифферентными и агитационными по замыслу поэта являются его стихотворения, в которых он рассказывает о горькой судьбе женщины, погибающей в неволе или в замужестве с нелюбимым бо-



Автограф поэмы «Сон»

гатею — «ворогом злим». В судьбе такой несчастной «женщины» нетрудно видеть аллегорическое изображение судьбы угнетенной царизмом Украины.

Попрежнему любимыми героями его стихотворений являются представители закрепощенного крестьянства. Таков моряк — казак, что «в наймах вырос сиротою»; таковы бесталанные сироты, наймычки, батраки — герои поэм «Москалева криниця» (1847) и «Ктиторова дочь» (1848).

Собственная судьба поэта — «сына в кандалах» — нашла отражение во многих его стихах. Солдатская жизнь, грубые дядьки и жестокий командир, муштра, отдаленность от любимой родины, вынужденное бездействие гения рождали порой минуты тяжелых раздумий в душе Шевченко:

Живешь без света и без воли.
 Что в сердце лучшего, святого
 Уж не осталось и следа:
 Оно от мук разорвалось.

VI.

Свободолюбивую и гордую волю Шевченко не сломила десятилетняя, мало чем отличная от каторги, ссылка. «Одних сломит тяжелая лямка, погубит столкновение с военными властями, других — слабых и дряблых, запугает казарма, но третьих она закалит, расширит их кругозор, заставит их продумать и прочувствовать их освободительные стремления»¹, — писал Ленин в своей статье «Отдача в солдаты 183-х студентов» в 1901 году. Слова Ленина о людях третьей категории вполне приложимы к Шевченко. Ссылка и перенесенные преследования только углубили и обострили его революционное мировоззрение. Последовавшее в 1857 году освобождение из ссылки, как увидим далее, придало новый более сильный размах, большую революционную силу его деятельности как поэта и революционера. Получив свободу, Шевченко занес в свой «Дневник» запись о возрождении своих нравственных и умственных сил: «Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась; по крайней мере, мне так кажется».

Попытка морального удушения, задуманная Николаем, не удалась. Освобождение пришло вовремя, ибо, по справедливому замечанию Шевченко, его мог бы «задушить всемогущий сатрап в этом безотрадном заточении» («Дневник»). Существенно важно во всем этом событии то, что Шевченко нимало не изменил своих убеждений за годы ссылки, а напротив — еще более укрепился в них, — и после ссылки не сложил оружия и не отказался от революционной борьбы с царско-помещичьим строем. Теперь Шевченко повел эту борьбу еще смелее и еще энергичнее.

Пока Шевченко страдал в ссылке, в стране произошли огромные социально-политические сдвиги. Россия пылала мятежами, крестьянскими восстаниями.

Все были охвачены ожиданием того, как совершится освобождение миллионных масс от крепостных уз. Правительственная система была надломлена крахом Крымской войны. Смерть вдохновителя реакции — Николая-«Неудобозабываемого Тормоза», как называл его Шевченко, — развязала многое.

Демократическое движение росло, крестьянские восстания ширились и из года в год умножались. На арену общественной жизни пришли разночинцы — революционные демократы, идейные защитники и революционные борцы за интересы крестьянской демократии.

Во всей остроте встал вопрос об освобождении крестьян. III отделение в своем «нравственно-политическом обозрении» событий за 1860 год принуждено было констатировать, что «в 1860 году из внутренних вопросов, наиболее занимавших умы на всем, можно сказать, пространстве империи, весьма естественно был самым важным, как и в предшествовавшие три года, вопрос об освобождении помещичьих крестьян от крепостной зависимости. Тяготясь неспределенностью взаимных отношений, помещики и крестьяне ожидали с нетерпением этого жизненного для них вопроса».

Новый царь, Александр II, первый помещик в царской России, вынужден был заявить дворянам: «Лучше отметить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само по себе начнет отменяться снизу». Царь и жандармы видели явные признаки пробуждения в народных массах стремлений вырвать волю из рук царя и дворянства. В стране нарастала революционная ситуация. К. Маркс в письме к Ф. Энгельсу в январе 1860 года писал о восстании рабов в России, как наиболее значительном событии мировой истории: «По моему мнению, самые великие события в мире в настоящее время — это, с одной стороны, американское движение рабов, начавшееся со смерти (Джона) Брауна, с другой стороны — движение рабов в России» (XXII, стр. 474).

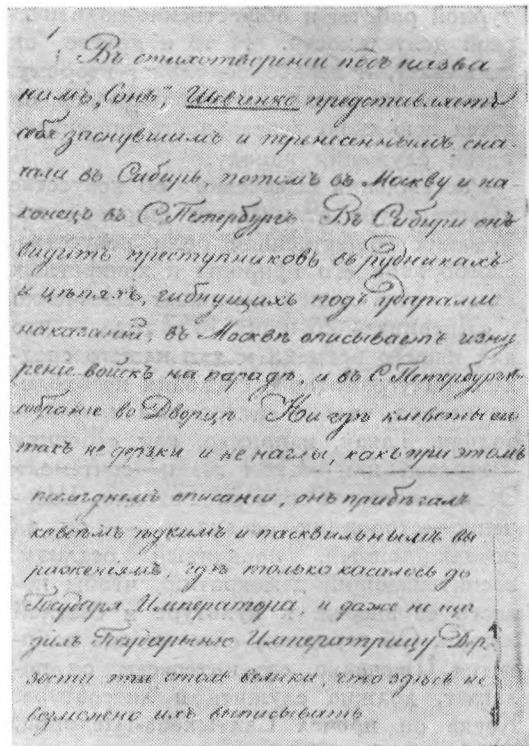
В общественно-политической жизни страны открылась новая страница борьбы вокруг крепостного вопроса. Ре-

¹ Ленин. Сочинения, т. IV, стр. 71. 3-е изд.

скрипт царя от конца 1857 года о создании специальных комитетов для рассмотрения этого вопроса возбудил острые столкновения основных партий и классов того времени. Началась борьба представителей революционной демократии, борющихся за интересы крестьянства с лагерем крепостников и либералов. Чернышевский уже разоблачил грабительский характер подготовляемой реформы 1861 года.

Возвращение Шевченко из ссылки (1857 г.) и пребывание его в Нижнем-Новгороде совпало с этим подъемом общественно-политической жизни в стране. Он был сразу же охвачен всеми вопросами, какими волновалась тогдашняя общественная жизнь. В письме к коменданту Ново-Петровского укрепления И. А. Ускову от 12 ноября 1857 года он писал: «Занимает теперь всех самый животрепещущий вопрос о том, как освободить крестьян от крепостного состояния». В сердце Шевченко еще больнее отозвались стоны крепостного народа, еще мучительнее и нестерпимее стала скорбь о давно ожидаемой свободе, которая так долго не давалась народу, еще ярче стала вражда к царизму. Какие пламенные слова негодования вписал Шевченко в свой «Дневник», увидев на Волге Жигулевские горы и Царев курган.

«Гора эта, — писал Шевченко, — своею формою и величиною напомнила мне такую же гору близ Звенигородки Киевской губернии, в селе Гудзивцы. И Гудзивскую гору, быть может, какой-нибудь помазанник, пройдоха освятил своим восшествием, но земляки мои как-то тупо сохраняют в своей памяти подобные освящения. Они (земляки мои) чуть ли не догадываются, что если царь взойдет на такую гору, то верно недаром, а уповательно для того, чтобы насытым оком окинуть окрестность, на которой (если он полководец) сколько в один прием можно убить верноподданных, а если он, боже сохрани, агроном, то это еще хуже, особенно если окрестность окажется бесплодною, то он высочайше повелит ее сделать плодородною, и тогда потом и кровью крепостного утучнится бесплодный солончак. Зем-



Страница из следствия
по делу Шевченко

ляки мои, верно, не без причины не освящают своей памятью подобных урочищ». Сквозь политический протест ясно проступает глубокая вера в творческие силы народных крепостных масс, могущих превратить любой «солончак» в цветущую и плодоносную землю.

Во время пребывания в Н.-Новгороде (ныне г. Горький) до разрешения в'езда в столицу, — этого разрешения новый царь, Александр II, продолжая дело мести отца, долго не давал, — Шевченко знакомится с изданиями «Вольной русской печати» Герцена и Огарева; читает «Полярную звезду», «Колокол», «Крещеную собственность» (1853 г.). В это время он жадно читает современную литературу, восторгается революционными сатирами Салтыкова-Щедрина, раздумывает о судьбе искусства и литературы.

Получив свободу, Шевченко сейчас же начинает строить планы своей литера-

турной работы и общественно-политической деятельности. И то и другое он связывает, и первое подчиняет второму. Как последовательный революционер, он хотел всю свою деятельность пронизать идеей служения народу.

Рассуждения Шевченко об искусстве и литературе отличаются широтой понимания общественной роли искусства, своеобразия его природы и конкретных задач. «Мне кажется,—пишет Шевченко в «Дневнике» 26 июня 1857 года, — что для нашего времени и для нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только сатира умная, благородная. Такая, например, как «Жених» Федотова или «Свои люди—сочтемся» Островского и «Ревизор» Гоголя». Шевченко—сторонник реализма, — он за революционный, правдивый реализм, воспитывающий демократию, чтобы повести ее вперед, к культуре и светлой жизни. Об огромном слое народа заботится Шевченко, его интересам, он полагает, должна служить и литература. Когда он прочел Салтыкова-Щедрина, он безошибочно оценил революционно-действенное значение его бессмертных сатир. «Как хороши *губернские очерки*, в том числе и *Мавра Кузьмовна* (очерк Салтыкова «*Магучка Мавра Кузьмовна*» напечатан в 1857 году. — Н. Б.) Салтыкова, я благоговею перед Салтыковым. О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какую радость возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подавайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда!».

В революционно-демократической сатире он увидел настоящую человеческую боль за народ, подлинно человеческую любовь к тому народу, за свободу и счастье которого он заплатил 10-летней ссылкой и готов был вновь идти на борьбу и страдания. Всякое проявление в литературе и жизни, связанное с народом, волнует и вдохновляет Шевченко мечтами о светлой творческой жизни народа, укрепляет веру в необъятные, но скрытые и подавленные царизмом силы и таланты народных масс.

С восторгом Шевченко отмечает в своем «Дневнике» удачную игру крепостного виртуоза на палубе парохода, видя в игре этого выходца из народа прообраз общественного выступления народных масс. «Ночи лунные, тихие, очаровательно поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало... И вся эта прелесть, вся эта... гармония оглашается тихими заунывными звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец безвозмездно возносит мою душу к творцу вечной пленительными звуками своей лубочной скрипицы. Он говорит, что на пароходе нельзя держать хороший инструмент, но и из этого нехорошего он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена. Я никогда не наслаждаюсь этих общеславянских, сердечно-глубоко-унылых песен. Благодарю тебя, крепостной Паганини, благодарю тебя, мой случайный, мой благородный. Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный глубокий стон миллионов крепостных душ».

В «Дневнике» можно найти много мест, где выражена эта беззаветная преданность Шевченко народу.

VII

Особое место в жизни и творчестве Шевченко занимает его «Дневник», этот исключительно ценный и в высокой степени содержательный документ. В нем множеством ярких психологических деталей очерчен мужественный облик страдальца-поэта и борца за народ. «Дневник» Шевченко глубоко интимен, но в то же время в нем нашли отражение события социально-политической жизни того времени, и — что особенно важно — здесь выражены с предельной откровенностью революционно-политические убеждения Шевченко.

Свой «Дневник» он вел недолго: с 12 июня 1857 года по 20 мая 1858 года; начал он «Дневник» за полтора месяца перед выездом из Ново-Петровского форта и кончил в первые месяцы пребывания в Петербурге.

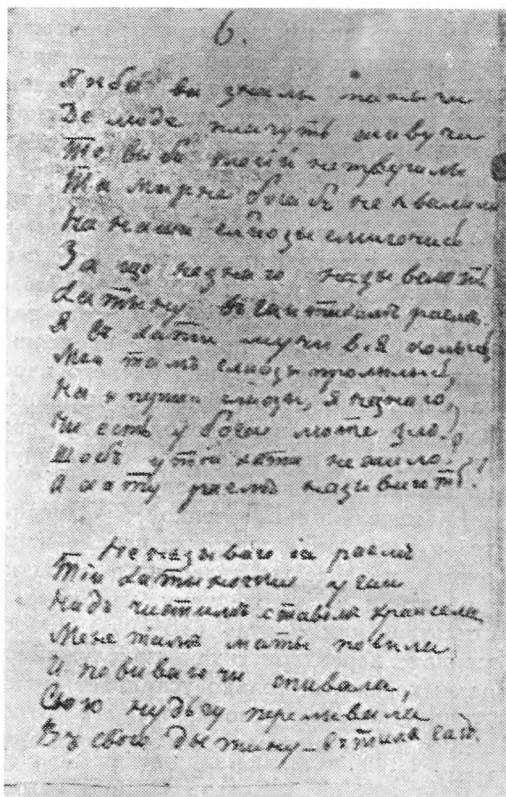
В «Дневнике» многократно встречаются яркие, изумляющие своей правдивой революционностью, суждения Шевченко. Записями антиниколаевского содержания часто пестрят страницы «Дневника». Шевченко в последние годы своей жизни платил особенно жгучей ненавистью своему гонителю, видя в нем, как Герцен и другие передовые деятели той эпохи, тормоз общественно-го развития страны.

В «Дневнике» существенный момент представляет еще антивоенная и антицерковная критика. По адресу николаевской военщины — этого «отвратительно-го сословия» (выражение Шевченко) — в «Дневнике» имеются убийственные обвинения.

Вот одно из них: «Побочный сын гнилого сатрапа Перовского собственноручно зарезал своего деньщика, за что был только разжалован в солдаты, но мелкая душонка (не вынесла) и этого всемиловистейшего наказания: он вскоре умер или отравил себя. Туда и дорога. Выходит яблоčko недалеко от яблони упало. Мать этого малодушного тигренка, жена какого-то паршивого барона Зальц и купленная б... растленного сатрапа Перовского, однажды, собираясь к обеду, рассердилась за что-то на горничную да и хватила ее утюгом в голову. Горничную похоронили, и тем дело покончил всемогущий сатрап. О, Николай, Николай! Какие у тебя лихие сподручники были. По Сеньке шапка!».

Он записывает и другие «ужасные происшествия», где действующими лицами выступают военные (например, случай похищения гвардейцем девушки, «прекрасной как ангел», и др.). Шевченко заклеймил грубость нравов, недостаток образования, гнусность поступков военных, справедливо видя в кадетских корпусах рассадник этой военщины. «Проклятие вам, человекоубийцы — кадетские корпуса», — записывает Шевченко свой приговор и осуждение привилегированному, но «отвратительному сословию» царской военщины.

Шевченко великолепно представлял себе систему государственного управления. Он ясно видел, как организовано крепостническое государство.



Автограф стихотворения Шевченко
«Якби ви знали, паничі»

Религия и поп — могучие союзники царя и помещиков в деле эксплуатации народных масс. Авторитетом религии поп освящал рабовладение и крепостное угнетение, а царь усиленно насаждал церкви и попов. В записи 17 сентября 1857 г. Шевченко правильно указал на связь религии с господствующими классами царской России, и на политическую роль православия. Проплывая на пароходе мимо города Чебоксары, в котором «по крайней мере наполовину будет домов и церквей», Шевченко задумался над вопросом: «Для кого и для чего церкви построены? Для чувашей? Нет, для православия. Главный узел московской старой внутренней политики — православие. Неудобно называемый Тормоз (г. е. Николай I) по глупости своей хотел затянуть этот ослабленный узел и перетянул. Он теперь на одном волоске держится».

Церковь своим лицемерным призывом к покорности содействовала помещику в деле эксплуатации крепостных, доказывая последним естественность рабского состояния, воспитывая в нищем и обобранном мужике терпение и выносливость и обещая ему рай на небе за страдания на земле. Шевченко звал к революционному ниспровержению социального ада на земле, звал к борьбе и восстанию, а не к покорности и смирению перед властями. Он горячо приветствует всякий шаг на пути просвещения бедного народа и видит в новом букваре, изданном для народа, «первый свободный луч света, могущий проникнуть в сдавленную попами невольничью голову».

Размышления Шевченко в «Дневнике» о взаимной поддержке церкви и царизма позднее выливались в негодующие стихи на ту же тему, например, в стихотворении «Саул» (1860 г.). Обобщенная характеристика прислужников разных религий только усиливает смысл стрижательного, разоблачающего отношения поэта к этому лживому, дурманящему массе, лицедейству:

А маги, бонзы и жрецы,
Совсем как наши пан-отцы,
Во храмах, в пагодах питались,
Как кабаны царям на сало
Да на колбасы. И цари
Себе самим же воздвигали
Кумирни, храмы, алтари,—
Рабы немые поклонялись.

Шевченко проявлял интерес и к таким явлениям, как вопросы воспитания женщин. Наблюдения его над существовавшими школами (тогда — институты) привели к отрицательным выводам. Осмотрев институт в Нижнем, он нашел его отвратительным. «В залах института, кроме скамеек и грозного лубочного изображения самодержца, ни одной картины, ни одной гравюры. Чисто, гладко, как в любом манеже. Где же эстетическое воспитание женщины? А оно для нее, как освежающий дыханье воздух, необходимо. Душегубцы!».

В «Дневник» Шевченко вносил лите-

ратурные материалы и немало стихов. Занесенные сюда стихи рисуют Шевченко, как последовательного революционера, искавшего в стихах Барбье, Беранже, П. Лаврова созвучия своим революционным стремлениям. Из Барбье он взял «Собачий пир» в переводе В. Бенедиктова, где изображена картина народного восстания в Париже. Вот знаменитые и широко известные строки о великой черни:

И сквозь картечь стремясь,
Та чернь великая и сволочь та святая
К бессмертию неслась!

«Прекрасное, сердечное стихотворение» В. Курочкина «На смерть Беранже», по словам Шевченко, прославляло поэта — «певца любви, свободы и равенства».

Из Беранже взято в переводе Курочкина стих. «Навуходоносор», где дана сатира на царя, как он «жил в шкуре быка». Взято большое стихотворение П. Лаврова «Русскому народу» (1854 г.; из издания Герцена «Голоса из России»), представляющее собой политическую сатиру на николаевскую Россию, где:

Стал конюх цензором, шут царский
адмиралом...
Россия отдана в аренду обиралам...
А если кто-нибудь средь общей летаргии
Мечтою увлечен,
Их призывал на брань за правду и
Россию,
Как был бедняк смешон!..

В «Дневнике» выражены взгляды Шевченко, отражающие новый этап в его жизни и развитии мировоззрения. Это было второе начало. Шевченко входит в жизнь теперь, после ссылки, с продуманными и отстоявшимися убеждениями. Он нисколько не ослабел в своей неукротимой ненависти к царско-помещичьему строю. Ссылка закалила, преследования только еще более убедили Шевченко в правильности избранного им пути борца за революцию, за счастье народа.

Представители революционной демократии и Шевченко

Л. ХОДОРКОВСКИЙ

★

Представители русской революционной интеллигенции — писатели, мыслители и художники — несомненно влияли на развитие таланта и мировоззрения гениального поэта украинского народа Шевченко, равно как и великий kobzary оказал огромное влияние на русскую революционную дооктябрьскую и послеоктябрьскую поэзию и живопись.

Связь Шевченко с русской культурой, обширно представленная и доказанная, разбивает жалкие попытки украинских контрреволюционных националистов создать культ украинского «батки Тараса», фальсифицировать его творчество, выхолостить из него все революционное, прогрессивное, передовое. Шевченко — народный украинский поэт. Будучи певцом угнетенного народа и ярким врагом его эксплуататоров и поработителей, он, как в зеркале, отразил в своем творчестве революционные настроения всех народов, населявших землю огромной царской империи, этой «тюрьмы народов».

Интернационализмом пронизана вся поэзия Шевченко. Достаточно привести такие его строки:

...А тюрем? А люду? Що й лічить!
Од молдаванина до фіна —
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!..

Или:

Помоляться всі язики
Вовіки і віки¹,

чтобы наголову разбить враждебные поползновения буржуазных националистов, стремившихся изобразить Шевченко своим единомышленником. В том и состоит гениальность Шевченко-революционера, что он, любя украинский народ, понимал силу объединения всех угнетенных наций царской России против своих поработителей.

Революционный призыв к борьбе Шевченко бросал и за пределы России; чутьем художника-реалиста он воспринимал мир, разделенный на два класса: угнетенных и поработителей. Шевченко провозглашал не национальную вражду народов, как клеветнически говорили о нем враги, а классовую вражду. Но Шевченко был, главным образом, певцом угнетенного крестьянства.

Фальсифицируя Шевченко под «батьку» в «чоботах» и украинской «сорочке», буржуазные националисты всячески пытались воздвигнуть «китайскую стену» между Шевченко и русской культурой. Они причисляли Шевченко под «национального» проповедника непротivления русскому самодержавию, проводившему на Украине свою хищническую колониальную политику, в то время как поэт всей силой своего таланта обрушивался на помещиков-крепостников и царя:

Лютуй, лютуй,
Мерзений старче! Розкошуй
В своїх гаремах. І з-за моря
Уже встає святая зоря!

После Великой Октябрьской революции прихвостни и лакеи русского импе-

¹ Курсив мой. — Л. Х.

риализма, буржуазно-фашистские «добродии» — шаповаловы, петлюры, винниченки и др., пытаясь сохранить на Украине гнет и рабство, объявили борьбу власти рабочих и крестьян, провозгласили с помощью штывков немецких и польских интервентов «самостийную» Украину. Прикрывая свою черную измену народу, они облачили любимый в широчайших массах образ Шевченко в «жовтоблакитное» одеяние гетманца, петлюровца, автокефалиста. Но шитое белыми нитками одеяние не могло скрыть от масс душу и сердце поэта-революционера; народ разоблачил наглый маневр врагов; Шевченко в годы революции и гражданской войны был символом борьбы с угнетателями и их прихвостнями. Революционные стихи и песни Шевченко были на устах рабочих и крестьян — украинцев, русских, белоруссов, грузии, узбеков и других народов.

Восстав против своих поработителей, они осуществили желание своего великого поэта-революционера о том:

Якби не осталось
Сліду панського на Україні...

Шевченко горел ненавистью к интервентам, которых разгромил в годы гражданской войны советский народ.

Щоб лякались вражі ляхи
У своїй Варшаві —

мечтал Шевченко. Освобожденные народы Советского Союза осуществили и эту его мечту.

★

Шевченко — великий певец украинского народа; произведения его содержат в себе народные идеи русской и мировой революционной интеллигенции XVIII и XIX веков и отражают стремления всех народов к восстанию против своих поработителей.

Шевченко был творчески и идейно связан не только с русской революционной демократией 60-х годов XIX века; нити связи украинского поэта с русской литературой тянутся от Радищева, поэтов-декабристов, Пушкина.

Поэзия Шевченко свидетельствует о том, что он находился под огромным

идейным и эстетическим влиянием русской прогрессивной и революционной поэзии.

Прогрессивное и революционное русло русской литературы XIX века способствовало сближению Шевченко с взглядами Чернышевского, Некрасова, Курочкина, Добролюбова, Михайлова.

В тесной дружбе, идейной и творческой, с этим вторым — по выражению Ленина — поколением русских революционеров Шевченко находился до самой смерти. Умер он в Петербурге в 1861 г., затравленный царскими ищейками.

Призыв России «к топору» для свержения самодержавия, сформулированный вождем русской революционной демократии 60-х годов Чернышевским, не только близок мировоззрению Шевченко, но составляет как бы его основу. После возвращения из ссылки в 1857 году Шевченко записал в своем дневнике: «На-днях я как-то проходил через Кремль (в Нижнем-Новгороде.—Л. Х.) и видел большую толпу мужиков с открытыми головами перед губернаторским дворцом. Явление это показалось мне чем-то необыкновенным. До сегодняшнего дня я не мог узнать его содержания, а сегодня Овсянников рассказал мне, в чем было дело». А дело было в том, что к губернатору пришли «крестьяне помещика Демидова (того самого мерзавца Демидова, которого я знал в Гатчине кирасирским юнкером в 1837 г. и который тогда не заплатил мне деньги за портрет своей невесты), теперь он, промотавшийся до снаги, живет в своей деревне и грабит крестьян. Кроткие мужички, — сожалеет Шевченко — вместо того, чтобы просто повесить своего грабителя, пришли к губернатору просить управы, а губернатор, не будучи дурак, велел их посесть за то, чтобы они искали управы по начальству, т. е. начинали со станového».

Эти же революционные мысли мы встречаем и в поэмах Шевченко:

Окують царів неситих
В залізниці пута
І їх, славних, оковами

Ручнями окружать.
 І осудять неправедних
 Судом своїм правим,
 І вовіки стане слава,
 Преподобним слава!

Издательства и преследования царской жандармерии усиливали в Шевченко, как и в Чернышевском, ненависть к царизму, не сломили его нравственно, не сделали ренегатом.

В течение всей своей жизни Шевченко был непримиримым врагом дворянских либералов. Известно, что боролась с либералами и плеяда славных русских революционеров: Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов. Ленин в своих работах, говоря о Чернышевском, указывал, что непосредственными идейными врагами русской революционной демократии были либералы.

Выступая против идейных установок либералов, Шевченко еще в введении к поэме «Гайдамаки» зло высмеивает либеральных критиков и писателей, которым не понравилась социально-политическая направленность его творчества:

Такі, бачте, люди:
 Все письменні, друковані,
 Сонце навіть гудять:
 Не відтіля, каже, сходить,
 Та не так і світить;
 «Отак, каже, було б треба...»
 Що маєш робити?
 Треба слухать, може й справді
 Не так сонце сходить,
 Як письменні начитали...
 Розумні та й годі!

Украинский литератор-либерал Кулиш в посмертном издании «Досвіток» (1889 г.) писал о Шевченко: «Хотя и часто заглядывал в наш лагерь Шевченко, но не смогли мы переделать его неприятную натуру».

Таким образом, высказывания самих же либералов о Шевченко и являются первым ярким доказательством противоположности их мировоззрения. В 60-х годах таким противоположным либерализму мировоззрением могло быть только революционно-демократическое мировоззрение. И недаром сами же либералы с ужасом писали один другому, что Шевченко водится с «Современником», который в 60-е годы был трибуной русской революционной демократии.



Автопортрет Шевченко. 1860.
 Офорт.

Шевченко, естественно, исторически закономерно пришел в лагерь русской революционной демократии. Об этой закономерности проникновенно говорил Ленин в своей статье о Герцене: «...три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы кре-

стьян. Первый натиск бури был в 1905 году»¹.

Тарас Шевченко жил в такую эпоху, когда была ощутима деятельность первых двух поколений русской революционной общественной мысли. Шевченко имел все данные для того, чтобы к 60-м годам, после возвращения из ссылки, связаться именно с «Современником», с Чернышевским, так как формирование его мировоззрения, равно как и русских революционеров-демократов, происходило в тесной связи с революционными взглядами декабристов и Герцена.

Шевченко был идейным врагом и русских и украинских либералов. Незнакомый либерал М. Драгоманов, дядя крупнейшей писательницы Леси Украинки, имевший в то время большие связи с литераторами, был противником Чернышевского. Драгоманов писал, что «Шевченко стал в Петербурге водиться с кружком «Современника», который, прилагая все усилия, проводил новейшие европейские философские мысли». Это откровенное свидетельство Драгоманова является весьма убедительным аргументом для утверждения, что не только своим мировоззрением, но и непосредственно Шевченко был связан с Чернышевским и Добролюбовым, которые возглавляли «Современник».

Луч света бросают на революционно-демократическое мировоззрение и творчество Шевченко те цензурные операции, которые проделывались царскими цензорами над его произведениями.

При первом издании «Гайдамаков» в 1841 году Шевченко почувствовал, что собою представляла «чуткая» царская цензура. 26 марта 1842 года в письме к Г. С. Тарловскому Шевченко писал:

«Было с ними («Гайдамаками») горя — насилу выпустил цензурный комитет. Возмутительно и кончено: насилу кое-как их уверил, что я не бунтовщик. Теперь спешу разослать, чтобы не спохватились». Последняя строка письма, кроме всего прочего, говорит о том, что сам Шевченко хо-

рошо понимал революционное звучание «Гайдамаков».

Глава III отделения Дубельт в своих «рецензиях» на произведения Шевченко откровенно писал: «Сон» исполнен противозаконных и возмутительных мыслей... едких и пасквильных выражений, где только касается государя».

Революционно-демократическое мировоззрение, которое запечатлел Шевченко в своих поэмах, заставляло и после его смерти царских цензоров быть его непрошенными «соавторами».

Так, в 1882 году С.-Петербургский цензурный комитет из очередного издания «Кобзаря» требует ряда исключений. В девятом пункте рецензии председатель цензурного комитета, некий А. Петров, характеризует поэзию Шевченко опасною, так как она призывает к «возбуждению», т.е. к борьбе. В «Кобзаре» высказывается — писал этот Петров — до того глубокое отвращение к панам, помещикам, за их нечеловечное обращение к крестьянам, что легко может послужить поводом к возбуждению неудовольствия между сословиями.

Все эти документы, извлеченные после Октябрьской социалистической революции из архивов, проливают свет на фигуру Шевченко-революционера, Шевченко-борца, Шевченко — соратника революционной демократии, а не либералов, литературная страпня которых не только не привлекала цензоров к «соавторству», но приходилась им очень по вкусу и всячески оберегалась от редакторских искажений.

Меткую характеристику эпохи Шевченко дал в своем знаменитом письме к Герцену под псевдонимом «Русский человек» Чернышевский. Письмо это явилось откликом на изменения, которые произошли в революционных взглядах Герцена после вступления на престол Александра II. Герцен лелеял надежду, что новый царь изменит положение дел в николаевской России. Возражая Герцену и упрекая его в том, что он не знает «России настоящей», Чернышевский в общих чертах рисует российскую действительность: «... помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас на-

¹ В. И. Лекин. Сочинения, т. XV, стр. 468—469.



Титульная страница «Кобзаря», изд. 1840 г.

деждами на прогрессивные стремления нашего правительства. Но не все же в России обманываются призраками... Дело вот в чем: к концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко отнимается... Посмотрите—Александр II скоро покажет николаевские зубы... К топору зовите Русь... поймите, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей!».

Если к этой характеристике прибавить неоднократно дававшуюся Лениным во многих его работах характеристику эпохи 40-х—50-х и 60-х годов, то станет совершенно очевидной связь Шев-

ченко с передовой русской революционной интеллигенцией XIX века.

В 60-х годах, когда оторванный от российской действительности Герцен начал возлагать надежды на Александра II, Шевченко, не так давно восхищавшийся Искандером, связывает себя не с ним, а с вождем второго поколения русских революционеров — Чернышевским. Это весьма характерно для Шевченко, для его все время прогрессирующего мировоззрения.

После возвращения из ссылки в 1857 году Шевченко с интересом читает заграничную литературу Герцена.

В дневнике 11 октября 1857 года Шевченко записывает: «...один знакомый вместо десерта... угостил меня брошюрой Искандера (Герцена) лондонского второго издания «Креще-

ная собственность». Сердечное, задушевное человеческое слово!».

Характерно, что в этом же 1857 году у Шевченко в процессе написания «Неофітів» воспоминание об одном поколении русских революционеров рождает воспоминание о другом. В те же месяцы, когда его внимание поглощено Герценом, он вспоминает о его предшественниках — декабристах. «Неофіти» пронизаны такими идеями:

Уже встает святая зоря,
Не громом праведним, святим
Тебе (царя) уб'ють, — ножем тупим
Тебе заріжуть, мов собаку.
Уб'ють обухом.

Интерес к нелегальным лондонским изданиям Герцена таким образом не случайно появился у Шевченко. Кроме того, что он органически впитывал в себя идеи декабристов, Шевченко в свое время был связан с левым крылом петрашевцев.

2 сентября в дневнике Шевченко вспоминает «...этого огромного нашего Тормоза, как выразился Искандер...», имея в виду Николая I. Это дает нам все основания утверждать, что Шевченко не только читал «Колокол» и другие издания Герцена, которые были первой свободной политической трибуной русских революционеров, но и постигал их революционную мудрость.

Известно, что именно Герцен с огромной силой художественно-публицистическими образами обличал и критиковал все мерзости крепостнического строя России. Характерно, что Шевченко зарисовывает портрет «изгнанника — Искандера» в свой дневник.

Интерес Шевченко к изданиям Герцена совершенно очевиден. 6 февраля 1857 года поэт записывает: «Встретил... старого моего знакомого, некоего г. Шумахера. Он недавно возвратился из-за границы и привез с собою 4 номера Колокола. Я в первый раз сегодня увидел газету и с благоговением облобызал».

Шевченко не только разделял взгляды Герцена, но и делал попытку включиться в его революционную работу. В сохранившемся письме Шевченко к

неизвестной женщине он, посылая ей экземпляр «Кобзаря», очень просит передать Герцену «с моим благоговейным поклоном».

На произведениях Герцена воспитывались также Чернышевский, Добролюбов, Михайлов, поэт Курочкин и др., соратником которых в 60-х годах становится Шевченко. В дневнике Чернышевского мы находим запись: «Я его (Герцена) так уважаю, как не уважаю никого из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать для него».

Истоки формирования Шевченко, как соратника Чернышевского: Радищев, декабристы, петрашевцы, Герцен.

Мы говорили, что оторванность Герцена от реальной российской действительности привела его к заблуждению. Эти ошибки Герцена пришлись по вкусу либералам. Шевченко же реагировал на известное письмо Герцена к Александру II так же, как Чернышевский, ибо и тот и другой, соприкасаясь с российской действительностью, сразу почувствовали и внутреннюю пустоту герценовских надежд, и то, что эти надежды на-руку либералам. Вокруг герценовской капитуляции в обеих столицах возникла свистопляска либералов, и пужно было иметь подлинное революционное мирозерцание, чтобы не поддаться этому угару. Можно смело сказать, что такими немногими людьми в России оказались Чернышевский с его соратниками, в том числе и Шевченко. Подтверждение этому мы находим в дневнике, где поэт иронизирует над письмом либерала Костомарова и посланием Герцена. «Заговорили, разумеется, о Костомарове, и он (Варенцов) сообщил мне (по известиям, полученным из Москвы), что будто бы в Москве между молодежью ходит письмо Костомарова, адресованное на имя государя. Письмо... вообще пространное и разумнее письма Герцена, адресованного тому же лицу. Письмо Костомарова якобы написано из Лондона», — иронизирует Шевченко (16 октября 1857 г.).

Шевченко, таким образом, бесспорно стоял на позиции революционной демократии, которую возглавлял Черны-

шевский, и не только стоял, но и был связан с этой славной плеядой русских интеллигентов.

После ссылки Шевченко приехал 27 марта 1858 года в Петербург, где и состоялось его знакомство с Чернышевским.

Чернышевский приехал в Петербург на несколько лет раньше Шевченко. «Под напором извне» он приехал в мае 1853 года из Саратова, где работал учителем русской словесности в гимназии. В Петербурге Чернышевский сотрудничает в «Современнике», издателями которого были Некрасов и Панаев.

Революционные воззрения Чернышевского после приезда его в Петербург нашли свое выражение в целом ряде работ, опубликованных на страницах «Современника». В мае 1855 года Чернышевский блестяще защищает диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности», где пропагандировал революционные и материалистические идеи Фейербаха. Эта работа пришлась не по вкусу либералам. С 1855 по 1858 г. Чернышевский печатает ряд работ («Очерки гоголевского периода русской литературы», «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность», «О новых условиях сельского быта» и др.), которые делают его имя известным в Петербурге. «Имя Чернышевского возбуждало в публике большее движение», — писал Панаев Боткину в 1858 году.

Шевченко, приехав в Петербург и сблизившись с Чернышевским, остается сторонником его революционных идей до самой смерти. Сближали Шевченко с Чернышевским, во-первых, одинаковые материалистические и реалистические взгляды на искусство, во-вторых, политические целеустремления. Те требования, которые предъявлял Чернышевский в своей знаменитой диссертации, в большой мере выполнялись Шевченко-художником еще задолго до ее написания. Политические взгляды Чернышевского, как мы говорили, у Шевченко уже сформировались накануне их знакомства. Характерно, что у Шевченко и Чернышевского сло-

ГАЙДАМАКИ

ПОЭМА

М. Шевченка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ

1851.

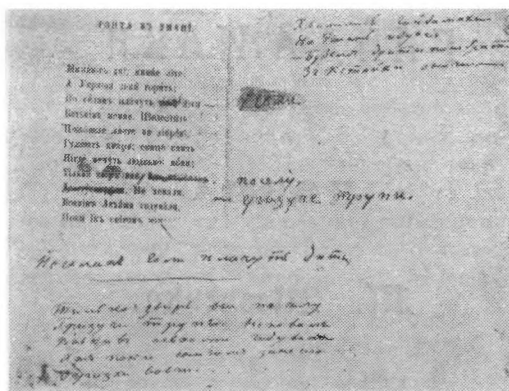
Титульная страница поэмы «Гайдамаки»

жилося одинаковое мнение о Костомарове. В дневнике Чернышевского находим любопытную запись: «Готова искра, которая должна зажечь... пожар. Сомнение одно: когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю — скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие.

— Вместе с Костомаровым?

— Едва ли: он слишком благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни... мужики с дубьем, ни резня...»

К знакомству с Чернышевским в 1858 году Шевченко был подготовлен рассказами о нем и его работами. В Петербурге, сблизившись с соратниками Чернышевского — Курочкиным и другими, — Шевченко провозглашает Чер-



Страница из поэмы «Гайдамаки»
с автографом Шевченко

нышевского своим идейным вождем. Революционные идеи вождя русской революционной демократии сказались на творчестве Шевченко этого периода.

После знакомства с Чернышевским— 22 ноября 1858 года в С.-Петербурге Шевченко пишет стихотворение «Я не нездужаю, нівроку». Приведем его полностью (т. к. в нем, как в зеркале, нашли свое отображение революционные идеи Чернышевского):

Я не нездужаю, нівроку,
А щось таке бачить око,
І серце жде чегось... Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі—
Вона заснула: цар Микола
Ї приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру—
Та й заходиться вже будить!
А то проспить собі, небога,
До суду божого, страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати мурувать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого!

Примерно через три місяця Шевченко поетически провозглашает атеистическую программу Чернышевского, оформившуюся под влиянием работ Людвиг Фейербаха.

15 февраля 1859 года в сатирическом стихотворении «Подражаніє XI псал-

му» Шевченко обрушивается на религию, как на пособницу панов.

Мій боже милий! Як то мало
Святих людей на світі стало!
Один на другого кують
Кайдани в серці. А словами,
Медоточивими устами
Цілюються і часу ждуть,
Чи швидко брата в домовині
З гостей на цвинтар повезуть?
А ти, о господи єдиний,
Скуєш лукаві уста,
Язик отой велеречивий,
Мовлявший: Ми — не суета!
І возвеличимо надиво
І розум наш, і наш язик...
Та й де той пан, що нам закаже
І думать так, і говорити?
— Воскресну я! — той пан вам скаже, —
Воскресну нині! Ради їх,
Людей закованих моїх,
Убогих, нищих... Возведичу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставляю слово. І пониче,
Неначе стоптана трава,
І думка ваша і слова.
Неначе срібло куле, бите
І семикрати перелите
Огнем в горнилі, — словеса
Твої, о господи, такіі.
Розкинь же їх, твої святії,
По всій землі. І чудесам
Твоїм увірують на світі
Твої малі убогі діти!

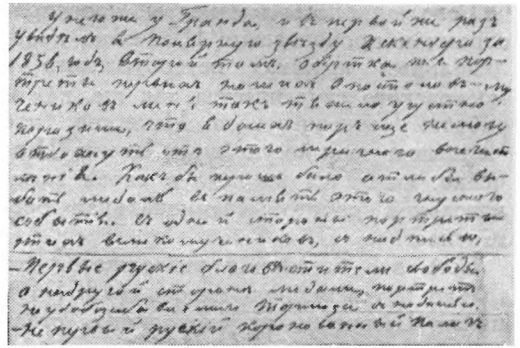
Этими же мотивами пронизано стихотворение «Ісаія, глава 35. (Подражаніє)», написанное 25 марта этого же года.

Художественное творчество Шевченко за период 1858—1861 годов содержит в себе идеи русской революционной демократии. Мы специально привели полностью два стихотворения Шевченко, чтобы, во-первых, убедить читателя в том, что они действительно содержат идеи Чернышевского, во-вторых, в том, что, именно, примкнув к боевому отряду русской революционной демократии, Шевченко не деградировал творчески, как это пытались истолковать буржуазные националисты, а достиг новых художественных и, разумеется, идейно-политических высот. Шевченко бок о бок с Чернышевским боролся против украинских и русских либералов-помещиков и либералов-интеллигентов. Могучий и разносторонний талант Шевченко хотели привлечь

на свою сторону либералы. Но это им не удалось. Именно в это время Кулиш в письме к Шевченко, называя Чернышевского и его соратников «москалями», просит Шевченко порвать с их идеями: «Тебя будут подстрекать москали, но ты не поддавайся и не пренебрегай моим советом». Либерал Лукашевич с пеной у рта кричал, что «Шевченко все более и более погружается в болото нигилизма, безбожия и политического растления».

Чернышевский одним из первых с подлинных революционных позиций смело стал на защиту украинского народа. «Малороссов 13 000 000. Их язык не удостоивается считаться чертою их народности, он только «племенная особенность», — иронизирует над буржуазными этнографами Чернышевский. «Если народ, считающий 13 000 000, не достоин считаться имеющим свою неприкосновенную народность, то поцеремонится ли наше славянофильство с какими-нибудь болгарами и сербами, хорутанами и чехами, которые несравненно малочисленнее малороссов». Такое отношение Чернышевского к народностям, населявшим бывшую царскую империю, вполне согласовалось с интернационализмом Шевченко, о котором мы говорили выше.

Считал ли Чернышевский своим единомышленником Шевченко и как он относился к его творчеству? Чернышевский сравнивал Шевченко с крупнейшими писателями мира (например, с Мицкевичем) и, имея в виду Шевченко-революционера, Шевченко-борца, назвал его «замечательным» человеком». Говорить пространно о Шевченко Чернышевский в то время не мог, так как поэт находился в ссылке. Только у Чернышевского хватило мужества так писать о Шевченко, когда было запрещено о нем говорить. Правда, цензура вымарала самое имя Шевченко, но контекст статьи Чернышевского, где он разбивает украинских литераторов на два лагеря — либералов (Квитко) и революционеров-демократов, говорит о том, что Чернышевский имел в виду Шевченко, как главу второго лагеря. Это подтверждается позднейшими высказываниями



Страница из «Дневника» Шевченко

Чернышевского о произведениях поэта и украинской литературе вообще. «Малорусская литература получила уже такое развитие, что даже могла бы обойтись и без нашего великорусского одобрения, если бы могли мы не иметь к ней сочувствия. Когда у поляков явился Мицкевич, они перестали нуждаться в снисходительных отзывах каких-нибудь французских или немецких критиков, не признавать польскую литературу значило бы тогда только обнаруживать собственную дикость. Имея теперь такого поэта, как Шевченко, малорусская литература также не нуждается ни в чьей благосклонности».

Чернышевский ценил классовый и революционный характер поэзии Шевченко: «Малорусскому поселянину не было бы ни на волос легче, если бы все паны в Малороссии были малороссы... Мы знаем, что очень многие из образованных малороссов и кроме помещиков-малороссов не захотят признать этого мнения за истину: оно противоречит национальному предрассудку, потому многими будет отвергнуто. Но никакие голословные возражения не поколеблют нашего мнения, опирающегося на такой авторитет, как Шевченко».

Чернышевский, используя авторитет Шевченко-реалиста в борьбе против либералов, гениально показывает в своих небольших статьях полную зависимость принципов искусства от социальных воззрений. Именно Шевченко-реалист является аргументом для его политической программы.

Революционеры-демократы распространяли произведения Шевченко в радикальных кружках петербургского и московского студенчества так же, как и работы Чернышевского. Известно, что Чернышевский, не упоминая имени Шевченко, ссылаясь на него в своей замечательной работе «Национальная бестактность».

Есть все основания утверждать, что только безвременная смерть (1861 г.) спасла Шевченко от «позорного» столба, к которому 19 мая 1864 года был прикован цепями Н. Г. Чернышевский.

Двух величайших представителей революционной мысли братских народов не пугала Петропавловская крепость, не сломили издевательства царских палачей. Революционная преданность своим нарсдам, героизм и самоотверженность — вот что роднит Чернышевского и Шевченко. В ноябре 1860 года в одном из своих стихотворений Шевченко говорил:

О люди! люди небораки!
 Нащо здалися вам царі?
 Нащо здалися вам псарі?
 Ви ж таки люди, не собаки!..

В феврале же 1860 г. Чернышевский в письме Герцену писал:

«Крестьяне, которых помещики тиранят, теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры...» — Таким образом, призыв к революции, к борьбе с царизмом роднит поэта-борца с вождем русской революционной демократии.

В 1864 году Герцен, который еще так недавно возлагал надежды на Александра II, писал:

«Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образом для будущих поколений и закрепит шельмование тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников... Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую подкупную журналистику... Чернышевский был вами выставлен к позорному столбу на четверть часа, а вы, а Россия

несколько лет останетесь пригвожденными к нему. Проклятье вам, проклятье, — и если можно, мечь».

Насколько Шевченко был близок русским революционерам-демократам, говорят также и высказывания о «Кобзаре» друга и соратника Чернышевского — М. Л. Михайлова. Михайлов стал жертвой царизма так же, как Чернышевский и Шевченко. В 1861 году «за бунт против верховной власти» он был арестован и замучен на каторге.

Михайлов, так же как Чернышевский и Добролюбов, высоко оценил творчество Шевченко и поставил его по своим художественным достоинствам рядом с великим шотландским поэтом Бернсом. Притеснения царской цензуры не дали возможности Михайлову в своих высказываниях о Шевченко прямо отметить революционно-демократическую сторону его поэзии. К разбору поэм он подошел так: говоря об их художественных достоинствах, Михайлов отмечает, что эти достоинства делают поэта и его произведения близкими и понятными народу, связывают певца и массы крепкими узами. Само собой разумеется, что в 60-е годы, в эпоху назревания крестьянской революции, только подлинно народная, революционная поэзия могла быть близка и понятна крестьянским массам.

В журнале «Русское слово» (№ 4 за 1860 г.) Михайлов поместил статью о шевченковском «Кобзаре». Вот что он пишет: «Тесная связь певца с народом, связь и кровная, и нравственная, одинаковые радости, одинаковые страдания дали характер чисто народный его песням». В этой же статье Михайлов отмечает, что тяжелая народная жизнь сообщила произведениям Шевченко «глубоко грустный тон, действующий на сердце». Вспомним, что об этом также писал и Добролюбов в своей рецензии, отмечая, однако, что этот грустный тон не есть пессимизм, что на его фоне выступает Шевченко-борец. Таким образом, и Чернышевский, и Михайлов пользовались общими эстетическими и национальными критериями при высказываниях о Шевченко. Этими же кри-

териями пользовался и Добролюбов, друг и соратник Чернышевского.

Добролюбов, как и Чернышевский, был непримиримым врагом либерального «пустозвонства». «Пустейший из пустозвонов господин Надимов смело кричал со сцены Александрийского театра: «Крикнем на всю Русь, что пришла пора вырвать зло с корнями», и публика приходила в неистовый восторг, как будто он в самом деле принялся вырывать зло с корнями», — зло высмеивал Добролюбов либералов.

Великий русский критик в своих бессмертных работах также обрушивался и на так называемую «обличительную» литературу писателей-либералов, которая «обличала» Александра II прозаическими одами. «Благословим его на дальнейшие подвиги, которые всегда клонились к нравственному преуспеянию России... Слава ему...», — писали эти либералы в «Московских ведомостях» в 1859 г.

Будучи убежденным революционером-демократом, Добролюбов высоко оценил творчество Шевченко, как отвечающее его эстетическим и политическим требованиям к искусству. Пространно говоря о художественных достоинствах Шевченко, Добролюбов, не имея возможности по цензурным соображениям назвать поэта революционером, отмечает в своей статье, что Шевченко производит сильное впечатление «смелостью мысли».

В оценке Шевченко мнения Чернышевского, Добролюбова и Михайлова не расходились. Больше того, даже колебавшийся в свое время Герцен пишет в своей статье о Шевченко: «Он тем велик, что он — совершенно народный писатель, как наш Кольцов, но он имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, так как Шевченко также политический деятель и борец за свободу».

Герцен как бы свел к одному все высказывания о Шевченко русских революционных демократов. Вспомним, Добролюбов, сравнивая Кольцова с Шевченко, признал подлинную народность в произведениях последнего:



Памятник Шевченко в Шевченкове (б. Кирилловке)

«...Даже Кольцов не идет с ним в сравнение», — писал Добролюбов.

Ставя Шевченко в один ряд с русскими классическими поэтами, Добролюбов раз и навсегда отверг пренебрежительное отношение к поэтам так называемых «малых народностей». Это же сделал и Чернышевский, сравнивая Шевченко с Мицкевичем. Такое отношение к Шевченко было результатом интернациональных воззрений русских революционеров-демократов.

В эти годы классовое самосознание Шевченко подымается на еще более высокую ступень. Петербургский период творчества (1858—1861) ярко свидетельствует об этом. Ряд произведений этого периода («Сон», «Марку Вовчку» «N. N.», «Марія», «Молитви», «Плач Ярославни», «Саул» и др.) проникнут подлинным классовым интернационализмом и призывом всех угнетенных наций к объединению и борьбе. Эти идеи мы встречаем во всем творчестве Шевчен-

ко, однако сближение с Чернышевским и Добролюбовым сделало их более четкими и классово осознанными.

У Шевченко еще больше усиливается интерес к настоящему и прошлому русского народа, к его многовековой культуре. В июне и сентябре 1860 года в Петербурге Шевченко работает над переводом русской эпической поэмы XII века «Слово о полку Игореве». Надорванное годами ссылки здоровье не позволило Шевченко исполнить свой замысел. Однако поэт оставил классический перевод части этой поэмы «Плач Ярославни», где описано горе жены князя Игоря Святославовича, который после неудачной битвы с половцами в 1185 г. был взят ими в плен.

Прекрасный, непревзойденный перевод этой изумительной сокровищницы русской поэзии свидетельствует также не о деградации Шевченко-поэта после сближения с Чернышевским и Добролюбовым, а, напротив, о его творческой молодости и силе.

Сумує, квилить, плаче рано
В Путивлі граді Ярославна.
І каже: «Дужий і старий,
Широкий Дніпрі не малий!
Пробив еси високі скали,
Текучи в землю Половчина,
Носив еси на байдаках
На половчан, на Кобяка
Дружину твою Святославлі!..
О, мій Словутицю преславний!
Моє ти ладо принеси!
Щоб я постіль весела слала,
У море сліз не посилала, —
Сльозами море не долить!»

В мае 1860 года Шевченко создает прекрасное сатирическое стихотворение «Молитви», где с предельной четкостью выражены идеи революционных демократов. Остро обличительный стиль стихотворения напоминает революционную публицистику Чернышевского.

Царям, весвітнім шинкарям —
І дукачі, і талари,
І пута кутії пошли.

Царів, кривавих шинкарів,
У пута кутії окуй,
В склячу глибокім замуруй

Робочим головам, рукам,
На сій скраденій землі
Свою ти силу низпошли.

Четыре «молитвы» этого стихотворения—это четыре призыва к революционной борьбе ко всем народам:

Свою ти силу низпошли.
Мені ж, мій боже, на землі
Подай любов, сердечний рай
І більш нічого не давай!
Все на світі — не нам,

Все богам, тим царям!
І плуги й кораблі,
І всі добра землі,

Роботящим умам,
Роботящим рукам
Перелоги орать,
Думать, сіять, не ждять
І посіяне жать.

Ясно, о ком думает Шевченко, говоря о «роботящих умах». Из этого четверостишия видно, что в последние годы в Петербурге Шевченко осознал роль революционной интеллигенции, как вождя «роботящих рук», т. е. широчайших угнетенных масс царской России.

Подлинная народность, которую Добролюбов отмечал у Шевченко в этот период, становится еще более художественно выразительной. Именно в Петербурге вскоре после приезда (13 июля 1858 г.) Шевченко создает свое стихотворение «Сон». Оно по сегодняшний день постоянно присутствует в хрестоматиях и учебниках по литературе и разучивается на память миллионами советских школьников и студентов.

Революционный мотив, стремление к свободе, крепко сидящее в ту пору в сознании крестьянства, у Шевченко согласуется с подлинной народностью в добролюбовском смысле.

В революционном и атеистическом стихотворении «Осії. Глава XIV» (1859 г.) находим непосредственное упоминание о русских революционерах-демократах. Обращаясь к народу, Шевченко объясняет, что не «древнее слово» либералов, а «новое слово» Чернышевского может спасти народ.

Не ветхее, не древле слово
Розтленнеє, а слово нове
Між людьми криком пронесе
І люд окрадений спасе
Од ласки царської...

В этом же году в сатирическом, анти-религиозном произведении «Подражания Іезекілю» Шевченко выступает как пламенный трибун в защиту идей революции, в защиту идей Чернышевского и Добролюбова:

Восплач, пророче, сине божий!
 І о князях, і о вельможах,
 І о царях отих. І рци:
 — Нащо та сука, ваша мати,
 Зо львами кліщилась, щенята?
 І добувала вас, лихих?
 И множила ваш род проклятий!¹
 А потім з вас, щенят зубатих,
 Зробились львичища! Людей,
 Незлобних, праведних дітей,
 Жрете скажені!.. Мов шуліка
 Хватає в бур'яні курча,
 Ключе і рве його. А люди...
 Хоч бачать люди, та мовчать.

Далее Шевченко говорит, что скоро «молчаливый» народ запрет деспота «в тюрьму глубоку», чтобы не слышно было

Самодержавного владикн,
 Царя неситого...

Шевченко так же, как Чернышевский, глубоко верит в революцию. Имея в виду ее неизбежность, имея в виду ту борьбу, которую вели русские революционеры, в том числе и Шевченко, под руководством Чернышевского, поэт вдохновенно писал в 1859 году:

¹ Везде подчеркнуто мной. — Л. Х.

Минуть,
 Уже потроху і минають
 Дні беззаконія і зла.

Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Михайлов, Курочкин — вот представители передовой революционной русской культуры, с которыми идейно и творчески был связан Тарас Шевченко.

Шевченко был передовым человеком русской и украинской культуры.

Ненависть к русскому самодержавию не означала ненависти к русской литературе, истории, театру, живописи, музыке и народу. Нерешенным этот вопрос могут считать только националисты и шовинисты, пытающиеся посеять в интересах фашистских поджигателей войны национальную вражду между великими свободными, братскими народами первого в мире социалистического государства. За нашу счастливую жизнь боролись и погибали лучшие люди прошлого. Замучив Радищева, царские палачи не запугали Рылеева, Пушкина, Лермонтова; казнив Рылеева и затравив великих русских поэтов, не запугали Герцена, Некрасова, Чернышевского, Добролюбова, Шевченко.

Советский народ навсегда сохранит память о поэте, произведения которого изображали тяжелую подневольную жизнь и белорусов, и грузин, и русских, и украинцев.

Шевченко органически связан с деятельностью величайших представителей русской культуры.

Шевченко-художник

Л. ВАРШАВСКИЙ



Богатейшее литературное наследие Шевченко находится в тесной, органической связи с тем, что создано поэтом в области изобразительного искусства. Свое поэтическое перо он часто сменял на кисть и резец, запечатлевая в живописи и гравюре те же величественные и волнующие образы, те же мысли и чувства, что и в поэзии.

Шевченко-художник — глава яркая и значительная в биографии поэта. Сам он считал эту область искусства своим настоящим жизненным призванием. «Я хорошо знал, что живопись — моя будущая профессия, мой насущный хлеб», — заносит он в свой дневник 1 июля 1857 г. «И вместо того, чтобы изучить ее глубокие таинства, — пишет он дальше, — и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю»¹.

За этими немногими горестными словами встает перед нами гигантская в своем подвиге и в своем несчастье фигура скованного Прометея, поэта, испытывавшего на себе все ужасы страшной николаевской эпохи. Ведь слова эти занесены поэтом в свой дневник, когда его «Кобзарь», «Тризна», «Наймичка»,

«Иван Гус», «Невольник» и др. уже были известны в России!

Слава «русского Рембрандта», как прозвали Тараса Шевченко в Петербургской академии художеств в 50-х годах, временами значительно опережала славу поэта. С именем Рембрандта творчество Шевченко было связано в полной мере. Общее здесь не только в формальных качествах и технике гравюры, но и в реалистических тенденциях, в верном отражении окружающей действительности. Рембрандта Шевченко любил, ему он старался подражать и гравировал копии рембрандтовских подлинников. Рембрандт — подлинный учитель Шевченко.

Странное явление: академия, борющаяся с реалистическим направлением в русской живописи, награждает Шевченко медалями за его произведения, отражающие быт, далекий от тех ложноклассических традиций, которыми было проникнуто это учреждение.

«Великому Карлу» он был обязан своей свободой. Брюллов выкупил его из помещичьей неволи и способствовал тому, что «ничтожный замаарашка на крыльях перелетел в волшебные залы Академии художеств», «в великолепную мастерскую величайшего живописца нашего века», как рассказывает о своем появлении у Брюллова Шевченко.

Брюллов открыл Шевченко мир неведомых ему красот. Великий живописец серьезно занялся своим учеником. Вместе с Шевченко посещает он Эрмитаж

¹ Т. Шевченко. «Дневник». Изд. «Пролетарий», 1925 г., стр. 25.

и частные картинные галереи Петербурга. Осмотры явились «блестящими лекциями Брюллова по теории живописи», но при этом он строжайше запрещает своему любимейшему ученику «брать сюжеты из чего бы то ни было, кроме библии, древней греческой и римской истории». На первых порах Шевченко был всецело под обаянием Брюллова, но реализм взял верх, и настало время, когда ученик отстрекся от своего учителя.

В своих академических работах «Одалиска», «В гареме», «Милон Кротонский», «Телемак на острове Калипсо» Шевченко отдает дань этому увлечению. Преклонение перед великим учителем, увлекательные речи в Эрмитаже, когда Шевченко, затаив дыхание, прислушивался к каждому слову Брюллова, не могли, однако, заглушить стремлений молодого живописца. И нередко он отправлялся в те залы Эрмитажа, где висели маленькие скромные картины знаменитого фламандца Давида Тенирса младшего. Подолгу стоял Шевченко перед жанровыми сценами Тенирса — «Фламандский праздник», «Караульня». Далекими, чужими казались ему художники, творчество которых так расхваливал Брюллов. Ни академия, ни эффектные залы Эрмитажа, ни сам Брюллов не тянули его к чуждой ему стихии.

Шевченко усердно работает в академии. Без усталы рисует он и изучает натуру. Не пропускает ни одной лекции. Рисунки этой поры показывают в нем блестящего рисовальщика. Но молодой художник достаточно осознает мертвые схемы академических канонов. За стенами бездушной академии клокочет иная жизнь, и ему слышится голос далекой, но столь близкой его сердцу Украины.

В своей небольшой комнате «под небесами» с полукруглым окном, где едва помещалась кровать и что-то вроде стола, Шевченко готовит эскизы к программным картинам. Но перед ним проносятся образы милой родины, в набросках отражаются его воспоминания: его любимая сестрица Катря, крепостные ребята, повара, казачки, старая отцовская хата с потемневшей соломенной крышей и черным дымарем.



Шевченко. Офорт В. Магэ

Ослепительный блеск брюлловских картин вызывал в нем тоску по живой жизни. И чем пристальнее всматривался он в полотно своего учителя, тем больше росла эта тоска. «Перед его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем сердце своего слепца-кобзаря и своих кровожадных гайдамаков...», — пишет он в своем дневнике. «Передо мной расстилалась степь, усеянная курганами. Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украина, во всей непорочной меланхолической красоте своей... И я задумывался: я не мог отвести своих духовных очей от этой родной, чарующей прелести».

Трудно было бороться за это новое направление в искусстве — за правдивое изображение окружающей жизни. В академии в это время ввели класс бытовой живописи «для домашних упражнений», как пренебрежительно отмечали «направление» этого класса официал-



Катерина. Картина Шевченко

ные бумаги. Здесь давали темы для картин примерно такого рода: «представить мещанина, который, чувствуя небольшой припадок, готовится принять лекарство».

Все же Шевченко получил возможность писать в академии жанровые картины. Его композиция на классическую тему «Эдип в Афинах» дальше эскиза так и не пошла. В 1839 г. за этюд «Бойца» его переводят в натурный класс с серебряной медалью 2-й степени, в 1840 г. такую же медаль он получает за композицию «Мальчик-сиротка делится под забором милостыней с собакой». В 1841 г. он получает медаль за живопись историческую и рисунок «Цыганка» и в 1845 г. — звание «неклассного художника живописи исторической и портретной».

В 1840 году выходит особым изданием его поэма «Катерина», а уже в 1842 году Шевченко пишет на ту же тему яркую, острую по своей социальной тематике, картину.

В письме к В. В. Тарновскому (январь 1843 г.) он пишет: «... Картина изображает Катерину в то время, когда она, простясь со своим москальком, возвращается в село. У «царыни» (при въезде в село) сидит возле будки дед, делает ложку и печально поглядывает на Катерину, а она, бедная, едва сдерживает слезы да поднимает передник, потому что, знаете, — уже того... немного заметно. Москаль (солдат) удирает за своими, только пыль столбом... Его догоняет плохонькая собачонка и лает на него... По одной стороне — курган, на нем мельница; по другой — только степь синее. Такова моя Катерина».

Краска, светотень, лепка гладких поверхностей, игра окружающего предметы воздуха, — все это результат не только сноровки руки мастера, его живописного совершенства, но и мудрого, глубокого по своему смыслу, разрешения темы. Чувства художника, его отношение к своим персонажам выражены не только в трактовке самого образа, но и в колорите.

Картина не принесла славы Шевченко. В печати о ней не упоминали, несмотря на то, что картина эта занимает исключительное место в русской бытовой живописи допередвижнического периода.

Бытовой живописи Танковых, Акимовых, Тупылевых, подражавших фламандцам и французам, изображавших попросту голландцев, одетых в нарядные русские костюмы, Шевченко бросил вызов, показав быт таким, как он есть, в своем потрясающем реализме.

Реализм Шевченко значительно отличался от того, который вводил в русское живописное творчество Федотов, в юмористических тонах показывая окружающий быт. Шевченко черпал свои сюжеты из другой жизни. Определяя свое живописное творчество, Шевченко говорит, что для изображения современной ему эпохи необходим «драматический сарказм».

Сила драматического сарказма, классовая ненависть к своим работодателям, которой проникнуты его картины, не могли быть отмеченными современны-

ми Шевченко обозревателями искусства. Кукольник в статье «Русская живописная школа»¹ вообще не упоминает о русской бытовой живописи, как будто ее и не существует. «Художники русской школы, — пишет он, — от Лосенка до Брюллова избирали большей частью для картин своих предметы духовного содержания, редко мифологические, еще реже чисто исторические; а предметы из обыкновенной жизни до нашего времени почти вовсе не были обрабатываемы русскими художниками; посему русская школа и преимуществует в картинах духовных». Кукольник всячески превозносит религиозную живопись и внедрение итальянщины в этот жанр.

Суждения Кукольника — яркий пример классовой художественной критики той эпохи, в какую появилась «Катерина» Шевченко. В этом отношении характерно и то, что Александр Бенуа в своей «Истории русской живописи в XIX веке» (1902 г.) совершенно не упоминает о Шевченко, неправильно ориентируя читателя об эволюции бытового жанра в России.

Буржуазные националисты, говоря об изобразительном творчестве Шевченко, старались доказать, что поэт находился постоянно в плену академических канон, и игнорировали его огромную социальную значимость в живописи и офортах. Они старались не замечать классовой сущности его художественных произведений и оценивали только его форму. Да и в оценке формы в художественных произведениях Шевченко они допускали грубейшие искажения. Так, историк искусства А. Прахов, идеолог возрождения «древнерусского стиля», которое было выражением эпохи политической реакции 70—90-х гг., пишет², что в творчестве Шевченко «одна и та же фантазия является нам как бы разрезанной пополам: как поэт, Шевченко всегда был искренним реальным поэтом народной жизни и ее славных исторических преданий, как художник-живописец, он, напротив, вначале равнодушен



Портрет трагика Айра Ольридж.
Рис. Шевченко

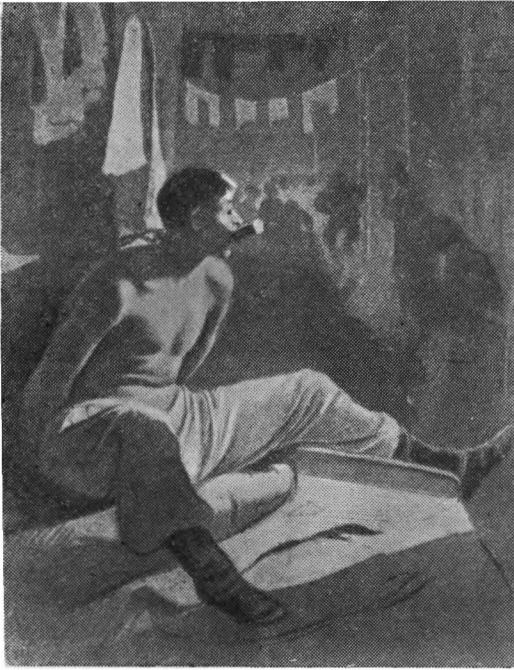
к Малороссии, — он витает в мире классическом, не только со стороны сюжета, но еще более со стороны формы».

Шевченко уделяет особенное внимание и иллюстрациям. Уже одно его участие в таком издании, как «Наши, списанные с натуры русскими», где он вместе с В. Тиммом и И. Щедровским дает бытовые реалистические рисунки, показывает, к каким книгам тяготел Шевченко как иллюстратор. Участие Шевченко и других рисовальщиков в этой книге возбудило подозрения III отделения, которое усмотрело в книге «восстановление низших классов против высших, аристократии».

Иллюстрирует Шевченко и «Сто русских литераторов», «Историю Суворова» (изд. Н. Полевого), «Русские полководцы», книги, вышедшей в 1845 г., где в «Предисловии» указано, что все 12 изображений гравированы Робинзоном с «портретов, рисованных известным художником Т. Г. Шевченко». Он создает и большое количество рисунков,

¹ «Картины русской живописи», изданные под редакцией Н. В. Кукольника. П. 1846. Стр. 98.

² «Пчела», 1876 г., № 16, стр. 7.



Наказание колодкой. Рис. Шевченко

изображающих походы и сцены лагерной жизни солдат, а также сцены из жизни крымских и ногайских татар.

В мастерской Брюллова Шевченко увидел композицию его картины «Осада Пскова». Картина изображала день осады—8 сентября 1581 года, когда псковитяне мужественно отразили приступ войск польского короля Стефана Батория. Картина по-новому трактовала исторический эпизод, где, как говорил Брюллов, «все сделал сам народ». После ложноклассических картин Лосенко и Угрюмова на исторические темы картина Брюллова, более приближавшаяся к исторической правде, явилась целым откровением.

Очарованный стоял Шевченко перед этой картиной; у него «дыхание захватило», как говорил он, вспоминая это посещение мастерской Брюллова. «Передо мной стояла не картина, а со всем ужасом и величием живая «Осада Пскова». Он решает создать иллюстрированную историю украинского народа. Эта мысль захватывает его. В письме к О. М. Бодянскому — украинскому поэту и про-

фессору Московского университета — в 1844 году он пишет, что задумал издание «Живописной Украины» в трех книгах, предполагая в первой поместить интересные по историческим событиям виды, во второй—живой быт, в третьей—историю, и предлагает Бодянскому писать текст к историческим картинам.

Шевченко решил иллюстрировать издание офортами.

В истории русской гравюры Шевченко сыграл значительную роль. Он возродил искусство офорта в академии, где этот вид гравюры был совершенно забыт. В последние годы его жизни занятие офортом было у него почти основным. Для «Живописной Украины» он создает ряд замечательных офортов, где жанровые сценки, исторические сюжеты чередуются с украинскими пейзажами. К сожалению, из задуманных им трех томов этого издания удалось осуществить только один, вышедший в 1844 г. с его шестью офортами. Здесь помещены его «Судня рада» — жанровая сценка, где реалистические тенденции художника проявились с особенной силой, «Старости» и исключительный по мастерству офорт «Дари в Чигрині» — сцена приема турецкого, московского и польского послов в резиденции Богдана Хмельницкого. Влияние рембрандтовского гравюрного мастерства на Шевченко в этом лучшем из произведений художника особенно заметно.

Шевченко увлекался гравюрой со всем пылом и страстью своей артистической натуры. Этому искусству он уделял исключительное внимание. «...Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без основания. Быть хорошим гравером значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе... Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галлереях без твоего чудотворного резца?» («Дневник», стр. 17).

Гравюру он считал необходимым искусством, искусством большого социального значения.

Нетрудно представить себе, какой огромнейший вклад был бы внесен Шев-

ченко в мировую гравюру, если бы не ужасная жизнь раба, крепостного, которая замучила и преждевременно испепелила душу поэта.

По окончании академии Шевченко отправился в Киев. Круг его знакомых — восторженная молодежь, профессора и члены Археологической комиссии. В задания комиссии входило собирание исторических и археологических памятников. Комиссии необходим был хороший рисовальщик для зарисовок на местах архитектурных памятников. С радостью согласился Шевченко на предложение начать работу по зарисовке исторических мест. Судьба дала ему возможность еще глубже окунуться в любимое его занятие — изучение истории родной Украины. Шевченко приглашают работать в комиссии в качестве рисовальщика для зарисовки монументальных исторических памятников и построек.

Он побывал в Полтаве, Миргороде, Хороле, Переяславе, Прилуках. В Субботове он пишет Богдановы руины и Богданову церковь — лучшие из своих архитектурных мотивов. Зарисовывает исторические места в Чигирине, который производит на него исключительное впечатление; здесь Шевченко задумал писать большое полотно «Смерть Богдана Хмельницкого». С непревзойденным мастерством создает он свои архитектурные мотивы: «Выдубецкий монастырь», «Вид старого Киева». Шевченко об'ехал всю Волинь и Подолию. Всюду, где только он ни побывал, он делал зарисовки. Кроме того, он собирал и записывал народные сказки, песни, легенды, предания, а также попутно записывал все, что представляло этнографический или исторический интерес.

Рисуя пейзажи, архитектуру, художник всегда старался дополнить их жанровыми сценками. «Недостаток человека в пейзаже неприятно действует на меня», — говорил он, зарисовывая отдельные моменты и типы из окружающей действительности. В его многочисленных этюдах мы встречаем типы бандуриста, косаря, пасечника, нищего. Его акварель «Ярмарка Ильинки», сложная по компо-

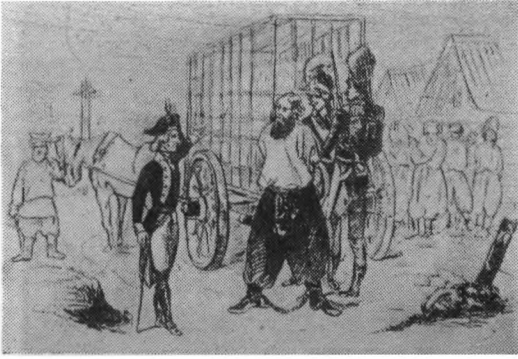


Кармельюк, вождь крепостных повстанцев. Портрет работы Шевченко

зиции и интересная по типуажу, свидетельствует о большой наблюдательности и здоровом реализме художника-жанриста, каким, по существу, и был Шевченко в живописи и гравюре.

Замечательные жанровые сценки Шевченко «Судня рада», «Старости», «Кашевари» и исторические мотивы — «Хмельницкий перед крымским ханом», «Мазепа и Войнаровский», «Умиравший Мазепа» — служат прекрасной отповедью тем, кто еще думает, что Шевченко находился в плену академической школы.

К этому времени Шевченко уже вполне сформировался в революционера-демократа, в поэта угнетенного крестьянства. Шевченко ненавидел царскую Россию так же, как ненавидели ее Чернышевский и Добролюбов. Воспевая в своих стихах украинскую бедноту, замученную панями, и изображая ее в своих полотнах и гравюрах, Шевченко был полон национальной любви и гордости, оставаясь в то же время подлинным интернационалистом, далеким от какой бы то ни было национальной ограниченности.



Пугачева сажают в клетку. Рис. Шевченко

Даже тогда, когда Шевченко любит-ся архитектурой старых замков, дворцов, зарисовывая их во время своего путешествия по Украине, он видит в них отражение вековой истории своего многострадального народа. Под пеленой красоты он видит жестокость, глумление над беззащитным крепостным народом, над которым творили суд и расправу паны — хозяева этих замков. «На полях Волыни и Подолии вы часто любуетесь живописными развалинами древних массивных замков и палат, некогда великолепных, как, например, в Остроге, и в Корце...», — пишет Шевченко, вспоминая свое путешествие. — «Что же говорят, о чем свидетельствуют эти угрюмые свистелы прошедшего. О деспотизме и рабстве! О холопах и магнатах!.. По берегам же Днепра вы не пройдете версты поля, не украшенного высокой могилой, а иногда и десятком могил... Что же говорят пытливому потомку эти частые темные могилы на берегах Днепра и грандиозные руины дворцов и замков на берегах Днестра? Они говорят о рабстве и свободе. Бедные, малосильные Волынь и Подолия! Они охраняли распинателей в неприступных замках и роскошных палатах. А моя прекрасная, могучая, вольнолюбивая Украина туго начиняла своим вольным и вражьим трупом неисчислимые огромные курганы... Вот что значит могилы и руины! Не напрасно грустны и унылы наши песни, задумчивые земляки мои! Их сложила свобода, а пела тяжелая одинокая неволя». («Прогулка с удовольствием и

не без морали» — Т. Г. Шевченко. Поэмы и повести. Киев, 1888).

Но только на мгновенье улыбулась жизнь великому страдальцу. Вскоре пришлось ему испытать такую казнь, о которой он говорил, что «одно воспоминание о прошедшем и виденном в продолжении этого времени приводит меня в трепет». Шевченко был арестован по делу об участии в Кирилло-Мефодиевском братстве. В одном из основных пунктов устава братства было требование «искоренения рабства и всякого унижения низших классов» и говорилось о необходимости повсеместного распространения грамотности. Шевченко был наказан наиболее свирепо. Николай решил покончить с поэтом за его «возмутительные» стихи, которые были обнаружены у поэта.

Шевченко был полон непримиримой ненависти к своим угнетателям и шел гораздо дальше своих либеральных друзей из братства, — он говорил о вооруженном выступлении народа на порабожденной Украине.

Граф Орлов в своем докладе писал: «Художника Шевченко, за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, с правом службы, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».

28 мая 1847 года Николай написал собственноручно на докладе: «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать».

В теплый июньский день Шевченко протислся с Петербургом, откуда жандармы его увезли в далекую Орскую крепость, у подножия Южного Урала. С затаенной злобой и грустью смотрел поэт-страдалец, изгнанник, на стены казармы, на отрешенных от всего мира людей, на «мертвый дом», где прохождение солдатской николаевской муштры важнее всего. Вспомнил он своих друзей, академию, любимую Украину, искусство, к которому ему сейчас, рядовому поднадзорному солдату, запрещено

даже прикасаться, и глубокий стон вырвался из его груди: «Страшно!..».

Это слово записал Шевченко в свой дневник, где он отметил годы своей многострадальной жизни, которая так же замечательна, как и его творчество.

После обычной утренней муштры Шевченко любил уединяться в степь, заглядывать в юрты киргизов. «Киргизы такие живописные, такие оригинальные и чистосердечные, — пишет он В. Н. Репниной, — что сами просятся на карандаш и я схожу с ума, глядя на них... Смотреть и не сметь рисовать — это такая мука, которую поймет только настоящий художник».

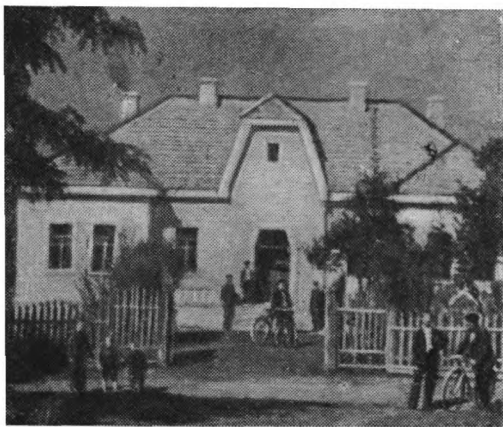
Арест, сдача в солдаты, ссылка, запрещение писать и рисовать, постоянный зоркий глаз неумолимого жандарма, следившего за каждым шагом Шевченко, — все это больно отзывалось на впечатлительной натуре художника.

К тяжелому одиночеству в Орске присоединились и болезни, которые Шевченко пришлось испытать, это — цынга и ревматизм.

В 1849 году в Оренбург приезжает экспедиция по изучению Аральского моря. По просьбе оренбургских друзей, рядового Шевченко принимают в состав экспедиции «для окончательной отделки живописных видов».

Снова упивается Шевченко своим любимым занятием: пишет пейзажи, рисует карандашом и акварелью любимых киргизов, показывает их жизнь среди степей. В одном из своих рисунков он изображает и себя в солдатском мундире вместе с киргизскими детьми, как бы ставя знак равенства между своей судьбой и участью забитого колонизаторской политикой народа.

Рисунки и акварели Шевченко этой поры — шедевры изобразительного искусства. Некоторые из его рисунков носят характер мгновенных набросков, отразивших глубокое чувство художника. С предельной выразительностью, в исключительном подчеркивании живописности явления он создает свои акварели «Новопетровское укрепление», «Раимская крепость» и «Укрепление Кара-Бутак». В своих рисунках он по-



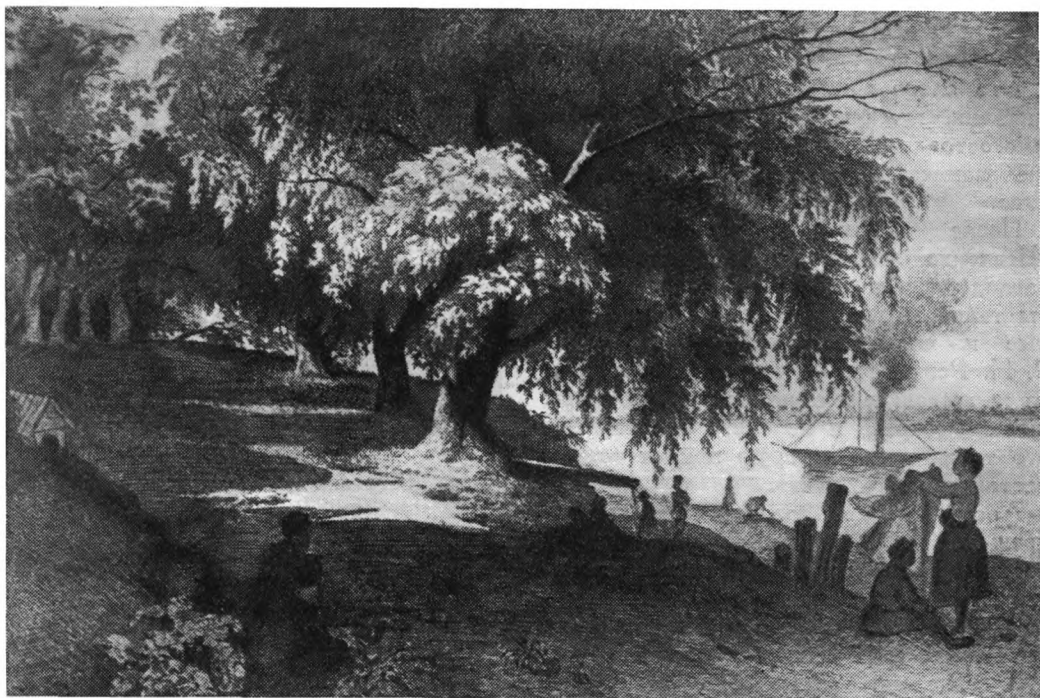
Музей Шевченко в Кирилловке

казывает себя рисовальщиком с развитым чувством формы.

С большой любовью и симпатией создает он жанры из киргизской жизни: «Киргизка, сбивающая кумыс», «Киргизская семья в юрте», «Киргизский мальчик за топкой печи», «Киргизские дети — нищие». «Мальчик киргиз, играющий с кошкой», — в последней сцене на заднем плане он рисует и себя в солдатской шинели.

В рисунках Шевченко чувствуются большая смелость, широта и уверенность в изображении характеров, индивидуальностей, типов. Несмотря на жесткие условия, на то, что он «должен был похоронить в самом себе всякое человеческое чувство», сердце его проникнуто высоким порывом, когда он, крадучись, записывает на обрывках бумаги свои поэтические мысли или когда набрасывает карандашом с натуры этюд.

Но вот снова над многострадальной жизнью Шевченко стряслась беда. На него последовал донос, что, вопреки «высочайшему повелению», он все же продолжает рисовать и писать. Из Оренбурга его по этапу отправляют в Орск «под строжайшим караулом, назначая от станицы до станицы одного унтер-офицера и не менее трех рядовых» для сопровождения «преступника». Дело дошло до шефа жандармов, военного министра, государственного канцлера. Из Петербурга последовало рас-



В Киеве. Офорт Шевченко

поражение Николая: «Шевченко подвергнуть строжайшему аресту и содержать под оным до исследования о виновности допустивших его вести переписку и заниматься рисованием».

Шевченко отсиживает свое наказание в оренбургской, орской и уральской тюрьмах и в октябре 1850 годасылается на поселение в Новопетровское укрепление, на берегу Каспийского моря.

В эти годы он мечтает о создании большой драматической сцены «Притча о блудном сыне», которую заканчивает в последние годы своей ссылки. Жуткое, незабываемое впечатление оставляют эти сцены из «мертвого дома» со всеми его обитателями. Вот сидит один из них в роте, закованный в колодки, среди забитых, загнанных, таких же, как и он, людей «смердячої казармы»; вот «штрафной» перед наказанием оголяет свое тело, неподалеку рота солдат, которая готовится сечь его розгами, а вот он, уже прикованный цепями к другой жертве, после наказания, брошенный снова в темную камеру тюрьмы.

Некоторые из исследователей живописного мастерства Шевченко указывают на влияние сатирических картин Гогарта при создании им серии «Блудный сын». Шевченко знал произведения Гогарта, которые в это время были весьма популярны в России. Гогартом увлекался и Федотов, выразивший неоднократно желание отправиться в Англию для изучения его творчества. О некоторых «ливрезонах» Гогарта, которые были собственностью Шевченко, он и упоминает в своем «Дневнике» (стр. 128). Что же мог позаимствовать Шевченко у этого прославленного мастера сатирического рисунка? Это раньше всего разработку сюжетов по сценам, объединенных общей идеей. Таковы серии гравюр Гогарта «Модный брак», «Карьера мота», «Плоды прилежания и лениности».

И неправ Ол. Новицький, упоминая в своей книге¹, что «Гогарт був цілком невідомим Шевченкові».

¹ Ол. Новицький. Тарас Шевченко, як маляр. Львів. — Москва. 1914, стр. 28.

Только 2 мая 1857 года доходит до поэта-художника весть об его освобождении. Н. Костомаров рассказывает, что веселый, жизнерадостный, с крепким здоровьем, русыми волосами, каким Шевченко был перед отправлением в ссылку, поэт вернулся стариком с седой бородой, с совершенно лысой головой и разбитым навсегда здоровьем.

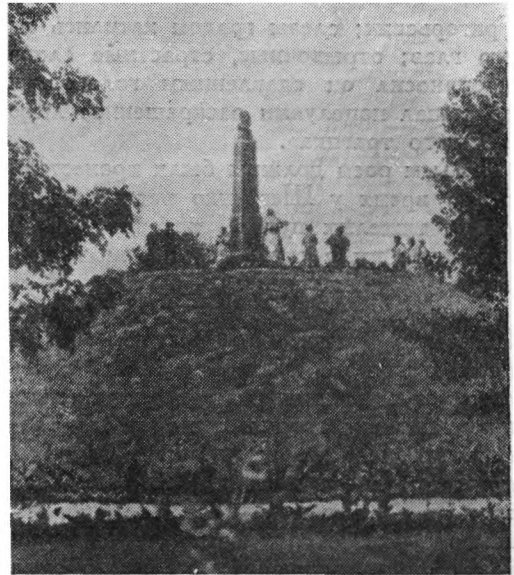
Закованный в кандалы, со стиснутыми зубами и слезами в глазах проходит по жизненному пути великий певец и художник, «русский Рембрандт», этот великий мученик, неустанно мечтавший разорвать те цепи ужасного рабства, в которые были закованы он и его братья.

Из ссылки Шевченко вернулся далеко не «умиротворенным», как это предполагали не только его враги, но и друзья. Он полон попрежнему жгучей ненависти к угнетателям и поработителям народа. Ничто не могло его примирить с таким социальным строем, при котором помещикам принадлежала вся власть.

В Петербурге Шевченко встречается с передовыми людьми русского народа. Лучшими друзьями его были Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Курочкин, Салтыков-Щедрин. Вместе с ними он обличал всю гнусность крепостнического строя.

Здесь он совершенно окунулся в работу. Он пишет своему «великому другу» М. С. Щепкину: «Я как вол затянулся в работу, на этюдах сплю, из натурального класса не выхожу, так занят, что не имею времени написать даже коротенькое письмо».

Он продолжает изучать гравюрные приемы Рембрандта, делает офорты с его «Притчи о виноградаре», «Автопортрета» и др. От былого брюлловского влияния не осталось и следа. Правильно отмечают исследователи этого периода творчества Шевченко-гравера, что в этих офортах можно найти «все характерные черты техники Рембрандта», которой он «заменил прежние цветные задачи школы Брюллова». «Сознательность, с которой применяются эти приемы в работах Шевченко резцом и крепкими жидкостями, и полная сво-



Могила Шевченко в Каневе

бода его техники дают право поставить его офорты в среду лучших произведений этого рода¹, в которых он достиг высокой степени совершенства.

Шевченко создает офорты с картин Мурильо, Брюллова, А. Мещерского, И. Соколова, занимается и портретной живописью.

Незабываема сцена встречи двух замечательных людей своего века — великого трагика негра Айра Ольриджа, приехавшего на гастроль в Петербург в 1858 г., с великим поэтом и художником Шевченко. Они поняли сразу друг друга и, одинаково гонимые, измученные произволом позорного рабства, сдружились. Сцена, которую описывает художник М. Микешин (журн. «Пчела», 1876 г.), полна драматизма. Только-что закончилось представление «Короля Лира», но вслед за последним драматическим аккордом на сцене начался новый — в жизни, за кулисами — в гримировочной Ольриджа.

«В широком кресле, развалясь от усталости, лежал «Король Лир», а на нем, буквально на нем, находился Тарас

¹ К. Широкий. Гравюры Т. Шевченко. «Украинская жизнь», 1914, № 2, стр. 49—57.

Григорьевич; слезы градом катились из его глаз; отрывочные, страстные слова произносил он сдавленным голосом и покрывал поцелуями раскрашенное лицо великого трагика».

Целым роем должны были пронестись в это время у Шевченко воспоминания о тех тяжелых путях, которые были пройдены им в стремлении к великому, свободному искусству.

Глядя на великого трагика Ольриджа, Шевченко вспоминал жуткие этапы пройденного им пути. В истории мирового искусства вряд ли найдется художник, который творил бы в таких трагических и тяжелых условиях, в каких пришлось работать Шевченко. Но поэт верил в то, что придут лучшие времена, как в ту августовскую ночь 1857 года, когда он, возвращаясь из ссылки, сидя на палубе парохода, всматривался в волжскую даль. В звуках лубочной скрипки «крепостного Паганини», игравшего на палубе, ему слышится «глубокий стон миллионов крепостных душ», а сам пароход ему кажется «глухо-реву-

щим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовой проглотить помещиков-инквизиторов».

«То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя. Мое пророчество несомненно», говорит он, обращаясь к великим именам Фультона и Уатта («Дневник», стр. 73).

Пророчество Шевченко сбылось. То, о чем мечтал Шевченко, выполнил с успехом революционный пролетариат, который в союзе с крестьянством сбросил навсегда «престолы и короны», помещиков - капиталистов. Лепинско-сталинская политика в национальном вопросе обеспечила могучий расцвет украинской социалистической культуры, куда вписано яркими, огненными буквами имя того, кто через невыносимые страдания, тюрьмы и ссылки пронес величайшую любовь к народу, отображая пером, кистью и резцом его мысли и чувства в своих непревзойденных творениях.

Маяковский за границей

В. КАТАНЯН

★

1

Девять раз Маяковский переезжал границу Страны Советов, направляясь на Запад.

Дважды Маяковский собирался совершить кругосветное путешествие.

Один раз он побывал в Америке — в Мексике и Соединенных Штатах. Один раз, проездом, — в Испании, один раз в Чехо-Словакии, Польше, Латвии, несколько раз в Германии и несколько раз во Франции.

Он хотел еще побывать в Англии — ему не дали визу. Собирался в Италию — не получилось. Замышляя кругосветное путешествие, он хотел посмотреть Южную Америку, Турцию, Японию.

«Мне необходимо ездить, — говорил Маяковский, — обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг. Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор, — вещи, интересные сами по себе».

Когда ему на вечерах задавали вопрос:

— Почему вы так много путешествуете? —

он отвечал строками из Лермонтова:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой.
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Это, конечно, в шутку. В действительности он скорее не любил путешество-

вать, чем любил. И все же, начиная с 1922 года, Маяковский почти каждый год выезжал за границу. Кроме того, за пять лет он объездил пятьдесят четыре города Советской страны.

Он был совершенно точен, когда говорил, что ему «необходимо ездить». Эта необходимость была творческая.

Его тянула ездить не любовь к путешествиям, не любопытство туриста и совсем не природная непоседливость. Это были безусловно рабочие побуждения.

Поэту с таким живым и непосредственным творческим восприятием, с такой острой и активной реакцией на явления внешнего мира эти поездки давали очень много.

То, что было написано в результате его поездок за границу, составляет целый том. И вдвое больше было стихотворений, темы которых возникли в связи с его поездками по городам Союза.

2

Выезжая за границу из Страны Советов, Маяковский не впервые встречался с миром капитализма. Он вырос в окружении этого мира, успел побывать в его тюрьмах, самоучкой научился его ненавидеть, бунтовал против него, звал на борьбу с ним.

Но тогда, до революции, это был романтический бунт, выраставший из стихийного протеста, органического от-

вращения к капиталистическому обществу.

Теперь это была ненависть сознательного бойца за коммунизм, ненависть, окрыленная победой Октябрьской революции, отстоявшаяся годами гражданской войны, голода и интервенции.

Теперь, когда шестая часть земного шара уже отторгнута от власти капитала, он не один противостоит миру десят и лабазников, он вместе со стасемидесятимиллионным народом спокойно и уверенно говорит:

Мы стали
тут
и не движемся с места.
А свист,
как горох
об гранит.
Мы мерли,
чтоб петь
вот это
вместо
«Боже,
буржув храни».

Теперь к этой священной ненависти прибавляется гордое чувство передового советского поэта, чувство превосходства человека нового общества, новой культуры над старой.

Отдавая должное огромному впечатлению, которое произвел на него самый большой город капиталистического мира, Маяковский заключает первое стихотворение о Нью-Йорке словами:

Я в восторге
от Нью-Йорка города,
Но
кепчонку
не сдеру с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржув
смотрим свысока.

«Собственная гордость советских» — это гордость за свой «краснофлагий» строй, за свою родину, которая первой вырвалась на дорогу коммунизма, гордость за новые, социалистические отношения, установленные в стране великой революцией.

Эта гордость утверждала чувство патриотизма сознанием величия исторического движения, начатого народами его родины.

Она демонстративно поднимала над головой поэта красный советский паспорт с обращением ко всему миру:

Читайте,
завидуйте,
я
гражданин
Советского Союза.

Это чувство, это сознание не покидало Маяковского никогда и нигде. Оно неизменно присуще всем стихам Маяковского о загранице.

Стихи писались на протяжении 1922—1929 гг., и в них нашли отражение и конкретное отношение Страны Советов к отдельным капиталистическим государствам и различные политические события, волновавшие тогда советскую общественность. Здесь многое отошло в историю, многое изменилось. Но неизменным осталось в стихах Маяковского сознание растущей силы своей страны, противостоящей всему миру, неизменным осталось глубокое убеждение в правоте начатой борьбы, твердая уверенность в окончательной победе социализма. Утверждающая сила его поэзии была силой его обновленной родины.

Маяковский на Западе был прежде всего гражданином своего отечества, у него было очень точное ощущение своей политической роли как поэта первого социалистического государства, он чувствовал себя за границей как бы полпредом советской культуры.

Политический угол зрения, политический подход был для Маяковского естественнейшим и простейшим. Он умел видеть и чувствовать политику в самых конкретных, бытовых, житейских случаях, и, конечно, политика никогда не была для него готовой схемой, в которую можно механически втискивать людей, вещи, события.

Это было его органическое зрение, и оно блестяще выдержало испытание незнакомого материала, новых ситуаций, невиданных людей, стран, обстановок.

Он смотрел на все глазами советского гражданина, борца за коммунизм, и этот политический, советский подход дал огромную обобщающую силу отдельным наблюдениям и темам.

Этим отличаются стихи Маяковского о загранице, отличаются не от других стихов Маяковского, а от стихов других поэтов на ту же тему.

3

— Очень плохо без языка...

Эта фраза встречается в письмах Маяковского из-за границы не один раз.

Единственный язык, на котором Маяковский свободно объяснялся (кроме русского, разумеется), это был язык его детства — грузинский. Но он меньше всего мог ему пригодиться в его поездках по Западной Европе и Америке.

Когда кто-то в разговоре высказал предположение, что, раз'езжая столько по заграницам, Маяковский должен хорошо владеть языками, он очень удивился:

— Почему вы так думаете?

— А как же — гимназическое образование плюс заграничные поездки.

— К сожалению, нет, — возразил Маяковский, — заграничные поездки минус гимназическое образование.

Маяковский раз'езжал с маленькими словариками, с несколькими готовыми фразами в записной книжке, с брошюрками «Метула», которые могли помочь ему заказать номер в гостинице, выбрать завтрак и купить папиросы.

Он ходил в полпредства и торгпредства «отводить советскую душу», читал стихи и упрашивал товарищей погулять с ним, а когда оставался один, то особенно остро чувствовал, как «плохо без языка».

Если, бывало, кто обратится к нему с чем-нибудь, — кельнер или шофер такси, — из нескольких фраз запоминалось одно или два слова, и потом в гостинице Маяковский отыскивал их в словаре и по ним восстанавливал смысл сказанного.

Все это, конечно, не украшало его жизнь за границей.

И даже, когда встречались в поездках друзья, с которыми можно было не расставаться, как это было, например, в Нью-Йорке, где жил старый друг

Маяковского — Давид Бурлюк, и тогда отсутствие языка мешало, раздражало и утомляло.

Маяковский не был разговорчив, скорее — наоборот, он больше любил слушать, как разговаривают. Но если он не мог понимать, что говорят, и молчание становилось вынужденным, тогда, конечно, особенно хотелось поговорить.

Вот характерный эпизод из рассказа Маяковского «Как я ее рассмешил», написанного после поездки в Америку:

«Должно быть иностранцы меня уважают, но возможно и считают идиотом — о русских пока не говорю. Войдите хотя бы в американское положение: пригласили поэта — сказано им гений. Гений — это еще больше, чем знаменитый. Прихожу и сразу —

— Гив ми плиз сэм ти¹.

Ладно. Дают. Подожду и опять:

— Гив ми плиз...

Опять дают.

— А я еще и еще разными голосами и на разные выражения:

— Гив ми сэм ти, сэм ти да гив ми — высказываюсь. Так вечерок и проходит.

Бодрые почтительные старички слушают, уважают, думают: «Вон оно русский, слова лишнего не скажет. Мыслитель. Толстой. Север».

Американец думает для работы. Американцу и в голову не придет думать после шести часов.

Не придет ему в голову, что я — ни слова по-английски, что у меня язык подпрыгивает и завинчивается штопором от желания поговорить, что, подняв язык палкой серсо, я старательно нанизываю бесполезные в разобранном виде разные там О и Ве. Американцу и в голову не придет, что я судорожно рожая дикие сверханглийские фразы:

— Ес уайт плиз добль арм стронг...

И кажется мне, что очарованные произношением, завлеченные остроумием, покоренные глубиной мысли, обомлевают девушки с метровыми ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами от полной невозможности меня переспоричать.

¹ Дайте мне, пожалуйста, чаю.

Но лэди отодвигаются, прослышав сотый раз приятным баском высказанную мольбу о чае, и джентльмены расходятся по углам, благоговейно поостригая на мой безмолвный счет.

— Переведи им, — ору я Бурлюку, — что если бы знали они русский язык, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек, я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию.

И добросовестный Бурлюк переводит: — Мой великий друг Владимир Владимирович просит еще стаканчик чаю».

Эпизод, рассказанный здесь, изложен весело и юмористически, но, может быть, именно эта вынужденная немота, которой был подвержен Маяковский за границей, усиливала чувство одиночества, которое очень быстро овладевало им на чужбине.

Несмотря на весь интерес к путешествиям, к новым странам и людям, несмотря на то, что организовать путешествие стоило подчас немалых трудов, возни и беготни — добыть визы, паспорта, деньги и т. д., — едва начав поездку, едва переехав советскую границу, Маяковский начинал уже скучать по Москве, тосковать и рваться назад.

Этим полны почти все его письма из-за границы.

«Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах».

«Хоть бы не дали... (американскую визу), — пишет он в другом письме из Парижа, — тогда в ту же секунду выеду в Москву, погашу авансы и года три не буду никуда рыпаться».

«Очень скучаю. Здесь отвратительно», — телеграфировал он из Америки.

«Еду Европу не позднее третьего. Страшно соскучился...» и т. д. и т. д.

Он возвращался в Москву, проходило некоторое время, и его опять тянуло ездить.

Иногда он думал, что едет отдохнуть, собирался пожить где-нибудь на курорте. Но отдыхать он по-настоящему не умел, голова не выключалась из работы. Из каждой такой «отдыхательной» поездки он привозил стихи, он работал

там над стихами, пьесами, сценариями.

Так он был устроен,

«...Не то что восьмичасовой рабочий день, — говорил он, — а шестнадцативосемнадцатичасовой рабочий день характерен для поэта, у которого огромные задачи...».

Таким поэтом был Маяковский.

4

От первой поездки Маяковского за границу — весной 1922 года в Латвию — осталось немного — одно стихотворение. Ни одного письма, ни одной телеграммы ни от него, ни к нему — в Ригу. Только несколько строк в записной книжке: число жителей Латвии — 1.813.000, для памяти — фамилия председателя Латвийской учредилки — Чаксте и министра внутренних дел Квесиса. Оба впоследствии попали в стих.

В последних числах апреля Маяковский выехал из Москвы и пробыл в Риге всего дней пять-восемь.

Это была самая короткая поездка, и в то же время это была первая вылазка Маяковского в мир капитализма после пяти лет жизни в новом мире, в условиях нового социального строя. Стихотворение, которое было написано в результате поездки, называлось «Как работает республика демократическая. Стихотворение опытное, восторженно критическое». Вскоре, после того как оно было напечатано в «Известиях», оно вполне заслуженно вошло в сборник, который назывался «Маяковский издевается».

В том же 1922 году, осенью, Маяковский впервые побывал в Германии и Франции, 9 октября он выехал из Москвы в Берлин через Себеж, Нарву, Ревель, Штеттин.

В Берлине Маяковский прожил около двух месяцев. Здесь он договорился с издательством «Накануне» об издании сборника своих стихов «Избранный Маяковский», выпустил под маркой Госиздата РСФСР небольшой сборник «Маяковский для голоса».

В берлинском Доме искусств одна из октябрьских «пятниц» целиком была

отведена Маяковскому. Как сообщает журнал «Новая русская книга» (1922, № 9), Маяковский «после краткого теоретического вступления, определяющего место футуризма в современной литературе, прочел ряд своих произведений». На следующей «пятнице» Дома искусств Маяковский принимал участие в обсуждении доклада В. Шкловского «Литература и кинематограф».

7 ноября, в день празднования пятилетия Октябрьской революции, Маяковский выступал с чтением стихов на торжественном вечере в здании полпредства.

В Париж из Берлина Маяковский выехал в средних числах ноября. Сохранилась его открытка из Берлина к Рите Райт, с которой он занимался до отъезда немецким языком. «Эх, Рита, Рита! Учили Вы меня немецкому языку, а мне по-французски разговаривать». В Берлине Маяковский был вместе с друзьями и не очень нуждался в своих скромных познаниях немецкого языка, но в Париж он поехал один. Был составлен и занесен в записную книжку кратчайший словарь необходимых французских глаголов и выражений: итти, хотеть, мочь, знать, брать, чистить, вчера, прямо, спички, все равно, дорого, скорей, силь ву пле, здесь живет мсье Х? Какая комната? *Faites dépasser mon costume* — поглядеть мой костюм. *Coupez moi des cheveux tout court* — постригите мне волосы совсем коротко, и т. д. и т. д.

С этим запасом слов Маяковский отбыл в Париж.

Французская виза, которую он получил в Берлине, была немного странная — не на паспорте, как полагается, а на отдельной бумажке. И когда он приехал в Париж, начались разные полицейские мытарства — ему дали какой-то «санитарный паспорт», таскали в префектуру, заставляли фотографироваться и хотя ничего не запрещали, но в то же время и не давали разрешения на жительство.

Маяковскому это очень быстро надоело. При скудном запасе французских слов, которым он обладал, все эти процедуры не доставляли ему никакого удо-

вольствия. И он собрался было возвращаться в Берлин, но друзья ему посоветовали:

— Плюньте и дней десять живите.

«Плюнул с удовольствием», — рассказывал он впоследствии, и так — без разрешения полиции — прожил в Париже семь дней.

Но за эти семь дней он развил бурную деятельность. Он осмотрел все, что только можно было осмотреть в Париже за такой короткий срок — от палаты депутатов до «Осеннего салона». Он познакомился с работами десятка художников, побывав в их мастерских. — Пикассо, Делонэ, Брак, Леже, Барт и др. Он видел купцов, которые торгуют картинами, он ездил на фабрику пианол, слушал композиторов Стравинского и Прокофьева, пытался познакомиться с Анатолем Франсом и Барбюсом¹, виделся с Кокто, присутствовал на похоронах Марселя Пруста, побывал в нескольких театрах и съездил за город посмотреть знаменитый парижский аэродром.

Он даже кое-что из виденного записал к себе в записную книжку — случай исключительный. Обычно записывались только стихи и адреса с телефонами. Повидимому, он собирался писать о своих впечатлениях, их было много, и он боялся забыть или перепутать. Записаны имена художников и писателей, названия произведений, есть краткая запись спектакля в Альгамбре, записаны названия произведений Стравинского и Прокофьева, которые они играли ему. Вот, например, несколько строк о посещении палаты депутатов:

«ПАЛАТА

Пере под барабан²

Раненые офицеры с палочками — депутаты.

Направо — Кастело-роялист, седой, лысый.

650 депутатов.

¹ К сожалению, ни Франса ни Барбюса не было в это время в Париже.

² Председатель палаты депутатов Пере вышел к своему месту под дробь барабана. См. «Известия», 6 февраля 1923 г., № 26.

Депутат центра о бюджете медицинских школ».

Впоследствии в одном из очерков в «Известиях» Маяковский так описывал обстановку работы палаты депутатов:

«Г-н Пере читает бумаги, депутаты расхаживают, читают газеты, от времени до времени начинают на весь зал переругиваться между собой.

Г-н Пере лениво урезонирует депутатов, оратор мчит дальше. Депутаты дальше шумят. Словом — «у попа была собака».

«Без всякого комплимента приходится установить, — резюмирует Маяковский, — даже в наших молодых советах можно было бы поучить палату серьезности и отношению к делу».

5

Больше всего времени и внимания Маяковский отдал знакомству с художественной жизнью Парижа, живописи и художникам. Очень подробно был осмотрен «Осенний салон». Маяковский познакомился с рядом крупнейших художников и побывал в их мастерских.

Это, конечно, не случайно. Интерес к живописи у Маяковского был полупрофессиональный. Когда-то он учился этому искусству, последние годы — 1919 — 1922 — он работал и как поэт и как художник (в Росте). И теперь в Париже живопись, естественно, для него оказалась ближе, интереснее и доступнее других искусств. Он сам говорит об этом так:

«Во-первых, живопись центральное искусство Парижа, во-вторых, из всех французских искусств живопись оказывала наибольшее влияние на Россию, в-третьих, живопись — она на ладони, она ясна, она приемлема без знания тонкостей быта и языка».

И дальше:

«Меня интересовали не столько туманные живописные теории, философия «объемов и линий», сколько живая жизнь пишущего Парижа. Разница идей сегодняшней французской и русской живописи. Разница художественных организаций. Определение по живопи-

си и по встречам размеров влияния Октября, РСФСР на идеи новаторов парижского искусства».

Он смотрел картины художников, которых знал до 1914 года, он любил этих художников и, оценивая их работы в 1922 году, сравнивал и сопоставлял, пытался разглядеть их движение, оценить путь, пройденный за эти восемь лет, и наметить выводы.

«Если сотню раз разложить скрипку на плоскости, — пишет Маяковский, — то ни у скрипки не останется больше плоскостей, ни у художника не останется неисчерпанной точки зрения на эту живописную задачу.

Гольф формализм дал все, что мог. Больше при современном знании физики, химии, оптики, при современном состоянии психологии ничего существенного открыть (не используя предвзятительно уже добытого) нельзя.

Остается или умереть, перепевая себя, или...

Остается два «или».

Первый «или» Европы: приложить добытые результаты к удовлетворению потребностей европейского вкуса. Этот вкус не сложен. Вкус буржуазии. Худшей части буржуазии — нуворишей, разбогатевших на войне. Нуворишей, приобретших деньги, не приобрет ни единой черточки даже буржуазной культуры. Удовлетворить этот вкус может только делание картин для квартиры спекулянта-собственника, могущего купить «огонь» художника для освещения только своего салона. Здесь уже не может быть никакого развития.

Нет, не для делания картинок изучали лучшие люди мира приемы расцветки, иллюминирования жизни. Не к салонам надо приглядывать свои открытия, а к жизни, к производству, к массовой работе, украшающей жизнь миллионов.

Но это уже второе «или» — «или» РСФСР. «Или» всякой страны, вымышленной рабочей революцией. Только в нашей стране может найтись применение, содержание (живописное, разумеется, а не бытовое) всей этой формальной работе. Не в стране буржуазной, где производство рассматривается только ка-

питалистом как средство наживы, где нельзя руководить вкусом потребителя, а надо ему подчиняться. А в стране, где производят одновременно для себя и для всех, где человек, выпустивший какие-нибудь отвратительные обои, должен знать, что их некому всучить, что они будут драть его собственный глаз со стен клубов, рабочих домов, библиотек.

...При всей нашей технической, мастеровой отсталости, мы, работники искусств Советской России, являемся водителями мирового искусства, носителями авангардных идей».

Все эти выводы подытоживаются одной фразой-лозунгом, обращенным Маяковским к советским мастерам искусства:

— Хочешь найти резонанс революционному искусству, — крепи завоевания Октября!

6

Числа 25 или 26 ноября, «отсидев» банкет, устроенный французскими художниками в его честь, Маяковский выехал из Парижа в Берлин и оттуда 12 декабря вернулся в Москву.

В результате этой поездки были написаны два стихотворения — «Германия» и «Париж» («Разговорчики с Эйфелевой башней»), да еще одно стихотворение — в связи с докладами, которые Маяковский прочел по возвращении в Политехническом музее на темы: «Что Берлин?» и «Что Париж?». Стихотворение это называлось — «Товарищи! Разрешите мне поделиться впечатлениями о Париже и о Моне».

Для газеты «Известия» в декабре 1922 г. — феврале 1923 г. Маяковский написал шесть больших очерков о быте и искусстве Парижа (из них мы цитировали приведенные выше строки). Он писал и о внешности Парижа, и о театрах, о палате депутатов и о музыке, о литераторах и о художественной жизни города, целый очерк о выставке «Осенний салон», и отдельно о художниках и купцах. Все шесть очерков были о Париже. О Берлине речь шла только на вечеру в Политехническом му-

зее. Доклад не был стенографирован и от него остался только краткий отчет в журнале «Зрелища», № 19, 1923 г.

И, наконец, последнее, что было сделано в результате этой поездки: в феврале 1923 г. из очерков, напечатанных в «Известиях», Маяковский составил книжку «Семидневный смотр французского искусства 1922», снабдил ее двадцатью пятью иллюстрациями (фотографиями с картин французских художников) и сдал в Госиздат. Но книга не увидела света, и пишущий эти строки обнаружил ее в девственно-рукописном виде в подвалах Госиздата после смерти Маяковского.

7

На вечеру в Политехническом Маяковский начал свой доклад с объяснения цели своей поездки:

— Зачем обычно писатели ездят за границу? Ездят удивляться. Я же ездил удивлять.

«Париж видит сейчас первых советских русских, — писал Маяковский в «Известиях» 6 февраля 1923 г. — Всюду появление живого советского производит фурор с явными оттенками удивления, восхищения и интереса (в полицейской префектуре тоже производит фурор, но без оттенков). Главное — интерес: на меня даже установилась некоторая очередь. По несколько часов спрашивали, начиная с вида Ильича и кончая весьма распространенной версией о «национализации женщин» в Саратове.

Компания художников (казалось бы, что им!) 4 часа слушала с непрерываемым вниманием о семенной помощи Поволжью. Так как я незадолго перед тем проводил агит-художественную кампанию, у меня остались в голове все цифры.

Этот интерес у всех, начиная с мельщика в Гале, с уборщика номера, кончая журналистом и депутатом...».

Маяковский удивлял своих слушателей рассказами о том, что делается в Стране Советов, — они, должно быть, были заняты, выразительны и остроумны, как все, что делал Маяковский.

Но легко можно представить себе, насколько удивителен был для парижан сам по себе величественный облик «первого полпреда советской культуры», крупнейшего революционного поэта—человека подавляющих масштабов — огромного голоса, огромного таланта, великодушного остроумия, — достойного представителя народа, совершившего величайшую в мире революцию.

Товарищ, встречавший Маяковского в Париже, вспоминает:

«Он бродил чужой по парижским авеню — от него ложилась на солнечные тротуары огромная тень, тревожившая парижан»¹.

Но, может быть, тревожил парижан и его уверенный и чуть снисходительный тон разговора с ними, как с людьми, которые не понимают еще самого главного в жизни. Его культурные собеседники вряд ли тогда умели это объяснить себе, — этот снисходительный тон был, в сущности, вполне естествен у путешественника, приехавшего из нового мира, вымытого и очищенного рабочей революцией, в старый, «где каждый из граждан смердит покоем, жратвой, валютой».

У советских
собственная гордость:
На буржуев
смотрим свысока.

8

В 1923 и 1924 годах Маяковский дважды побывал в Германии.

3 июля 1923 года он вылетел из Москвы в Кенигсберг. Это был первый полет Маяковского, описанный им потом в стихотворении «Москва — Кенигсберг».

Летние месяцы Маяковский провел в Нордернее, на берегу Северного моря, и в горах в Флинцберге. Между этими двумя местами был какой-то промежуток времени, когда Маяковский побывал в Берлине. Примерно конец июля — середина августа.

¹ Л. Эльберт. «Краткие данные», «Огонек», 30 апреля 1930 г., № 12.

Именно к этому времени относится сдача Маяковским в издательство «Накануне» сборника своих стихов «Вещи этого года» (до 1 августа 1923 года). 27-м июля помечено предисловие Маяковского к этому сборнику. В него вошла поэма «Про это» и ряд стихотворений, которые, как пишет Маяковский в предисловии, вследствие пропажи рукописей ему пришлось восстанавливать по памяти.

«Аэроплан, летевший за нами с нашими вещами, был снижен мелкой несправдностью под каким-то городом. Чемоданы были вскрыты, и мои рукописи взяты какими-то крупными жандармами какого-то мелкого народа».

В числе вещей, над которыми он тогда работал и о которых упоминает в предисловии к сборнику, были «Стихи о Нордене» и «Стихи о Нордернее». Первое стихотворение не было написано, второе — через две недели, 12 августа 1923 г., было напечатано в «Известиях».

Другие стихотворения, связанные с этой поездкой, были написаны позже — «Киноповетрие», «Уже», «Солидарность».

17 или 18 октября Маяковский вернулся в Москву.

Коротенькое письмо Маяковского из Берлина Давиду Бурлюку в Нью-Йорк показывает, что он тогда уже хотел ехать в Америку и искал возможность получить американскую визу:

«Дорогой Додичка!

Пользуюсь случаем приветствовать тебя.

Шлю книги. Если мне пришлете визу, буду через месяца два-три в Нью-Йорке».

Но с американской визой было не так просто. Маяковский не получил ее и в следующую свою поездку в Берлин весной 1924 года.

Об этой поездке мы знаем вообще очень немного. Установлен только самый факт пребывания Маяковского в Берлине в апреле 1924 г. — по одной телеграмме Л. Ю. Брик, адресованной ему в Берлин, и по хроникальной заметке в берлинской газете «Накануне» от 25 апреля 1924 года.

«29 апреля (сообщалось в газете) Берлинское отделение Всероссийского союза работников печати устраивает в большом зале бывш. Палаты Господ (Лейпцигерштрассе, 3) единственный вечер приехавшего на-днях из Москвы поэта Владимира Маяковского... В Маяковский уезжает на будущей неделе в Америку».

Однако «на будущей неделе» Маяковский в Америку не уехал, а в середине мая был уже в Москве.

9

Мысль о поездке в Америку не оставяла Маяковского. В том же 1924 году возник проект об'ехать вокруг света. Примерный маршрут: Москва — Париж — Атлантический океан — Америка — Тихий океан — Япония — Москва. С этим намерением в последних числах октября 1924 года Маяковский выехал в Париж и сейчас же по приезде принялся за хлопоты об американской или английской визе (если ехать через Канаду). Для советского поэта, для гражданина Советской страны в то время это было не так просто. То, что английской визы он не получит, выяснилось довольно скоро.

В письме из Парижа¹ от 9 ноября Маяковский писал:

«Я уже неделю в Париже, но не писал потому, что ничего о себе не знаю — в Канаду я не еду и меня не едут, в Париже пока что мне разрешили обосноваться две недели (хлопочу о дальнейшем), а ехать ли мне в Мексику — не знаю, так как это кажется бесполезно. Пробую опять снести с Америкой для поездки в Нью-Йорк».

Возможно, что в столь быстром отказе в английской визе сыграл роль «инцидент» со стихотворением Маяковского «Керзон», напечатанным в журнале «Красная новь» в 1923 г. Осенью 1923 г. в консервативной английской газете «Морнинг пост» появилась заметка об этом стихотворении, в которой

утверждалось, что Маяковский клеветает на Керзона. Газета предлагала правительству привлечь Маяковского и «Красную новь» к ответственности за клевету!

В хлопотах об американской визе прошел ноябрь и половина декабря. В том же письме от 9 ноября Маяковский писал:

«Ужасно хочется в Москву; если б не было стыдно перед тобой и перед редакциями, сегодня же б выехал.

Как с книгами и с договорами?

Попроси Кольку¹ сказать «Перцу»², что не пишу ничего не из желания зажулить аванс, а потому, что ужасно устал и сознательно даю себе недели 2—3 отдыха, — а потом сразу запишу всюду.

Если получу разрешение, поезжу немножко по мелким французским городкам.

Ужасно плохо без языка!

Боюсь прослыть провинциалом, но до чего же мне не хочется ездить и тянет обратно читать свои ферзы!».

Во время пребывания Маяковского в Париже произошли два события, свидетелем которых он был и о которых были потом написаны стихотворения. В ноябре французское правительство признало правительство СССР де-юре, и 4 декабря первый посол СССР во Франции Л. Б. Красин прибыл в Париж. Маяковский присутствовал на торжестве поднятия советского флага на здании посольства на улице Гренель и даже снимался в группе сотрудников во дворе полпредства. Это событие — церемония поднятия флага с пением «Интернационала», переполох на Гренеле, одиночные свистки «камло дю руа», — наемных «королевских молодчиков», — все это очень точно было описано в стихотворении «Флаг».

Тогда же в ноябре 1924 г. состоялась церемония перенесения в Пантеон праха Жана Жореса, известного французского социалиста, убитого монархистами в 1914 году. Это была лицемерная цере-

¹ Это и все дальнейшие цитируемые письма Маяковского из-за границы адресованы Л. Ю. Брик. Печатаются с разрешения адресата впервые.

¹ Н. Н. Асеева.

² Журнал «Красный перец», в котором сотрудничал Маяковский.

мония, которой официальный Париж почтил мертвого и теперь безвредного своего врага. Маяковский писал:

Теперь
пришли
панихидами выть.
Зорче,
рабочий класс!
Товарищ Жорес,
не дай убить
себя
во второй раз,

Были еще и еще темы — и лирические и всякие — в эту парижскую осень, в томительном ожидании американских виз.

Прошли 2—3 недели отдыха, и Маяковского потянуло работать. А может, и не дотянул он эти 3 недели без дела, не сумел заставить себя отдохнуть.

Так начал складываться цикл стихов, который получил потом название по имени города, в котором он был написан.

В следующем письме из Парижа — почти через месяц, 6 декабря — Маяковский глухо сообщает, что есть новые стихи.

«О себе писать почти нечего. Все время ничего не делал, теперь опять начинаю. К сожалению, опять тянет на стихи — лирик!

Здесь мне очень надоело — не могу без дела. Теперь с приездом наших хожу и отвожу советскую душу.

Пока не читал нигде, кроме дома: вполголоса и одиночкам.

Если есть новые мои книги или отрывки где-нибудь напечатаны — пришли.

В театры уже не хожу, да и в трактиры тоже, надоело, сижу дома и гложу куриные ноги и гусью печень с салатами. Все это приносит моя хозяйка м-ме Сонет. — Удивительно эстетический город!».

И опять — он не может сообщить ничего положительного о визах, это надоело, он почти готов вернуться назад и интересуется своими московскими делами.

«Сижу в Париже, так как мне обещали в две недели дать ответ об американской визе. Хоть бы не дали, тог-

да в ту же секунду выеду в Москву, погашу авансы и года три не буду никуда рыпаться.

Что за ерунда с Лефом? ¹ Вышел ли хоть номер с первой частью? Не нужно ли, чтоб я что-нибудь сделал?

Напиши подробно. Как дела с Ленгизом? ²

Куда удалось дать отрывки? ³ Если для Лефа нужно, я немедленно вернусь в Москву. И не поеду ни в какие Америки».

Случилось именно так, как этого почти хотел Маяковский, — американской физы не дали, и в конце декабря 1924 года Маяковский вернулся в Москву.

10

Общая политическая обстановка того времени — ощущение близости революционной вспышки в Германии, нарастание революционного движения, настроения тревоги и надежд, — все это определяло общий тон первых стихов Маяковского о загранице — 1922 — 1923 гг., — прямолинейно агитационный, нетерпеливо уверенный в скорой победе революции.

В первом стихотворении о Германии 1922 года Маяковский писал:

Мы еще
извеселим берлинские улицы.
Красный флаг, —
мы заждались, —
вздвигайся и рей!
Красной песне
из окон каждого Шульца
откликайся,
свободный,
с Запада
Рейн.

Эта уверенность в близости революционного шквала росла и усиливалась, и в стихах 1923 года он видит уже его приближение во всем — и в кино, в фильме Чаплина:

¹ Маяковский спрашивал о № 1 журнала «Леф» за 1925 г., который задержался в печати. В нем была напечатана 1-я часть поэмы «Владимир Ильич Ленин».

² В Ленгизе печаталась поэма «Владимир Ильич Ленин».

³ Отрывки из поэмы «Ленин».

Чаплин — валяй,
 марай соусами.
 Будет:
 не соусом,
 будет:
 не в фильме.
 Забытые встанут,
 забытые сами
 метлою
 пройдут
 мировыми милями.

И в Нордернее, у моря, где «полон рот красот природ», где «пляж буржуйкам ласкает подошвы», в тихую погоду, когда «волну и не глядят ветровы пальчики», он видит, как буря вздымается с дюны: «песчинки — пули, песок — пулеметчики».

Я жду, не дождусь
 и не в силах дожждаться,
 Но я верую в ярую,
 верю в скорую.
 И чудится:
 из-за островочка
 кронштадцы
 уже выплывают
 и целая «Авророю».

К осени 1923 года, к моменту наибольшего подъема революционного движения в Германии, когда в Саксонии коммунисты были уже у власти, относится стихотворение Маяковского «Уже!». Революция на пороге, она будет не сегодня — завтра.

Уже
 заборы
 стали ломаться.
 Рвет
 бумажки
 ветра дых.
 Сжимая кулак,
 у коммунистических прокламаций
 толпы
 голодных и худых.
 ...Уже чехардят
 Штреземаны и Куны.
 И сытый,
 и тот, кто голодом глодан,
 знают —
 это
 пришли кануны
 нашего
 семнадцатого года.

В нетерпении Маяковский торопил события. Весь мир с тревогой и надеждой следил тогда за событиями в Германии. Но революция была раздавлена и об-

щая политическая обстановка изменилась.

История сегодня подвела итоги этим изменениям:

«Капитализм устоял против первого революционного натиска масс после империалистической войны. Революционное движение в Германии, Италии, Болгарии, Польше и ряде других стран было подавлено... Наступил временный отлив революции. Наступила временная частичная стабилизация капитализма в Западной Европе, — частичное укрепление его позиций. Но стабилизация капитализма не устранила основных противоречий, раздирающих капиталистическое общество. Наоборот: частичная стабилизация капитализма обостряла противоречия между рабочими и капиталистами, между империализмом и колониальными народами, между империалистическими группами разных стран. Стабилизация капитализма подготавливала новый взрыв противоречий, новые кризисы в странах капитализма» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 258).

Вряд ли Маяковский мог тогда для себя точно исторически сформулировать эти перемены политической обстановки, но он ощутил их со свойственной ему чуткостью, и это ощущение подсказало в конце 1924 года изменение в тоне его новых стихов о заграничье.

В стихах 1924 года нет той прямой линейной агитационности, открытого призыва к восстанию, ожидания немедленного действия.

Революция отодвинулась, но она неминуема, она будет.

Тон стихов становится более описательным, но эта описательность не исключает, а в самом подходе и точке зрения содержит отчетливую перспективу обязательного революционного переустройства всего видимого.

В таком тоне написаны стихотворения «Notre Dame», «Версаль», «Жорес».

Поэт осматривает и описывает достопримечательности города, как бы примеривая их на новый социалистический порядок.

Отдавая собор Notre Dame будущему «французскому Госкино», он заботливо предупреждает парижан:

Да надъ
 быть бережливым тут,
 ядром чего
 не попортив.
 В особенности, если пойдут
 громить префектуру
 напротив.

Осматривая Версаль — «завидные ви-
 дики, сады, завидные в розах», — он при-
 кидывает на будущее:

Сюда бы —
 стальной и стекольный
 рабочий дворец
 миллионной вместимости, —
 такой,
 чтоб и глазу больно.

Первые впечатления от города, в
 1922 году, вылились в призыв к вос-
 станию вещей: домов, мостов, подземных
 железных дорог — во главе с башней
 Эйфеля — против жирных хозяев горо-
 да (стихотворение «Париж. разгово-
 рики с Эйфелевой башней»). Это —
 первая, самая быстрая реакция. Те-
 перь — впечатлений больше, они рас-

ходятся по нескольким темам и обра-
 стают лирическими отступлениями. Так
 написаны «Еду», «Город», «Верлен и
 Сезан».

Вместе с чувством одиночества и не-
 устроенности в чужом городе — «Мне
 жмет. Парижская жизнь не про нас...» —
 есть и признание в любви к городу.

Один Париж —
 адвокатов,
 казарм.
 Другой —
 без казарм и без Эррио.
 Не оторвать
 от второго глаза —
 от этого города серого.

И когда после двухмесячного пребы-
 вания «Париж бежит, провожая меня
 во всей невозможной красе», Маяков-
 ский прощается с городом лирическим
 восклицаньем:

Я хотел бы
 жить и умереть в Париже,
 если б не было такой земли —
 Москва.

(Окончание следует)

Ленин и Сталин в народном изобразительном искусстве

(К открытию выставки в Музее изобразительных искусств им. Пушкина)

МАРК НЕЙМАН



Нигде и никогда не было ничего мало-мальски похожего на советское самодеятельное искусство. С тех пор как существует классовое общество и особенно строй капитализма, творческие силы народа были скованы и загнаны в подполье. Противоречивая система разделения труда создала положение, при котором производство и потребление, материальная и духовная деятельность, труд и наслаждение выпадают на долю различных классов. Порождая «идиотизм деревенской жизни» и превращая личность рабочего в предмет купли и продажи, капитализм отдает чувства человека в плен грубой практической потребности и тем самым до минимума ограничивает, обедняет их смысл. Маркс превосходно показывает, каким образом капиталистическая мануфактура «превращает рабочего в урод, искусственно культивируя в нем одну только специальную способность и подавляя весь остальной мир производительных задатков и дарований»¹. Капитал, говорит Маркс в другом месте, хочет превратить рабочего в бесчувственное, лишённое потребностей существо. Буржуазная мораль внушает пролетарию догмат самоотречения: «Чем меньше ты ешь, пьешь, покупаешь книг, чем реже ты ходишь в театр, на балы, в кафе, чем меньше ты мыслишь, любишь, теоретизируешь, поешь, рисуешь, удишь и т. д., тем больше ты сберегаешь, тем значительнее

становится то твое достоинство, которое не смогут съесть ни моль, ни ржавчина, — твой капитал»¹.

В капиталистическом обществе народу оставляют право удовлетворять лишь грубые практические потребности. Искусство — это роскошь, и оно отчуждается от массы в пользу господствующего меньшинства. Здесь все построено на власти денег, на которые разменивается весь экономический и моральный уклад жизни и с помощью которых приобретаются в собственность любые человеческие таланты и способности. На вес золота буржуазия покупает произведение искусства и его творца-художника. Прогрессивная в пору своего становления, буржуазная культура дала человечеству целую плеяду гениальных мастеров литературы, музыки, живописи, ваяния, архитектуры — людей, которые всегда были на голову выше эпохи, их породившей. Однако культурная миссия капитализма давно превратилась в свою противоположность. Еще Энгельс писал, что «существование господствующего класса с каждым днем становится все большим препятствием развитию производительной силы промышленности и точно так же — развитию науки, искусства...»².

Последнее справедливо и в отношении народного творчества, низведенного

¹ К. Маркс. Собрание сочинений, т. III, стр. 656.

² Ф. Энгельс. Собрание сочинений, т. XV, стр. 13.

в двадцатом столетии на уровень кустарной промышленности и художественного ремесла. Капитализм довел до логического конца нелепый разрыв между народным творчеством и искусством художников-профессионалов. Все непосредственное, свежее, искреннее, самобытное и поэтическое, что было в народном изобразительном творчестве и что составляло его своеобразную и неповторимую прелесть, капитализм подчинил прозаической мерке стандарта, требованиям рынка, коммерческому расчету. Он обрек на вымирание ту творческую самодеятельность народа, которая в течение многих веков человеческой истории находила свое выражение в фольклоре, в былинном эпосе, песнях, сказках, в обрядовых играх, в украшении быта, оказывая свое плодотворное влияние на развитие мировой художественной культуры.

Экономическое и духовное рабство народа в капиталистическом обществе делало невозможным свободное развитие дарований миллионов людей. «Капитализм душил, подавлял, разбивал массу талантов в среде рабочих и трудящихся крестьян. Таланты эти гибли под гнетом нужды, нищеты, надругательства над человеческой личностью»¹. В этих условиях творчество отдельных художников-самоучек никого не интересовало и было незаметным. Самоучка либо копировал плохонькие репродукции, либо писал примитивные пейзажи, портреты, натюрморты. Работая для себя или обращаясь к узкому кругу зрителей, он никогда не мог рассчитывать на общественное признание.

Советское самодеятельное искусство возникло вместе с победой социализма. Детище народа, оно впервые после Октябрьской революции получило право на существование. Невиданные до сих пор просторы творчества послужили его бурному и красочному росту. В поэзии и музыке, в драматическом искусстве и искусстве танца, в живописи, скульптуре, графике, в художественных ремеслах наша свое выражение живая самодея-

тельность нового социалистического человека. Свершилось то, о чем говорил Ленин. Искусство стало принадлежать народу. Оно сделалось близким ему и понятным. Оно объединило его чувства, мысли, волю. Оно пробудило в нем художников.

Год от году рост самодеятельного искусства становится все более необъятным. Оно складывается уже не из выступлений одиночек. Сегодня это — движение, в котором участвуют миллионы одаренных людей. Впервые в истории они своими руками, бок о бок с мастерами-профессионалами создают художественные ценности социализма.

Изобразительное творчество народа включает все разнообразие существующих видов искусства, его жанров и техники. Но прежде всего оно отличается своим тематическим богатством и подлинной содержательностью. Все, чем наполнена замечательная жизнь советских людей — пафос освобожденного труда, открытия науки, героические подвиги, счастливый быт и радостный отдых, — все находит свое отражение в произведениях самодеятельных художников. Каждое мало-мальски значительное событие в стране, будь то рекорд угледобычи или невиданный перелет, или триумф молодых советских музыкантов, встречая живейший отклик в народе, порождает новые картины, рисунки, статуи.

Особенно часто, с чувствами любви, восхищения и признательности, обращаются художники из народа к темам, связанным с жизнью и деятельностью Ленина и Сталина. Подобно тому, как в народном эпосе, в фольклоре Ленина и Сталина воспевают многонациональные певцы-поэты, так в изобразительном самодеятельном творчестве образ вождей народа запечатлен в тысячах портретов и композиций, в рисунках, тканях, в резьбе по дереву, в гравюрах по металлу, в вышивках, в фарфоре, в мозаике, в финифти, наконец в живописи и скульптуре.

В сознании народа имена Ленина и Сталина — неразрывны. Пафосом великих чувств к великим людям проникнуты лучшие произведения самодеятель-

¹ Ленин. Собрание сочинений, т. XXIV, стр. 491.



*В. И. Ленин, И. В. Сталин, Я. М. Свердлов и Ф. Э. Дзержинский
в Октябрьские дни.*
Картина Г. П. Татарникова

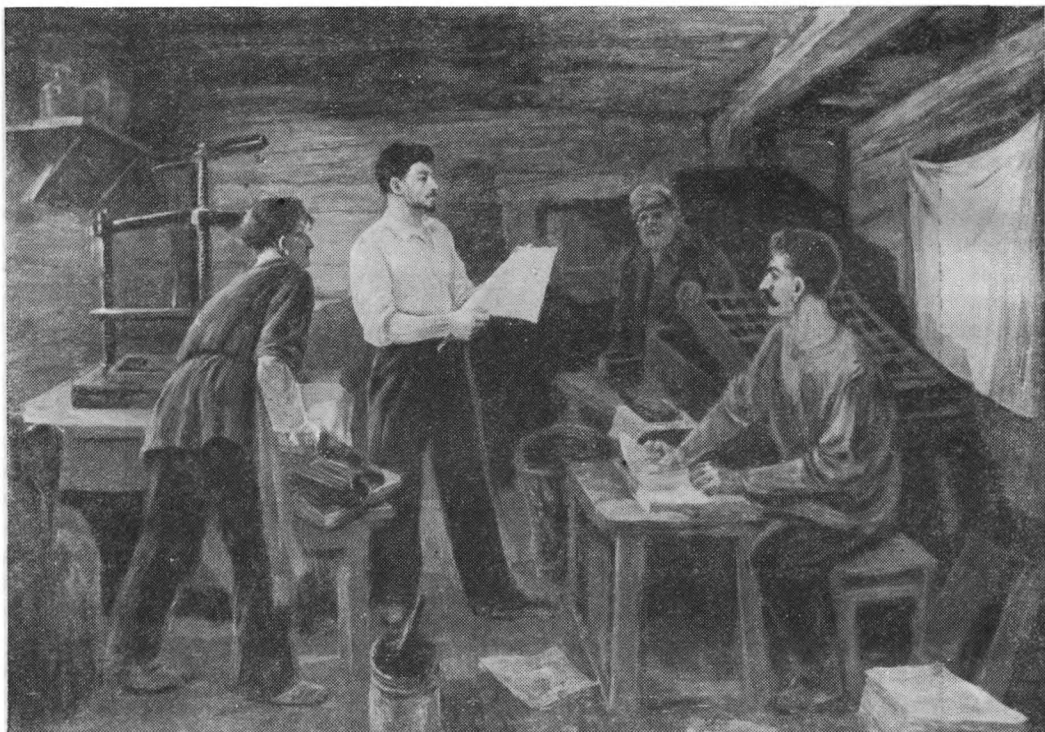
ных художников. Из этих произведений сложилась выставка, посвященная двум гениальным вождям социализма, его истории, его сегодняшним делам.

Необычаен во всех отношениях состав участников выставки. Это мужчины и женщины многих возрастов, национальностей, профессий. Самому младшему из них—клубному работнику А. Шейферу—шестнадцать лет, самому старшему — архитектору Е. Павлову—шестьдесят пять. Русские и украинцы, белорусы и грузины, армяне и казахи, узбеки, тюрки, осетины, якуты представляют здесь от всех одиннадцати братских республик Советского Союза. В экспозиции выставки рабочий сосед-

ствует с архитектором, колхозник с педагогом, домашняя хозяйка с красноармейцем, бухгалтер с зоотехником, метеоролог с клубным работником.

Первый раздел выставки рисует детство и юность Ленина и Сталина, начало их политической жизни, их революционную деятельность до Октября.

«Ленин слушает игру матери на рояли» — это картина служащего А. Морозова (Горьковская область), одного из наиболее сильных на выставке живописцев. В хорошо продуманном произведении правильно распределены композиционные и цветовые акценты. Тепло написаны лица — сосредоточенное у матери, внимательное, чуть задумчивое



*И. В. Сталин в подпольной типографии в 1902 г.
Картина Т. Н. Аверина*

у мальчика — Володи Ульянова. Бережно следуя известному детскому портрету Ленина, художник очень тактично придал ему необходимое выражение. Морозов представлен на выставке еще двумя значительными полотнами.

В заключительном зале помещена его картина — «На избирательном участке». Интересней, однако, разработанный им исторический сюжет «Сталин скрывается у крестьянина во время бегства из восточно-сибирской ссылки. 1904 г.».

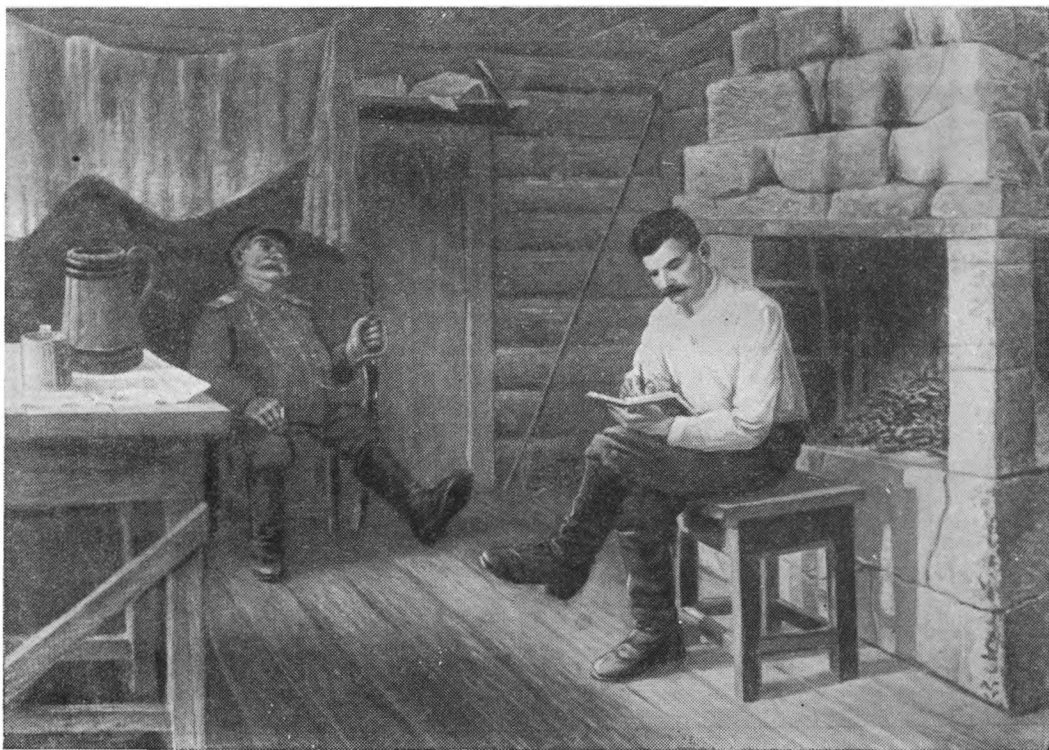
Сталин только-что вошел в тесную избу. На нем распахнутый тулуп, в руках меховая шапка. Хозяин, запирающий дверь, и хозяйка, занавешивающая окно, обращаются к дорогому гостю. К нему прикованы также взгляды старика-деда и мальчика. Светом, идущим от железной печки, художник выделяет фигуру Сталина из окружающего полумрака. В целом во всей этой сцене есть верность настроения, есть жизненная правда.

Этому же периоду жизни Сталина,

его пребыванию в восточно-сибирской ссылке, в селе Новая Уда, посвящена картина иркутского бухгалтера В. Богданова.

Работа Богданова, так же как целый ряд других произведений выставки, опровергает распространенное, но неверное представление о самодеятельных художниках, как о дилетантах. Богданов безусловно вооружен основными знаниями о живописи, а метод его творчества свидетельствует о серьезном профессиональном подходе к картине. Тщательно и свежо написан с натуры зимний пейзаж — фон, на котором вырисовывается характерная мужественная фигура Сталина. С высокой горы наблюдает он широкую панораму зимней сибирской природы. Далеко внизу раскинулись маленькие домики села. Сталин стоит, опершись на колено. Взгляд его устремлен в пространство. Он думает — думает о большом, о важном.

Ленинградский рабочий П. Сергеев изображает вторую, туруханскую ссылку.



*И. В. Сталин в туруханской ссылке в 1913—1917 гг.
Картина К. М. Машкова*

ку Сталина в 1913—1917 гг. На берегу реки, у опрокинутой лодки, Сталин ведет беседу с нанайцами. Тепло, с большим настроением написано это маленькое полотно.

Воплощенные в картинах, всплывают из прошлого знакомые даты, хорошо известные события большевистской истории, навсегда связанные с жизненными судьбами двух гениальных вождей партии.

1897 год. Ленин — в селе Шушенском. Его приезд. Его беседа с крестьянами. 1902 год. Сталин в подпольной типографии; Сталин на Батумской демонстрации (изображенный в картине очень талантливого двадцатилетнего осетина А. Джанаева). 1905 год. Первая встреча Ленина и Сталина в Таммерфорсе... Так по большим историческим вехам, иногда в последовательности, иногда с пропусками, располагаются произведения выставки.

В картинах и рисунках второго зала показан Смольный в Октябрьские дни.

Здесь руководители партии — Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский.

Больше других запоминается полотно служащего Г. Татарникова (Ленинград). Оно превосходно по композициям и темпераментно по живописи. Молодой художник убедительно характеризует фигуры вождей на первом плане и красногвардейцев — на втором. В картине есть главное — точное ощущение события и его обстановки. Верится, что это — штаб Октября.

В работах самодеятельных художников сплошь и рядом встречаются ошибки в рисунке, в композициях, в живописи.

Однако год от года уровень народного изобразительного творчества становится выше. Крепнут и шлифуются таланты многих по-настоящему одаренных людей.

Из числа молодежи отличаются своими способностями девятнадцатилетний учащийся А. Кирчанов (Восточно-Сибирская область) и двадцатилетний кол-



В. И. Ленин и Н. К. Крупская среди крестьян в деревне Кашино.

Картина А. Н. Кирчанова

хозный киномеханик С. Дядюшенко (Украина).

Дядюшенко написал хорошую картину «Выступление Ленина на III съезде комсомола». Художнику удалось воссоздать правдивый образ Ленина и характерные фигуры комсомольцев тех лет, удалось выразить интимную близость оратора и аудитории. Напрасно только автор произвольно перенес заседание съезда в случайное помещение заурядного районного клуба.

Кирчанова, как и многих других участников выставки, привлекают темы гражданской войны — романтика славных боев и побед Красной Армии над силами контрреволюции. «Киров на Северном Кавказе», «Щорс на приеме у Ленина», «Сталин в штабе Первой конной армии» — таковы сюжеты наиболее интересных картин этого раздела выставки.

Кирчанову принадлежит талантливый эскиз картины «Сталин вручает знамя Луганскому полку». Момент торжест-

венный. Командир принимает знамя из рук Сталина; красные конники салютуют вождю поднятыми вверх шашками. В колорите картины, в пейзаже, в группировке людей выражена боевая, тревожная и вместе с тем бодрящая атмосфера героических дней гражданской войны.

Историческая живопись — это один из самых трудных и сложных жанров в искусстве. Здесь особенно легко ошибиться, сфальшивить, взять неверный аккорд.

Более или менее значительные недостатки изобразительной грамотности, конечно, мешают осуществлению любой, даже самой «несложной», исторической темы.

Тем не менее самодеятельные художники народа в лучших своих произведениях справляются с основными трудностями исторических замыслов. Богатство художественной фантазии, знание фактов истории помогают им создавать правдивые картины прошлого.



*М. И. Калинин на родине.
Картина В. Д. Зайцевой*

Темы своих батальных композиций самодеятельные художники черпают не только из истории. Совсем недавно отзвучали выстрелы на озере Хасан, а в залах выставки уже можно увидеть полотна, запечатлевшие победу Красной Армии над японскими самураями.

Литературный работник Т. Аверин (Московская область), автор картины «Сталин и Ворошилов среди танкистов», показывает в другом своем произведении момент боя у высоты Заозерной. С винтовками наперевес, с гранатами в руках идут в наступление бойцы Красной Армии. Решительным ударом они выбивают врага с советской территории. Чтобы выразить напряжение схватки, ее динамику, художник нашел необходимые краски, линии, ритмику движения фигур. Он создал реалистическую волнующую картину боя у озера Хасан.

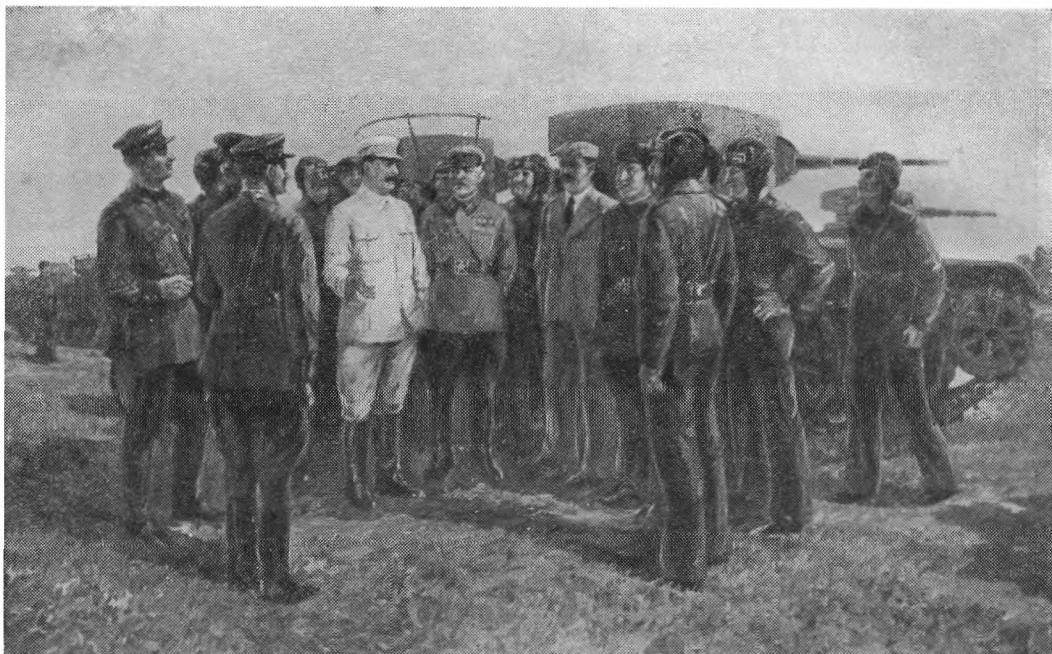
Скромней по количеству в сравнении с живописью представлена на выставке скульптура. Однако общий уровень ее

выше. Многие картины и рисунки еще не свободны от подражания известным произведениям профессиональных художников. Работы скульпторов в большинстве своем оригинальны, самостоятельны.

Интересны замыслы, непосредственные чувства, выраженные в произведениях рабочего А. Круглова (Горьковская обл.), бетонщика Г. Петина (Чкаловская обл.), педагога М. Кульжинского (Москва), экономиста М. Жаржевского (Ленинград), рабочего И. Васильева (Ленинград).

Монументальная скульптура Круглова «Сталин и Горький» отличается ясностью построения, пластичностью форм, хорошими портретными качествами. Круглов уверенно и точно передает характерные особенности фигуры Горького.

Убедителен образ Сталина, с особой силой воссозданный скульптором во второй его работе — в энергичном, волевом бюсте вождя.



*И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и В. М. Молотов среди танкистов.
Картина Т. Н. Аверина*

Сложную для скульптуры историческую тему «Сталин и Ворошилов на фронте» решает Петин. В его произведении есть редкое сочетание простоты и пафоса. Как бы на пригорке стоят фигуры командармов революции — спокойные и сосредоточенные. Скупым, но все объясняющим жестом правой руки Сталин указывает Ворошилову направление боя.

Это не случайный эпизод и не простая зарисовка исторического факта.

Это образ, олицетворяющий большевистскую мощь, военную мудрость, непобедимость.

Совсем по-новому, выразительно и своеобразно исполнены портреты Сталина в скульптурных бюстах М. Жаржевского и И. Васильева. В первом бюсте дан целостный и собранный портрет молодого Сталина.

Вторая работа изображает Сталина в меховой шапке.

Это — тепло и любовно прочувствованный образ вождя эпохи гражданской войны.

В последнем разделе выставки исто-

рия смыкается с современностью. В произведениях этого раздела нашли свое отражение победы социализма. Художники повествуют о зажиточной и счастливой жизни, стахановском движении, обороне страны.

Товарищу Сталину, выступающему перед избирателями в Большом театре, посвящена лучшая картина заключительного зала.

Ни одна из прежних выставок народного изобразительного творчества не была столь высока по своему идейному и художественному уровню, как эта выставка, вдохновленная именами Ленина и Сталина.

Это неудивительно: великие образы вождей народа живут в его сознании, в помыслах и чувствах миллионов советских людей.

Легко, непосредственно, искренно рождаются произведения, творимые народом. Свободная художественная деятельность роднит, сближает самодеятельное искусство с профессиональным, ломает бессмысленные перегородки между ними. В условиях социализма чело-

век получает возможность всесторонне развивать свои склонности, способности, таланты. Вместе с преодолением противоположности физического и умственного труда, вместе с движением к коммунизму, где, говоря словами Маркса и Энгельса, «каждый не ограничен исклю-

чительным кругом деятельности, а может совершенствоваться в любой отрасли», различия между профессиональным и самодеятельным искусством будут постепенно стираться. Два потока искусства сольются в единое гармоническое творчество народа.



Шолом-Алейхем

(К восьмидесятилетию со дня рождения)

А. ГУРШТЕЙН

★

1

Великий еврейский писатель Шолом-Алейхем (настоящее его имя Шолом Рабинович) родился на Украине в гор. Переяславе 2 марта 1859 года. Он прошел тяжелый жизненный путь.

О своих детских и юношеских годах Шолом-Алейхем рассказал в написанной им уже в последние годы жизни замечательной книге «С ярмарки», которая является художественной автобиографией писателя и дает в то же время широкую картину тогдашней еврейской жизни.

Отец Шолом-Алейхема принадлежал к местечковой знати, числился богачом. Мать торговала в лавке. Семья была многочисленная — целая куча ребятишек, мал-мала меньше.

Свои ранние годы Шолом-Алейхем провел в небольшом местечке Полтавской губернии — Воронкове. Первоначальное воспитание будущий писатель получил, как водилось в старину, религиозное. Источником тогдашней премудрости в еврейской среде был так называемый «хедер», начальная религиозная школа, которая с помощью розог и ремня вколачивала в головы своих воспитанников библейские рассказы и казуистические положения Талмуда. Хедер вводил детей далеко от реальной жизни, в какие-то несуществующие фантастические миры и пугал детское воображение ужасами загробной жизни.

Маленького Шолома тянуло из затхлого «хедера» на простор, под глубокое

синее небо, к горе, которая подымалась над местечком. Детское сознание жадно ловило впечатления окружающей жизни, мальчик льнул к товарищам, к четвертому другу Серко, его занимал весь несложный быт патриархального местечка. И сквозь все преграды, пробивался ребячья радость; смех, здоровый детский смех, заглушал благочестивые голоса невежественных учителей и воспитателей.

Но беззаботные годы шолом-алеихемовского детства скоро миновали. Отец его сильно обеднел. Пошатнувшиеся дела заставили искать нового места для жительства. Семья оставляет Воронково и возвращается в Переяслав, на родину Шолом-Алейхема. Здесь отец Шолом-Алейхема, Нохум Рабинович, становится содержателем заезжего двора. Остатки семейного серебра заложены у ростовщика. Зловещим призраком замаячила перед семейной нуждой.

А тут еще холерная эпидемия уносит в могилу мать, на которой держалась вся многочисленная семья. Шолому было лет 13, когда умерла его мать. В доме появилась злая, сыпавшая проклятиями мачеха. Шолом был вынужден помогать отцу в заезжем дворе, который тот содержал, зазывать проезжих гостей, подавать им самовар, бычь у них на побегушках.

Вопрос о воспитании Шолома очень занимал отца, который хоть и был религиозен, но не был чужд светским наукам: и его коснулись новые веяния вре-

мни, он был начитан в еврейской просветительной литературе (по-еврейски просветительство называлось «гаскала»).

Детство Шолом-Алейхема падает на 60—70-е годы прошлого столетия. Это было время, когда старый патриархальный уклад еврейского местечка, который, казалось, окончился в своей косности, стал давать трещины. Вся страна, вступившая в пореформенный период, переживала сильнейшие изменения как в области хозяйства, так и во всех других областях жизни. Старые устои, на которых держалась крепостническая Россия, рухнули, страна окончательно вступила на путь капиталистических отношений. Вместе с тем появилось широкое демократическое движение «разночинной» интеллигенции. Все эти новые веяния проникли и в еврейскую среду. Стены, отгораживавшие еврейское местечко от всего мира, зашатались. И в еврейском местечке все более и более стали появляться люди, выступавшие против фанатизма и невежества, звавшие к просвещению, к новой жизни, к новым формам быта.

Нохум Рабинович послал своего сына Шолома учиться в уездное училище. Это была для того времени и для тогдашней еврейской среды смелый и необычный шаг.

Царское училище, насаждавшее в своих воспитанниках послушание царю и власть имущим, все же научило молодого Шолома Рабиновича русскому языку и таким образом открыло ему доступ к сокровищам великой русской литературы с ее идеями гуманизма и борьбы за освобождение. Знакомство с лучшими произведениями русской литературы углубило то влияние, которое молодой Шолом Рабинович испытал от чтения еврейской просветительной литературы, борющейся со старым косным укладом еврейского быта и ратовавшей за новые, европейские формы жизни. С еврейской литературой Шолом-Алейхем познакомился еще мальчиком. Сидя на лавочке у ворот отцовского заезжего двора и поджидая проезжих гостей, Шолом глотал одну книгу за другой.

Курс уездного училища Шолом Рабинович окончил в 1876 году. Литератур-

ные интересы у него пробудились рано. О первых шагах своей литературной работы Шолом-Алейхем со свойственной ему шуткой говаривал, что первое побуждение к тому, чтобы писать, было вызвано у него тем, что он не мог равнодушно видеть белую, гладкую бумагу: его неудержимо тянуло исписать ее.

Первым печатным произведением Шолома Рабиновича была корреспонденция из Переяслава, появившаяся в 1879 году (автору было тогда 20 лет) в газете «Гадцефира», выходившей на древне-еврейском языке. Надобно сказать, что литературным языком еврейской интеллигенции в то время был по преимуществу древне-еврейский язык: интеллигенция тогда чуралась живого современного еврейского языка, на котором говорили народные массы.

В 1883 году Шолом Рабинович впервые выступил в печати со своими произведениями на еврейском народном языке в журнале «Идишес Фолксблат». Автор понял, что доступ к широким народным массам он найдет лишь тогда, когда будет писать на их живом языке, а не на древне-еврейском, который доступен лишь очень узкому, ограниченному кругу избранников. И с этого времени Шолом-Алейхем находит свое подлинное призвание. Его имя становится все более и более популярным.

Литература на еврейском народном языке представляла тогда еще мало возделанную ниву. Правда, в 60-х годах прошлого столетия началось большое оживление в еврейской литературе, выросло целое демократическое течение, появились такие замечательные писатели, как Менделе Мойхер-Сфорим, Линецкий, Гольдфаден. Они выступали против эксплуатации и нищеты, против невежества и косности, против отсталости народа, против живучих остатков средневековья в быту и культуре, они ратовали за просвещение, за демократизм, за новый бытовой уклад, за раскрепощение семейных отношений. Приход этих писателей знаменовал эпоху в развитии еврейской литературы на живом еврейском языке народных масс. Но предстояла еще огромная работа по дальнейшему приобщению литературы к новейшим

идеям и формам более передовых литератур, по формированию нового литературного языка, по созданию культурных читательских кадров. Шолом-Алейхем пришел в еврейскую литературу, полный творческих сил, с живой инициативой, с благороднейшими стремлениями, выросшими на почве просветительных идей еврейской литературы и всего богатейшего содержания великой русской литературы, которая, начиная с 20—30-х годов XIX века, стала оказывать все большее и большее влияние на формирование еврейской литературы.

2

Личная жизнь Шолом-Алейхема сложилась очень своеобразно. В 1885 году, после смерти тестя, ему досталось большое наследство. Он переехал в Киев, где зажил широкой жизнью. Но Шолом-Алейхем не знал, что ему, собственно, делать со случайно доставшимся ему большим состоянием. Вокруг новоиспеченного богача засуетились жулики и спекулянты, почуявшие легкую и хорошую поживу. Доверчивый Шолом-Алейхем пустился в различные коммерческие операции и через короткое время лишился своего богатства. В этот кратковременный период своего богатства Шолом-Алейхем успел выпустить два больших тома «Еврейской Народной Библиотеки», в которых участвовали лучшие еврейские писатели того времени и которые сыгнали большую роль в еврейской литературной жизни. Здесь Шолом-Алейхем напечатал свои романы «Степеню» и «Иоселе-Соловей».

Став писателем-профессионалом, Шолом-Алейхем зажил тяжелой жизнью дореволюционного литератора, зависящего от произвола издателей и газетных редакторов, вынужденного ради куска хлеба растрчивать свои творческие силы в непосильной газетной работе. Первые годы Шолом-Алейхему приходилось искать заработка и на стороне, вне литературы.

В 1904 году в бытность свою в Петербурге, куда Шолом-Алейхем ездил хлопотать о разрешении ему издавать ежедневную газету на еврейском языке (из

этих хлопот ничего не вышло), он познакомился с известными русскими писателями того времени: Л. Андреевым, А. Kupриным. Здесь же он, наконец, получил возможность осуществить свою старинную мечту о встрече с А. М. Горьким. Впечатление от личного знакомства с Горьким было огромное.

Шолом-Алейхем навсегда сохранил чувство глубочайшей привязанности к А. М. Горькому и преклонения перед его дарованием и личностью. В уста одной из дочерей Тевье Молочника Шолом-Алейхем вложил следующие слова о Горьком: «Горький нынче почти первый человек в мире»... В 1910 году, вскоре после появления русского перевода прекрасной повести Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл», А. М. Горький приветствовал еврейского писателя своим известным письмом, в котором во весь голос прозвучало признание шолом-алейхемовского таланта. Горький неизменно интересовался литературной работой и жизнью Шолом-Алейхема. Эту привязанность к Шолом-Алейхему и добрую память о нем великий русский писатель сохранил до конца своих дней: он помянул его на первом съезде советских писателей, назвав «исключительно талантливым сатириком и юмористом».

Весь период первой русской революции 1905 года связан для Шолом-Алейхема с повышенным вниманием к революционным событиям и к образам революционеров. Волна революционного подъема в стране нашла отражение в целом ряде рассказов Шолом-Алейхема и в его романе «Потоп» (1907). Несмотря на наступившую после поражения революции политическую реакцию и на ряд испытаний, которые Шолом-Алейхему пришлось пережить, он сохранил неизменную веру в то, что его родная страна и все народы доживут до светлых дней освобождения.

В октябре 1905 года Шолом-Алейхем вместе с семьей пережил ужасы еврейского погрома в Киеве. Почувствовав себя душевно надломленным, Шолом-Алейхем решил отправиться в Америку, которая манила к себе так называемыми демократическими свободами. Слишком уж неистовствовало царское самодержавие

вие, мстя за революцию. Шолом-Алейхему, между прочим, приходилось не раз сталкиваться с царской цензурой, которая чуяла в его произведениях «крамолу». Жандармское управление завело даже целое «дело» о Шолом-Алейхеме в связи с его перепиской с русскими писателями по поводу издания сборника в пользу пострадавших от погрома.

После долгих странствий по разным странам Европы Шолом-Алейхем, наконец, осенью 1906 года добрался до Нью-Йорка. Но здесь он долго не оставался. Его тянуло домой, на родину, к тем народным массам, о которых и ради которых он писал свои смешные рассказы, таившие в себе глубокую печаль. Летом 1908 года он совершает большое турне по городам и городкам России с большим еврейским населением. Всюду его ждет радостная встреча. Во время этой триумфальной поездки он внезапно заболевает, у него обнаруживается острый туберкулезный процесс в легких. Болезнь его застала в маленьком городке — в Барановичах, Минской губернии. Около двух месяцев Шолом-Алейхем был прикован к постели. И в течение всего этого времени взоры многих и многих сотен тысяч его читателей были обращены к маленькому городку, где любимый народный писатель боролся с внезапно появившимся у его изголовья призраком смерти. Оправившись от болезни, Шолом-Алейхем по совету врачей отправился в Нерви, в Италию. В том же 1908 году, поздней осенью праздновался 25-летний юбилей литературной деятельности Шолом-Алейхема.

Юбилей праздновался в отсутствие Шолом-Алейхема. Больной, одинокий, без средств к существованию, вдали от родины и своего народа, Шолом-Алейхем писал из итальянского пансиона письма, полные горечи.

К этому времени Шолом-Алейхем уже был знаменитым писателем, его имя стало самым популярным в еврейской среде, оно было известно и далеко за пределами еврейской среды. Но приобретенная Шолом-Алейхемом огромная слава не избавила его от постоянной нужды. В связи с юбилеем в периодической печати открыли сбор пожертво-

ваний, которые потекли со всех концов страны. Народ нес свои трудовые копейки, чтобы помочь любимому писателю. Юбилейный комитет на собранные пожертвования «выкупил» в 1909 году произведения великого писателя из кабалы частных издателей. Шолом-Алейхему вернули права на его собственные произведения. В этом же году в московском издательстве «Современные проблемы» стало выходить на русском языке собрание сочинений Шолом-Алейхема, очень тепло встреченное русской критикой. Перевод Шолом-Алейхема горячо приветствовал А. М. Горький.

Болезнь заставляла Шолом-Алейхема искать все время убежища под благотворным солнцем южных стран. Весной 1914 года Шолом-Алейхем вновь совершил поездку по городам России, где он выступал с чтением своих произведений. Еврейские народные массы, как и встарь, с радостью и с энтузиазмом встречали и провожали своего любимого писателя.

Мировая империалистическая война застала Шолом-Алейхема на курорте в Германии. Вместе с другими русскими подданными он был выслан в Берлин, откуда ему удалось бежать с семьей в соседнюю нейтральную Данию. Больной, без средств к существованию, он провел здесь несколько тяжелых месяцев. В конце 1914 года Шолом-Алейхем приехал в Нью-Йорк. Тоска по родине не покидала его, он рассчитывал сейчас же по окончании войны, с первым пароходом, уехать в Россию. Но болезнь сделала свое дело, годы его уже были сочтены. Ужасы мировой войны, ложась тяжелой печатью на душевное состояние писателя, также подтачивали организм. Шолом-Алейхем умер в Нью-Йорке 13 мая 1916 года, 57 лет от роду. За гробом его шли сотни тысяч людей.

В своем завещании Шолом-Алейхем писал: «Где бы я ни умер, пусть меня похоронят не среди аристократов, людей знати, либо богачей, но среди простых евреев рабочих, с подлинным народом, чтобы памятник, который потом поставят на моей могиле, украшал простые могилы вокруг меня, а простые могилы чтоб украшали мой памятник, как про-

стой, честный народ при моей жизни украшал своего народного писателя». В этих словах завещания великий писатель прекрасно выразил свою близость с народом.

3

Писатели обычно не сразу находят себя. Шолом-Алейхем без особенного успеха пробовал свои силы в поэзии, хотя несколько его стихотворений вошли в еврейский фольклор и распевались как народные песни. В стихотворных произведениях Шолом-Алейхема чувствуется порой влияние Некрасова, как в их идейной настроенности, так и в их ритмическом рисунке. Из ранних стихотворений Шолом-Алейхема отметим сатирическую поэму «Еврейские чиновники» (1884), в которой автор зло обрушивается на заправил и чиновников еврейской общины, выжимавших последние соки из бедного люда. В годы первой революции 1905 года была популярна сатирическая песня Шолом-Алейхема («Спи, Алекса»), направленная против царя Николая и его сына, царевича Алексея.

Несравненно большее значение, чем стихи, имели критические выступления Шолом-Алейхема, относящиеся к 80-м годам прошлого столетия. В 1888 году Шолом-Алейхем выпустил книжку под названием «Суд над Шомером». Шомер был автором несметного числа бульварных романов, пользовавшихся тогда огромной популярностью как в отсталой мещанской среде, у разбогатевших выскочек, так и в среде отсталых «низов»: приказчиков, кухарок и т. д., которых Шомер убаюкивал своими выдуманскими историями о счастливых превращениях слуг в лордов и князей. Шолом-Алейхем объявил поход против этой наводнившей к тому времени еврейскую литературу бульварщины, прививавшей народным массам низменные вкусы и отрывавшей их от реальной действительности и реальных нужд. В противовес бульварным романам Шомера и его сподвижников Шолом-Алейхем выдвигал произведения подлинных писателей: Менделе Мойхер-Сфорим, Линецкого, Гольдфадена и других, которые рисо-

вали действительную жизнь народа и звали его на борьбу за лучшее будущее, против косности и фанатизма, за приобщение к новым формам культуры и быта. Шолом-Алейхем особенно подчеркивал тему нищеты в произведениях лучших еврейских писателей (у него есть специальная статья об отражении «еврейской нищеты» в литературе, относящаяся приблизительно к тому же времени), — подчеркивал потому, что он видел в этом защиту подлинных интересов народа. Уже в своих критических статьях Шолом-Алейхем выступал как поборник правдивой, реалистической литературы, которая борется за народные интересы.

Свое подлинное призвание Шолом-Алейхем нашел в художественной прозе, преимущественно в области рассказа. В художественном творчестве Шолом-Алейхема нашла свое замечательное воплощение жизнь еврейского народа в бесконечно тяжелый для его существования период, когда он изнывал под двойным гнетом царского произвола и капиталистической эксплуатации.

Псевдоним писателя «Шолом-Алейхем» означает обычное еврейское приветствие («мир вам», «здравствуйте») ¹, с которым в старом еврейском быту обращались друг к другу при встрече. Уже в самом этом псевдониме сказались симпатия писателя к народным массам, к их быту, к их страданиям и надеждам. Еврейские народные массы встретили Шолом-Алейхема, как близкого, как своего человека, с которым можно и пошутить, и запросто поделиться своими горестями и печалью.

Шолом-Алейхем стал определяться как писатель в 80-е годы прошлого столетия, в годы жестокой политической реакции в России, вскоре после организованных правительством еврейских погромов, прокатившихся волной по городам с еврейским населением. В жизни еврей-

¹ Мне рассказывал один поэт, что знаменитый народный певец Дагестана Сулейман Стальский спросил его: «Правда ли, что у евреев был писатель по имени Салам (салам—это арабская форма древне-еврейского слова «шалом» и значит «мир»)? Какое прекрасное имя он себе выбрал!».

ских народных масс, загнанных царским правительством в несколько губерний, в так называемую «черту оседлости», которую они не имели права переступить, происходили важные социальные сдвиги. Предшественник Шолом-Алейхема, первый из классиков еврейской литературы, Менделе Мойхер-Сфорим дал замечательное изображение старого еврейского быта первой половины XIX века, еще сохранявшего феодально-средневековые устои. Под напором растущего капитализма эти устои рухнули. Новые, капиталистические отношения докатились и до еврейского гетто. Старое еврейское местечко зашевелилось, его обитатели стали искать себе места в новом распорядке экономических отношений. Этот болезненный процесс разрушения старого уклада и перехода к новым, капиталистическим отношениям и изобразил с огромной силой Шолом-Алейхем.

Самыми замечательными произведениями Шолом-Алейхема являются циклы его рассказов, посвященных Менахем-Менделю и Тевье-Молочнику. Над этими произведениями Шолом-Алейхем начал работать еще в 90-х годах, неизменно возвращаясь к ним на протяжении всей своей жизни.

Из крохотного еврейского местечка, жившего замкнутой жизнью нищенского муравейника, Менахем-Мендель попадает в капиталистический мир. С лихорадочной суетливостью Менахем-Мендель пытается приспособиться к новым отношениям и к новым формам быта. Но у него нет ни трудовых навыков, ни чувства реальной почвы под ногами. В течение столетий выработывалась в определенных слоях еврейской среды оторванность от земли, от реальной действительности, склонность к фантастическим мечтаньям, к абстрактным построениям. Еще предшественники Шолом-Алейхема в еврейской литературе (особенно Менделе Мойхер-Сфорим) рисовали таких оторванных от жизни мечтателей-фантастов. Но те мечтатели жили в мире грез и представлений прошлой средневековой культуры, давно уже устаревшей и отжившей (как, например, Вениамин в знаменитом произведении Менделе Мойхер-Сфорим «Путешествие

Вениамина Третьего»). Шолом-алеихемовский же персонаж — Менахем-Мендель пытается подойти с унаследованными от прошлого мерками и навыками к новой, капиталистической действительности. И естественно, что при первой же встрече с этой суровой и бессмысленной действительностью Менахем-Мендель терпит жестокое поражение.

Он строит бесконечные проекты, один фантастичнее другого, бросается от одной профессии к другой. Он пускается в биржевые авантюры и коммерческие спекуляции, становится сватом, маклером-посредником, страховым агентом, пробует писательское ремесло. Но всюду и во всем Менахем-Менделя ждет неудача. Потому что «все, что построено на воздухе и на ветре, должно в конце-концов пасть» (из предисловия Шолом-Алейхема ко 2-му изданию «Менахем-Менделя»). Даже когда Менахем-Мендель берется за сватовство, то оказывается, что он сводит двух девиц. Ему бы подстать торговать погребальными саванами, — тогда бы перевелись покойники!

Настоящей механики того огромного капиталистического мира, куда он попал, он, по существу, не понимает, он улавливает только внешние черты суеты и движения. Менахем-Менделю кажется, что он вместе со всеми движется к какой-то новой жизни. Но это — самообман. Менахем-Мендель — типичный «человек воздуха», каких создавала в России еврейская среда в старое проклятое время, время нищеты и гнета. Время это создавало не только паразитизм эксплуатации, но и паразитизм другого рода, паразитизм нищенского существования, основанный на невозможности применить свой труд, на отсутствии трудовых навыков. «Люди воздуха» типа Менахем-Менделя плодились в среде мелкой и мельчайшей буржуазии.

Совсем другие черты воплощает в себе любимый образ Шолом-Алейхема — Тевье-Молочник. Это — человек из народа, выросший в труде. Правда, его представления о жизни глубоко патриархальны, он сросся со старым бытовым укладом. Не стоящая на одном месте,

всегда идущая вперед жизнь ставит перед ним одно испытание за другим. Новая жизнь врывается к Тевье через его дочерей, которые уже по-другому воспринимают все окружающее, у которых уже иные взгляды на вещи.

Старшая дочь Цейтл не соглашается выйти замуж за чужого ей человека, за мясника-толстосума, которого ей сватают. Она выходит замуж за ремесленника-портного, который ей пришелся по сердцу. Другая дочь Годл полюбила революционера Перчика, которого царское правительство ссылает в Сибирь. Третья дочь Хава выходит замуж не за еврея, нарушая этим старые национально-религиозные предрассудки, которые воздвигали стену между людьми разных наций.

Дочери Тевье-Молочника вовлекаются в водоворот новой жизни, не всегда ему понятной. Они поступают не так, как поступали отцы и деды, они порывают со старым и идут навстречу новому, которое пугает своей новизной и необычностью. Но Тевье находит в себе достаточно силы, чтобы если не понять все то новое, что происходит на его глазах, то, по крайней мере, как-то его принять, хотя бы какой-то стороной, если не сознанием, то инстинктом. Выросший в старом быту, проникнутый его предрассудками, Тевье тем не менее оказывается на стороне дочери, последовавшей за мужем-революционером в ссылку в далекую Сибирь. В этом сказывается здоровая природа трудового человека, глубоко связанного с народом.

Тевье-Молочнику трудно расставаться с любимыми дочерьми, семейные несчастья подкашивают здоровье жены Годлы, бесконечно ему преданной, и та помирает. А тут еще Тевье приходится оставить насиженное гнездо, потому что из губернии пришел приказ о выселении его на том основании, что евреям в сельских местностях жить не дозволяется. Десятки лет жил здесь Тевье, и отец и дед его, жили в полном согласии с крестьянами, несмотря на все попытки царского правительства посеять национальную рознь. Но по произволу царских сатрапов Тевье пришлось покинуть родной дом.

Все эти несчастья и напасти не сломили духа Тевье. Крепка глубоко заложенная в нем сила человека из народа и крепка вера в победу этой правой силы. Он по-своему выражает протест против несправедливого социального уклада. Мы чувствуем, что Тевье докопается до правды, поймет, кто его враги и что с ними надо сделать, чтобы жизнь стала справедливой и лучше.

Менахем-Мендель и Тевье-Молочник принадлежат к основным образам Шолом-Алейхема. Даже невооруженным глазом можно различить как социальное, так и психологическое противопоставление этих двух основных типов у Шолом-Алейхема: «человека воздуха» и простодушного труженика. Да и сам Шолом-Алейхем в ряде высказываний подчеркивал свою особенную любовь к Тевье-Молочнику, как носителю идеальных устремлений автора.

Но Шолом-Алейхем, конечно, видит не только смешные стороны своего Менахем-Менделя; в его конвульсивных поисках мнимого «счастья» в капиталистической действительности писатель видит и трагическую обреченность. Большой печалью веет от слов Менахем-Менделя, обращенных к жене: «Сотворил бы хоть господь со мной какое-нибудь чудо: разбойники напали бы на меня и убили, или бы мне так помереть, идя по улице, потому что, дорогая моя супруга, я уж не могу более все это переносить». В отношении Шолом-Алейхема к Менахем-Менделю есть что-то родственное отношению великого испанца Сервантеса к «рыцарю печального образа» Дон-Кихоту: смешное и трагическое сплетается здесь в один неразрывный узел. Но сквозь черты сожаления и сочувствия, вызываемые трагической участью Менахем-Менделя, проступает основное к нему отношение писателя—отрицание. Шолом-Алейхем отрицает самую категорию «человека воздуха», как категорию фантастическую, как нездоровый призрак, и противопоставляет ему, как положительный тезис, как утверждающее начало — Тевье-Молочника, который, несмотря на все свои предрассудки, прочно и крепко связан с трудовой народной сти-

хий, с землей, на которой он вырос и на которой он трудится.

4

Юмор дает Шолом-Алейхему возможность обнаружить все смешные стороны той жизни, которую он живо чувствует, но в юморе Шолом-Алейхема заложена и большая печаль, сочувствие к людям. Великий писатель знает, что люди, над которыми он смеется, часто «без вины виноваты». Смешными их сделала убогая и бесправная жизнь.

Вот перед нами голодный мечтатель, у которого нет гроша за душой, учитель «хедера», занимающий низшую ступень в беднейшей учительской иерархии. Он мечтает о том, как, став миллионером Ротшильдом, он прекратил бы братоубийственные войны и уничтожил бы деньги, от которых берется все зло. Но печальная действительность прерывает его мечтания настойчивым вопросом: где достать денег на субботу?

Нищета еврейских народных масс в царской России принимала фантастические очертания. Это признавал даже царский министр Плеве, которого трудно заподозрить в симпатии к евреям. Шолом-Алейхем дает в целом ряде своих рассказов картину этой нищеты, усугубленной невероятной конкуренцией. Подлинным гротеском звучит его рассказ «Конкуренты», действующими лицами которого являются муж и жена. В погоне за покупателем они следуют друг за другом по пятам, отбивая друг у друга кусок хлеба.

Шолом-Алейхем — не сатирик в собственном смысле этого слова. Шолом-Алейхем — юморист, один из величайших юмористов в мировой литературе. Как у подлинно-великого, народного писателя, воплотившего в своих замечательных произведениях накопленную столетиями народную мудрость, у него ярко выраженные общественные симпатии и антипатии. Он всегда на стороне народа, на стороне широких народных масс. Смех у Шолом-Алейхема перемежается с печалью именно потому, что он видит трагическую участь народных масс в условиях эксплуатации и гнета.

Шолом-Алейхем находил очень злые слова для тех «верхних десяти тысяч», которые страдают от ожирения, нажитого за счет трудового пота и мук народа. Шолом-Алейхема никогда не покидало чувство брезгливого презрения к верхам буржуазии, к плутократии. Еще в 80-х годах прошлого столетия, в начале своего литературного пути, Шолом-Алейхем выступил с сатирическим романом «Сендер Бланк», направленным против семейного быта еврейских богачей, против еврейских Кит Китчей. В 90-х годах Шолом-Алейхем написал комедию «Якнегоз», резко обличающую биржевых дельцов. С инстинктивным презрением говорят всегда о богатеях и любимый герой Шолом-Алейхем — Тевье-Молочник, и потомственный член портняжного цеха, герой шолом-алеихемовской комедии «Большой выигрыш»¹ — Шимелэ Сорокер, и многие другие персонажи его произведений. Шолом-Алейхем умел показать отвратительное лицо «человека» из Буэнос-Айреса, торгующего живым товаром, и сорвать с него маску. Шолом-Алейхем не раз выступал с сатирическими рассказами против царского режима. И очень солоно приходилось также господу богу от внешне добродушных шуток Тевье-Молочника, который, прикрываясь своим недостаточным знанием священного писания, часто толковал священные тексты в весьма неприятном для господ бога направлении.

У Шолом-Алейхема есть целый цикл рассказов, посвященных «маленьким людям с маленькими устремлениями». Действие этих рассказов разыгрывается в затхлых улочках допотопной Касриловки (такое обобщенное название носит у Шолом-Алейхема старое еврейское местечко). Представления обитателей Касриловки о большом мире самые наивные и смешные. При этом касриловцы почитают себя солью земли.

Живут здесь знаменитые бедняки, мастера голодать. Шолом-Алейхем рассказывает об одном касриловце, который

¹ У нас на советской сцене эта комедия идет под названием «200 000».

пустился искать на белом свете счастья. Во время своих скитаний он попал в Париж к знаменитому миллионеру Ротшильду. Тут он предложил миллионеру такой товар, которого тот от роду не видывал, — в е ч н у ю ж и з н ь. Стоговались за три сотни. Тогда касриловец и говорит Ротшильду: «Ежели вы хотите вечно жить, то мой совет — бросьте этот суетливый Париж и перебирайтесь лучше к нам в Касриловку. Вы тогда никогда не умрете, потому что со времени основания Касриловки у нас еще никогда не помер ни один богач...».

Шолом-Алейхем знает причины возникновения и существования Касриловки. «Касриловка, — говорит он, — находится как раз в середине благословенной «черты оседлости», куда посадили евреев голова на голову, как сельдей в бочку, и наказали им, чтоб они плодились и размножались...». И убогую Касриловку, и печального фантаста Менахем-Менделя породил проклятый общественный строй, основанный на эксплуатации человека человеком. В шолом-алеихемовском «смехе сквозь слезы» звучит горькое осуждение этому строю, искажающему человеческую жизнь.

Шолом-Алейхем сам не был революционером в собственном смысле слова, он не знал, как сделать окружающую его убогую жизнь счастливой. Но он навеки запечатлел в своих прекрасных художественных произведениях смешную и убогую жизнь «маленького человека», показав всему миру, что так жить нельзя. Симпатии Шолом-Алейхема были всегда на стороне угнетенных и трудящихся, он с презрением относился к буржуазии, с любовью рисовал народные низы.

Как и другие великие юмористы, Шолом-Алейхем с большим вниманием и любовью относился к детям, охотно обращался в своих произведениях к их радостям и печалям. «Мальчик Мотл (Записки мальчика)» принадлежит к лучшим произведениям Шолом-Алейхема. Писатель рисует здесь убогую жизнь, полную нищеты и лишений, еврейские погромы, поиски счастья в чужих странах, — все это в преломлении детского сознания. Мальчик Мотл

заявляет: «Мне хорошо — я сирота». Его устами говорит сам великий юморист, которому приходилось смеяться над жизнью, полной горя и страданий.

Детское сознание еще не искажено, не искачено глетворным влиянием капиталистического общества. Душа ребенка широко открывается навстречу красоте жизни, солнцу, весенней радости. Шолом-Алейхем верил в могучие силы народа, а в детской душе великий писатель видел его прообраз, видел предвестие будущей силы. В детских рассказах Шолом-Алейхема в наибольшей мере проявлялся его замечательный лиризм.

Так называемые «детские» рассказы Шолом-Алейхема очень разнообразны по своим мотивам. С лирической теплотой рисует Шолом-Алейхем пробуждение детского чувства любви («Песнь песней», отдельные страницы в повести о мальчике Мотл). Он рассказывает о том, как скованный старым бытовым укладом еврейский мальчик рвался из затхлого хедера на вольный простор, как лукавый нашептывал ему о «греховных» прелестях земной жизни, о свободе, о красоте природы, о красоте искусства («На скрипке»). С особенной силой Шолом-Алейхем подчеркивает постоянное влечение ребенка к народной массе, к народным низам («У царя Агасфера»). В общении с ними ребенок обретает подлинную радость, и у них же он научается начаткам классовой грамоты, научается распознавать друзей и врагов.

Излюбленной формой Шолом-Алейхема является монолог. Герои Шолом-Алейхема, не умеющие действовать, чуждые делу, всю свою энергию вкладывают в слово. Бесконечным потоком речи они как бы пытались «заговорить» незадачливую жизнь.

Шолом-Алейхем является по преимуществу мастером новеллы, рассказа. Его «Менахем-Мендель» и «Тевье-Молочник» — по существу циклы рассказов, объединенные общностью персонажей. Но перу Шолом-Алейхема принадлежат также ряд романов. Три из них («Сендер Бланк», «Степеню» и «Иоселе-Соловей») написаны еще в 80-х годах

и относятся к его ранним произведениям. Роман «Сендер Бланк», направленный против плутократии, окрашен в сатирические тона. «Степеню» и «Иоселе-Соловей» проникнуты романтическим настроением. Из этих ранних романов особенной цельностью отличается «Степеню», в котором тема закрепощенной женщины, навеянная «Грозой» Островского, переплетается с темой народных талантов-самородков, таящихся в народной гуще. В центре романа «Иоселе-Соловей» — также народный талант-самородок, певец Иоселе.

К этим романам о народных талантах примыкает позднее написанный роман «Блуждающие звезды» (1909 — 1911), действие которого связано с жизнью и бытом еврейского театра.

Шолом-Алейхемом написаны еще романы «Потоп» (1907) и «Кровавая шутка» (1912). Первый роман посвящен революции 1905 года; второй, написанный под впечатлением чудовищного судебного процесса еврея Бейлиса, обвиненного царским правительством в совершении ритуального убийства, рисует бесправие еврейского народа во времена царизма. В двух последних романах много интересных страниц, метких наблюдений, бытового материала, но все же на них лежит печать газетной спешки и торопливости.

К жанру романа надобно отнести последнее крупное произведение Шолом-Алейхема — «С ярмарки», произведение, которое Шолом-Алейхем писал в самые последние годы своей жизни и которое он считал своей «книгою книг». Это — повесть о себе, о своем детстве, о своем отрочестве и юности, о вступлении в жизнь, написанная на широком фоне тогдашнего еврейского быта. Это — замечательная книга, поражающая пластичностью образов, задушевым лиризмом, живописанием природы, книга, в которой мастерство писателя выступает во всем богатстве и многообразии зрелости.

Особое место занимает в творчестве Шолом-Алейхема его драматургия. Шолом-Алейхем писал и небольшие одноактные пьесы, как «Мазлтов» (Поздрав-

ление), «Люди» и др., в какой-то мере соответствующие его новеллистическому жанру, и многоактные драматические произведения («Разброд», «Большой выигрыш» (200 000) и др.).

Драматургия Шолом-Алейхема, впитавшая, с одной стороны, лучшие реалистические традиции его предшественников в еврейской литературе и, с другой, находившаяся под сильным воздействием Чехова и Горького, сыграла революционную роль в развитии еврейского театра. Она внесла яркую струю жизни, создала живые характеры и образы, внесла актуальные темы и мотивы, почерпнутые из окружающей действительности. И в области драматического творчества Шолом-Алейхем остается реалистом, гуманистом, народным писателем. При этом следует подчеркнуть, что еврейский театр обращается не только к тем произведениям Шолом-Алейхема, которые им непосредственно написаны в драматической форме, но и ко всему наследию великого писателя, потому что многие его произведения насыщены драматическим материалом, который словно ждал сценического воплощения. Так вырос целый ряд замечательных шолом-алеихемовских постановок еврейского советского театра.

5

Шолом-Алейхем принадлежит к той категории писателей, у которых — как у Бальзака, как у Гоголя — художественный метод (или лучше сказать: содержание художественных образов) значительно шире их общественно-политического мировоззрения. В общественно-политическом отношении Шолом-Алейхем иногда сам разделял предрассудки и шатания мелкобуржуазной интеллигенции, ему не чужды были националистические блуждания.

Большой заслугой еврейской советской критики является то, что она под спудом смешных историй Шолом-Алейхема увидела, обнаружила глубокое социальное значение шолом-алеихемовского творчества. Огромную помощь оказал в этом отношении Московский государственный еврейский театр своей со-

циально-художественной интерпретацией Шолом-Алейхема. Вершин художественного мастерства достиг замечательный актер этого театра, народный артист РСФСР С. Михоэлс, в недавней своей роли Тевье-Молочника. В свете нового сознания, рожденного Великой Октябрьской социалистической революцией, он сумел обнаружить в творчестве Шолом-Алейхема весь глубокий трагизм обреченного уклада жизни и воплощенное в шолом-алеихемовском искрящемся слове бессмертие народа.

В гениальном творчестве Шолом-Алейхема заложен глубокий социальный смысл. Шолом-Алейхем отразил в своих образах и замечательно ярком неповторимом языке не только национальное своеобразие еврейского народа. Его Тевье-Молочник займет свое место в мировой художественной галлее людей из народа рядом с такими художественными образами, как, например, ромэн-роллановский Кола Брюньон. Его замечательные детские персонажи останутся в памяти человечества наряду с детскими образами Диккенса, Твэна, Чехова. Замечательной силы художественного обобщения Шолом-Алейхем достиг в образе Менахем-Менделя, который при всем своем еврейском своеобразии перерастает национальные границы. В образе Менахем-Менделя Шолом-Алейхем воплотил весь общественный трагизм огромных масс мелкой и мельчайшей буржуазии, тщетно пытавшихся найти себе уголок в капиталистическом мире, приспособиться к капитализму, безжалостно их размалывающему. И подобно тому, как бальзаковский Гобсек является художественным синонимом для обозначения власти денег, так шолом-алеихемовский Менахем-Мендель (в социальном смысле совершенно не схожий с Гобсеком) входит в наше сознание, как художественное подтверждение марксистского тезиса о трагической обреченности мелкой буржуазии в условиях капитализма. Как действительно великий художник, Шолом-Алейхем умел по-своему видеть и воплощать социальные процессы своего времени.

С первых своих литературных шагов Шолом-Алейхем выступил как поборо-

ник правдивой, реалистической, подлинно народной литературы. Эту программу Шолом-Алейхем осуществлял на протяжении всей своей литературной деятельности. Ему органически чужды были те выкрутасы, которые были характерны для декаданса и всяких видов литературного модернизма, заполнивших литературу в годы реакции. Шолом-Алейхем, с первых своих литературных шагов испытывавший на себе сильное влияние великих русских реалистов, звал учиться у Льва Толстого и у Чехова простоте и подлинной правдивости. Это постоянное стремление к простоте и правдивости является лучшим заветом для нашей советской литературы.

С большой любовью говорил всегда о Шолом-Алейхеме великий социалистический писатель А. М. Горький. Он писал о «печальном и сердечном юморе» Шолом-Алейхема, о «славной, добротной и мудрой любви к народу», которая проникает все творчество Шолом-Алейхема, этого подлинно народного писателя. Рисуя печальную жизнь находившихся под двойным гнетом еврейских народных масс, которых, по словам «самого счастливого человека в Кудне», одного из шолом-алеихемовских персонажей, господь избавил от двух вещей: от куска хлеба и воздуха, — Шолом-Алейхем неизменно верил в торжество народного дела. Создатель прекрасных образов «вселых бедняков», Шолом-Алейхем никогда не обходился без шуток, перемешанной с горечью. С этой же горькой шуткой Шолом-Алейхем говорил о своих персонажах — ремесленниках, которым приходится «стоять на ногах от рассвета до поздней ночи» и влачить жалкую подневольную жизнь, «пока не наступит то счастливое время, о котором говорят Карл Маркс, Август Бебель и все добрые, умные люди». Глубокая вера в счастливое будущее и неизменный оптимизм, который всегда коренится в глубине народных масс, проникает и воодушевляет творчество великого еврейского писателя.

Оптимизм этот исторически оправдался. Тяжелое темное прошлое, которое породило трагикомических героев Шолом-Алейхема, навсегда и навечно

разрушено в той части мира, которая носит прекрасное имя СССР. В проклятое царское время Россия была тюрьмой народов. Еврейский народ, как и другие населявшие Россию народы, жил в нищете, подвергался гонениям и преследованиям. Евреи были ограничены в праве передвигаться по стране, они не имели «правожительства», не имели права на труд и образование. Октябрьская социалистическая революция раскрепостила все народы России. Вместе с другими народами многонационального великого Союза евреи строят свободную социалистическую жизнь. Порождение старого мрачного времени — «человек воздуха», гениально изображенный Шолом-Алейхемом, исчез с лица нашей социалистической земли вместе с другими призраками и привидениями прошлого.

Тысячелетняя история еврейского народа полна трагических испытаний, полна скитаний, полна крови и мук. Трагизм истории еврейского народа проявился с новой силой в наши дни, когда взбесившийся фашизм в Германии обрушился на беззащитное еврейское население, в кровавых оргиях пытаясь насытить свою бессильную злобу.

Лишь в СССР еврейский народ вме-

сте с другими народами первой в мире социалистической страны обрел родину-мать. И вместе со своим народом обрел здесь родину великий писатель Шолом-Алейхем. Нигде так не читают и не любят Шолом-Алейхема, как в СССР. За годы Октябрьской революции его книги разошлись на восьми языках в количестве, превышающем два миллиона экземпляров. Цифры, неслыханные для капиталистических стран. Тиражи книг Шолом-Алейхема, переводы его произведений на языки братских народов, библиотечные статистические цифры убедительно говорят о том, что Шолом-Алейхем принадлежит к любимым писателям советского читателя. И ярким свидетельством этого является нынешний юбилей Шолом-Алейхема. Юбилей этот широко празднуется не только еврейским народом, к лучшим сынам которого принадлежал Шолом-Алейхем, но всеми народами СССР, составляющими одну дружную семью. Освобожденные народы СССР свято и бережно чтут память великих людей, которые своим творчеством в тягчайших условиях прошлого служили народу и подготавливали приход нынешней свободной и счастливой жизни, какой живет социалистическая страна.

БИБЛИОГРАФИЯ

О КУРСЕ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВУЗОВ

★

В старинной литературе есть чему поучиться.

М. Горький

I

Советские люди полны неугасимого интереса к прошлому своей социалистической родины. Им дорога и близка история своего народа.

*Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...*

С благоговением и любовью перелистываем мы страницы старинных сказаний, запечатлевших рассказы о замечательных образцах мужества, воинской доблести и отваги наших предков. Мы убеждаемся, что славные традиции любви к родине имеют своим истоком далекое прошлое нашего народа.

История древней литературы была ранее специальной областью, привлекавшей интересы узкого круга исследователей. Ныне этот интерес становится все более и более массовым. К древнему периоду истории русской литературы обращаются в наши дни композитор и рабочий, писатель и занимающийся самообразованием колхозник, краткий командир и инженер, не говоря уже о десятках тысяч студентов, изучающих эту литературу в высших учебных заведениях.

Однако удовлетворение растущего в массах интереса к древней русской литературе наталкивалось долгое время на значительное препятствие — отсутствие пособий.

Старые курсы оказывались абсолютно неприемлемыми, так как они строились на методологических принципах, восходивших к различным школам дворянско-буржуазного литературоведения, и в той или иной мере устарели даже с чисто фактической стороны. Не могли помочь в этом случае и более свежие курсы, авторы которых стремились отойти от сложившейся традиции в построении подобного рода книг. Имеется в виду буржуазно-социологический курс истории древней литературы В. А. Келтуялы и неудачный опыт академика П. Н. Сакулина, построившего свой курс на основе отвлеченной социологической схемы.

В 1937 году вышел курс академика А. С.

Орлова, созданный одним из крупнейших исследователей древней русской литературы. Книга эта, однако, в значительной мере обесценивается тем, что в ней, как автор и предполагал, оказались «невыветрившиеся предания культурно-исторической школы прежнего (?) литературоведения» (стр. 4).

Как видим, потребность в историко-литературном курсе, который на марксистской основе давал бы целостное изложение судеб древней русской литературы, назрела как нельзя более.

Литературоведческая наука, как и весь наш теоретический фронт, в последние годы обогатилась целой серией теоретических работ; правильное использование которых дает ключ к плодотворному решению наиболее сложных научно-исследовательских проблем в духе марксизма-ленинизма. Исторические «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР» товарищей Сталига, Жданова и Кирова, «Постановление жюри Правительственной Комиссии по конкурсу на лучший учебник... по истории СССР», «Постановление ЦК ВКП(б) о постановке партийной пропаганды...» и, наконец, выход в свет «Краткого курса истории ВКП(б)» — все это обеспечивает успешное решение задачи построения марксистской истории древней русской литературы.

II

Рассматриваемый курс «История древней русской литературы» проф. Н. К. Гудзия (издание Учпедгиза, 1938 г.) не является еще марксистским пособием по данному предмету. В лучшем случае это — лишь послынная попытка подойти к созданию такого пособия. Однако уже эта попытка обеспечила курсу ряд таких достоинств, которые выгодно его отличают от многих известных нам пособий этого рода.

Одна из первых проблем, с которой сталкивается историк древней русской литературы, — это проблема правильного отбора материала. Ранее эта задача решалась в различных курсах далеко не удовлетворительно. Так, в курсе В. А. Келтуялы по существу не проводилось

четкой грани между памятниками собственно литературы и письменности вообще. В результате курс оказался перегруженным религиозно-церковными произведениями. Противоположная крайность сказалась в истории литературы П. Н. Сакулина. Здесь понятие «литературы» суживалось до такой степени, что памятник такого несомненного и выдающегося художественного значения, как летописи, оказывается исключенным из истории литературы.

Принцип, которым руководствовался проф. Н. К. Гудзий при отборе материала, сводится к следующему: «Выбор материала, привлеченного к изучению, определяется — при наличии в нем специфически литературных элементов — преимущественно степенью отражения в нем исторической действительности» (стр. 3).

Нужно всячески одобрить решительность, с которой автор, вопреки длительной традиции, закрыл доступ в учебник значительной группе памятников специфически церковного характера. С другой стороны, нельзя не приветствовать привлечения многих памятников несомненного литературно-художественного значения, которые до того совершенно не привлекались, и если и привлекались, то очень робко, спорадически. Таковы «Повесть о приходе Батгия на Рязань» (XIII в.), «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим» (XV в.), «История о Казанском царстве» (XVI в.), «Сказание о киевских богатырях» (XVI в.) и др.

Особого внимания заслуживает в этом плане последний период истории древней русской литературы. XVII век давался в старых курсах далеко не совершенно. В иных курсах его совсем не было. Такое положение в известной степени находит себе объяснение в факте, отмеченном в курсе акад. А. С. Орлова: «В литературном отношении XVII век синтетически почти не обработан».

В курсе проф. Н. К. Гудзия XVII век впервые занял подобающее ему место. Почти треть всего курса отведена рассмотрению литературной продукции этого периода. Такие выдающиеся произведения древней русской литературы, как, например, проникнутая в большой мере фольклорными элементами «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков» или необычайно занимательная по сюжету и весьма характерная для тех новых веяний, которые приносит с собой в литературу XVII в., бытовая «Повесть о Карпе Сутулове», впервые вводятся здесь в широкий литературный обиход.

Следует считать положительным явлением наличие в учебнике значительного раздела сатирических повестей. Произведения эти представляют в совокупности яркое отражение протеста народных масс — и в первую очередь крестьянства и бедного посадского люда — против всей системы социального угнетения в разнообразных его проявлениях (церковь, суд, купцы и т. п.). Понятно, что эти произведения меньше всего привлекали к себе внимание представителей домарксистского литературоведения.

Сатирические произведения не могли занять должного места в старых курсах еще и потому, что публикация большинства из них стала возможной лишь в советскую эпоху. О скольконибудь правильном освещении в этих курсах немногих привлекавшихся памятников сатирической литературы, как литературы, всем своим острием направленной против эксплуататорских классов и церкви, говорить не приходится. Чрезвычайно показательна в этом плане интерпретация «Повести о бражнике» в «Истории русской словесности» проф. И. Порфирьева (часть I, 1913 г.).

Произведение это повествует о простом человеке, который за свою земную жизнь не совершил ничего такого, что обеследило бы ему место в раю. Человек этот к тому же был пьяница. После смерти он стучится у вратрая, настойчиво требуя там места для себя. Но его упорно не пускают, как пьяницу. Тогда он вступает в спор и уличает обитающих в раю апостолов, царей и других «святых» в неизмеримо более тяжких грехах: в убийствах, разврате и предательстве.

Эту резко антицерковную сатиру Порфирьев подвергает своеобразному «анализу», который он заканчивает такой моральной сентенцией: «Повесть о бражнике» это — софистической и вместе кощунственной (!) оправдание пьянства».

В учебнике проф. Н. К. Гудзия сатирическая литература представлена выдающимися художественными памятниками этого жанра, причем почти все они фигурируют в историко-литературном курсе впервые. Таковы «Калязинская челобитная», «Праздник кабацких ярыжек», «Повесть о попе Савве», «Сказание о крестьянском сыне» и др.

В своем курсе акад. А. С. Орлов весьма правильно заметил: «К сожалению, многие учебные почти не обращали внимания на эстетический момент в литературе. Особенно в прошлом и особенно среди исследователей древней литературы эстетическое отношение было вовсе не обычно» (стр. 12).

Да, эстетический момент был одним из наиболее уязвимых моментов в работах прежних исследователей. Литературные произведения древнего периода трактовались преимущественно в историческом или церковно-историческом плане. Это положение учтено в курсе проф. Гудзия, который рассматривает в учебнике отдельные произведения, в первую очередь, как факты истории литературы с явным упором на их художественную значимость. Однако, этот принцип проведен не с достаточной полнотой. К сожалению, у нас еще очень немного частных исследований, посвященных рассмотрению стиля, изобразительных средств, композиции и других художественных особенностей памятников древней литературы. Не разработана, пожалуй, даже не поставлена понастоящему проблема жанров в древней русской литературе. Все это несомненно ограничивает возможности любого автора историко-литературного курса.

Показательным для характеристики принятого автором метода анализа литературных про-

изведений является раздел о летописях. Здесь особенно обращает на себя внимание обстоятельный анализ литературного стиля летописи (стр. 136—138), что является новшеством в подобного рода курсах. Таким же новшеством является проводимая автором аналогия между русскими и западно-европейскими летописями, в частности летописями Григория Турского (V век), Ламберта Гершвельдского (VI в.), Мартина Галла (XII в.). Из сравнительного анализа летописей русских и западных — Титмара Мерзебургского (начало XI в.), Козьмы Пращского (XII в.) — выясняется, что «приемы изложения, мирозерцание и способы его выражения у русских и западно-европейских летописцев во многом совпадают» (стр. 140).

Такой вывод явно недостаточен. Из приводимых самим автором данных выясняется возможность говорить о том, что русские летописи по своим литературным достоинствам стоят на одном уровне с лучшими образцами западно-европейского средневекового летописания, а по своему идейному наполнению значительно его превосходят. Наша «Повесть временных лет» по своим научным достоинствам является шедевром летописного жанра не только на фоне русских, но и западно-европейских хроник и летописей.

III

Совсем недавно Михаил Иванович Калинин напомнил работникам искусств, что «марксизм-ленинизм — это ключ, который дает возможность решить тот или другой вопрос».

К сожалению, проф. Н. К. Гудзия далеко не в достаточной степени пользуется в своем учебнике этим замечательным ключом. Богатейшее наследие классиков марксизма-ленинизма при построении курса он привлек в очень небольшом объеме, творчески его не использовал. В результате ряд проблем, связанных с изучением древней русской литературы, получил такое освещение, которое отнюдь нельзя признать удовлетворительным.

Сказанное относится прежде всего к таким вопросам, как, например, выяснение роли Киева, как крупнейшего центра русской государственности и русской культуры в XI—XII вв.; освещение так называемых «воинских повестей», отразивших факт иноземных нашествий на Киевскую, а позднее на Московскую Русь, и выяснение роли народа в отражении этих нашествий; проблема ересей, возникавших на Руси, и правильная оценка их идейного смысла, социального и историко-культурного значения; вопрос об использовании в истории древней литературы наиболее ценных положений марксистской литературно-критической мысли и высказываний представителей революционной демократии; наконец, проблема историзма, приведенная в связь истории древней литературы с общей историей СССР.

При большом количестве ценных историко-литературных фактов, поданных в определенной системе и с научной тщательностью, особенно ощутителен в учебнике недостаток обоб-

щений. Затронутый нами вопрос заслуживает тем большего внимания, что не так давно он был предметом специального рассмотрения в ЦК ВКП(б) и нашел отражение в известном постановлении о постановке партийной пропаганды:

«Отметить серьезное отставание работников теоретического фронта, проявляющееся в их теоретической слабости, в их боязни смело ставить актуальные теоретические вопросы, в распространении начетничества и буквоедства, в вулгаризации и опошлении отдельных положений марксизма-ленинизма, в отставании теоретической мысли, в недостатке теоретического обобщения громадного практического опыта, накопленного партией на всех участках социалистического строительства. Призвать всех работников теоретического фронта решительно и быстро выправить нетерпимое отставание теоретического фронта, покончив с боязнью смелой постановки теоретических вопросов,двигающих марксистско-ленинскую теорию вперед, покончив с буквоедством, начетничеством, схоластикой, вулгаризацией и опошлением отдельных положений марксистско-ленинской теории»¹.

В этой связи следует, прежде всего, остановиться на данном в учебнике Н. К. Гудзия очерке общественного строя и культуры Киевской Руси. Очерк этот отличается чрезмерной краткостью. Эпоха Киевской Руси, являющаяся «золотым веком» древней русской культуры и литературы, не раскрыта во всем ее богатстве и значительности. Политическое значение Киева XI—XII вв., как центра европейского значения, должно получить четкое отражение в курсе. В освещении этого вопроса нужно исходить из прямого высказывания К. Маркса по этому поводу: «Как империя Карла Великого предшествует образованию современной Франции, Германии и Италии, так империя Рюриковичей предшествует образованию Польши, Литвы, Балтийских поселений, Турции и самого Московского государства»².

Недостаточно подчеркнуто своеобразие киевской культуры, вытекающее из факта раннего приобщения Киева к византийской культуре. При этом не учтено четкое положение Маркса и Энгельса: «Религия и цивилизация России — византийского происхождения...»³.

Что касается культурного значения Киева той поры, то выдающееся место, которое он в этом отношении занимал, достаточно ярко иллюстрируется следующей характеристикой его, данной основоположниками марксизма: «Вскоре после основания русского государства династия Рюриковичей перенесла свою столицу из Новгорода в Киев только для того, чтобы быть

¹ «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)». Постановление ЦК ВКП(б) от 14/XI 1938 г.

² Карл Маркс. Секретная дипломатия XVIII в.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. IX, стр. 439.

ближе к Византии. В одиннадцатом веке Киев подражал во всем Константинополю, и его называли вторым Константинополем...»¹.

Нужно сказать, что автор учебника не поддался соблазну поверхностного социологизирования. Однако в отдельных случаях нетрудно обнаружить невыветрившиеся следы упрощенно-схематической трактовки вопроса. Так, в абзаце, посвященном общественному строю Киевской Руси, мы находим такую характеристику ее классового состава: «Наличие в общественных отношениях Киевской Руси двух классов — господствующего и подчиненного, эксплуатирующего и эксплуатируемого — определило собой классовую борьбу, отражение которой мы находим, главным образом, в летописных памятниках» (стр. 8).

Совершенно очевидно, что при таком обобщенно-схематическом характере, который присущ приведенному выше определению, оно вполне приложимо к любому обществу, построенному на эксплуатации. Характер классовых отношений в Киевской Руси отличался куда большим многообразием и сложностью, чем это изображено здесь. Утверждалась феодальная общественно-экономическая формация, наряду с которой существовали рабские производственные отношения, применялся рабский труд и в то же время заканчивался процесс разложения первобытно-общинного строя у некоторых славянских племен.

IV.

В учебнике значительное место занимает группа так называемых «воинских повестей». Толкование последних проф. Н. К. Гудием нуждается в существенных коррективах, главным образом, в плане гораздо более широкого и творческого использования наследия марксизма-ленинизма. Возможности для такого использования имеются, и весьма значительные. Воинские повести составляют один из наиболее интересных, идейно и художественно необычайно насыщенных жанров древней русской литературы. Именно здесь, в освещении произведений, повествующих о доблести, мужестве, неустрашимой отваге, проявленных лучшими сынами народа в защите родины от иноземного порабощения, должен с особой силой прозвучать мотив советского патриотизма. В анализе этих повестей важно раскрыть всенародный и героический характер борьбы, которую приходилось вести древней Руси с разного рода нашествиями кочевников.

В свое время «Правдой» был отмечен один из важнейших фактов не только русской, но и мировой истории. «Русский народ вынес на своих плечах всю тяжесть борьбы с несметными ордами азиатских кочевников. Русская земля являлась как бы барьером, защищавшим Европу от опустошительных набегов печенегов, половцев, татар. В тяжелой борьбе с воинственными кочевыми племенами выковался мужественный, стойкий характер русского на-

рода, на протяжении всей своей многовековой истории героически отстаивавшего честь и независимость своей отчизны»¹.

Такие выдающиеся произведения древнерусской батальной литературы, как «Слово о полку Игореве», летописная «Повесть о битве на реке Калке», «Повесть о приходе Батия на Рязань в 1237 г.», «Житие Александра Невского», «Задонщина» и др., дают более чем достаточно материала для того, чтобы при рассмотрении этих повестей в историко-литературном курсе энергичнее подчеркнуть героизм, проявленный народом в отстаивании каждой пяди своей земли от врага.

Вспомним незабываемый образ Евпатия Коловрата. Рязанская земля разорена Батием до основания. Города разрушены, деревни сожжены, люди истреблены. В этих условиях Евпатий Коловрат, наспех собрав из оставшихся в живых людей небольшую дружину и ринувшись с нею вслед за ушедшими полчищами татар, настигает их в Суздальской земле. Здесь Коловрат внезапно обрушивается на полки грозного Батия: «неистовый Еупатий тако ихъ бьяше нещадно, яко и мечи притупишася, и емля татарския мечи и събчаше ихъ нещадно. Татарове мянша, яко мертви восташа». И лишь когда по Коловрату начинают стрелять из стенобитных орудий, удается его убить. Тогда над трупом сраженного героя татарские вельможи говорят Батю: «Мы со многими цари во многихъ земляхъ на многихъ бранехъ бывали, а такихъ удалцовъ и рѣзвцовъ не видали, ни отди наши възвѣстша намъ. Си бо люди крылатии и не имѣюще смерти, тако крѣпко и мужественно ѣздѣ бьяшася единъ съ тысящею, а два съ тмою. Ни единъ отъ нихъ не можеть събхати живъ побоища».

Правда, эпизод о Коловрате передан в учебнике Н. К. Гудия подробно. Но оценочный момент, к сожалению, отсутствует. В отличие от освещения, которое давалось в старых учебниках, у нас есть все основания рассматривать Евпатия Коловрата как один из первых образов русского партизана, народного героя.

Предлагаемая трактовка образа Коловрата обнаруживает в нем общие черты с народными героями советской эпохи. Было бы, конечно, абсолютно неправильно ставить знак равенства между тем и другими. Это люди, выросшие в диаметрально противоположных общественных условиях, они принадлежат совершенно различным и далеким друг от друга эпохам. Но не следует забывать, что те самые черты русского народа, которые получили такое яркое воплощение в годы гражданской войны, создавались веками, между прочим, выковывались также и во время борьбы с татарским нашествием. Героизм, любовь к родине, органическая и священная ненависть к иноземному игу — это те черты, которые искони свойственны русскому народу и которые роднят во многом далекие друг от друга образы древнерусского богатыря, партизана Евпатия Коловрата и героев советской эпохи.

¹ «Правда» от 25 мая 1938 г.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XI, стр. 439. Подчеркнуто Марксом и Энгельсом.

Не прибегая к излишней, ненужной и даже ерехной модернизации в трактовке явлений древне-русской литературы (грех, в котором, кстати говоря, автора учебника упрекнуть нельзя), необходимо в то же время устанавливать связующие нити между далеким прошлым и сегодняшним советским днем.

Мы хорошо помним многократные призывы М. Горького к советским литераторам обратиться к фольклору, как источнику, из которого они могут почерпнуть для себя немало полезного и где они могут многому поучиться. Вместе с тем Горький находил, что и «в старинной литературе нашей есть чему поучиться». Думается, что советское литературоведение должно учесть этот завет Алексея Максимовича и со своей стороны всячески содействовать всемерному приближению древней русской литературы и фольклора к современности.

В случаях, когда речь идет о борьбе русского народа за право на историческое существование и проявленном в этой борьбе героизме народа, представляется существенно необходимым привести известные высказывания из Маркса и Энгельса, в которых дается необычайно высокая оценка воинским доблестям русского народа. Вот эта замечательная характеристика: «Русские солдаты являются одними из самых храбрых в Европе... Карре русской пехоты сопротивлялось и сражалось врукопашную долгое время, после того, как кавалерия прорвалась через него, и всегда легче было русских расстрелять, чем заставить бежать обратно»¹.

Отмеченные Марксом и Энгельсом высокие воинские качества и героизм русского народа выкованы им в длившейся столетиями борьбе за честь своей отчины. Нашествия полчищ кочевников, которые Восток в течение столетий непрерывно обрушивал на русский народ, не смогли его сокрушить, но лишь закаляли его характер.

Так тяжкий млат.
Дробя стекло, кует булат.

V

Поражения, которые русский народ терпел временами в борьбе с наседавшими на него кочевниками, были в значительной степени результатом отсутствия единства и междоусобной борьбы русских князей. Этот момент недостаточно акцентирован в учебнике.

Факт феодальной раздробленности Руси XII—XIII вв. отмечает Маркс в своих «Хронологических выписках». Так, характеризуя половцев, Маркс пишет, что они, «кочуя от Азовского моря до порогов Днепра, были в постоянной вражде с русскими, раздробленными на множество государств...»².

В заметке, непосредственно посвященной со-

бытию, ставшему содержанием «Повести о приходе Батюга на Рязань в 1237 г.», Маркс прямо ставит в известную связь поражение русских с отсутствием у них единства в борьбе с татарами: «1237. Бату (сын Джучи, посланный Угедеем с громадным войском) уничтожает на реке Воронежской войско великого князя Рязанского, не поддержанного другими русскими...»¹. Далее Маркс показывает, как в результате разгрома татарами русских князей каждого в одиночку (вслед за великим князем Рязанским Юрием Игоревичем в 1238 г. был разбит великий князь владими́ро-суздальский Юрий, сын знаменитого Всеволода «Большое Гнездо») Россия окончательно подпала под владычество татар. Этот вывод выражен у Маркса в замечательной по своей обобщающей силе и лаконизму формулировке: «судьба России была решена на два столетия»².

Все эти ценнейшие для понимания татарского нашествия замечания Маркса должны получить отражение и в освещении литературных произведений, посвященных этому нашествию. Возможная ссылка на то, что нельзя превращать учебник литературы в учебник истории, сама по себе верная, в данном случае вряд ли может считаться состоятельной. Общеизвестно, что правильное истолкование литературного произведения с историческим сюжетом невозможно без научной марксистской оценки самого исторического факта, легшего в основу этого произведения.

Можно еще указать примеры, где использование наследия классиков марксизма-ленинизма является не менее необходимым. В учебнике имеется раздел «Повести о татарском нашествии» (стр. 180—190). Известно, что так называемая «школа» Покровского давала антимарксистскую оценку этому историческому событию, рассматривая татарское нашествие, как фактор положительного значения, способствовавший якобы объединению раздробленной Руси в одно целое. Этот взгляд в свое время проник и в школу, среднюю и высшую. Тем более необходимо было в данном случае предпослать освещению литературного материала, отразившего татарское нашествие, небольшой исторический очерк, который давал бы правильную научную оценку этому историческому явлению. Такая оценка возможна лишь в том случае, если исходить из имеющихся по этому поводу прямых высказываний К. Маркса, который называл нашествие татар кровавой мутой монгольского рабства. В той же работе Маркса мы находим еще одну, не менее яркую характеристику той трагедии в истории русского народа, которую мы обычно определяем формулой «татарское нашествие»: «Татарское иго не только давило, оно оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой».

Вспоминаются при этом слова Пушкина: «Татары не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля». Поразительно историческое чутье

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. X, стр. 650.

² Архив Маркса и Энгельса. Москва. 1938. Т. V, стр. 223. Здесь, как и в следующей цитате, подчеркнуто К. Марксом.

¹ Там же, стр. 224.

² Там же, стр. 224.

великого поэта, проявившего в оценке татарского нашествия куда больше научности, чем «ученые» историки «школы» Покровского.

Высказывания Карла Маркса не получили отражения в учебнике также при рассмотрении «Жития Александра Невского». На необходимость исходить при освещении знаменитой битвы на Чудском озере из имеющейся по этому поводу оценки Маркса указало еще в августе 1937 года жюри правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник по истории СССР:

«Большинство авторов, как правило, не дают правильной исторической оценки битвы на Чудском озере новгородцев с немецкими рыцарями, когда было приостановлено движение на Восток германских оккупантов (разбойничий тевтонский орден — «псы-рыцари», как называл их Карл Маркс), осуществлявших колонизацию путем поголовного истребления и грабежа покоряемых народов. Отсутствие марксистской оценки именно этого события в истории СССР тем более недопустимо, что в отношении его имеется определенная оценка Маркса: «1242 г. Александр Невский выступает против немецких рыцарей, разбивает их на льду Чудского озера, так что прохвосты были окончательно отброшены от русской границы»¹.

Положение это обязательно для автора учебника по литературе не в меньшей степени, чем для автора учебника по истории.

Оценка Марксом исторического значения битвы на Чудском озере диктует необходимость в освещении личности Александра Невского резко противопоставлять его другому типу князей, которые, по выражению «Слова о полку Игореве», «своими крамолами стали наводнить поганых на землю Русскую».

Лучшие из князей (особенно в XIII в.) умели подниматься до осознания необходимости создания централизованного государства для борьбы с внешним врагом — шведами, ливонскими рыцарями, Литвой, татарами, до осознания единства Руси. Представителем такого типа князей выступает Александр Невский. Эту основную черту его облика необходимо особо подчеркнуть в анализе литературного произведения, центральным героем которого является тот же Александр Невский.

VI

В разделе «Идейные направления в первой половине XVI в. и их литературное выражение» (стр. 276—282) рассматривается литературная деятельность Максима Грека, Вассиана Патрикеева, митрополита Даниила. Всем этим деятелям уделяется достаточное и оправданное внимание. Затем следует освещение ересей XVI в., в частности ересей Матвея Башкина и Феодосия Косого. Известно, что оппозиционные религиозные течения, принимавшие форму так называемых ересей, возникали в России уже в XIV, а затем имели место и в последующих XV, XVI и XVII вв. Это обстоятель-

ство вызывает необходимость, хотя речь идет об истории литературы, а не об истории культуры, дать общую оценку ересям. Но действительно научная оценка этого явления невозможна, если не исходить из воззрений марксизма, в частности из прямых высказываний Энгельса по данному вопросу.

Указав, что в силу целого ряда обстоятельств исторического характера в средние века «церковь являлась наивысшим обобщением и санкцией существующего феодального строя» и что необходимым следствием этого было «верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности», Энгельс далее разъясняет: «Ясно, что при этих условиях всеобщие нападки на феодализм, и прежде всего нападки на церковь, все революционные, социальные и политические учения должны были представлять из себя одновременно и богословские ереси. Для того, чтобы возможно было нападать на общественные отношения, с них нужно было совлечь покров святости»¹.

Приведенные слова Энгельса являются ключом к пониманию социальной основы, идейного смысла и историко-литературного значения всех наших ересей, начиная с XIV в. Ереси эти представляли своеобразную форму и, в известных условиях, единственно возможную форму социального протеста. По вполне понятным причинам они не привлекали к себе достаточного внимания, а главное — не получали должной научной оценки в старых курсах по истории древней литературы. Тем настоятельно необходимо это сделать сейчас. Однако и в курсе проф. Н. К. Гудзия ереси не получили достойной оценки. Они даны почти в плане информационно-описательном. Бедность обобщений сказалась здесь особенно заметно.

Из освещения ересей Артемия, Матвея Башкина и Феодосия Косого автор делает лишь один вывод: «Это свидетельствует о том, что дух критики и пытливости на Руси в середине XVI в. был еще достаточно силен, несмотря на засилье официальной носифильской идеологии» (282 стр.). Сказался ли тут один только «дух критики и пытливости»? Автор ведь сам отмечает, что «совесть Башкина смущало существование у нас рабства». Особенного внимания заслуживает и «беглый холоп» Феодосий Косой. «Согласно учению этого замечательного человека, — писал Плеханов, — христианство состоит не в соблюдении обрядов, а в исполнении заповедей Иисуса о любви к ближним. Но что более всего поражает при сопоставлении его взглядов со взглядами старообрядцев, так это полное отсутствие у него национальной исключительности. Он говорил, что все люди суть одно у бога: «и татары, и немцы, и прочие языки»².

Правда, в учебнике тоже подчеркивается, что «Феодосий Косой отрицал троищность божества, церковную иерархию, внешнюю обрядность, храмы, монастыри, иконы, церковные

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 128.

² Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XX, стр. 338.

¹ Правда от 22/VIII 1937 г.

тайнства, посты, а также гражданские власти и войны» (стр. 282). Но не следует ли из этого, что мы тут имеем дело с явлением, выходящим далеко за рамки одной лишь «критики и пытливости»? Не следует ли отсюда, что ересь Феодосия Косого должна быть квалифицирована как ересь революционного типа, как ересь плебейская, поскольку она выражала протест не только против церкви, но и против всего существующего строя?

В цитированной работе Энгельс четко ограничивает ересь, являвшуюся «прямым выражением крестьянских и плебейских потребностей», от ереси бюргерской и ереси как «выражения реакции патриархальных альпийских пастухов против проникающего к ним феодализма (вальденсы)».

Характеризуя первую из этих ересей, Энгельс пишет: «Совершенно иной характер носила ересь, являвшаяся прямым выражением крестьянских и плебейских потребностей и почти всегда соединявшаяся с восстанием. Разделяя все требования бюргерской ереси по отношению к попам, папству и восстановлению ранне-христианского церковного строя, она в то же время шла бесконечно дальше. Она требовала восстановления равенства, существовавшего в отношениях между членами ранней христианской общины, и признания этого равенства в качестве нормы и для гражданского мира. Из равенства сынов божиих она выводила гражданское равенство и даже отчасти уже равенство имуществ. Уравнение дворянства с крестьянами, патрициев и привилегированных горожан с плебеями, отмена барщины, поземельных цензов, налогов, привилегий и уничтожение по крайней мере наиболее кричащих имущественных различий, — вот те требования, которые выставлялись, с большею или меньшею определенностью, как необходимые выводы из учения раннего христианства»¹.

Ересь Феодосия Косого во многом подходит под ту характеристику, которую Энгельс дает плебейской и крестьянской ереси средневековой Германии. Совершенно очевидно, что подчеркивание революционного характера ереси Феодосия Косого вносит существенную поправку в характеристику идейных направлений первой половины XVI в.

VII

В русской литературе древний период является участком, на котором меньше всего поработали представители марксистской литературно-критической мысли. Тем более необходимо бережно собрать все, что в этом плане может быть использовано. Между тем мы не находим в курсе имени Плеханова, а из сочинений Алексея Максимовича Горького приводится одно только его высказывание об Аввакуме.

Прежде всего о Плеханове. В его «Истории русской общественной мысли» есть немало страниц, посвященных Ивану Пересветову, пе-

реписке Грозного с Курбским, протопопу Аввакуму, вопросу о ересях. У Плеханова были серьезные меньшевистского характера ошибки. Но тот же «Плеханов написал ряд марксистских работ, на которых учились и воспитывались марксисты в России»¹. Нет никаких оснований в истории литературы замалчивать имя Плеханова. Задача заключается в том, чтобы дать правильную оценку взглядам Плеханова по конкретным историко-литературным вопросам, отделив в этих взглядах верное от ошибочного и вредного.

Больше места должно быть уделено в курсе высказываниям Горького, великого русского писателя, государственного деятеля СССР и родоначальника пролетарской литературы. В его богатейшем наследии найдется немало мыслей, которые, не будучи непосредственно вызваны тем или иным памятником древней русской литературы, тем не менее имеют прямое отношение ко многим проблемам, возникающим в процессе изучения последней. Как пример, укажу такие проблемы, как соотношение письменной литературы и фольклора, вопрос о генезисе и характере древней мифологии, отдельные замечания, связанные с проблемой ересей, и др. По всем этим вопросам у Горького имеется немало ценных и, как обычно, ярко выраженных мыслей.

Не находим мы, к сожалению, в учебнике имен представителей революционно-демократической литературы. В первую очередь имеются в виду Белинский, Добролюбов, Салтыков-Щедрин. Вспомним пожелание Ленина: «Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии»².

Правомерность сближения некоторых произведений сатирической литературы XVII в. с творчеством Щедрина вряд ли подлежит сомнению. Достаточно вспомнить, что получивший место в сатире XVII в. прием использования представителей животного царства, в частности рыб (Лещ, Ерш Ершович, Окунь и др.), в сатирически-пародийных целях получил продолжение и был доведен до совершенства великим сатириком («Карась-идеалист», «Премудрый Пескарь»).

Факт зарождения в русской литературе сатирического жанра осмыслен, главным образом, в плане узко-литературном. Думается, что, хотя речь идет об историко-литературном курсе, в нем должна найти себе место оценка этого явления и в более широком плане, как общественно-прогрессивного фактора, свидетельствующего о несомненном росте классового самосознания угнетенных масс, о росте критических и оппозиционных настроений, хотя подчас и не совсем осознанных.

В этом плане представляется необходимым дать приложение классическим высказываниям о сатире Добролюбова, который, как известно, различал произведения сатириков, добравших-

¹ «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)». М., 1938, стр. 14.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. XXIX, стр. 75.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 130.

ся «до главного, существенного зла», и сатириков, которых «характер обличения был частный, мелкий, поверхностный»¹.

Говоря о писателях «народнической демократии», хочется высказать пожелание видеть в учебнике имя Белинского, давшего такую высокую оценку художественных свойств «Слова о полку Игореве»: «Слово» — прекрасный, благоухающий цветок славянской народной поэзии, достойный внимания, памяти и уважения»².

VIII

К числу достоинств рассматриваемого курса относится его фактическая полнота. Вполне естественно, что с этой стороны может быть сделано не много замечаний. Однако нельзя сказать того же применительно к проблеме истолкования того или иного факта. Интерпретация некоторых произведений не может претендовать на научную бесспорность и безупречность. В первую очередь это относится к главе, посвященной жемчужине древне-русской литературы — «Слову о полку Игореве».

Историю изучения «Слова» автор учебника доводит лишь до 1926 г. Необходимо ее продолжить до наших дней. В этом плане нам представляется важным: во-первых, подчеркнуть культурно-историческое значение «Слова», как великого литературного произведения, которое «дорого и близко всем народам многонационального Советского Союза»³; во-вторых, привести «Слово о полку Игореве» в связь с аналогичными памятниками других народов СССР, в первую очередь с современной «Слову» поэмой «бездонного месха из Рустави» — «Витязь в тигровой шкуре».

Оценка исторического события, которому посвящено «Слово», вызывает возражение. Автор пишет по этому поводу: «Событие, которое произошло с Игорем, само по себе не было настолько потрясающим и значительным на общем фоне тех неудач, которые терпели русские от половцев, чтобы выделять его и посвящать ему независимо от каких-либо других целей особое произведение» (стр. 164).

Воззрение на события, связанные с походом Игоря на половцев в 1185 г., как на факт небольшого исторического значения — воззрение традиционное. Оно нуждается в пересмотре. Мы решаемся утверждать, что дело обстоит как-раз наоборот. Даже «на общем фоне тех неудач, которые терпели русские от половцев», событие это было и «потрясающим» и «значительным». Да и самый этот «фон» вовсе не был таким, каким его рисует автор учебника. В прошлом русские в своей борьбе с половцами знали не только, и даже не столько, поражения, но и победы. Иначе становится непонятным, как могла Русь

выполнить историческую функцию «барьера», защищавшего Европу от опустошительных набегов кочевников. Как-раз пезадолго до похода Игоря русские одержали крупную победу над половцами, о чем вспоминает в своей поэме и автор «Слова». Но особенно грозный смысл поражение Игоря получало, будучи осознанным в перспективе дальнейших судеб Киевской Руси. На последнее обстоятельство мы находим косвенное указание у К. Маркса.

В 1856 году Маркс писал Энгельсу: «Смысл поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов»¹. Так как в поэме речь идет о войне с половцами, было бы естественно в этом случае ожидать, что Маркс «призыв русских князей к единению» свяжет с необходимостью отпора половцам. На самом деле, как мы видим, у Маркса этот призыв к единению связывается не с набегами половцев, а с последовавшим через четыре десятилетия нашествием монголов — татар.

Многочисленные авторы, цитировавшие приведенное высказывание Маркса, обычно обращали большее внимание на первую часть фразы, оставляя в тени выделенные нами слова. Между тем не случайно же Маркс подчеркивает: «как раз перед нашествием монголов». Мы думаем, что такое подчеркивание может иметь лишь один смысл: оно указывает на особую значительность и трагизм, которые получал этот поход не столько на фоне распадавшейся и тонувшей в междукняжеских раздорах Киевской Руси, сколько перед лицом грозных событий грядущего нашествия нового, еще более могущественного врага — татар.

Вызывает возражение и другой тезис автора — о том, что «написание «Слова о полку Игореве» нужно поставить в связь именно с теми планами Святослава» (стр. 164), т.е. с его попыткой стать во главе коалиции князей для нового похода на половцев после поражения Игоря. Из этого тезиса с неизбежностью вытекает воззрение на автора «Слова», как на своеобразного идеологического застрельщика одного из очередных походов князей на половцев.

Вряд ли нужно доказывать, что такая точка зрения объективно ведет к принижению исполнителя фигуры великого русского поэта и патриота XII в. Своим бессмертным произведением он не преследовал задачи простого идеологического обслуживания нового похода на половцев. Для автора «Слова» речь шла не об очередном реваншистском предприятии, направленном против половцев, а о чем-то неизмеримо более важном: о грядущих судьбах Русской земли и «Дажь-божа внука» — русского народа.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXII, стр. 122. Кстати сказать, эта цитата, имеющая первостепенное значение для правильной интерпретации «Слова о полку Игореве», почему-то выпала из курса проф. Н. К. Гудзия. (Слова в цитате подчеркнуты мной. — Л. Ш)

¹ Н. А. Добролюбов. Сочинения, т. I, изд. 6-е. СПб, стр. 98 — 99.

² Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, под. ред. С. А. Венгерова, т. VI. СПб. 1903 г., стр. 362.

³ «Правда» от 25 мая 1938 г.

К. Маркс, как мы видели выше, оценивал поход Игоря и его результаты с точки зрения логики исторических событий, логики, которая в будущем не предвещала Киевской Руси ничего доброго, а не с точки зрения «текущего момента». Есть ли у нас достаточно оснований считать, что автору «Слова» — человеку, являвшемуся, по общему признанию исследователей, не только великим поэтом, но и политическим деятелем с выдающимся государственным кругозором, — эта логика событий была абсолютно недоступна? Таких оснований не существует. Можно ли считать бесспорным, что творец «Слова» не поднялся до понимания грозного смысла, исторической симптоматичности событий, современником которых он был? Не думаем. Поэтому нет решительно никаких оснований связывать возникновение бессмертной поэмы с таким частным в перспективе общей истории Киевской Руси моментом, как планы нового похода на половцев киевского князя Святослава.

Наконец, третий момент, который вызывает возражения, — это вопрос о том, принадлежал или не принадлежал творец «Слова» к какой-нибудь княжеской группировке.

Известно, что по этому вопросу намечилось несколько тенденций. Одни считали автора «Слова» дружинником новгород-северского князя Игоря. Другие — киевского князя Святослава. Третьи — галицкого князя Ярослава. Четвертые считали его междукняжеским певцом наподобие скандинавских скальдов. От всех этих тенденций проф. Н. К. Гудзий отмежевывается: «Для нас, в сущности говоря, безразлично, каково было территориальное происхождение автора «Слова» (стр. 162). А на следующей странице мы читаем, что «автор, несомненно, был близок к группировке (!) Святослава» (стр. 163). И далее, опять: «автор «Слова» был сторонником именно киевского князя» (стр. 164).

Таким образом, начав с отрицания попытки прикрепить автора в его происхождении, а следовательно, и в его политических симпатиях к какой-либо одной из многих враждовавших между собой княжеских группировок, проф. Н. К. Гудзий пришел в результате к тому, что в свою очередь... прикрепил его к «группировке Святослава».

Мы не можем входить здесь в подробное рассмотрение вопроса. Поэтому ограничимся лишь простым изложением взгляда, однажды уже высказанного нами по этому поводу: «Вероятнее всего, автор «Слова» не принадлежал ни к какой княжеской группировке. Поднявшись до осознания общерусских интересов, связывавших отдельные враждовавшие между собой княжества, до идеи единства Русской земли, автор «Слова» выразил эту идею в словах киевского князя Святослава»¹.

Таким образом, по нашему мнению, не автор «Слова» являлся идеологическим рупором киевского князя Святослава, а, наоборот, фигура

этого князя использована в поэме в качестве своеобразного рупора творца «Слова».

Вопрос о народности «Слова» изложен в курсе почти конспективно, как, впрочем, и ряд других обобщающих мест в учебнике. По существу, вопрос этот лишь постулируется в курсе (стр. 166). Важность проблемы требует более развернутого и аргументированного ее освещения.

Глава о «Слове» вызывает некоторые замечания также и фактического характера. Автор пишет: «Эпитет «борзый», как и в других письменных памятниках, в «Слове» прилагается лишь к коню (в устной поэзии такое сочетание неизвестно)» (стр. 157). Последнее неверно. Эпитет «борзый» в приложении к коню известен и в фольклоре: «Кто на борзом коне жениться поскочет, тот скоро поплачет» (Даль. Пословицы русского народа. М. 1862, стр. 839).

В другом месте читаем: «автор «Слова» решает выбрать первый путь (т. е. пение «по былинам сего времени» — Л. Ш.), чувствуя, что ему не угодить (?) за буйной фантазией Бояна» (стр. 150). И это неверно. Творец «Слова» пел «по былинам сего времени» не в силу недостаточности своего дарования, якобы не позволившего ему «угнаться за буйной фантазией Бояна», а в силу сознательного выбора именно этой манеры песнотворчества. Между прочим, факт этот был отмечен Пушкиным, который писал по этому поводу: «неизвестный творец Слова о Полку Игоре не преминул объявить в начале своей поэмы, что он будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться по следам старого Бояна».

Прием гиперболы, широко использованный автором «Слова», проф. Н. К. Гудзий считает генетически связанным с письменной литературой (стр. 159). Между тем общеизвестно, что прием этот является одной из типичнейших особенностей устного народного творчества, откуда он, надо думать, и перешел в памятники письменной литературы.

Плачи-причитания автор характеризует, как явления, «широко распространенные в древней русской литературе» (стр. 158). Опять-таки известно, что плачи-причитания в еще большей степени, нежели в письменной литературе, распространены в фольклоре, где они составляют даже самостоятельный литературный жанр, культивировавшийся особым родом исполнителей — вопленицами.

Теперь об Аввакуме. Освещение литературной деятельности этого выдающегося по своим талантам писателя, естественно, невозможно без предварительного рассмотрения более общего вопроса о характере возглавлявшегося Аввакумом старообрядчества. Трактовка автором учебника движения старообрядчества и деятельности его вождя Аввакума не свободна от ряда спорных моментов.

Старообрядчество и его крупнейший вождь и вдохновитель Аввакум безоговорочно характеризуются как явления реакционные. Между тем в старообрядчестве играли большую роль элементы плебейства. Этот факт не оценен по достоинству автором учебника. Не обращено

¹ «Литература в школе», М. 1938. № 4, стр. 15.

внимания на такое первостепенной важности обстоятельство, как отразившиеся в расколе антикрепостнические настроения крестьянских масс. Движение, возглавлявшееся Аввакумом, заключало в себе также критику и борьбу с феодальными отношениями — хотя бы с церковными феодалами.

Учет одних лишь указанных моментов поднимает традиционное представление о ересь, как о сугубо реакционном явлении, и позволяет ставить вопрос о прогрессивном значении ересей.

В учебнике говорится, что «старообрядчество в культурном отношении оказалось движением сугубо реакционным» (стр. 346). Одновременно о крупнейшем вожде этого движения утверждается, что он был «смелым новатором в области стиля» (стр. 346), что «смелость его литературной манеры... делает из него подлинного новатора, разрушающего веками освященные литературные нормы» (стр. 336).

Если бы даже положение о сугубой реактивности старообрядчества в культурном отношении было бы доказано, — а оно не доказано и нуждается, во всяком случае, в известном ограничении, — то следовало и в этом случае дать читателю учебника объяснение совершенно очевидного противоречия: движение старообрядчества характеризуется как реакционное в культурном отношении, и вместе с тем автор показывает, как это же движение в лице своего вождя оказалось прогрессивным в таких важных вопросах культуры, как раскрепощение и демократизация языка и ломка сложившихся веками литературных норм.

Разделы учебника, посвященные ересям, должны быть коренным образом пересмотрены. При попытке дать подлинно научную оценку ересей необходимо исходить из краткого курса «Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)», где даны совершенно четкие положения для правильного марксистского решения вопроса о прогрессивности или реактивности общественных идей и теорий.

Вызывает возражения толкование в учебнике «Повести о Ерше Ершовиче».

Эта замечательная сатира повествует о том, что «сынчишко боярской» Лещ с товарищами бьет челом «рыбам-господам» на «злого человека» и «ябедника» Ерша, который, расплывшись, лишил Леща и его товарищей Ростовского озера — «наших старых жиров» (богатства, довольства). С соблюдением всех деталей изображается в пародийном плане возникшее по этому поводу судопроизводство. Рыбы фигурируют в ролях судей, истца, ответчика, писаря, следователя, свидетелей и даже понятых. Во всем этом окружении лишь один Ерш выступает совершенно одиноким.

Из показаний Ерша выясняется, что свидетели «Сиг и Лодуга — люди богатые, животами прожиточны», что те же «Сиг и Лодуга и Сельдь с племени (—родня), а Лещ такой же человек заводной (—зажоточный): в судестье имаются, где судятся — едят и пьют вместе... они хотят нас, маломочных людей, испродать напрасно». Несмотря на эти веские доводы, судьи, явно покровительствуя «заводному» (за-

житочному) Лещу, осуждают «маломочного» Ерша: «И выдали истцу Лещу того Ерша головою и велели казнить его торгового казнию — бити кнутом и после кнута повесить в жаркие дни против солнца за воровство и за ябедничество».

Как объясняется эта повесть в учебнике? Общее значение ее усматривается только в том, что она «остроумно пародирует следственный и судебный процессы в Московской Руси» (стр. 409). Ерш же неизвестно почему характеризуется, как «увертливый проходимец». «Ерш, — замечает автор учебника, — по своим нравственным качествам и по своему поведению сродни плуту и ябеднику Фролу Скобееву». По сути, Ерш характеризуется здесь теми словами, которые подсказаны его классовыми антагонистами — Лещом и судьями, которые судят «не по правде», а «по мазде».

Отрицательная характеристика Ерша, как ябедника и вора, исходит от «сынчишки боярского» Леща. Сам же Ерш в повести не совершает никаких поступков, которые давали бы основания для такой его характеристики. О себе он говорит: «А я... не смутчик, не вор, не тать и не разбойник, в приводе нигде не бывал, воровского у меня ничего не вынимывали, человек я доброй, живу я своею силою, а не чужою».

Повесть о Ерше можно рассматривать не только как пародию на следственный и судебный процесс Московской Руси, но и как произведение, отразившее исключительно четко классовый антагонизм, наблюдавшийся в общественных отношениях Московской Руси XVII в. Ерш должен быть реабилитирован!

И в целом интерпретация повести должна быть дана в направлении резкого отмежевания от тенденциозно-пристрастного ее истолкования буржуазными исследователями. Примером такого истолкования может служить вывод, к которому пришел специально работавший над повестью И. А. Шляпки: судопроизводство «ведется правильно, берет посул лишь пристав и в конце концов правда торжествует: ершу выносится обвинительный приговор, но он спасается бегством. Следовательно, обличение имеет в виду не суд, а нахального бродягу, насильно завладевшего чужой землей»¹. Кажется, что придумать более извращенное толкование смысла повести нельзя.

В существенных коррективах нуждается освещение личности Афанасия Никитина. В учебнике акцентируется чисто торговый характер его путешествия в Индию. Между тем Афанасий Никитин является, прежде всего, крупнейшим русским путешественником. В его записках ярко отразился процесс становления русского ученого XV века, прямого предшественника ряда других великих русских путешественников: Дежнева, Седова, Прже-

¹ И. А. Шляпки. Сказка о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове, «Журнал мин. нар. просв.», 1904. № 8, стр. 393. Подчеркнуто мною. — Л. Ш.

вальского, Миклухи-Маклая и др. Именно эта сторона личности Афанасия Никитина является в нем наиболее существенной. Она и должна выступать на первом плане при рассмотрении его произведения.

IX

Характеризуя во «Введении» деятельность наиболее крупных представителей домарксистского литературоведения, автор не дает, к сожалению, оценки классовой природы этого литературоведения. Не сказано, что литературоведение, представленное именами Буслаева, Пыпина, Тихонравова, Веселовского, при всей значимости добытых этим литературоведением результатов, оставалось все же по своей природе наукой буржуазно-дворянской. В характеристике этого литературоведения не указаны такие черты, как идеалистическое направление его методологии, бедность обобщений, чрезмерное тяготение к факту, отмежевывание от вопросов, в той или иной мере сохранивших интерес злободневности.

В этой связи в известной мере показательным является одно место из учебника. Автор пишет о Пыпине: «Уличенный в свободомыслии и в связях с опальным Чернышевским, Пыпин в начале 60-х годов вынужден был прервать только что начатую им профессорскую деятельность в университете...» (стр. 23).

В таком освещении как-то стирается грань между революционным демократом Чернышевским, сколько угодно удачно характеризующим словечком «опальный», и либерально-буржуазным профессором Пыпиным, который тоже оказался подопальным. Чернышевский, звавший Русь к топору в борьбе с царизмом, за что царизм обрек его на медленное умирание в далекой Сибири, Чернышевский, которого Ленин считал, наряду с Герценом и Белинским, предшественником русской социал-демократии, и «уличенный в свободомыслии» Пыпин, — что может быть между ними общего, кроме случайной биографической связи

О произведениях сатирической литературы, представлявших злую пародию на церковь и ее служителей, отразивших жгучую ненависть народа к суду, к эксплуатировавшим его богачам, церкви и монастырям, говорится, как о произведениях, «бывших не в ладах (?) с официальной обстановкой своего времени» (стр. 420).

При рассмотрении отдельных явлений автор подчас склонен заковывать себя в броню «академического» бесстрашия. Вопрос о праве истории древней литературы на существование как определенного раздела общей науки литературоведения — немаловажный вопрос. Изложив имевшую место по этому поводу полемику между академиками Н. К. Никольским и А. И. Соболевским (изложение это дается почему-то в сноске, стр. 11), полемику, в которой Никольский развил по сути ликвидаторскую по отношению к древне-русской литературе концепцию, автор учебника предоставляет студенту-второкурснику самому решить вопрос, на чьей стороне истина в этом споре. В дан-

ном случае со стороны автора, много лет отдавшего изучению древней русской литературы, естественно ожидать громко сказанного и научно-обоснованного «да».

Аналогичное замечание может быть сделано в отношении раздела, посвященного летописям. Изложив подробно различные концепции русского летописания, автор опять оставляет малоискушенного читателя блуждать в лабиринте сложных построений акад. Шахматова и воззрений пересматривавших его концепцию академиков Истрина и Никольского. Поскольку речь идет об учебнике, такое изложение недопустимо.

По вопросу о характере сборников песен XVII в. Ричарда Джемса и П. А. Квашнина автор также не дает своего мнения (стр. 426, прим.). Читателю самому приходится решать, были ли эти сборники продуктом книжного или народного устного творчества.

Четкость формулировок, строгая продуманность каждого определения является одним из обязательных свойств любого советского пособия. В отдельных случаях это бесспорное положение оказывается в учебнике неосуществленным. Так, например, на стр. 331 мы находим неизвестную нам социальную категорию «торгового крестьянства», а на стр. 379 «низкие социальные слои».

О Шемяке, который стал нарицательным именем всякого несправедливого судьи, мы читаем: «приговоры его объективно оказываются справедливыми (?), но субъективно они диктуются корыстными побуждениями» (стр. 406).

В своих «Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР» тт. Сталин, Жданов и Киров писали: «... должно быть учтено, что речь идет о создании учебника, где должно быть взвешено каждое слово и каждое определение...». Это важнейшее указание является обязательным для любого советского учебника. Оно должно быть осуществлено полностью и в данном пособии.

X

Курс проф. Гудзия производит в известной мере впечатление некоторой фрагментарности. Генетическая связь отдельных явлений древне-русской литературы в учебнике ощущается далеко не всегда. После прочтения его у читателя не создается достаточно целостного представления об истории древне-русской литературы, как о процессе, как о явлении в развитии и становлении. Этот пробел должен быть в учебнике восполнен. В трактовке отдельных памятников необходимо устанавливать больше связей с другими произведениями древне-русской литературы.

В учебнике сделана попытка в отдельных случаях связать изложение судеб древне-русской литературы с последующим ее развитием в новое время. Однако сделано это в степени более чем недостаточной. Необходимость превращения этой попытки в последовательно проводимый принцип кажется бесспорной.

Сказанное относится в полной мере и к установлению связей с фольклором. Больше при-

влечение материалов устного народного творчества при освещении отдельных произведений крайне желательно. Помимо всего прочего, это показало бы весьма наглядно неодинаковое преломление исторических событий в сознании различных общественных групп.

Изложение истории русской литературы, особенно древней, в связи с историей искусства,— задача столь же необходимая, сколь и трудная. Почин, сделанный в этом отношении когда-то академиком Буслаевым, к сожалению, не получил достойного продолжения, не сложился в более или менее устойчивую традицию. Весьма желательно, чтобы те наблюдения, которые уже стали неотъемлемым достоянием науки, нашли отражение в учебнике.

В курсе проф. Гудзия мы не находим освещения вопроса о начале книгопечатания на Руси. Между тем Энгельс не только считал, что книгопечатание, наряду с порохом, явилось «наиболее блестящим» изобретением, но и устанавливал прямую связь между книгопечатанием и падением роли церкви, как монополизатора культуры. Энгельс писал по этому поводу: «Изобретение книгопечатания и потребности все более расширяющейся торговли лишили его (т.е. духовенство. — Л. Ш.) монополии не только на чтение и письмо, но и на высшее образование»¹.

Думается поэтому, что начало книгопечатания на Руси имеет право на место в учебнике древней русской литературы. Такое же право имеют и первопечатники москвич Иван Федоров и мстиславец Петр Тимофеев, которых мракобесы-церковники в свое время объявили колдунами и еретиками, вынудив их бежать из родной страны.

Задача хронологического приурочения памятников древнейшей переводной литературы— задача трудная, но отнюдь не непреодолимая. В интересах композиционной стройности курса желательно было бы расположить эти памятники по векам, а не в одной группе, как это сделано в учебнике.

В курсе в основном удачно разрешен вопрос о методе изложения содержания литературных памятников. Верный тон и нужная манера найдены. Однако в отдельных случаях, как, например, в «Повести о Бове-королевиче», изложение это оказывается чересчур растянутым.

Учебник проф. Гудзия рассчитан в основном на студентов вузов. Но в этой книге найдет для себя много полезного и преподаватель, и молодой научный работник, и всякий занимающийся самообразованием человек. Это определяет необходимость высказать несколько замечаний по поводу «Введения», а равно и в отношении сопроводительного научного аппарата учебника.

«Введение» к учебнику в значительной части посвящено обзору историографии предмета. Этот факт можно только приветствовать. Здесь идет речь о публикациях, о первых библиографических обзорах, об историко-литературных курсах и, наконец, об ученых трудах крупнейшей исследователей в области древней русской литературы.

Помимо желательности большей систематичности в изложении этого материала, крайне необходимо продолжить этот обзор до наших дней, а не обрывать его искусственно на первых годах XX века. В частности представляется важным показать, что традиции публикаций и историко-литературных изучений не только продолжались, но и получила новый мощный стимул развития в советскую эпоху. Желательно также хотя бы вкратце дать систематическое обозрение историко-литературных курсов, как старых, так и вышедших в советский период.

Что касается сопроводительного научного аппарата, то здесь могут быть высказаны следующие пожелания. Важнейшая литература вопроса в учебнике указана. Однако неудобство пользования этим материалом создается тем, что он отнесен в сноски. Думается, что было бы лучше весь сопроводительный аппарат сконцентрировать в конце книги, либо в конце каждой главы, расположив его по соответствующим рубрикам. Сюда же крайне желательно присоединить указатели: именной и указатель литературных произведений. Это намного облегчило бы пользование последним в справочных целях.

★

При всех отмеченных выше недочетах, курс проф. Н. К. Гудзия несомненно явится ценным подспорьем в изучении советским студенчеством истории древней русской литературы. Задача заключается в том, чтобы в переизданиях, которые, очевидно, последуют, имеющиеся в курсе недочеты устранить с тем, чтобы максимально приблизить его к тому типу пособия, которого настоячиво требует от нас марксистско-ленинская теория.

Создание же такого пособия остается одной из первоочередных и неотложных задач нашего литературоведческого фронта. Задача эта трудная, ответственная и требующая коллективных усилий.

Пора подумать и о том, чтобы приступить к серьезному и глубокому исследованию древней литературы тех братских народов, которые имеют свою, в ряде случаев очень старинную, богатую и высокохудожественную литературу.

В части подлинно марксистского изучения истории древней русской литературы мы остаемся еще в неоплаченом долгу перед советской наукой, перед народом. Долг этот необходимо оплатить. Чем скорее это будет сделано, тем лучше.

Л. Шейнкерман.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 120.

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ. СТЕНДАЛЬ И ЕГО ВРЕМЯ

Издательство «Советский писатель». 1938 г. Тираж 10.000. Стр. 244. Цена 12 руб.

★

На протяжении уже многих лет Анатолий Виноградов с большой любовью, тщательно и кропотливо занимается изучением жизни и творчества замечательного французского писателя Стендаля, до сих пор еще не оцененного по настоящему на родине. В романе «Три цвета времени» Виноградов показал этого гениального художника таким, каков он был в действительности и каким его почти в течение целого века не знали и не видели. Художественная биография Стендаля стала у нас популярной книгой, ее несколько раз переиздавали. А. М. Горький дал высокую оценку роману, написав к нему предисловие.

И вот сейчас издан новый большой труд Виноградова, посвященный избранному им для исследования писателю: «Стендаль и его время». Книга не может остаться незамеченной. Читатель обратится к ней с законным интересом. Признаемся откровенно, начиная читать ее, мы невольно подумали, что, возможно, автор, не имея что сказать нового, воспроизвел в данной монографии, лишь в иных вариантах, свои прежние догадки и открытия. Это мнение, однако, быстро рассеялось; оно оказалось более чем неосновательным. Перед нами свежая, яркая, изобилующая массой совершенно неизвестного доселе материала, повесть о жизни Анри Бейля. В новой книге автор блестяще продолжил то хорошее начало, которое он положил в романе. Он гораздо глубже, чем раньше, проник в сущность биографии писателя, с большей полнотой воскресил его жизненный и творческий путь. С живейшим и неослабным интересом читали мы это написанное с душой и сердцем произведение. Мы увидели перед собой во всем интеллектуальном богатстве могучей и одареннейшей натуры человека, близкого нам по духу, по настроениям, по лучшим своим мечтаниям и порывам. Перевернув последнюю страницу, дочитав заключительные строки, мы пережили то знакомое чувство, которое возникает всегда, когда расстаешься с умной и прекрасной, как сама жизнь, книгой.

Виноградов не пошел по пути биографов, сосредоточивающих почти все свое внимание только на семейно-бытовой хронике художника. С этой обветшалой традицией автор книги решительно порвал. Он расширил тему. Стендаль он дал не изолированно от современной ему социальной действительности, а, наоборот, всю жизнь его и творческую деятельность показал в тесной и неразрывной связи с происшедшими тогда общественными событиями. Он нарисовал конкретную историческую обстановку и реальные условия, в которых жил и действовал Стендаль. Он указал основные силы, вызвавшие к жизни великого классика мировой литературы. Необычайно трудная и сложная задача стояла перед исследователем. Ведь Стендаль родился накануне великого штурма

феодалного мира. Его детство озарено пламенем этой борьбы. Он пережил гигантский взлет и упадок буржуазной революции. Чтобы дать ощущение того сурового времени, не исказить его исторического смысла и на этом фоне воссоздать облик Стендаля, требовалась громадная исследовательская работа. С поставленной задачей Виноградов, на наш взгляд, справился не плохо. И если можно его упрекнуть в чем, так только в том, что он далеко не всюду и не во всем сумел достаточно глубоко проследить и установить связи жизни и деятельности Стендаля с идеями и важнейшими событиями его времени. Иногда автор лишь априорно указывает, что такие-то факты и явления оказывали воздействие на психику писателя, а в чем и как конкретно это выражалось, автор не расшифровывает.

Порой, пытаясь найти причинную обусловленность тех или иных действий и поступков Стендаля, автор книги приходит к выводам, которые вряд ли можно принять всерьез. Вот как, например, он объясняет решение Бейля принять участие в войне 1812 года:

«Вернувшись в Париж в конце 1811 года, Бейль... отдался умственной работе. Он засел за изучение труда доктора Кабаниса «Опыт изучения физического и нравственного существа человека»... Желание применить это чисто материалистическое произведение к решению вопроса о существовании многонациональных и принадлежащих к разным общественным группам огромных человеческих масс, слитых в так называемых больших армиях Наполеона, и заставило Бейля предпринять рискованное и трудное дело», то-есть хлопотать об откомандировании в действующую армию и ехать в нее.

Не будем спорить, возможно, Бейль и имел в виду применить и проверить на практике выводы доктора Кабаниса, сильно увлекшего его своей книгой. Но, конечно, не это было главным движущим мотивом у него, когда он добивался посылки на театр военных действий. Скорее всего писатель стремился принять участие в походе на Россию потому, что верил в прогрессивность этой войны, надеялся на то, что она приведет к крушению феодализма в странах Восточной Европы. Стендаль не понимал коренного изменения характера наполеоновских войн. Он считал их попрежнему революционными, а на самом деле это были уже войны захватнические, ибо они вели к порабощению давно сложившихся, крупных, жизнеспособных национальных государств.

Бесспорные достоинства книги Виноградова—ее биографическая точность и документальность, правдивая интерпретация образа Стендаля, живая, увлекательная форма повествования. Виноградов сумел отобрать наиболее важные и интересные факты из жизни писателя, опираясь на которые он с большой художест-

венной убедительностью и правдивостью раскрывает сущность образа Бейля в его оригинальности и индивидуальной неповторимости. Перед читателем во весь рост встает жизнерадостный, сильный духом, всегда устремленный вперед человек, свято хранивший в себе идеи подлинной свободы и социального равенства. Автор книги не останавливается на малосущественных биографических подробностях, не помогающих видеть в писателе главное. Наоборот, он выделяет и крупным планом дает те факты, которые рисуют Бейля в наиболее характерных, присущих ему чертах.

В отличие от романа «Три цвета времени», где начало повествования застает Стендаля уже тридцатилетним человеком, свидетелем пожара Москвы и гибели наполеоновской армии, здесь, в новой книге, отражена вся жизнь Анри Бейля с момента рождения. Автор подробно рассказывает о детских и юношеских годах писателя. И теперь многое становится гораздо яснее и понятнее; то, о чем в романе говорилось лишь мимоходом, в порядке отдельных и по необходимости кратких и скудных отвлечений в прошлое, теперь стало предметом самого пристального внимания и всестороннего исследования автора. В книге отчетливо показаны источники, питавшие юного, впечатлительную душу будущего писателя. Теперь виден процесс формирования его характера, политических взглядов и всего мироощущения. Неизменным, постоянным и самым мудрым учителем Стендаля, сыгравшим решающую роль в развитии его сознания, была бурная революционная эпоха во Франции, пробудившая к активной политической жизни огромные массы людей. Бейль воспитывался на произведениях энциклопедистов. Читать их он, оказывается, начал еще в детстве. Преподавателем его был якобинец Жорж Гро, вселивший в ученика ненависть к Бурбонам и любовь к восставшему народу. Виноградов приводит весьма любопытные сведения, красноречиво говорящие о том, как рано обнаружилась политические симпатии Бейля. Десятилетним мальчиком он проявил поразительную для его возраста осознанность интересов и решимость. Он резко порвал с реакционной семьей и прямо и безоговорочно заявил себя приверженцем Республики.

Бейль воспринял передовую в то время, рожденную революцией, идеологию материалистов, с ее бесстрашным реализмом, со стремлением к научному познанию природы и общества. «Опорой для меня,—писал впоследствии Стендаль,— был лишь мой здоровый разум, веривший в книгу Гельвеция «Об уме». Вот эта вера в здоровый разум, отрицание какой бы то ни было мистики, объяснение окружающего мира с позиций материализма XVIII века, неистребимая ненависть ко всякой реакции и являются главнейшими особенностями мировоззрения Стендаля, оформившегося в самом начале его сознательного жизненного пути.

Первые главы книги, знакома с детскими и юношескими годами Бейля, с его идейным ростом и возмужанием, дают возможность понять причины и закономерность прихода писателя в

стан революции. Не во имя слепого преклонения пред Бонапартом вступил этот молодой юноша в ряды его армии. Он горел желанием принять участие в борьбе со старым, одряхлевшим миром, сковывающим человеческую личность. Он шел в бой, неся в себе великую силу жизнедеятельности, несокрушимо веря в то, что человек создан для счастья и что в этом весь смысл его жизни на земле.

Автор книги начисто развенчивает созданную буржуазным литературоведением легенду о Стендале, как об эстетствующем аристократе, бонапартисте и снобе. Восстанавливая картину подлинных отношений Бейля к Наполеону, тщательно анализируя биографические данные, Виноградов приходит к прямо противоположным выводам. Стендаль был убежденным и ярким демократом, всеми фибрами души ненавидевшим деспотизм, таким он оставался всю жизнь, не изменяя ни в чем революционным заветам. Его острый взгляд глубоко проникал в действительность. Честность и прямота сделали его самым беспощадным историком и судьей буржуазного общества. И не в пример многим современникам Бейль скоро понял, что «маленький капрал» предал революцию, стянул у народа свободу. Писатель видел, что произвол, продажность, пошлость—все эти страшные язвы на живом теле Франции остались в неприкосновенности. Вот почему он в автобиографической записке признавался, что жил в уединении «... с 1803 до 1806 года, никого не пославши в свои планы и ненавидя тиранию Наполеона, укравшего свободу Франции». Тут же Бейль сообщает, что был участником заговора Моро, направленного против Наполеона. Заговор этот возник в годы, когда Бонапарт из революционного генерала становился узурпатором и круто поворачивал к установлению монархического строя.

Виноградов приводит чрезвычайно интересные отрывки из записок Бейля о Наполеоне (сни до сих пор еще не опубликованы даже во Франции и не входят в 15-томное собрание сочинений Стендаля, выпускаемое Гослитиздатом). Записки писателя проливают свет на те места его биографии, которые подверглись наибольшему искажению и исторической фальсификации. Из отрывочных высказываний Бейля неопровержимо явствует, что он не только не был поклонником Бонапарта, а, наоборот, презирал его. «Главное стремление Наполеона,— писал Бейль,— было унижить гражданское достоинство человека, а еще более главное — помешать ему разумно мыслить...».

Особую ценность в книге представляют публикуемые впервые на русском языке письма Стендаля к своим французским друзьям, писанные из Москвы в 1812 году. Ни одно из них не дошло по назначению. Вся корреспонденция попала в штаб русских войск. Делясь впечатлениями от Москвы, рисуя картины пожара, Стендаль в письмах неоднократно останавливает внимание на дворцовой роскоши русских дворян. Он точно указывает, каким путем накапливаются богатства: сотни помещиков держат в крепостной неволе миллионы крестьян. Рабский строй и ведет к чудовищному

обогащению кучки людей и к ужасающей нищете всего народа. С глубоким презрением Стендаль отзывается о русском царе, видя в нем самого крупного и жестокого феодала. «Русская власть, — пишет Бейль, — это своеобразный вид восточной деспотии». В письмах из России отчетливо проглядывают демократизм и свободолюбие Стендаля, его ненависть к феодальному гнету и самовластию. Эти благородные черты его мужественного характера в книге обрисованы с максимальной полнотой и исторической правдивостью.

Все биографы Стендаля, как правило, обходят молчаньем весьма значительный период жизни писателя — годы его участия в национально-освободительной борьбе итальянского народа, известной под именем карбонарского движения. Документов и исторических свидетельств от этого периода осталось немного. Но Виноградов, пользуясь хотя и скудными источниками, все же собрал и обобщил настолько веские данные, что они не оставляют ни малейшего сомнения в принадлежности Бейля к карбонаризму. После прихода к власти Бурбонов, Стендаль покинул родину. Поселившись в Милане, он вошел здесь в организацию карбонариев и развил большую революционную деятельность. Австрийская полиция долго и безуспешно гонялась за Бейлем, укрывавшимся под разными вымышленными фамилиями. Она приговорила его к смертной казни, и лишь счастливая случайность спасла писателя от руки палача.

Анатолій Виноградов не впервые прибегает к сравнительно частому цитированию документов в своих произведениях. Ничего зорного и плохого в этом, конечно, нет. И в данном случае, когда он приводит наиболее интересные письма Стендаля, дает выдержки из его дневников и автобиографических записок — все это оправдано. Документы входят органической составной частью в ткань художественного повествования. Но нельзя превращать цитирование в самоцель. К сожалению, Виноградов порой утрачивает чувство меры и настолько увлекается цитатами, взятыми из старых редких изданий, что они выглядят у него в книге своеобразной экзотикой. Вот, дескать, дорогой читатель, смотри и удивляйся, какие неведомые тебе книги раскопал автор и какие там диковинные вещи написаны. Разве нельзя было, например, обойтись без цитат из воспоминаний французских офицеров Сезара Ложье и Сегюра? Или зачем было давать пространную аннотацию книги о восстании негров в Сан-Доминго, изданной в Москве в 1803 году? Ведь всего несколькими страницами раньше уже рассказывалось об этом восстании. Может быть, Виноградов просто хотел сообщить, что у него на руках имеется редкая книга. Ведь только так можно понять следующую авторскую ремарку: «(Мой экземпляр помечен библиотечной графой Растопчина)».

Естественно, что значительная часть книги посвящена изображению Стендаля, писателя, основоположника реалистического романа. Автор вводит читателя в творческую лабораторию

художника, рассказывает историю создания почти всех значительных его произведений. Какое огромное богатство духовной жизни! Какая напряженная, поистине титаническая, работа ума! После падения революции Стендаль не пошел по пути приспособленчества, не променял жизнь на карьеру. Он остался смертельным врагом феодальной реакции и буржуазного контрреволюционного либерализма. Он остался другом народа. Он мужественно отстаивал унаследованные им великие идеи демократической революции. Лишенный возможности вести борьбу на политической арене, чувствуя себя одиночкой, запоздалым представителем прошедшего века, Стендаль выбрал единственное оставшееся ему средство пропаганды революционных идей — перо художника. Он целиком посвятил себя писательской работе.

Виноградов в общих чертах правильно разобрал и охарактеризовал эстетику писателя. Обратив свой большой ум и могучий талант на служение освободительному делу, Стендаль решительно восстал против старых канонов искусства. Он отверг классицизм за его потакание вкусам маркизов, за условность и схематизм. «Глупый жанр старой французской школы, — заявил писатель, — уже не соответствует суровому вкусу французского народа, у которого начала развиваться жажда энергичных действий». Художник-революционер провозглашает новое направление в искусстве — романтическое. Он пишет: «...романтики требуют от нового искусства и прежде всего от новой драматургии изображения живых человеческих характеров в той естественной перемешке пороков и добродетелей, которая встречается в жизни». Эстетика Стендаля революционна. Она утверждает искусство правдивое, исполненное больших страстей и глубоких мыслей, отвечающее вкусам народа, жаждущего энергичных действий. Романтизм Бейля прогрессивен, реалистичен. Он не тащит художника в прошлое, а влечет в будущее. Писатель говорил: «Золотой век, который слепое предание считает прошлым историей, на самом деле впереди».

Свои эстетические взгляды Стендаль воплотил в гениальных произведениях, являющихся подлинной художественной летописью нравов буржуазного общества. Писатель был беспощаден в своем резком, всепроникающем аналитическом реализме. Эпиграфом к бессмертному роману «Красное и черное» он поставил слова Дантона: «Правда, пусть горькая, но только одна правда». Подлинный представитель передового человечества, писатель в своем творчестве изобразил трагедию молодого человека, наделенного ясным, честным и свободным умом, стремящегося найти выход из социального угнетения, но терпящего катастрофу в капиталистическом обществе. Стендаль горячо и темпераментно восставал против лицемерия, лжи и подлости буржуазии. Безжалостно растоптавшей во имя денег и безудержной наживы все лучшее, что есть в человеке. Он трезво и пронизательно изображал признаки неизбежного социального разложения всех этих торгашей и чиновников, уже тогда отличав-

шихся своей трусостью, дряблостью и духовным убожеством. Стендаль мечтал видеть мир залитым солнечной радостью и счастьем, мир, где чувства людей не оскверняются, не втаптываются в грязь, а остаются прекрасными и светлыми, как чудесная природа.

А. М. Горький в своей статье о Стендале указывал на одну, особенно близкую нам черту в его характере. Это горение в писательском труде. Алексей Максимович называл французского классика поэтом и апологетом творческой энергии. Книга «Стендаль и его время» дает яркое представление о необыкновенном упорстве и непотухающей энергии писателя в работе. Труд Стендаль рассматривал, как функцию здоровой воли. Он удивительно метко писал о себе: «Корабль жизни поддается всем ветрам и бурям, если не имеет трудового баласта». Девизом у него было: «Ни одного дня без писательства». И работал он действительно с колоссальным напряжением сил. Роман «Пармская обитель» был написан в 52 дня. Как созвучны и бесконечно дороги нам, людям социалистической эпохи, эта влюб-

ленность в труд, это презрение к безделью, эта апология созидательной, творческой работы!

Стендаль отрицал настоящее во имя будущего, которое он смутно предчувствовал. В своих книгах он обращался не столько к современникам, сколько к людям грядущих поколений, которые уже не будут знать ни духовного, ни физического рабства. Его произведения, по образному выражению Горького, были письмами в будущее. Писатель шутливо говорил: «Меня будут читать в 1935 году». Слова его оказались пророческими. В Советской стране, где восторжествовали гуманность и справедливость, где сбывлись вековые мечты лучших представителей человечества, где люди, завоевав свободу, наконец, обрели долгожданное счастье, — здесь Стендаль стал самым популярным и любимым писателем.

Выход книги Виноградова «Стендаль и его время», правдиво воссоздающей образ великого писателя во всей его нравственной красоте и обаятельности, — настоящий культурный праздник для советского читателя.

А. Воложенин.

Редакция: Ф. В. Gladkov

Л. М. Leонов

А. Г. Малышкин

В. П. Ставский

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

СОДЕРЖАНИЕ

ВКЛАДКИ	Стр.
Портреты В. И. Ленина, И. В. Сталина, М. И. Калинина	
Портрет Т. Г. Шевченко	
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(б)	5
МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ КАЛИНИНУ	9
НИКОЛАЙ НЕЗЛОБИН — Односельчанину-большевику, стихотворение	10
АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР — Десятое марта, стихотворение	11
ЭЖЕН ПОТЬЕ — 18 марта 1871 года, перевод с французского	
Аркадия Коца	12
Н. ЧЕРТОВА — Разрыв-трава, роман	13
Т. ШЕВЧЕНКО — Заповіт	71
ВЛАДИМИР СОСЮРА — На могиле Шевченко, стихотворение, перевод с украинского Б. Турганова	72
ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА — Ярославна, стихотворение	73
М. АЛИГЕР — Киев, стихотворение	74
СЕМЕН СКЛЯРЕНКО — Два рассказа, перевод с украинского В. Раковской	75
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Рядовой линейного батальона, стихотворения памяти Т. Г. Шевченко	81
АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ — Утро, роман, окончание первой книги	84
И. ФЕФЕР — Баллада о пожаре, пер. с еврейского Ник. Ушакова	119
Капитан ВАН СИ — Крылья Китая, окончание	121
В. ЛУГОВСКОЙ — Лирические стихи	148
СООБЩЕНИЯ ОТ ЦК ВКП(б) И СНК СССР И ОТ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР	152
Жизненный путь Надежды Константиновны (1869—1939)	153
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Надежда Константиновна	156
ЛЮДИ И ФАКТЫ	
В. Ю. ВИЗЕ — Последний путь Г. Я. Седова. (Из дневников участников экспедиции)	159
ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА	
Полк. А. СЕГЕДИ — Бомбардировочная авиация и противовоздушная оборона глубокого тыла	167
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО	
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Эстетика Тараса Шевченко	179
Н. БЕЛЬЧИКОВ — «Невольничья поэзия»	195
Л. ХОДОРКОВСКИЙ — Представители революционной демократии и Шевченко	213
Л. ВАРШАВСКИЙ — Шевченко-художник	226
В. КАТАНЯН — Маяковский за границей	237
МАРК НЕЙМАН — Ленин и Сталин в народном изобразительном искусстве	249
А. ГУРШТЕЙН — Шолом-Алейхем. (К 80-летию со дня рождения)	258
БИБЛИОГРАФИЯ	
Л. ШЕЙНКЕРМАН — О курсе истории древней русской литературы для вузов	270
А. ВОЛОЖЕНИН — Анатолий Виноградов. Стендаль и его время	282



к **80**-летию

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЕВРЕЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ - КЛАССИКА

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ НА ЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 15-ти Т.МАХ

Том I. Касриловка. 382 стр.
Том II. Записки коммивояжера. 347 стр.
Том III. Монологи. 351 стр.
Том IV. С ярмарки. Кн. 1-я. 293 стр.
Том V. С ярмарки. Кн. 2-я. 294 стр.
Том VI. Мотл Пейси дем хазнс. 327 стр.
Том VII. Менахем-Мендл. 258 стр.
Том VIII. Тевье молочник. 282 стр.
Том IX. Драматические произведения.
589 стр.

Том X. Сказки для еврейских детей.
394 стр.
Том XI. Бедные и веселые. 441 стр.
Том XII, ч. I. Степеню. Сендер Бланк.
313 стр.
Том XII, ч. II. Иоселе Соловей. 300 стр.
Том XIII. Блуждающие звезды, ч. I.
396 стр.
Том XIV. Блуждающие звезды, ч. II.
436 стр.
Том XV. Письма (в печати).

Цена каждого тома в переплете — 5 р. 25 коп.



ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

Агенты. 30 стр. Ц. 30 к.
Будь я Ротшильдом. 24 стр. Ц. 30 к.
Бумажки. 58 стр. Ц. 50 к.
Выигрыш. 44 стр. Ц. 30 к.
Гимназия. 30 стр. Ц. 30 к.
Гитл Пуришкевич. 32 стр. Ц. 30 к.
Годл. 44 стр. Ц. 30 к.
Горшок. 28 стр. Ц. 30 к.
Гуси. 26 стр. Ц. 30 к.
Два антисемита. 16 стр. Ц. 30 к.
Два подарка. 24 стр. Ц. 30 к.
Ди вайсе капоре. 26 стр. Ц. 30 к.
Доктор. 24 стр. Ц. 30 к.
Достойный заработок. 30 стр. Ц. 30 к.
Идышисты и гебраисты. 36 стр. Ц. 30 к.
Иосиф. 40 стр. Ц. 30 к.
Касриловская богадельня. 18 стр.
Ц. 30 к.
Касриловские пожары. 24 стр. Ц. 30 к.
Касриловские рестораны. 24 стр. Ц. 30 к.
Касриловский театр. 20 стр. Ц. 30 к.
Касриловский трамвай. 20 стр. Ц. 30 к.
Лондон. 44 стр. Ц. 30 к.

Люди. 46 стр. Ц. 30 к.
Мне хорошо—я сирота. 24 стр. Ц. 30 к.
Мой первый роман. 44 стр. Ц. 30 к.
Напиток моего брата Эли. 36 стр.
Ц. 30 к.
Нельзя быть добрым. 20 стр. Ц. 30 к.
Немец. 26 стр. Ц. 30 к.
Поздравляю. 30 стр. Ц. 30 к.
Принят. 36 стр. Ц. 30 к.
Развод. 46 стр. Ц. 30 к.
Руф ми хнакнисл. 34 стр. Ц. 30 к.
Семь сватов. 36 стр. Ц. 30 к.
Слово за слово. 40 стр. Ц. 30 к.
Совет. 30 стр. Ц. 30 к.
Станция Барановичи. 30 стр. Ц. 30 к.
С призыва. 26 стр. Ц. 30 к.
Третий класс. 24 стр. Ц. 30 к.
У доктора. 26 стр. Ц. 30 к.
Улица чихает. 30 стр. Ц. 30 к.
Чудо. 36 стр. Ц. 30 к.
Шестьдесят шесть. 28 стр. Ц. 30 к.
Юбилей. 22 стр. Ц. 30 к.

Продажа в книжных магазинах КОГИЗ'а.

Почтовые заказы просим направлять в ближайшее областное (краевое) отделение КОГИЗ'а, или по адресу:

Москва, ул. Горького, «Дом Интернациональной Книги».

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ
ИСКУССТВ ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ
ГАЛЛЕ РЕЯ



ВЫСТАВКА РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ

ВЫСТАВКА ПОКАЗЫВАЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
РУССКОГО ИСКУССТВА НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МАТЕРИАЛЫ ВЫСТАВКИ:

ЖИВОВИСЬ, АКВАРЕЛЬ, ГРАФИКА И СКУЛЬПТУРА XVIII, XIX, XX вв.

Одна из основных задач выставки—показать зрителю в произведениях крупнейших русских мастеров живые страницы героического прошлого нашей родины: борьбу русского народа против интервентов, народные движения в старой Руси и др.

АДРЕС ГАЛЛЕРИИ:

ЛАВРУШИНСКИЙ ПЕР., д. 12

Трамвай: А, 3, 10, 11, 19, 24, 25, 26

Автобусы: 3, 10, 15, 34

Троллейбусы: 4, 9

ВСЕ СПРАВКИ О ВЫСТАВКЕ И ЗАЯВКИ
НА ЭКСКУРСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ В 1-48-40